

НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИИ

ЛАН ВЕЛИКИХ КНИГ

Роман
Белоусов

ТАЙНЫ
ВЕЛИКИХ
КНИГ

НЕИЗВЕСТНАЯ
ЖИЗНЬ
ЗНАМЕНИТЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ГЕРОЕВ

ЛАН ВЕЛИКИХ КНИГ

 Роман
Белоусов

ТАЙНЫ ВЕЛИКИХ КНИГ

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
ЗНАМЕНИТЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ГЕРОЕВ



РИПОЛ КЛАССИК
МОСКВА, 2004

УДК 94
ББК 63.3(0)
Б43

Белоусов Р.

Б43 Тайны великих книг.— М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.— 512 с.:
ил.— (Неизвестные истории).

ISBN 5-7905-2025-1 •

Когда мы читаем какую-либо книгу о приключениях, подчас самых невероятных и опасных, и захвачены тем, о чем рассказывает автор, нас начинает интересовать достоверность изображенного. «Неужели все это могло быть? — спрашиваем мы себя.— Реальны ли описанные события? Существовали ли в действительности, скажем, капитан Немо, д'Артаньян, Жан Вальжан, Мюнхгаузен, Тартарен?..»

Ответ на эти вопросы и даст книга, которую вы держите в руках. Приподнимая завесу над тайной создания выдающихся произведений, автор выступает в роли «литературного детектива», который проводит точную ставку факта и вымысла. Знакомство с историей жизни людей, послуживших прототипами любимых героев, поможет вам по-новому взглянуть на известные книги.

УДК 94
ББК 63.3(0)

ISBN 5-7905-2025-1

© Р. С. Белоусов, 2004
© Издательский дом «РИПОЛ
КЛАССИК», оформление, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

Небольшое предисловие автора	7
Две жизни мушкетера д'Артаньяна	10
Слава и позор барона Мюнхгаузена	38
Как Дефо встретился с Робинзоном Крузо	60
Сокровища аббата Фариа и месть графа Монте-Кристо ...	73
Смерть Пьера Морена и бессмертие Жана Вальжана ..	101
Отец Гавроша, или Ожившая картина	133
Ключ к «Хижине дяди Тома»	152
«Бедный Ричард» погибает, но не сдается	176
Капитан Немо раскрывает свое имя	210
Показания астролога, или Оpozнание Смуглой дамы ..	243
Сэр Джон Фальстаф, анкетные данные	264
«Испаньола» держит курс на Остров сокровищ	281
Роб Рой — атаман разбойников	339
Охотник за фуражками убивает льва	362
Там, где жил Том Сойер	379

Вещларская элегия, или Путаница с цветом глаз	390
Тетрадь помещика Каратеева	414
Моха Дик идет на таран шхуны «Эссекс»	435
Демон храбрости, или Космонавт XVII века	452
Зачем «Особенный человек» поехал на Маркизские острова?	495

НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

У древних греков был особый миф, объясняющий возникновение поэзии. В области Беотия, на горе Геликон, существовал родник. Возникший от удара копыта Пегаса о землю, он получил название Иппокрена — Источник коня. Но Пегас, как известно, был не простой лошадей, и струи, хлынувшие из-под его копыта, оказались живительными. В их водах и черпали вдохновение поэты. Так, по-своему, древние греки пытались объяснить одну из тайн человеческой природы — тайну творчества. С тех пор в переносном смысле Иппокрена стала означать «источник вдохновения».

И едва ли не сразу же, как только, порожденный фантазией, забил священный ключ на горе Геликон, нашлись желающие проникнуть в тайну чудодейственных вод.

Одни полагали, что вдохновение — это озарение, ниспосланное свыше, другие считали его чем-то вроде восторга, наитием, редким состоянием души, во время которого вспыхивает солнце воображения как некая «неожиданность души». Иным думалось, что творить они могут, лишь превратившись в отшельника, что вдохновение приходит с помощью благоприятствующих стимулов; казалось, что творческий огонь у них в крови вызывает запах гнилых яблок или тонких духов, стакан горячего молока, звуки музыки... Но они явно смешивали вдохновение с умением привести себя в рабочее состояние с помощью различных «подсобных средств». Находились и такие, которые пытались вызвать творческое горение искусственным путем. Эти искали Иппокрену в вине. Но тщетно старались они отыскать в нем волшебный дар...

Одним словом, верно сказал А. С. Пушкин, что искать вдохновение — нелепая причуда: «оно само должно найти поэта».

Между тем тайна Иппокрены продолжала оставаться неразгаданной. Признавали, что иступленное творчество —

это абсолютно бессознательный процесс, и, возможно, правы были те, кто напоминал в связи с этим английскую поговорку: «He knows not he is a poet» — «Он сам не знает, как он творит».

Недаром, слушая писателей, рассказывающих о своем личном литературном опыте, невольно чувствуешь, будто тебе доверяют чужую тайну, настолько творческий процесс индивидуален и неповторим.

И сегодня уже понятно, что истоки и механизм вдохновения не поддаются логическому анализу. Недаром вслед за многими признаниями в этом художников разных эпох поэт А. Вознесенский произнесет:

Стихи не пишутся — случаются,
Как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

В наши дни о писателях и их жизни, о писательском ремесле, о психологии творчества написаны солидные исследовательские труды. Задача автора этой книги гораздо скромнее: рассказать о некоторых, наиболее ярких примерах из истории мировой литературы, подтверждающих, что писатель всегда черпает художественный материал из жизни. Именно жизнь является тем самым неиссякаемым источником вдохновения, той самой Иппокреной, припадая к живительным струям которой, мастер создает свои произведения. Труд писателя состоит в накоплении фактов, в наблюдении и изучении действительности. Порой на это уходят годы, но без этой кропотливой подготовительной работы не прорастет семя будущего творения. И чем больше заготовить дров, по образному выражению Гете, чем суше они будут, тем ярче вспыхнет в урочный час костер, к собственному удивлению творца.

Прослеживая процесс рождения произведения и его героев, нередко удастся установить их генетическую связь с житейскими фактами, определить их реальные прообразы.

И тем самым приблизиться к разгадке тайны возникновения под пером художника многолюдного мира его литературных произведений, узнать, откуда они появились в творческой лаборатории писателя, познакомиться с теми, кто послужил их прототипами и был свидетелем описанных событий, найти следы, которые они оставили на земле. Иначе говоря, познакомившись с секретами великих художников слова, вы увидите, как реальный факт жизни, преломленный в свете магического кристалла творчества, претворяется в художественное произведение. То есть книга раскроет перед вами тайну волшебных связей искусства слова с действительностью.

Роман Белоусов

ДВЕ ЖИЗНИ МУШКЕТЕРА Д'АРТАНЬЯНА



НАХОДКА В БИБЛИОТЕКЕ

Многие события занимали парижан в середине сороковых годов XIX века. Но, пожалуй, никто из современников не интересовал их так, как господин Дюма. Его успех, говорил В. Гюго, больше, чем успех, это — триумф. Его слава гремела подобно трубным звукам фанфар.

Какой новый исторический роман собирается подарить читателям волшебник слова, этот «Александр Великий», как называли его друзья? Чем порадует их неутомимый труженик пера? А он действительно трудился в поте лица. Дюма умел отдаваться работе весь, писал по двенадцать часов в сутки... Казалось, день и ночь в нем горит неугасимый огонь творчества. Бывало так, что, едва проснувшись, еще в постели, он хватался за перо: необходимо было тут же записать возникнувшую в его воображении сцену. А взяв перо в руки, он уже не мог его отложить — оно словно само скользило по бумаге. Один за другим большие голубые листы покрывались размашистым, красивым почерком. На глазах таяла бумажная стопа на столике с письменными принадлежностями, стоявшем около кровати. Бумага была разных цветов: на голубой он писал романы, розовая служила для пьес, желтая предназначалась для стихов.

В ночной рубашке, с гривой не расчесанных после сна курчавых волос, Дюма напоминал в эти минуты могучего льва. Он не любил, когда ему мешали во время работы. Но коль скоро кто-нибудь из друзей оказывался рядом, писатель, поздоровавшись, продолжал трудиться, умудряясь

при этом вести беседу. Или просил: «Посидите минутку, — у меня как раз с визитом моя муза, но она сейчас уйдет!» — и продолжал работать, громко разговаривая с самим собою. То же можно было наблюдать и в кабинете, где он обычно писал за простым деревянным столом.

Смеющийся, гневный, плачущий, сверкающий глазами, размахивающий, как шпагой, пером, Александр Дюма в момент работы являл собой живописное зрелище. Но вот последний росчерк, и с возгласом «Vivat!» Дюма вскакивал из-за стола. Это означало, что закончена очередная глава и что писатель доволен собой — он славно поработал. А потом небольшая передышка, наспех проглоченный обед, и снова за стол. Дюма не мог себе позволить долгих перерывов в работе не только потому, что от этого зависело его материальное положение — он вечно нуждался в деньгах, но из-за того, что читатели с нетерпением ждали его новых книг.

Сюжеты для своих многочисленных произведений Дюма черпал из разных источников.

Однажды — это было в 1843 году — Дюма рылся в книгах Королевской библиотеки, подыскивая материал времен Людовика XIV. Не спеша перебирал книгу за книгой, снимал с полок пыльные тома, бегло просматривал, откладывал в сторону те, что могли ему пригодиться. Случайно в руках у него оказались три тома «Воспоминаний господина д'Артаньяна». Заглавие заинтриговало писателя. Раньше ему не приходилось слышать о такой книге. Любопытство заставило раскрыть ее. Устроившись здесь же, около полок, Дюма начал перелистывать страницы мемуаров, изданных в 1704 году в Амстердаме знаменитым типографом Пьером Ружем. Это было третье издание, снабженное портретом д'Артаньяна.

На старинной гравюре был изображен незнакомец в военных доспехах. Небольшое энергичное лицо обрамляли волнистые, ниспадающие до плеч волосы. На первый взгляд наружностью он чем-то походил на женщину. Но присмотревшись повнимательнее, в его облике нельзя

было не заметить признаков особой одухотворенности и силы характера. С лукавым прищуром глядели на читателя пронизательные глаза, как бы говоря: «Познакомьтесь с моим правдивым жизнеописанием, и вы убедитесь в моей исключительности». Это выражение усиливала усмешка тонких губ, над которыми, словно два острых лезвия, в разные стороны торчали маленькие элегантные усики, выдававшие любимца женщин и отчаянного дуэлянта.

Писатель решил более тщательно изучить показавшиеся ему интересными записи. С разрешения хранителя библиотеки — своего приятеля — он унес их домой и с жадностью прочел все. Беглые зарисовки событий и нравов минувшей эпохи — середины семнадцатого столетия, были сделаны, несомненно, очевидцем, хотя многие картины прошлого и представлялись в них односторонне. Название книги полностью звучало так: «Воспоминания господина д'Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, содержащие множество частных и секретных вещей, которые произошли в царствование Людовика Великолепного».

Однако как позднее выяснилось в этих «собственных мемуарах» не было ни слова, написанного самим мушкетером. Они оказались сочинением некоего Гасьена де Куртиля де Сандра, знавшего д'Артаньяна лично, хотя это отнюдь не давало ему права выступать от имени мушкетера.

Гасьен де Куртиль был плодовитым и довольно ловким мистификатором. Он не гнушался писать мемуары за своих современников и издавать их. Его бойкому перу принадлежит более дюжины поддельных воспоминаний различных знаменитостей — баснописца Лафонтена, графа де Рошфора, маркизы де Френе, военачальника де Монбрена и других. В 1715 году, уже после смерти Гасьена де Куртиля, под псевдонимом Константэн де Ренвиль вышла написанная им «Французская инквизиция, или История Бастилии» — книга, в которой автор использовал и личные впечатления: некоторое время он провел в одном из казематов знаменитой тюрьмы.

Впрочем, тайна авторства мемуаров д'Артаньяна была довольно быстро раскрыта. Уже современники догадывались об обмане и не стеснялись говорить об этом автору подделки. Но Гасьен де Куртиль продолжал настаивать на своем. Не отрицая того, что имеет некоторое отношение к выходу в свет записок мушкетера, он заявлял, что мемуары написаны д'Артаньяном, а он, Куртиль, лишь отредактировал их. Упорство, с каким мистификатор отстаи-



Портрет д'Артаньяна

вал подлинность мемуаров, подкреплялось бытовавшей в то время легендой об оставшихся после смерти д'Артаньяна его собственных записках.

Согласно этой легенде, как только до Людовика XIV дошла весть о смерти прославленного мушкетера, он тотчас же приказал конфисковать его личные вещи. С этой целью из Парижа были посланы двое офицеров. День и ночь скакали они, не щадя лошадей, по дороге во Фландрию, туда, где французские войска осаждали крепость Маастрихт.

На вторые сутки офицеры добрались до городка и тут же, нигде не задерживаясь, направили коней на окраину к старой таверне. Без лишних слов, отстранив хозяина, они поднялись на второй этаж в комнату, где накануне сражения остановился д'Артаньян. Но странное дело: их нисколько не интересовали вещи мушкетера. Не обращая на них внимания, они перерыли тем не менее всю комнату и покинули ее лишь после того, как в их руках оказалась

небольшая шкатулка — предмет их интереса. В ней хранились листки исписанной бумаги. Это будто бы и была знаменитая рукопись д'Артаньяна. Зная о ее существовании, король решил принять меры предосторожности. Д'Артаньян хранил в своей памяти слишком много тайн, был посвящен в интриги двора, и в его записках могло быть раскрыто немало неприглядных фактов, разглашать которые было не в интересах короля и его приближенных. И все же избежать огласки не удалось.

Через тридцать лет мемуары д'Артаньяна увидели свет, и разумеется, что Гасьен де Куртиль стал утверждать, что это те самые подлинные записки, найденные в таверне на окраине Маастрихта и каким-то образом выскользнувшие из рук тех, кто так стремился сохранить их содержание в тайне.

Понятна и причина, почему подлинный автор этих мемуаров не захотел поставить под ними свое имя. Этим же объясняется и издание записок за пределами Франции. В случае разоблачения де Куртиля, как автора, ждала Бастилия. Вторичное посещение застенков этого замка его явно не устраивало.

ГВОЗДЬ ДЛЯ КАРТИНЫ

Так или иначе, но именно на страницах этих мемуаров и произошла встреча Александра Дюма с д'Артаньяном. Правда, это был еще далеко не тот герой, которого все мы знаем и любим. Писателю предстояло приложить много усилий, помножить труд на талант, чтобы создать обаятельный образ мушкетера д'Артаньяна, превратить авантюриста, служаку-солдата, каким его нарисовал де Куртиль, в легендарного героя, «который по своему поразительному мужеству был равен храбрейшим воинам, а своей хитростью и умом превосходил всех дипломатов».

Приключения мушкетера, о которых рассказывал де Куртиль, показали А. Дюма прекрасным материалом для романического повествования. Надо только исправить погрешности, найти дополнительные сведения о героях и эпохе. И Дюма погружается в источники, изучает исторический материал, читает мемуары других свидетелей минувшего времени.

И вскоре под его пером история ожила, наполнилась плотью. Он не просто перенес на страницы своей книги ее героев, а одухотворил их, сделал полнокровными, жизненными.

Так в романе появляются три славных мушкетера, три храбреца, три друга — Атос, Портос и Арамис. Они служат под начальством благородного командира де Трувиля.

Мало кому известно, что все они существовали на самом деле. Совсем еще юными, они скакали на конях по дорогам Франции, вступали в отчаянные схватки, бились на дуэлях, слыли весельчаками и острословами. Они жили, сражались, любили. Их имена А. Дюма встретил в книге де Куртиля. Но там они отнюдь не были героями повествования. Подробные сведения о них писатель нашел в других исторических источниках. Он узнал, что граф де Трувиль, ранее известный просто как Арно де Пейре, был всего-навсего сыном торговца из Оролона, где и родился в 1598 году. Откуда же у него появилось пышное имя?

Около Оролона, над зелеными равнинами, покрытыми бескрайними полями кукурузы, то здесь, то там поднимаются похожие одна на другую деревенские колокольни: стена, увенчанная треугольной крышей с коньком, как символ Святой Троицы. Цифра «три» встречается здесь буквально повсюду. Из трех частей состоит и городок Труа-Виль — Три города. По воле случая он разделен на три равные части. Чуть поодаль стоит роскошный замок, сооруженный знаменитым архитектором Мансаром.

После того как сын торговца из Оролона купил этот замок, он стал называть себя граф де Трувиль. Но его

честолюбие не было удовлетворено. Он мечтал служить в роте королевских гвардейцев. Для этого требовалось немного — подправить документы о дворянстве. Этот небольшой подлог позволил ему вскоре занять, по выражению всесильного королевского министра Кольбера, «самую завидную должность в королевстве» — командира мушкетеров.

Трувиль действительно пользовался большим влиянием при дворе. Славился он и способностью с одного взгляда распознавать искусного фехтовальщика и стремлением вербовать в свою роту самых храбрых офицеров. Благодаря его покровительству в число мушкетеров был принят в 1640 году Арман де Селлек. Этот юноша, являвшийся племянником де Трувиля, носил имя сеньора д'Атоса — по названию небольшого местечка, когда-то греческой колонии, около города Советтр-де-Беарн. Однако он никогда не был участником приключений, героем которых сделал его А. Дюма. Известно, что он был смертельно ранен во время стычки у рынка Пре-о-Клерк и умер некоторое время спустя — 21 декабря 1643 года...

Родственником де Трувиля был и Анри Арамиц, тоже гасконец. Вторая жена командира мушкетеров была урожденной д'Арамиц. Писатель переделал эту фамилию на — Арамис. Вопреки А. Дюма этот герой никогда не был епископом, а являлся светским аббатом. До наших дней от его аббатства сохранился серый каменный портал, увенчанный стрелой свода. Сюда близкий друг д'Артаньяна, неизменный его соратник по битвам и дуэлям, Арамиц удалился в 1655 году, после пятнадцати лет военной службы. Жил он и в долине Бартон, где неподалеку от Ларена в Пиренеях, на скале, громоздился великолепный его замок.

Что касается третьего мушкетера — Портоса, то и его прототип был родом из этих мест. Резиденцией мессира Исаака де Порто, которого романист перекрестил в Портоса, должно быть ради рифмы, служил массивный замок в Ланне — одном из плато, возвышающемся над долиной Барету.

Исаак де Порто, вовсе не такой бедняк, каким его сделал А. Дюма, познакомился с д'Артаньяном во время службы в гвардии. Мушкетером он стал в год смерти Ато-са — в 1643-м, а это значит, что друзья вряд ли сражались рука об руку. Да и все четверо мушкетеров могли быть вместе недолго — всего лишь на протяжении нескольких месяцев 1643 года.

Соединил их на много лет в своем романе Александр Дюма.

Исторические факты служили писателю лишь канвой, на которую он наносил узор собственного вымысла. Когда же его упрекали в том, что он извращает историческую достоверность, А. Дюма отвечал: «Возможно, но история для меня — только гвоздь, на который я вешаю свою картину».

Впрочем, что касается д'Артаньяна, то, по утверждению его земляков-гасконцев, он был еще более героической личностью, чем смог себе вообразить романист. Факты его необычной биографии, известные нам сегодня благодаря розыскам историков и литературоведов, действительно свидетельствуют об исключительной судьбе этого человека. Его история, говорят в Гаскони, правдива, как вымысел, и невероятна, как сама жизнь.

ЗАМОК КАСТЕЛЬМОР И ДЕРЕВУШКА АРТАНЬЯН

Близ Пиренейских гор расположена столица древней Гаскони — Ош. Некогда здесь находилось эберийское поселение. В первом веке до нашей эры легионы римского полководца Красса, сподвижника Цезаря, прошли с огнем и мечом по этим землям, подчинив непокорные территории. И поныне о тех далеких днях напоминает дорога, построенная римскими воинами.

Со временем город Ош, возникший на бойком месте — пути в соседнюю Испанию, стал форпостом на южных границах Франции. Не случайно, видимо, на его гербе изображены ягненок и лев: первый — олицетворение покорности сеньора, второй — воплощение мужества и отваги в борьбе с врагами. И еще город Ош славится великолепным органом, созданным в конце XVII века. Вот и все достопримечательности, которыми знаменит небольшой городок. И, вполне вероятно, он пребывал бы в забвении, если бы не одно обстоятельство.

Неподалеку от города Ош в местечке Люпиак родился человек, послуживший прообразом знаменитого литературного героя — д'Артаньяна. Поныне существует построенный в XI веке замок Кастельмор, где он жил. Здание сейчас находится в частном владении и, к большой досаде туристов, закрыто для посетителей. А надо сказать, что в последних нет недостатка. В городок, насчитывающий немногим более десяти тысяч жителей, стекается множество любопытных. Они приезжают сюда, чтобы увидеть памятные места, связанные с именем д'Артаньяна. Правда, к их сожалению, кроме замка, где он родился и рос, от тех времен мало что сохранилось.

Строгий по формам замок Кастельмор стоит на берегу Тенарезы. Четыре башни — две круглые, более древние, и две квадратные — возвышаются над кронами дубов и вязов, кольцом опоясывающих здание. Старые его камни прячутся под зеленым плащом из плюща, отчего стены сливаются с листвой деревьев и едва заметны издали с холмов, залитых солнцем.



И сегодня дорожные указатели напоминают о том, что когда-то здесь жили прототипы героев А. Дюма

Предание гласит, что в кухне этого замка году этак в 1620-м родился Шарль де Батц Кастельмор д'Артаньян. Более точную дату установить оказалось невозможным: страница приходской книги с записью о его рождении, как на грех, именно в том месте надорвана.

Отец Шарля не был дворянином, но происходил из старинной и уважаемой фамилии. Он успешно торговал с Испанией и был достаточно богат. Следуя семейным традициям, которые принесла в его дом жена, урожденная Бертран де Батц, отец будущего мушкетера готовил своих сыновей к службе в королевской гвардии. Судьба солдата ожидала и Шарля — младшего сына в семье, имевшего право наследовать лишь имя родителя.

Покинем замок Кастельмор — родовое гнездо доблестных рыцарей и отправимся по направлению к горам. Через несколько километров вы заметите огромный вяз. Словно букет из листвы, он раскинулся над крышами маленькой деревушки Артаньян.

Могучее дерево, в тени которого спасается от полуденного зноя целое стадо коров, так велико, что, пожалуй, и четверо, взявшись за руки, не смогут обхватить его.

Много повидал на своем веку старый вяз, многое помнит.

...Это было давно, лет пятьсот назад. Но и тогда уже он был как Геркулес, покрытый зеленой листвой. Была и деревушка. Земли, расположенные вокруг нее, входили в баронат дворянского рода Монтескью — одного из старейших в королевстве. Во всяком случае они принадлежали этой семье с тех пор, как Полон де Монтескью — конюший Анри д'Альбрета, короля Наваррского, женился на Жакметте д'Эстен — даме из Артаньяна.

После свадьбы молодые пожаловали в свою гасконскую усадьбу. Поездка эта была продиктована деловой необходимостью. Молодой супруг должен был вступить в права владельца усадьбой. Для этого требовалось его присутствие на церемонии «клятвы верности».

Под гигантским зеленым зонтиком, раскрытым высоко в небе, собралась вся деревня. Старики в широких темно-синих беретах тихо переговаривались меж собой на беарнском наречии.

Феодал появился верхом в сопровождении небольшой свиты. Толпа молча смотрела на нового хозяина. Что принесет он: горе, несчастье или (на что надежды было мало) будет великодушным и благородным. Когда же слуга развернул пергамент, стало так тихо, что слышно было, как трепещут над головами листья вяза. Сеньор и его вассалы, сняв береты и преклонив колени, приготовились слушать. «Отныне Полон де Монтескью,— читал слуга,— клянется, что будет вести себя как подлинный феодальный сеньор, остальные должны помнить о том, что они являются вассалами и в свою очередь клянутся вести себя подобающим их положению образом...» Так конюший короля Наваррского стал сеньором д'Артаньяном. Его сын Жан был первым из рода, служившего под именем д'Артаньяна в гвардии Генриха IV.

Шли годы. На краю деревни вырос замок. Поколение сменялось поколением. Но неизменно мужчины из замка уходили служить в гвардию — это стало семейной традицией. А женщины выходили замуж и тоже покидали замок. Чтобы принести супругу приданое, а сыновьям дать право на новое пышное имя. Когда в 1608 году Франсуазу де Монтескью выдали за Бертрана де Батц Кастельмор — богатого купца из Люпиака, она принесла мужу пять тысяч ливров приданого, а их дети получили право на имя — д'Артаньян.

Сегодня от замка в Артаньяне мало что сохранилось. Честно говоря, эти каменные руины трудно даже назвать замком. Время, стихии, пожар сделали свое дело. Остались лишь часть стены, полуразвалившаяся башня, старинная беседка во дворе да колонны на месте бывших ворот. А ведь еще сто лет назад здесь все было по-иному. Один из «прямых потомков» знаменитого д'Артаньяна собрал в небольшой гасконской усадьбе целый музей. Пор-

треты предков, знамена, «отнятые у врага», гербы, оружие. Но культ прославленного предка не принес богатства тогдашнему хозяину замка графу Роберу де Монтескью. Он же полагал, что славу можно наследовать, как и камни старинного замка, и посвятил своему предку восторженные строки:

Благородный солдат, погибший за дело чести,
Я чувствую, что твой благосклонный взгляд склоняется
На лютню, которая наследует твоему высокому мушкету.
Удар шпаги — брат рифмы;
У них одинаковый звук, а поэт и воин
Делят между собой ветви одного лаврового венка.

Но, увы, «старый граф» (так его звали в селении) не унаследовал и малой толики той известности, которой благосклонная судьба наградила д'Артаньяна. Робер де Монтескью умер, как говорят, без гроша в кармане.

После смерти графа дом не раз продавался. Новые владельцы без священного трепета отнеслись к реликвиям, собранным в замке. Коллекция пошла с молотка. А вскоре огромный пожар охватил здание с четырех сторон. Жители деревни говорят с тех пор, что злой рок ожесточился против усадьбы. Теперь охотников приобрести развалины (а они постоянно продаются) найти еще труднее. Крестьянская семья, которая ныне поселилась среди руин, занимается тем, что разводит салат на землях около ручья — притока Ардура. О прошлых владельцах им напоминает лишь мраморный бюст отважного д'Артаньяна — единственный экспонат, сохранившийся из всего собрания Робера де Монтескью.

По этому скульптурному портрету, довольно сильно пострадавшему от времени, трудно представить подлинный облик знаменитого мушкетера. Да, видимо, и сделан он был не с оригинала, а много позже.

СЛУГА И ШПАГА КАРДИНАЛА

Настал день, и кончились ребячьи забавы. Шарлю предстояло стать воином. Но до этого ему, никогда¹ не покидавшему родное гнездо, надо было добраться до Парижа. Путешествие небезопасное в ту пору. Что ожидало его потом? Об этом он, по правде говоря, мало задумывался. В кармане у него лежало рекомендательное письмо — этот волшебный ключ и должен был открыть ему путь к карьере. Но д'Артаньян не был настолько наивен, чтобы всецело поверить в магическую силу этого листка бумаги. Он знал и другое: только мужеством можно пробить себе путь. Кто дрогнет хоть на мгновение, возможно, упустит случай, который именно в этот миг ему предоставила фортуна. Не опасаться случайностей и искать приключений. Этими словами в романе отец напутствует героя книги. Эти же слова мог бы произнести и подлинный отец д'Артаньяна, отправляя сына в Париж, где юноша должен был проходить военную службу.

Совету этому д'Артаньян оставался верен всегда. Храбрости и мужества ему было не занимать, робость и нерешительность были чужды ему, равно как и трусость. Что касается умения пользоваться случаем и извлекать из него пользу для себя, то, как увидим, и в этом он показал себя большим мастером — словом, он, как говорится, был малый не промах.

Молодой всадник, отправляясь на поиски воинской славы, бросил последний взгляд на отцовский дом с дороги, построенной легионерами Цезаря. В Париж он ехал не на жалкой пегой лошаденке, не на кляче, как рассказывает А. Дюма, а на прекрасном скакуне, купленном незадолго до этого на ярмарке в Мансье.

Долгий путь от Оша до Парижа остался позади. Но столица встретила гасконца неприветливо. Рекомендательное письмо было потеряно во время дорожных приключений. Из старших братьев, служивших мушкетерами, один к тому времени погиб, другой — Поль — сражался где-то на

полях Италии. Тем не менее д'Артаньяну удалось через Трувиля поступить кадетом в гвардию.

Не сразу сбылась его мечта о плаще мушкетера. Пройдет еще четыре года, прежде чем его зачислят в личную гвардию короля. А пока что его посылают в действующую армию — лучшую школу для новичка.

Д'Артаньяну не было еще и двадцати, когда весной 1640 года во Фландрии его шпага принесла ему первую славу. Остроумный гасконец оставался верен себе даже на поле битвы. На воротах осажденного Арраса, за стенами которого укрылись испанцы, было написано: «Когда французы возьмут Аррас, мыши съедят кошек». Д'Артаньян умудрился написать поверх «возьмут» — слово «сдадут». Прodelал он это, как говорят, за неимением кисти перьями своей собственной шляпы, обмакнув их в краску.

Гвардейца д'Артаньяна видят всюду, — там, где гремят пушки, раздается звон клинков и бой барабанов, там, где французские войска ведут битвы Тридцатилетней войны. Он сражается под стенами крепостей Эр и ла Байет, первым врывается в форт Сан-Филипп, его видят в рядах штурмующих Перпиньян. Имя д'Артаньяна то и дело мелькает на страницах газет того времени.

В конце 1642 года умер всесильный кардинал Ришелье. Не намного пережил его и король Людовик XIII. Место кардинала занимает ловкий итальянец Мазарини, фаворит регентши королевы-матери Анны Австрийской. Он решает распустить мушкетеров.

Д'Артаньян, к тому времени удостоенный чести быть мушкетером, то есть солдатом личной гвардии короля, оказался не у дел, правда, временно. Каким-то способом, для нас оставшимся неизвестным, ему удастся добиться назначения специальным курьером Мазарини. С этого момента гасконец надолго связывает свою судьбу с новым кардиналом, служит ему верой и правдой не один год. Мазарини нужен именно такой человек — храбрый и преданный, готовый выполнить любое поручение, умеющий хранить тайну.

Отважный курьер скачет во Фландрию, потом мчится в противоположном направлении — в Нормандию, возвращается галопом в Париж. В дождь, холод и снег, не щадя ни себя, ни коня, должен скакать личный курьер кардинала по дорогам Франции. Мазарини плетет интриги и нуждается в людях, которые оповещали бы его о настроениях, были бы ушами и глазами кардинала.

Но политика кардинала одинаково вызывает недовольство как у горожан, так и у знати. Все меньше вокруг Мазарини преданных ему людей. И только д'Артаньян неизменно оказывает важные услуги своему господину. Он остается преданным слугой даже во время вооруженного восстания парижан в августе 1648 года, вызванного жестоким правлением Мазарини.

В эти тревожные дни, когда на парижских мостовых появились баррикады, д'Артаньян решается на дерзкий поступок.

Помните те главы из второго тома эпопеи А. Дюма «Двадцать лет спустя», в которых описан бунт парижской черни. Д'Артаньяну удалось провести карету, в которой сидел бледный от страха кардинал, сквозь заслон вооруженных горожан. А затем было повторение операции только с другими пассажирами — ничего не понимавшими спросонья — юным королем и перепуганной до смерти его матерью Анной Австрийской. Так что рассказывая об этом, А. Дюма несколько не исказил подлинные события, — простой солдат оказался в минуту опасности сообразительнее многих.

Недовольство политикой кардинала продолжало расти. Восстание ширилось. К старым бунтовщикам присоединялись новые. Парламент под давлением народа требует изгнания Мазарини. Его объявляют вне закона и лишают всего имущества.

И снова кардинал тайком вынужден покинуть Париж. Вместе с ним в изгнание отправляется и его верный курьер, его слуга и защитник д'Артаньян.

Опальный кардинал поселился в небольшом городке Брюле близ Кельна. Здесь его часто видят в саду, он уха-

живает за цветами, кажется, бывший всесильный министр отошел от дел, утратил интерес к интригам, забыл вкус власти. На самом деле кардинал и не помышляет складывать оружия. Втайне он вербует новых сторонников, подкупает противников, собирает солдат. У него много дел, много их и у его доверенного курьера, посвященного в замыслы кардинала-изгнанника. Д'Артаньян вновь проводит дни и ночи в седле: колесит по дорогам Германии и Бельгии. Так проходит несколько лет.

Однажды, в начале 1653 года, в Брюль прискакал на взмыленной лошади гонец короля. Достигший совершеннолетия Людовик XIV приглашает кардинала обратно в столицу. Король задумал сосредоточить всю власть в своих руках. Для этого необходимо сломить сопротивление знати. Человек, которого сам Ришелье назначил своим преемником, должен помочь королю стать абсолютным монархом. Мазарини возвращается. Вместе с ним вернулся в Париж и д'Артаньян. Отважного гасконца опередила молва, оценившая его не только как искусного воина, но и как тонкого дипломата и мудрого политика.

НЕ СИЛОЙ, ТАК ХИТРОСТЬЮ

На некоторое время д'Артаньян задержался в Париже. Затем он объявился в Реймсе на церемонии коронации юного короля. А вскоре его видели под стенами осажденного Бордо — последнего очага сопротивления феодальной знати.

Осада занятого мятежниками города, судя по всему, обещала затянуться надолго. Только хитростью можно было вынудить его защитников к сдаче. И д'Артаньян сыграл в этом деле главную роль. Здесь он впервые продемонстрировал свои незаурядные актерские способности: хитростью доставил в осажденный Бордо письмо кардинала с обещанием помиловать всех, кто прекратит сопротивление. Но как ему удалось пронести письмо в город, почему

его не перехватили главари мятежников? Благодаря маскарadu д'Артаньян нарядился нищим. Солдаты разыграли сцену, будто гонятся за ним. А он бежал прямо к стенам осажденного города. Его заметили. Ворота на миг приоткрылись. Нищий прошмыгнул в них. Бледный от только что пережитого страха, он бухнулся в ноги, униженно целовал руки своим спасителям. И никто из них не догадывался, что под лохмотьями нищего спрятано письмо кардинала.

В еще более сложной роли ему довелось выступить во время осады испанцами города Ардра. В документах тех лет имеется описание этого дерзкого предприятия д'Артаньяна.

Ему поручили в одиночку пробраться в осажденный испанским войском город и сообщить его защитникам, что на помощь к ним спешит маршал Тюрени и что им необходимо продержаться до подхода его войска.

Между тем положение осажденных с каждым часом ухудшалось: в городе свирепствовал голод, иссякли запасы продовольствия, были съедены все лошади. Солдаты едва могли отбивать атаки настойчивых испанцев. Не выдержав осады, город с часу на час мог выкинуть белый флаг. Предупредить осажденных о том, что помощь близка, поручили д'Артаньяну.

Но как прорваться сквозь кольцо испанских солдат, как проникнуть в город? Д'Артаньян разработал смелый и, как всегда, хитроумный план.

Для его осуществления ему пришлось одному разыграть спектакль во многих лицах — переодеваться купцом, выдавать себя за слугу, притворяться немощным старцем. Ловко обманув с помощью такого маскарада испанских солдат, действуя, как всегда, смело и решительно, он пробрался к осажденным соотечественникам. Прибыл он, надо сказать, весьма кстати. Губернатор намеревался сдать город.

Что произошло с д'Артаньяном дальше? Вместо того чтобы дожидаться под надежной защитой крепостных стен подхода французских полков, несмотря на уговоры губернатора остаться, нетерпеливый гасконец покинул в тот же день город.

Обратный путь сложился для него менее благоприятно. На этот раз он решил изображать роль дезертира. Однако первый же испанский солдат, встретившийся ему на пути, заподозрил неладное. Мнимого дезертира доставили к командующему испанцев. Здесь в нем опознали французского офицера. Решение было скорое, а приказ лаконичный — казнить. Но счастье и на сей раз улыбнулось д'Артаньяну. Ему удалось бежать.

СЕРЫЕ МУШКЕТЕРЫ

Ускользнув от, казалось бы, неминуемой смерти, храбрый гасконец появился в Париже для того, чтобы вновь надеть широкополую шляпу с перьями и нарядный костюм королевского мушкетера: к тому времени Людовик XIV решил восстановить свою личную гвардию.

Слова эти требуют некоторого пояснения. Шляпа с перьями действительно украшала мушкетеров и прежде. Что же касается общей военной формы, то раньше ее не существовало. Во времена Генриха IV, который, собственно, и учредил придворную роту из дворян, да и позже, уже при Людовике XIII, когда эта личная гвардия короля, насчитывающая сто человек, получила название мушкетеров, формы как таковой у них не было. В те времена мушкетеры одевались кто во что горазд, сообразно своему собственному вкусу, моде, а главное кошельку. Одинаковым у всех был один только короткий плащ. Поэтому Портос в романе Дюма мог появиться в отличающемся от остальных костюме, что не вызвало ни у кого недоумения. А у командира гнева.

После восстановления в 1657 году Людовиком XIV роты мушкетеров число их было увеличено до ста пятидесяти человек. Тогда же ввели и обязательную для них форму. По-прежнему это была личная гвардия короля, которая состояла из знатных дворян, известных своей доблестью и храбростью.

Капитаном роты считался сам король. Фактическим же ее командиром был капитан-лейтенант. Кроме того, в роте

числился лейтенант, корнет, два сержант-майора, квартирмейстер-сержант, трубач и кузнец. Последний играл немаловажную роль, если учесть, что рота мушкетеров была конной. Обычно они несли службу внутри дворца, сопровождали короля во время его выездов. По двое, голова в голову, эскорт из мушкетеров скакал впереди королевского кортежа. «Поистине это прекрасные воины, — писала газета того времени, — великолепно одетые. На каждом — синий плащ с серебряной перевязью и такими же галунами. Только дворянин, человек исключительной храбрости, допускается в их ряды...» К этому описанию следует добавить, что камзолы на мушкетерах были алые, а масть лошадей серая. Их так и называли — Серые мушкетеры. Позже была создана вторая рота, получившая название Черных мушкетеров.

Сначала мушкетеры жили рядом с королевским дворцом. Но потом те, что были побогаче, стали селиться и в других частях города, нанимая жилье за свой счет. Были среди мушкетеров и такие, кто, кроме длинного дворянского имени и шпаги, не имел за душой ни гроша. Этим приходилось довольствоваться жалованьем — 35 су в день. Мушкетеры, правда, пользовались особыми привилегиями, в частности, они не платили налогов.

Выход из бедности многие из них находили в женитьбе. Решился, наконец, на этот шаг и д'Артаньян. До сих пор он слыл заядлым сердцеедом, славился своими победами не только над врагами, но и над слабым полом, взяв в плен не одно женское сердце. Однако весьма скромный достаток не позволял ему подражать богатым друзьям, владельцам поместий и солидных доходов. Стоит ли говорить, что самолюбие прославленного мушкетера было уязвлено. Особенно нехватка средств сказывалась теперь, когда он стал лейтенантом: ведь по обычаю, заведенному издавна, мушкетер сам должен был заботиться о своем наряде, лошади, сбруе и прочем снаряжении. Казна выдавала ему лишь мушкет. Помните, как Атос, Портос и Арамис были озадачены, когда им понадобилось немедленно приобрести все принадлежности экипировки мушкетера. Для этого требовалась изрядная

сумма, а ее-то у них и не было. Друзья слонялись по улицам и разглядывали каждый булыжник на мостовой, словно искали, не обронил ли кто-нибудь из прохожих свой кошелек. Но все было тщетно до тех пор, пока одному из них не пришла мысль обратиться к помощи своих богатых возлюбленных. И дело быстро устроилось. В ту эпоху это не считалось позорным, а, напротив, казалось простым и вполне естественным, говорит Дюма, и юноши из лучших семей бывали обычно на содержании у своих любовниц.

Нечто подобное произошло и с д'Артаньяном. Он тоже нуждался в экипировке, и ему тоже помогла женщина.

Как-то у палатки д'Артаньяна остановилась великолепная коляска. Из нее вышла дама, лицо ее скрывала густая вуаль. В таинственной незнакомке мушкетер узнал свою возлюбленную — богатую вдову. Прослышав о затруднении, которое испытывает ее избранник, она, не желая, чтобы он подвергся унижению, решила полностью экипировать своего кавалера. Напрасно д'Артаньян протестовал, энергичная вдова не только не слушала его, она лично примеряла на нем камзол, давая указания портному. Благодаря ее заботам на ближайшем смотре д'Артаньян своим блестящим видом обратил на себя внимание самого короля.

Понятно, что женитьбе д'Артаньян придавал особое значение. Ему, не имевшему права на долю в отцовском наследстве, приходилось, как и всем младшим сыновьям в знатных семьях, самому добиваться богатства.

Избранницей д'Артаньяна стала Шарлотта-Анн де Шанлеси, дама из Сен-Круа. На церемонии бракосочетания 5 марта 1659 года присутствовали сам Луи Бурбон, король Французский и Наваррский, кардинал Мазарини, маршал де Грамон и многие придворные, их жены и дочери.

Наконец-то Шарль д'Артаньян разбогател — около ста тысяч ливров годового дохода принесла ему женитьба на знатной девице. Походную палатку заменил роскошный двухэтажный особняк на улице Бак. А вместо резвого скакуна появилась громоздкая карета с сиденьем, обитым, согласно моде, зеленым вельветом в цветочек и с такими же

зелеными занавесками. Подобные неуклюжие махины, без рессор и поворотного круга, отчего на ухабах пассажиров то и дело подбрасывало, были еще в диковинку. Приобрести такую новинку могли позволить себе немногие. Но чета д'Артаньянов не стеснялась в средствах.

И все же, несмотря на достаток и даже роскошь, жизнь супругов после свадьбы сложилась неудачно. Ремеслом д'Артаньяна была война. Ему недолго пришлось оставаться в своем особняке. Очень скоро он покинул дом для новых ратных дел. С тех пор видеть жену ему приходилось редко. За шесть лет лишь два раза побывал он дома. В письмах к ней он оправдывался: «...война, моя милая, долг превыше всего». Его супруге такая жизнь скоро стала невмоготу. Она покинула дом на улице Бак и вместе с двумя детьми уехала в свое родовое поместье.

УСЛУГА КОРОЛЮ

Тем временем д'Артаньян выполнял важное и ответственное поручение короля. Он сопровождал его во время поездки в замок Во — владение всесильного министра финансов господина Фуке.

Роскошь и великолепие в сочетании с тонким вкусом и изяществом отличали это необыкновенное по тому времени поместье.

На воротах замка красовался герб хозяина — белка и был высечен девиз: «*Quo non ascendam*» — «Куда я только не влезу». Слова эти как нельзя лучше характеризовали министра. Фуке действительно достиг многого. Но особым его вниманием пользовался государственный карман. Необыкновенно ловкий, умный и хитрый, Никола Фуке, поставленный при Мазарини во главе финансов, частенько запускать руку в казну. Не удивительно, что жил он на широкую ногу. На его замок, сооруженный в 1653 году, было затрачено 15 миллионов, строили его лучшие мастера — архитектор Лево, художник Лебрэн, непревзойденный создатель парков Ле-

нотр, при жизни признанный великим садовником. Хозяин разыгрывал из себя мецената, и здесь частыми гостями были известные писатели: Расин, де Севинье, Лафонтен, Мольер; подолгу гостили знаменитые актеры и мастера кисти. Стены замка украшали дорогие картины, а в библиотеке, насчитывающей более десяти тысяч томов, хранилось немало уникальных изданий. Но чудом из чудес были парк и сады замка Во, возникшие задолго до красот Версаля. Мраморные гроты, зеркальные пруды и каналы, шумные каскады и фонтаны, в ту пору весьма редкие, бронзовые и мраморные скульптуры — словом, здесь была роскошь, такое богатство, какого не мог себе позволить даже король. В замке «столы спускались с потолков; слышалась подземная, таинственная музыка и, что наиболее поразило гостей,— десерт явился в виде движущейся горы конфет, которая сама собою остановилась посреди пирующих, так что невозможно было видеть механизма, приводившего ее в движение», — пишет А. Дюма в своей книге «Людовик XIV и его век».

Неудивительно, что вся эта пышность, сказочное богатство, которое не могло не поразить воображение, вызвали у Людовика лишь зависть и ненависть. Как мог Фуке дерзнуть превзойти короля, того, кто считал, что как одно солнце в небе, так и один король во Франции?! Участь министра была решена. Зарвавшегося вельможу ждала темница. Арестовать Фуке король поручил д'Артаньяну. Ордер на арест был собственноручно вручен им гасконцу, человеку исполнительному и преданному долгу.

Д'Артаньяну помогали пятнадцать мушкетеров, и вся операция обошлась без осложнений. Правда, Фуке, заметивший недоброе, попытался бежать в чужой карете. Но д'Артаньян, не спускавший с него глаз, разгадал его план. Недолго думая, он ринулся за каретой, в которую сел Фуке, догнал ее, арестовал министра и предложил ему пересест в заблаговременно приготовленную карету с железными решетками. Весь этот эпизод, описанный в последней части романа Дюма «Виконт де Бражелон», приобрел под пером писателя несколько иной вид. С вол-

нением мы следим за погоней, скачками и борьбой, занимающей несколько страниц книжного текста.

Под охраной мушкетеров, в той же самой карете с решетками опальный министр был доставлен д'Артаньяном в крепость Пигнероль. За удачно проведенную операцию король предложил д'Артаньяну должность коменданта этой крепости. На что мушкетер ответил: «Я предпочитаю быть последним солдатом Франции, чем ее первым тюремщиком».

ЛЮБИМЕЦ СЛАВЫ

Дерзкая смелость и находчивость, но еще более любовь Фортуны возвели отчаянного искателя приключений на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом. По ней д'Артаньян взлетел, шагая через три ступеньки.

Должность тюремщика была не по нем. Но получить пышный придворный титул и отныне к своему имени добавлять слова — «смотритель королевского птичьего двора» — это вполне отвечало самолюбию мушкетера. Тем более что должность «смотрителя королевского птичьего двора» была чисто номинальной и не требовала ровным счетом никаких трудов и знаний, зато доход приносила изрядный. Но, как видно, этого было мало тщеславному царедворцу. Пользуясь благосклонностью самого короля, д'Артаньян отважился самовольно присвоить себе титул графа. Как ни странно, это сошло ему с рук. При дворе сделали вид, что не заметили наглости королевского любимца. Да и кто посмел бы возмущаться поступком д'Артаньяна, когда со дня на день ожидали назначения его командиром личной гвардии короля, когда сам Людовик обращался к своему мушкетеру не иначе как со словами «любимый д'Артаньян», и заверял своего любимца: «Я сделаю все возможное как для тебя лично, так и для твоих мушкетеров».

И наконец д'Артаньяна назначают командиром мушкетеров. Это был едва ли не беспрецедентный случай, когда рядовой солдат дослужился до командира гвардии короля.



Один за всех и все за одного.

Кадр из к/ф «Д'Артаньян и три мушкетера» (1972)

А вскоре новая война с испанцами призвала д'Артаньяна на поле боя. Командир мушкетеров отличился при взятии города Лилля летом 1667 года. За это его назначают губернатором этого города. Как справлялся наш герой с новыми, непривычными для него обязанностями? По свидетельству современников, он правил справедливо и честно. Правда, пробыл он в должности губернатора всего лишь год. А затем снова война. И снова д'Артаньян в седле.

Вместе с армией, которой командовал маршал Тюренн, обе роты мушкетеров выступили во Фландрию. Летом 1673 года 40-тысячная французская армия начала осаду крепости Маастрихт на Мозеле. Участвовали в осаде и мушкетеры д'Артаньяна. Не раз пробивались они к самым стенам города, успешно сражаясь за форты, прикрывавшие подходы к нему.

Особенно жарко было вечером 24 июня. Пятьдесят французских орудий осветили небо сильнейшим фейерверком. И сразу же триста гренадеров, две роты мушкетеров

и четыре батальона регулярных войск ринулись в атаку. Несмотря на плотный огонь, мушкетерам д'Артаньяна удалось ворваться в траншею противника и занять один из фортов.

На рассвете командир мушкетеров обходил своих солдат, шутил, готовил отряд к контратаке противника. Но удержаться на занятых позициях не удалось. Мушкетерам пришлось отступать под ураганным огнем. Восемьдесят человек было убито, полсотни ранено. Этот бой стал последним и для их командира.

На поиски его тела отправилось несколько добровольцев. Под огнем они поползли к форту, где еще недавно кипел бой. Д'Артаньян лежал среди груды тел, он был мертв. Пуля от мушкета пробила ему гортань. С большим риском его тело удалось отбить и доставить в расположение своих войск.

О смерти «храбрейшего из храбрейших» писали газеты, поэты посвящали ему стихи, его оплакивали солдаты и дамы, простолюдины и вельможи. Многие отдали дань уважения отважному воину, но лучше всех, пожалуй, сказал о нем Сен-Блез: «Д'Артаньян и слава покоятся под одним саваном».

* * *

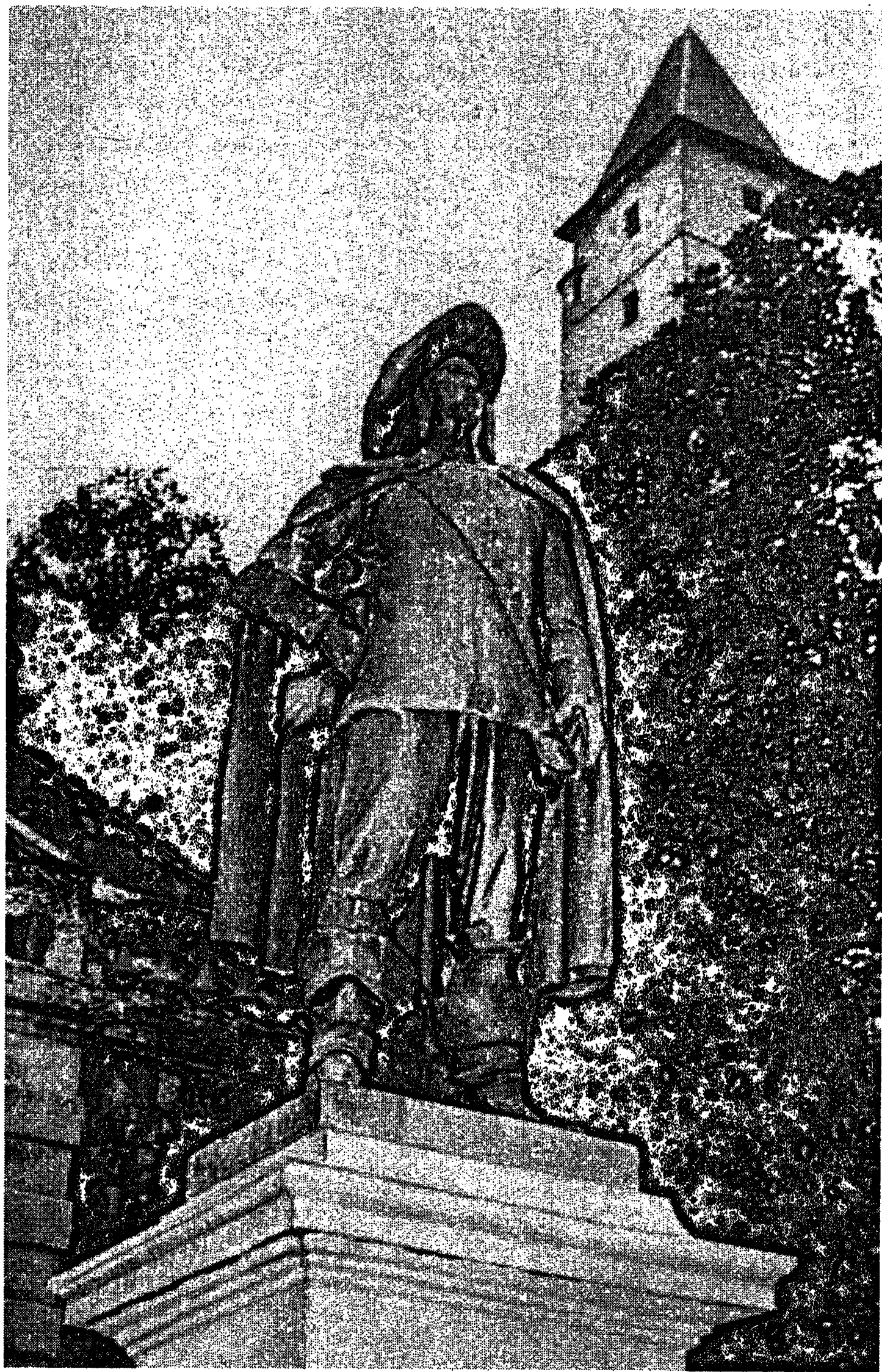
Если сопоставить события, описанные в книге де Куртиля, с повествованием А. Дюма, то легко убедиться, какие исторические факты служили писателю «гвоздем» для его «картины». Сама же «картина» была исполнена в свободной манере. Писатель достаточно вольно обошелся с подлинной историей знаменитого мушкетера. Его рассказ не только следует за историей, но и развивает и дополняет ее. Историческая достоверность сюжета, скрупулезное изложение фактов мало занимали автора приключенческого повествования. Но мы не осуждаем писателя за игру его воображения, свободное обращение с событиями из жизни реального д'Артаньяна, благодаря которым герой превратился из помощника и доверенного лица Мазарини в его ненавистного врага, не отправился в изгнание за кардина-

лом, а вернулся на страницы книги, чтобы участвовать во множестве новых приключений, получил чин лейтенанта намного раньше, чем это было на самом деле и т. д. и т. п. Напротив. Мы признательны автору за то, что он дал д'Артаньяну вторую, не менее яркую жизнь и что среди наших любимых литературных героев есть д'Артаньян, именно такой, каким создала его гениальная фантазия писателя — храбрый, умный, справедливый, верный слову и дружбе, находчивый в бою, благородный в любви, умевший защитить слабого и наказать обидчика.

В отличие от героя А. Дюма, реальный д'Артаньян так и не стал маршалом Франции. Этой чести вскоре после гибели командира мушкетеров был удостоен его двоюродный брат граф Пьер де Монтескью. Что касается родных братьев д'Артаньяна, то они принимали участие почти во всех войнах, которые вела Франция во второй половине XVII века. Один из них — Пьер — носил титул «сеньор д'Артаньян», то есть владел родовым поместьем. Про него Сен-Симон в своих мемуарах говорит, что он умер, когда ему было далеко за сто лет. Младший брат Жан был известен под именем капитана Кастельмора.

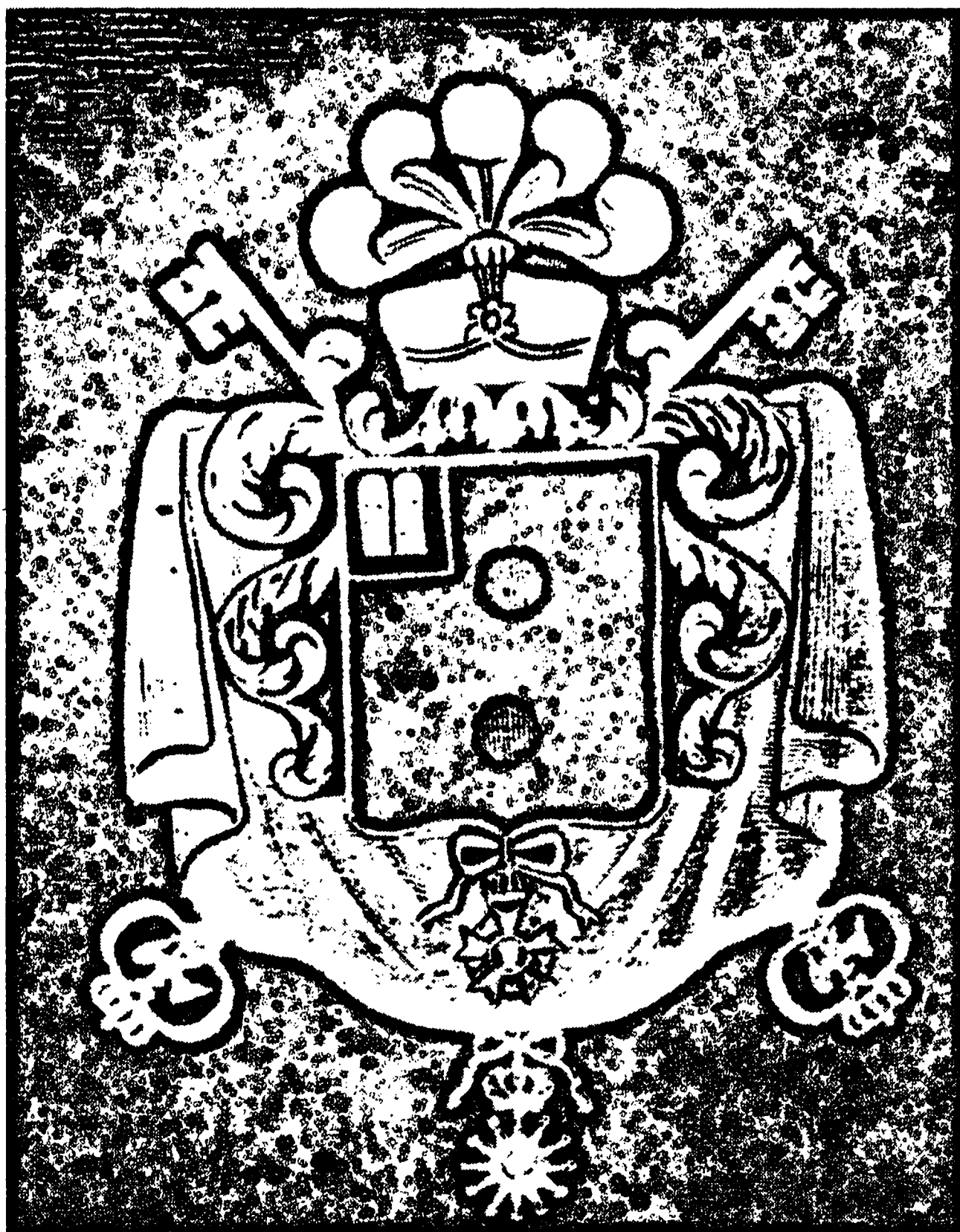
Род этот до сих пор существует во Франции — последний его отпрыск герцог де Монтескью выпустил книгу «Подлинный д'Артаньян». В ней он пытается поставить историю с ног на голову и доказать, что единственный, кто заслуживает памяти потомков, — это маршал Пьер де Монтескью — самый будто бы знаменитый предок в роде д'Артаньянов-Монтескью.

В наше время появились и другие исследования, посвященные герою трилогии А. Дюма. Книги такого рода выходят не только во Франции, но и в других странах. Образ д'Артаньяна привлекает историков и литературоведов. Одни видят в нем типичного представителя своей эпохи, тот алмаз, в котором сфокусированы наиболее характерные ее черты. Других занимает вопрос о соотношении правды и вымысла в романах А. Дюма, они пытаются постичь психологию творчества знаменитого писателя.



*Памятник, передающий черты отважного мушкетера
и литературного героя, пережившего в веках своего прототипа*

Издавна образ д'Артаньяна привлекает и художников. Поклонники мушкетера не раз встречались со своим любимым героем не только на страницах книг А. Дюма. Они видели его в пьесах и опереттах, на экране кино. А те из них, кто побывал на его родине в городе Ош, могли любоваться величественной фигурой доблестного гасконца, отлитой в бронзе. В этом памятнике, воздвигнутом здесь в 1931 году, воплотились черты отважного мушкетера и литературного героя, пережившего в веках своего прототипа.



Герб рода Монтескье-д'Артаньяна

СЛАВА И ПОЗОР БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА



ВО ЛЖИ ИСТИНА

Кто не знает достославного барона Мюнхгаузена! С его необыкновенными приключениями мы знакомимся еще в детстве. На всю жизнь нам запоминается образ находчивого барона, заядлого охотника и путешественника, отчаянного вралю, лгуна из лгунов, фантазера из фантазеров, которому едва ли найдется равный в мировой литературе. Его ложь — это не ложь Хлестакова, у которого в мыслях легкость необыкновенная, это не бахвальство шекспировского Фальстафа, фонвизинского Вральмана, это не порожденные спесью мещанина выдумки Тартарена или небылицы остроумца француза барона Крака — героя книги Коллена Д'Арлевиля, и, наконец, это не необузданное хвастовство шутника Дейва Крокета — самого известного персонажа американского фольклора, у которого, впрочем, был вполне реальный прототип. Хотя все эти герои — меньшие братья Мюнхгаузена и «вышли из рукава его камзола». Мюнхгаузен лжет по врожденной привычке, лжет самозабвенно, сам искренне веруя в свои рассказы. Недаром на его гербе, на котором великолепный иллюстратор мюнхгаузениады Густав Доре изобразил топорик, уток, колесо и бутылку, красуется девиз, написанный, как принято в геральдике, по-латыни: «Mendace veritas» — «Во лжи истина». Говорят, что самая опасная ложь та, в которую автор сам искренне верит. У медиков даже существует такое определение, как «Синдром Мюнхгаузена» — склонность к патологической лживости. Но барон Мюнхгаузен превосходит своих литературных собратьев не столько тем, что он возвеличивает ложь, сколько, тем, что мастерски разо-

блачает этот порок. Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи, выступает в роли обличителя. Автор небольшой книжки, появившейся впервые почти 200 лет назад в букинистических лавках Лондона, немец Рудольф Эрих Распе, именно так и определял морально-воспитательное значение своей сатирической пародии на вралей и хвастунов.

С тех пор имя героя этой книжки стало давно уже нарицательным. И сегодня, когда мы видим, что фантазия собеседника слишком разыгралась и вышла из берегов реальности, мы нередко говорим: «Ты настоящий Мюнхгаузен».

Но, часто вспоминая имя героя всемирно известной веселой книжки, мы и не догадываемся о том, что Распе вывел на страницах своей сатиры реальную личность, что существовал подлинный, во плоти и крови, живой прототип славного барона Мюнхгаузена. В этом легко убедиться, посетив небольшой уютный городок Боденвердер.

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

Река Везер, изогнувшись около Боденвердера словно цифра «три», медленно несет свои воды мимо кудрявых склонов. По берегам на вершинах зеленых гор, как часовые, высятся старинные рыцарские замки — неприступные когда-то оплоты феодалов.

Если подняться на башню Бисмарка, руины которой громоздятся на горе Экберг, и обратить взор к югу вверх по течению реки, вы увидите, как на ладони, утопающий в зелени городок. Это и есть Боденвердер, возникший в XIII веке на месте маленькой деревеньки. С башни Бисмарка можно разглядеть главную улицу, пристань, мост и железнодорожную станцию, здание водной лечебницы и кирху старинного монастыря Кемнадэ, построенного тысячу лет назад.

Места эти издавна славились охотой. Еще двести лет назад в окрестных лесах часто раздавались голоса охотничьих рожков. В перелесках и зарослях, где, по преданию,

король Генрих, прозванный Птицеловом, расставлял когда-то свои силки, проносились своры борзых, скакали всадники, размахивая арапниками и оглашая чащу гиканьем и криками.

Самым заядлым из местных охотников был тогда владелец старинного поместья в Боденвердере. Целые дни проводил он в седле, гоняясь за дичью. А по вечерам, после удачной охоты, у него собирались друзья, соседи и знакомые, чтобы распить бутылку вина, поболтать, а главное — послушать рассказы владельца поместья об удивительных приключениях, случавшихся с ним на охоте и во время путешествий.

Обычно хозяин приглашал гостей в павильон, построенный им в 1763 году на склоне в саду, усаживался в кресло, раскуривал пенковую трубку и, прихлебывая из бокала пунш, который не забывал ему подливать стоявший рядом слуга, начинал рассказывать. Это был подлинный мастер импровизации. По мере того как он воодушевлялся собственным повествованием и дым из трубки струился все гуще, лицо его преображалось, руки становились более беспокойными, и маленький паричок начинал приплясывать на его голове то ли от сотрясений, вызванных жестикуляцией, то ли от того, что, увлекаясь, рассказчик непрестанно почесывал в затылке. Постепенно его повествование покидало берега реальности и челн воображения устремлялся в море безбрежной фантазии. Правда незаметно переходила в ложь, истинное перемешивалось с вымыслом. Однако природная наблюдательность, меткие характеристики, живой юмор и дар красноречия рассказчика увлекали слушателей. Иные внимали ему, развесив уши. Другие, те, кто был менее доверчив, посмеиваясь в душе над хвастовством охотника, отдавали должное искусству барона Мюнхгаузена, ибо это был он собственной персоной, такой, каким предстает перед нами в воспоминаниях современников, Иероним Карл Фридрих Мюнхгаузен, послуживший прототипом персонажа прославленной книги.

За два столетия в Боденвердере мало что изменилось. Великий гример — Время — едва прикоснулся к городу своей рукой, оставив повсюду приметы старины, осколки былого. Если про Веймар говорят, что это город «домов» — здесь сохранились дома Гете и Шиллера, философа Гердера, художника Кранаха, композитора Листа, поэтов Ницше и Виланда, то Боденвердер — город одного «дома». Его главная достопримечательность — усадьба, где жил знаменитый барон Мюнхгаузен. В любом справочнике Боденверден так и обозначен, как «родина Мюнхгаузена», а на туристских проспектах рядом с городским гербом неизменно красуется летящий на ядре приветливо улыбающийся барон — символ города, его рекламная вывеска, привлекающая туристов.

В старинном доме, окруженном тенистым вековым парком, сейчас находится музей Мюнхгаузена. Около здания памятник-фонтан: Мюнхгаузен сидит на лошади, заднюю часть которой, как вы помните, отсекло во время жаркого боя: «Поэтому вода вытекала сзади по мере того, как она поглощалась спереди, без всякой пользы для коня и не утоляя его жажды». До наших дней сохранился и павильон Мюнхгаузена, где он имел обыкновение за бутылкой вина рассказывать свои истории. Немного на свете таких уголков — музей в честь литературного героя! Впрочем, это не совсем точно. Музей этот особый. Он посвящен прототипу героя книги — настоящему Мюнхгаузену, приобретшему известность, однако лишь благодаря своему литературному тезке.

Внутри дома старинная мебель, стулья с ножками, вогнутыми, как лапки таксы, подвешенные на цепях огромные из оленьих рогов люстры. Всюду охотничьи трофеи барона, старинные доспехи и мечи времен крестоносцев. Это оружие предков барона — потомка воинственного рыцаря Гейно, участника походов в Палестину в начале XIII века под знаменами германского императора Фридриха II. Стены разрисованы эпизодами из жизни Мюнхгаузена. Огромная роспись: Мюнхгаузен со шпагой в руке несется

на своем горячем скакуне в атаку во главе отряда конников. Рядом — эпизод охоты на медведя: бесстрашный барон один на один с рассвирепевшим зверем; Мюнхгаузен в форме кирасира и даты его жизни: 1720—1797. Повсюду книги. Заядлый охотник барон был не менее страстным книголюбом. Его экслибрис, выполненный с большим мастерством, хорошо известен коллекционерам книжных знаков.

На одной из стен — изображение фамильного герба Мюнхгаузенов. Конечно, он ничем не походит на герб литературного Мюнхгаузена, придуманный Густавом Доре, а изображает путника с фонарем и посохом в руке, как бы отправившегося на поиски истины. Хранятся в этой комнате и подлинные вещи барона. Особенно ценные среди этих реликвий (они лежат в стеклянном шкафу): пенковая трубка — неизменная спутница вдохновений барона, его походный сундучок и пушечное ядро. Для маловеров оно, видимо, должно служить «вещественным доказательством» правдивости рассказа фантазера барона о том, как верхом на ядре он вернулся целым и невредимым из «воздушной» разведки. Здесь же можно увидеть офицерскую сумку, пороховницы и даже пистолет, возможно, именно тот, как полагают доверчивые посетители музея, из которого находчивый барон выстрелил в недоуздок своей лошади, привязанной к колокольне. И таким образом благополучно вернул себе коня, чтобы продолжать путешествие в Россию.

Что касается последнего факта, то это истинная правда. Мюнхгаузен действительно совершил поездку в Россию, прожил здесь много лет, сражался на стороне русских против турок и шведов и был отмечен наградами за проявленную храбрость. Для нас эта сторона биографии барона представляет особый интерес.

Конечно, в Санкт-Петербург Мюнхгаузен въехал отнюдь не бешеным галопом и вовсе не в санях, а в начале лета 1733 года. Юный барон — ему минуло тогда лишь тринадцать лет — прибыл в столицу России в свите столь же

юного герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Произошло это после того, как императрица Анна Иоанновна избрала герцога женихом для своей племянницы принцессы Анны, царствование которой на русском престоле впоследствии оказалось столь кратковременным.

Мюнхгаузен состоял пажом при Антоне Ульрихе, почти совсем еще мальчишке, не отличавшемся ни внешностью, ни умом, про которого русский фельдмаршал Минних (кстати сказать, упоминаемый в книжке Распе) говорил, что не знает, «рыба он или мясо». Судьба его, как и его супруги, будет печальной. Пережив жену и сына Иоанна, наследника русского престола, задушенного в Шлиссельбургской крепости в 1764 году, он умрет десять лет спустя в заточении слепым, измученным, уставшим от жизни стариком. Но тогда, в первые дни приезда в чужую страну, будущее представлялось ему не таким мрачным. Не успел этот отпрыск римских кесарей прибыть в Россию, как тотчас же ее величество издает указ о переименовании бывшего Ярославского драгунского полка в Брауншвейгский кирасирский. Анна Иоанновна, как известно, благоволила больше ко всему иноземному, чем к русскому. Антон Ульрих назначается шефом этого соединения. При чем при комплектовании сего полка отныне «дозволено было принимать в оный курляндцев и иноземцев, годных к службе, кои изъявляли на то свое желание».

Надел на себя мундир этого полка и молодой Мюнхгаузен. Теперь он щеголял по Петербургу в лосинах, колете и перчатках, в красном камзоле и таком же красном плаще, с подбоем из синей байки. На шее, прикрытой воротником василькового цвета, красовался кожаный галстук, коса парика была оплетена черной муаровой лентой. На ботфортах позвякивали шпоры, на боку бренчала шпага, патронная лядунка из черной кожи с медными овальными бляхами и вензелем императрицы. Для боевого костюма полагалась еще вороненая железная кираса, одеваемая на грудь. Мундир этот, подобно пропуску, дал возможность Мюнхгаузену проникнуть в высший свет. Это было тем

более кстати, что юного любознательного немца интересовали различные стороны жизни «изумительной столицы России» того времени: образ правления, искусство, науки. Вскоре он оказывается в курсе придворных интриг, становится участником веселых приключений праздной молодежи. Не одну ночь провел барон под звон полных бокалов за игорным карточным столом, не раз участвовал в веселых холостяцких пирушках. Но обо всем этом барон не будет распространяться впоследствии. И не столько из-за скромности, сколько из-за того, что его занимали в то время дела «более важные и благородные». Больше всего его интересовали лошади и собаки, лисицы, волки и медведи, которых в России, по его словам, такое изобилие, что ей может позавидовать любая другая страна на земном шаре. Ну и, конечно, еще дела рыцарские, славные подвиги, «которые дворянину более к лицу, чем крохи затхлой латыни и греческой премудрости».

Понюхать пороха ему пришлось довольно рано. Семнадцатилетним юнцом в чине корнета он в 1737 году отправляется вместе с русской армией в поход против турок. Участвует в штурме Очакова — по тому времени грозной, почти неприступной крепости. Взять ее было нелегко. В день решающего штурма под Антоном Ульрихом, рядом с которым находился Мюнхгаузен, убило лошадь, один из приближенных герцога получил тяжелое ранение, был убит паж, другой — ранен. Наконец, на третий день приступа турки выбросили белый флаг. «Нет примера, чтобы столь сильная крепость с достаточным гарнизоном сдалась в столь короткий срок», — было записано в журнале кампании. После ее окончания вместе с полком Мюнхгаузен попадает в Ригу. И здесь становится свидетелем и участником еще одного события.

Вьюжным февральским днем 1744 года цербская принцесса Софья и ее мать подъезжали к Риге. Зима была холодная, но бесснежная, поэтому ехали в колесной кибитке. В Риге пятнадцатилетняя принцесса, путешествовавшая до этого под маской графини Рейнбек, должна была пере-

сесть в удобную карету и, получив эскорт, следовать дальше в Россию, где через несколько лет она взойдет на престол под именем Екатерины II.

Когда кибитка с высокой гостьей переехала по льду Двины, из крепости грянул пушечный залп. Будущую императрицу на границе России встречали пышно и торжественно — звоном литавр и боем барабанов. Гоф-фурьеры, кирасиры и почетный караул приветствовали ее. Салютовал ей и начальник караула барон Мюнхгаузен.

А еще через несколько лет, в 1750 году, Мюнхгаузен получит чин ротмистра, в патенте на который будет записано много лестных слов о его военных заслугах, а также о том, что он «никогда не сидел в тюрьме и к тому же умеет читать и писать». Но именно в этот момент наш герой затоскует по родному Боденвердеру. А если учесть, что незадолго до этого барон женился на дочери судьи Якобине фон Дуттен, то особенно понятно его стремление домой к семейному очагу. Недолго думая, он выходит в отставку и покидает Россию.

И вот он уже в родовом поместье на берегу тихого Везера. Столь же тихо и безмятежно отныне течет его жизнь. Бывший кирасир занялся сельским хозяйством, управлял имением и предавался своей страсти — охоте, благо окрестные леса были так богаты тогда разной живностью. А по вечерам рассказывал гостям полные безобидного хвастовства и выдумок истории о своих приключениях в России.

Походил ли в этом подлинный барон Мюнхгаузен на литературного? Если обратиться к свидетельствам современников, то мы увидим, что барон не прочь был прихвастнуть, любил поражать слушателей необычными рассказами о своих охотничьих и военных подвигах. Короче говоря, как и герой известной басни Крылова, наш барон «из дальних странствий возвратясь», частенько хвастал «о том, где он бывал, и к былям небылиц без счету прилычал».

Однако сохранившиеся свидетельства говорят также и о том, что барон Мюнхгаузен был далеко не заурядным

рассказчиком, подлинным мастером импровизации. В знакомом нам павильоне, окруженный гостями, слугами и любимыми собаками, призывая верить совести честного охотника, барон начинал рассказывать...

Однажды майским вечером 1773 года у барона, как обычно, собралась компания друзей и приезжих. Хозяин, только что вернувшийся с удачной охоты, был в прекрасном расположении духа, истории одна занимательнее другой так и лились из его уст.

Однажды в число слушателей попал гость в красном мундире — судя по костюму, приближенный одного из бесчисленных в то время немецких князьков. Это был тридцатилетний Рудольф Эрих Распе, служащий при дворе Фридриха Второго, ландграфа Гессен-Кассельского. Или, как он официально представился, княжеский советник, хранитель древностей и заместитель-библиотекарь, профессор античности в кассельском колледже Карла Великого. Выполняя задание своего ландграфа, Распе совершал поездку по монастырям, отыскивая манускрипты и памятники старины. Это и привело его в Боденвердер, неподалеку от которого был расположен древний монастырь Кемнадэ.

Так встретились два человека, имена которых ныне стоят рядом: Распе и Мюнхгаузен.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ

Десятки имен немецких писателей XVIII столетия смотрят на нас с книжных полок. Среди них Распе мало приметен, он как бы притаился в тени гениев своей эпохи, и слабый огонек его известности скорее тлеет и дымится, чем горит в полную силу.

Плодовитость его как литератора была невелика. Все, что им написано, включая прозу, стихи, пьесу, статьи по искусству, научные работы, — сегодня предано забвению. И только одна небольшая книжка — плод его таланта сатирика, — созданная между делом, как бы шутя и, возможно,



Иероним Карл Фридрих Мюнхгаузен

лишь ради заработка, пережила века и поныне поддерживает пламя его известности.

Распе вошел в историю мировой литературы как автор одной книги. Его имя в нашем сознании связано исключительно с одним произведением — «Приключения барона Мюнхгаузена». Но если имя Распе благодаря этой книге не забыто, то наши знания о его жизни весьма скудны. Его



Рудольф Эрих Распе

облик растворился в водах времени, утратил четкие контуры, расплылся. Молчание будет ответом всякому, кто проявит интерес к тому, при каких обстоятельствах была написана одна из самых веселых в мире книг. А знать это важно, ибо, как говорил Гёте, если вы хотите постичь произведение искусства, мало прочитав его, надо знать, как оно было создано.

Рудольф Эрих Распе родился в Ганновере в 1737 году, в том самом, когда открылся Геттингенский университет. Будущий писатель появился на свет в обедневшей семье ганноверского чиновника, где о былом величии предков напоминали лишь фамильные предания. Еще молодым Распе понял: чем тешить свою родовую спесь и кичиться происхождением (один из его предков был маркграфом Тюрингии), лучше рассчитывать на собственные силы.

В восемнадцать лет он переступает порог своего ровесника Геттингенского университета — «бессмертного создания» первого его куратора Герлаха Адольфа фон Мюнхгаузена, близкого родственника боденвердерского барона.

В сером, старчески умном Геттингене, знаменитом своими колбасами, Распе задержался не надолго. Через год он покидает его и направляется в Лейпциг, город с высокими, красивыми и однообразными домами, производившими на Гёте особое впечатление своими размерами; это был торговый центр, уже тогда славившийся ярмарками, город, где одних книжных магазинов насчитывалось более двадцати. Здешний университет — старейший в Европе (основан в 1409 году), был известен не только своей бесплатной столовой на триста человек (что и говорить — вещью редкой в ту пору), но прежде всего своими преподавателями и тем кругом знаний, который он давал.

В его аудиториях Распе постигает сущность прекрасного, изучает античность и археологию. Увлекается геологией — наукой о богатствах земли, которая, он надеялся, раскроет перед ним свои сокровища. Страсть эта, к его досаде, оставалась неразделенной, ибо он помышлял приспособить науку к своим целям, и не удивительно, что никогда по-настоящему

не пользовался ее «взаимностью». Внешность его нисколько не соответствовала традиционному представлению об усидчивом, педантичном и лишенном юмора немецком ученом. Напротив, это был живой, веселый и очень подвижный человек, умевший по достоинству оценить красное словцо, любивший и сам пошутить, а иногда и зло посмеяться над кем-либо. Говорят, характер можно определить по почерку. Характер Распе ни в чем так не проявлялся, как в походке — тоже своего рода «почерке» человека. Современники прозвали Распе «стремительным» не только потому, что такой была его походка и так порывисты движения. Он и внутренне был чрезмерно импульсивен, воображение постоянно рождало в его голове новые замыслы и планы, которые он, не задумываясь, бросался осуществлять. Этим объясняется и его разбросанность, многосторонние интересы, стремление к различным знаниям. И не потому ли ему не сиделось на месте и переменчивые ветры носили его парус по городам и весям Германии, карта которой в ту пору напоминала одеяло из трехсот мелких самостоятельных «лоскутков» — княжеств и графств.

Из Лейпцига, где Распе провел три года, почтовая карета мчит его снова в Геттинген. Получив диплом магистра, он возвращается в родной Ганновер — тогда английское владение — и в 1760 году поступает в Королевскую библиотеку. Зарывшись в книги, Распе целыми днями просиживает в ее залах, читает все, что поступает из Лондона и Парижа, Амстердама и Лейпцига. Увлекается наукой и философией, но особенно — поэзией, Гомером, следит за английской литературой и первым в Германии обращает внимание на песни Оссиана — гениальную мистификацию Макферсона, переводит баллады Перси. Он вновь углубляется «в подземное эллиниство», учится разбираться в античных резных камнях-геммах и монетах, совершенствует свои знания по архитектуре и искусству, продолжает занятия геологией и горным делом. Не забывает он обзаводиться и полезными знакомствами, переписывается со многими выдающимися людьми своей эпохи: известным

археологом Винкельманом, которого считает своим учителем, с уже знаменитым тогда Лессингом, берлинским книгоиздателем Ф. Николаи, философом Якоби, с Гердером, чьи взгляды на народное искусство окажут на него, как и на Гёте, столь большое влияние, и, наконец, с американцем Б. Франклином, ученым и видным политическим деятелем.

Семь лет проведет Распе в стенах библиотеки. За это время имя его станет известно в кругах ученых и литераторов, будут опубликованы его первые произведения — поэма «Весенние мысли», одноактная комедия «Пропавшая крестьянка», роман «Гермин и Гунильда, история из рыцарских времен, случившаяся в Шеферберге между Аделепсеном и Усларом, сопровождаемая прологом о временах рыцарства в виде аллегорий».

• ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

В 1766 году открывается вакансия хранителя библиотеки и профессора в кассельском колледже Карла Великого. Поначалу место предлагают Лессингу, но тот отказывается. Несмотря на то, что новая должность сулила ему на сто талеров больше. Тогда в Касселе вспоминают о подающем надежды молодом ганноверском ученом и литераторе Распе. Ландграф, предлагая ему пост при своем дворе, обращается к нему с письмом, начинающимся словами: «Наш верный и любимый Р. Э. Распе...» Конечно, была в этом на первый взгляд заманчивом предложении и обратная сторона. Служить меценатствующему князьку — значило поставить свою карьеру ученого в прямую зависимость от произвола деспота, постоянно подвергаться мелкой тирании. Горький кусок хлеба! Но разве он один избирает такой путь? Лессинг и Гердер, и многие другие — разве они, несмотря на то что понимали, как рискованно сближаться с «просвещенными монархами», не шли на это, чтобы обрести условия и возможность более или менее спокойно заниматься любимым делом, не думая о хлебе насущном.

«Не все ль равно что двор, что ад! Там греется много славных ребят!» — распевала в то время молодежь. Были, разумеется, и такие, кто, помня о печальных примерах жизни при дворе и службы у владетельных особ своих собратьев литераторов, предпочитали бедствовать, голодать и умирали, как скажет Гейне, «в нищете в качестве бедных геттингенских доцентов».

«Верный и любимый» не хочет умирать в нищете. Он решает испытать судьбу — слишком заманчиво предложение: семьсот талеров не валяются на дороге! И летом следующего года Распе сначала на почтовых, а затем по сухоходной Фульде добирается до Касселя.

В середине XVIII века это был уже один из красивейших городов Германии. Самолюбивый Фридрих Второй стремился во всем подражать европейским монархам. Не считаясь с затратами, впадая в долги и обирая свой народ, он украшал город, строил дворцы и разбивал парки, даже соорудил водяной каскад, в миниатюре повторяющий фонтаны Версаля. Двор содержится на широкую ногу: свой архитектор, медик, придворные профессора и повара, своя актерская труппа, свой хранитель библиотеки и коллекции древностей — гордости ландграфа, которая, однако, находится в беспорядке. И первая обязанность нового хранителя, помимо чтения лекций в колледже по истории, искусствоведению, нумизматике, геральдике и другим наукам, состоит в том, чтобы привести в порядок эту сокровищницу, составить опись коллекции. Энергичный Распе принимается за дело. Коллекция насчитывает 15 тысяч ценных предметов, из них семь тысяч серебряных и около шестисот золотых, он лично несет ответственность за их сохранность. Опись этого собрания древностей, послужившего в будущем основой кассельского музея, занимает более десяти томов.

Кроме этой кропотливой работы, Распе публикует статьи о методах добычи белого мрамора, о вулканическом происхождении базальта, пишет о пользе и употреблении резных камней, печатает опыт древнейшей и есте-

ственной истории Гессена, изданный затем в Англии, и другие труды. И вскоре к званиям, которые имел при дворе ландграфа, он с гордостью может добавить звание члена Лондонского Королевского общества, члена Нидерландского общества наук в Гарлеме, а также — члена Германского и исторического институтов в Геттингене, почетного члена Марбургского литературного общества сельского хозяйства и прикладных наук. В голове тайного советника Распе, ибо он теперь повышен в должности при дворе, роятся тщеславные замыслы, он полон надежд...

ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ

В этот, казалось бы, безоблачный час своей жизни, когда друзья поздравляют его с успехом и желают новых удач, он, не подозревая, сам готовит свое будущее падение. С непростительным легкомыслием Распе делает долги, не в состоянии их покрыть — погрязает в новых, надеясь потом как-нибудь выпутаться. Между тем ландграф все больше доверяет ему и в подтверждение этого не раз посылает своим эмиссаром с секретными дипломатическими поручениями. К таланту искусствоведа и археолога, литератора и геолога прибавляется талант дипломата.

В Касселе всячески стремятся поощрять его на этом поприще и предлагают пост посла в Венеции, что пришлось ему по душе: он давно мечтает побывать в Италии. А кроме того, отъезд на время избавит его от преследований кредиторов, которые становятся все настойчивее. Повинуясь первому порыву, он соглашается. Только потом Распе поймет, что назначение это преследует неблагоприятные цели: его молодая и красивая жена остается при дворе ландграфа...

В этот момент с новой силой вспыхивают слухи о его некредитоспособности, и он чувствует, как долговая петля затягивается все туже. Однако по его внешнему виду нельзя

догадаться о том, что творится у него на сердце, он же близок к отчаянию — здание благополучия, возведенное им с таким усердием и тщанием, рушилось.

В октябре 1774 года посланник Распе трогается в путь. Но вместо Венеции направляется по берлинской дороге. На первой же остановке к нему присоединяется жена с детьми. Это уже похоже на настоящее бегство. Трудно сказать, предвидел ли он последствия этого поступка. Скорее всего нет, и, видимо, действовал по первому побуждению.

Прибыв в Берлин, Распе еще пытается спасти положение, он мечется в надежде раздобыть денег и заткнуть рты кредиторам, которые, узнав о его отъезде, подняли шум. К тому же поползли слухи о том, что профессор Распе, покинув Кассель, прихватил с собой часть коллекции ландграфа — геммы и монеты, а вырученные от их продажи деньги намерен вложить в добычу фарфоровой глины. Один из друзей Распе свидетельствует, что действительно видел тогда у него эти злополучные монеты, геммы и медали.

В Касселе расследуют все обстоятельства дела и, убедившись, что недостача в коллекции налицо, приказывают Распе немедленно явиться для отчета. Испугавшись, он возвращается, надеясь, «что лучший из принцев» окажется и самым снисходительным из них. Эту его иллюзию очень скоро опровергают события. Распе забыл слова своего современника поэта, музыканта и журналиста Шубарта, предостерегавшего братьев-писателей не задевать венценосцев, ибо их короны насыщены электричеством и мечут молнии, стоит только к ним прикоснуться. Прикосновение Распе было подобно короткому замыканию — он осмелился нанести материальный ущерб своему князю. Ему предлагают возместить убытки, которые исчисляются по некоторым данным в 4–5 тысяч талеров, но одновременно заявляют, что не могут гарантировать ему безопасности. Что это означало — для него было ясно. На рассвете следующего дня по улицам Касселя проскакал всадник, закутанный в плащ, — Распе покинул город.

Вслед ему полиция рассылает оповещение во все земли Северной Германии с просьбой об аресте исчезнувшего Распе: «Бывшего тайного советника, находившегося на гессенской службе, среднего роста, лицо скорее длинное, чем круглое, глаза небольшие, нос довольно крупный, с горбинкой, острый, под коротким париком рыжие волосы, носит красный мундир с золотым кантом, походка быстрая». Эти несколько строк рисуют нам его внешность, словесное описание которой тем более для нас ценно, что сохранилось очень мало изображений Распе. Одно из них — миниатюра английского художника Тасси, наиболее, пожалуй, верно передает его облик, совпадающий с описанием его в оповещении полиции Касселя.

Четыре дня спустя, 19 ноября 1775 года, Распе арестовывают в Клаустхалле, где он скрывается, и ему вновь приходится возвращаться в Кассель, только теперь уже в сопровождении полицейского чиновника.

Что ожидало его? Позор и презрение? Тюрьма? И то и другое — Распе не сомневается. И все же в глубине души он еще надеется на прощение, на милость венценосца; таков был Распе — стяг надежды неизменно реял на мачте его корабля.

По пути в Кассель Распе вместе с сопровождающим останавливается на ночлег в дорожной гостинице. За ужином несчастный профессор рассказывает полицейскому свою печальную историю, и тут происходит неожиданное. Исповедь беглого ученого производит впечатление, полицейский молча подходит к окну в сад и, распахнув его, покидает комнату. Распе прекрасно понимает намек, и, оправдывая свое прозвище «стремительный», мгновенно исчезает в темноте...

На этот раз, как русло потока, теряющегося в пустыне, он пропадает, не оставив на своем пути никаких следов, кроме польской старинной монеты достоинством в 70 дукатов — чудесного образца из коллекции ландграфа, которую позднее обнаружит полиция у гамбургского ростовщика.

КАРАТЕЛЬ ЛЖИ

Раньше Распе часто признавался в своей симпатии к Англии, поэтому неудивительно, что вскоре он объявился на британской земле.

Первое время ему особенно было трудно. Он кормился тем, что переводил на английский язык дотоле неизвестных здесь немецких авторов, в частности, драму Лессинга «Натан Мудрый», появившуюся уже после его бегства. Видимо, у Распе сохранились связи с континентом, ибо только от друзей он мог получать литературные новинки для перевода.

Приблизительно в то же время, в 1781 году, у него на родине, в берлинском юмористическом альманахе «Путеводитель для веселых людей» появляются шестнадцать рассказов-анекдотов под общим названием «Истории М-х-з-на». «Возле Г-вера,— говорилось в предисловии к ним,— живет весьма остроумный господин М-х-з-н, пустивший в оборот особый род замысловатых историй, авторство которых приписывается ему».

Через два года в том же журнале были опубликованы «Еще две небылицы М.». Кто был их автором? Сам барон Мюнхгаузен? Едва ли, если учесть, как он потом реагировал на то, что стал всеобщим посмешищем. Тогда кто же сочинил эти забавные истории, высмеяв в них спесивых немецких юнкеров-помещиков?..

...Лондонский книгоиздатель М. Смит осенью 1785 года был доволен своими делами. Небольшую книжку ценой в один шиллинг «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию» расхватили в один день. Ее автор, пожелавший для читателей остаться неизвестным, этот пройдоха немец Распе, не обманул его надежд. И вскоре выходит дополненное издание с предисловием анонимного автора. В нем Распе утверждает, что книга обязана своим существованием подлинному барону Мюнхгаузену, принадлежащему к одному из первых дворянских родов Германии, человеку «оригинального склада мыслей». Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи и дает каждому,

кто попадает в компанию завярых хвастунов, в руки средство, которым он мог бы воспользоваться при любом подходящем случае. «А такой случай,— говорит Распе,— всегда может представиться, как только кто-нибудь, под маской правды, с самым серьезным видом начнет преподносить небылицы и, рискуя своей честью, попытается провести за нос тех, кто имеет несчастье оказаться в числе его слушателей». «Каратель лжи» — так определяет Распе свою роль как автора сатирической пародии на вралей и хвастунов.

В этом предисловии Распе не раскрыл, однако, своей писательской «кухни». В противном случае, он должен был бы пояснить, что хотя и вывел в книге реального человека, но использовал в ней народные смешные рассказы и истории, в том числе и те, что в свое время были опубликованы в берлинском альманахе. Должен был бы также признать, что подлинный Мюнхгаузен не был до такой степени фантастическим лгуном, он лишь возбудил творческое воображение Распе. Так что прототип — это только завязь, бутон, который, раскрывшись под пером писателя, превратился в пышный цветок легенды.

Несмотря на успех книги Распе и неоднократные переиздания, ее заметила одна лишь газета «Критикел ревью», посвятив всего несколько слов тому, что это сатирическое произведение и что никогда еще фантастическое и смешное не доводилось до такой степени. Да и сам автор не придавал особого значения своему незатейливому рассказу — единственной книге, благодаря которой он не забыт и сегодня, и никак не мог предполагать, что этот томик сохранит его имя потомкам. Иначе разве Распе добровольно отрекся бы от авторства — он, так мечтавший достичь известности. Ведь только тридцать лет спустя после смерти автор «Мюнхгаузена» был случайно «открыт», как когда-то сам открывал забытые памятники старины.

«Приключения барона Мюнхгаузена», рожденные на германской почве, вернулись на родину в 1786 году, через год после их выхода в Англии. И хотя первое немецкое издание, тоже анонимное, было отпечатано в Геттингене, на обложке был указан Лондон. Автор перевода поэт-демократ

Г. А. Бюргер, привнесший в книгу существенные добавления, новые эпизоды, как и Распе, пожелал остаться неизвестным.

Когда Мюнхгаузен прочитал, какие вытворять чудеса, какие плести небылицы заставил его сочинитель книжонки, престарелый барон был мало сказать обижен и огорчен, он был оскандален. Его засыпают письмами самого нелестного содержания, в маленький городок на Везере стекаются любопытные поглазеть на живого барона-вряля. В имении не стало покоя. Тогда слугам приказывают патрулировать вокруг дома и не допускать посторонних. А в комнатах негодует барон Мюнхгаузен, грозит всеми карами нечестивцу, так позорно и нагло высмеявшему его, немецкого дворянина. Оскорбленный барон пробовал подавать в суд, привлечь к ответу обидчика. Но закон был бессилен перед анонимным титульным листом и фальшивой надписью «Лондон». Храбрецу, вояке, потомку крестоносцев не у кого было даже потребовать, как тогда было принято, сатисфакции, то есть вызвать на дуэль за оскорбление и клевету. Знай Мюнхгаузен в тот майский вечер, когда впервые в его доме появился гость в красном мундире, какую он сослужит ему службу, поостерегся и не стал бы распространяться при нем о своих подвигах. Но Иероним фон Мюнхгаузен так никогда и не узнал, кто же был истинным виновником его позора. Позора? Напротив — славы. Как это ни парадоксально, но маленькая книжка принесла владельцу поместья в Боденвердере большую популярность. Помимо своей воли он попал в литературу, приобрел известность как прообраз бессмертного литературного типа — вряля и хвастуна Мюнхгаузена.

А что же случилось с тем, кто учинил эту злую шутку над бедным бароном?

* * *

Распе не был рожден для жизни, полной приключений. И хотя его подчас называют авантюристом, а то и просто проходимцем, он не являлся таковым по своей натуре. То,

что с ним произошло, угнетало его и делало глубоко несчастным. Незадолго до того, как исчезнуть из Германии, он жаловался другу на свою судьбу и, глядя на портрет жены, не мог сдержать слез. Распе понимал, что повинен во всем был он сам, и, как герой Мольера, мог воскликнуть: «Ты этого хотел, Жорж Данден!»

Энергичный человек, он полагал, что не останется без работы среди энергичного народа. Вот когда особенно пригодились его знания по геологии и горному делу. Наука, по его словам, перестала быть в его руках игрушкой, он стремится сделать ее источником обогащения. Но для того, чтобы добиться чего-нибудь, нужно было быть расчетливым, практичным, обладать трезвым умом дельца и предпринимателя.

Отсутствие у себя этих качеств Распе пытается возместить знакомством и службой у известного промышленника, «железного короля» Англии Метью Баултона, — человека, который помог Джеймсу Уатту воплотить в жизнь его гениальное изобретение — паровую машину.

Теперь основная работа Распе — разведка и добыча полезных ископаемых. Надежда ведет его по долинам и горам Англии, он все еще мечтает о своем Эльдорадо. Но даже с его энергией и энтузиазмом Распе не мог извлечь ничего более ценного из этой земли, чем торф.

Его видят в шумном Лондоне и ученом Кембридже, в индустриальном Бирмингеме и в сумрачном Эдинбурге, он забирается в самые отдаленные уголки «радушной Шотландии». Может быть, его скитания — это всего лишь желание заглушить тоску, унять отчаяние — у него не было дома, семьи, он никогда больше не видел своих детей: они остались в Германии. У него не было родины.

Пути изыскателя привели Распе в Дублин. Отсюда он двинулся на запад Ирландии в край Килларнийских озер. Здесь пришел конец его длительным странствиям. Заболев сыпным тифом, он умер в 1794 году пятидесяти восьми лет. Могила его затерялась среди ирландских болот. И только запись в приходской книге церкви Св. Марии напоминает о конце Рудольфа Распе, автора «Приключений барона Мюнхгаузена».

КАК ДЕФО ВСТРЕТИЛСЯ С РОБИНЗОНОМ КРУЗО



СЕНСАЦИЯ

В небольшом старинном кресле сидит человек в парике. На его утомленном, осунувшемся лице выделяются крючковатый нос и острый подбородок. В руках у него книга. Серые глаза внимательно смотрят на ее страницы.

Это журналист, памфлетист и писатель Даниель Дефо. Он сидит у окна своего дома в лондонском предместье Сток-Ньюингтон и просматривает только что купленное у букиниста второе издание книги — путевой дневник капитана Вудза Роджерса о его кругосветном плавании в 1708–1711 годах.

Ему по душе рассказ морехода о приключениях и походах, о флибустьерах — «свободных мореплавателях», об опасностях, смелости и мужестве. Ведь и сам он когда-то, подобно мореходу, отважно бросился в водоворот жизни. Сын бакалейщика и торговца свечами, он стремился стать промышленником — не получилось. Искал счастья в политике — ничего не добился. Пытался торговать — обанкротился. Был журналистом, издавая газету, подвергался преследованиям за свое острое перо, сидел в тюрьме. Если бы не его энергия, не его вера в жизнь, не одолеть ему все превратности и повороты судьбы.

Теперь ему пятьдесят восемь. Он утомлен и измучен интригами врагов, которых у него предостаточно. Друзей же нет. К концу жизни он оказался в одиночестве, подобно Селькирку — моряку, о котором пишет в своем дневнике капитан Вудз Роджерс. Кстати, эта глава, где рассказано о том, как Александр Селькирк прожил один несколько лет на необитаемом острове, представляет несомненный инте-

рес. Дефо припоминает, что и ему самому пришлось однажды беседовать с этим боцманом, лет семь назад, когда тот только что вернулся на родину. Весь Лондон жил тогда сенсацией — человек с необитаемого острова!..

Чем дальше читает Дефо о приключениях Селькирка, тем больше они его захватывают, тем сильнее разгорается его воображение...

ОТШЕЛЬНИК ПОНЕВОЛЕ

Доподлинные записи церковных книг, сохранившиеся до наших дней, неопровержимо свидетельствуют о том, что в 1676 году в местечке Ларго, расположенном в одном из уютных приморских уголков Шотландии на берегу Северного моря, в семье башмачника Джона Селькирка родился седьмой сын Александр.

Появление на свет седьмым по счету ребенком, по местным поверьям, сулило младенцу исключительную судьбу. Но чего мог добиться сын башмачника, которому предстояло продолжать дело отца? В мастерской, где с ранних лет приходилось помогать старшим, Александру было скучно. Зато его неудержимо влекло в харчевню «Красный лев», расположенную неподалеку от их дома. Здесь соби­рался бывалый народ, «морские волки», повидавшие сказочные страны и нагладевшиеся там разных диковин.

Спрятавшись за бочкой или забившись в темный угол, мальчик слушал рассказы о стране золота Эльдорадо, об отважных моряках и жестоких штормах, о «Летучем голландце» — паруснике с командой из мертвецов. Не раз приходилось ему слышать о дерзких набегах корсаров, поединках кораблей и награбленных богатствах.

Напрасно Джон Селькирк надеялся, что седьмой сын станет достойным продолжателем его дела. Александр избрал иной путь. Восемнадцати лет он покинул дом и отправился в море навстречу своей удивительной судьбе, сделавшей его героем бессмертной книги.

Первое плавание закончилось для него плачевно: судно подверглось нападению французских пиратов. Молодого матроса взяли в плен и продали в рабство. Но ему удается освободиться и наняться на пиратский корабль. С этого момента для Селькирка начинается полоса злоключений и неудач, из которых он, однако, удивительным образом всегда выходил целым и невредимым.

Видимо, опасный промысел он избрал не напрасно — домой Селькирк вернулся в роскошной одежде, с золотыми серьгами в ушах, кольцами на пальцах и туго набитым кошельком.

Но дома ему не сиделось. Тихая, спокойная жизнь казалась скучной и однообразной. Он решает снова при первом удобном случае отправиться в плавание. Случай не заставил себя долго ждать. В начале 1703 года в «Лондон газетт» Селькирк прочитал о том, что знаменитый капитан Уильям Дампьер на двух судах готовится предпринять новое плавание в Вест-Индию за золотом. Такая перспектива вполне устраивала молодого, но уже «заболевшего» морем, плаваниями и приключениями шотландца. Вот почему среди первых моряков, записавшихся в члены экипажа флотилии Дампьера, был 27-летний Александр Селькирк. Ему предстояло служить боцманом на 16-пушечной галере «Сэнк пор». Кроме нее, во флотилию Дампьера входил 26-пушечный бриг «Сент Джордж».

Уильям Дампьер — авантюрист и ученый-натуралист, корсар и мореход — успешно продолжал дело знаменитых королевских пиратов Френсиса Дрейка и Уолтора Рели, положивших в XVI веке начало морскому владычеству Британии. Совсем недавно он вернулся из продолжительного и трудного плавания, во время которого им было сделано немало научных открытий. Этот пират, помимо морского разбоя, был одержим страстью исследования морей и их обитателей, течений и ветров, народностей и обычаев тех стран, где он бывал. Из каждого плавания он привозил массу наблюдений, записей, рисунков. Его произведения, издаваемые отдельными книгами, пользовались большим

успехом у современников. Неудивительно, что знакомства с ним искали многие современники, в том числе писатели Свифт и Дефо.

Это было время, когда пиратство стало почти узаконенным и морской разбой поощрялся королевскими особами, когда легенды, привезенные еще Христофором Колумбом о заморских сокровищах, продолжали разжигать воображение любителей легкой наживы, сорвиголов и авантюристов, когда лихорадка открытий и приключений, сотрясая Старый Свет, рождала новые мифы, в которых сама правда часто казалась неправдоподобной.

Цель нового похода флотилии Дампьера — нападение на испанские суда в море, захват и ограбление городов на суше — была не нова. Корабли держали курс на южные моря, страны Латинской Америки. По существу это была обычная для того времени грабительская экспедиция, лишь прикрывавшаяся лозунгом борьбы с враждебной Англии Испанией.

Дампьер вышел в море на «Сент-Джордже» — подарке короля. Вслед за ним, чуть позднее, в мае 1703 года, покинула берега Альбиона и быстроходная галера «Сэнк пор». У берегов Ирландии корабли соединились. Плавание, поначалу протекавшее спокойно, было омрачено смертью капитана судна, на котором служил Селькирк.

На место умершего моряка Дампьер назначил нового командира — Томаса Стредлинга, сыгравшего позже неблагоприятную роль в судьбе своего боцмана Александра Селькирка.

С этого момента началось трудное плавание. И не только потому, что характер у нового капитана был крутой и жестокий, но и из-за того, что теперь плыли по почти неисследованным морям, в то время как мореходный инструмент был весьма еще не совершенен, а карты часто вообще отсутствовали. Полтора года галера «Сэнк пор» скиталась по морям, вступала в абордажные схватки, совершала дерзкие набеги на портовые города, захватывала корабли испанцев. Следуя путем Магеллана, флотилия вышла из

Атлантического в Тихий океан. Совершив несколько налетов на города, расположенные по чилийскому побережью, корабли разошлись в разные стороны. «Сэнк пор» поднялась до широты г. Вальпараисо и взяла курс на пустынные острова архипелага Хуан Фернандес, где команда рассчитывала завестись пресной водой и дровами. В XVI веке, когда каравеллы испанцев только начинали бороздить воды вдоль западных берегов Южной Америки, районы эти были еще плохо изучены. Немало встречалось по пути мореходов непонятного и загадочного. Почему, например, из Вальпараисо на север в сторону Перу приходилось плыть всего месяц, а обратно тем же путем — целых три? Считали, что дело здесь не обходилось без вмешательства злых сил, видели в этом деяние дьявола. Чем, как не колдовством, можно объяснить такое наваждение. Все, однако, обстояло гораздо проще: на пути мореплавателей, плывущих вдоль западных берегов Южной Америки, вставало неизвестное тогда течение Гумбольта. Раскрыть загадку необычного явления довелось капитану Хуану Фернандесу. В 1574 году он прошел из Перу в Вальпараисо за месяц, изменив несколько обычный маршрут и взяв чуть южнее. По дороге ему встретился небольшой архипелаг из трех островов. В честь капитана этот архипелаг и получил название «Хуан Фернандес».

Здесь-то и разыгрались те события, благодаря которым имя Селькирка не было забыто.

Во время плавания между капитаном галеры «Сэнк пор» Томасом Стредлингом и его боцманом Селькирком не раз бывали пререкания, порой даже ссоры. Упрямый шотландец пришелся не ко двору властолюбивому капитану. Дошло до того, что Селькирк решил покинуть корабль, кстати говоря, к тому времени изрядно потрепанный и давший течь. В судовом журнале появилась запись: Александр Селькирк списан с судна «по собственному желанию». В шлюпку погрузили платье и белье, кремневое ружье, фунт пороху, пули и огниво, несколько фунтов табака, топор, нож, котел, не забыли даже Библию. Селькирка ждала

вполне «комфортабельная» жизнь на необитаемом острове Мас а Тьерра, входящем в архипелаг Хуан Фернандес и расположенном в шестистах километрах к западу от Чили.

Селькирк предпочитал ввериться своей судьбе, оставшись в одиночестве на одном из пустынных островов этого архипелага, чем оставаться на ветхом корабле под началом враждебного ему командира. В душе боцман надеялся, что долго пробыть на острове в положении добровольного узника ему не придется. Ведь корабли довольно часто заходят сюда за пресной водой.

А пока, чтобы не умереть с голоду, нужно было заботиться о еде — съестных припасов ему оставили лишь на один день. К счастью, на острове оказалось множество диких коз. Это означало, что при наличии пороха и пуль питание ему обеспечено. Обследовав свои «владения», Селькирк установил, что остров покрыт густой растительностью и имеет около двадцати километров в длину и пять в ширину. На берегу можно было охотиться на черепах и собирать в песке их яйца. Во множестве на острове водились птицы, у берегов встречались лангусты и тюлени.

Время шло, а скорое избавление, на которое Александр так надеялся, не приходило. Волей-неволей ему пришлось не только заботиться о настоящем, но думать и о будущей жизни на клочке земли, затерянной в океане.

Первые месяцы ему было нелегко. И не столько от того, что приходилось ежечасно вести борьбу за существование, сколько из-за полного одиночества. Все меньше оставалось надежды на скорое избавление, и все чаще сердце Селькирка сжималось от страха при мысли о том, что ему суждено много лет пробыть в этой добровольной ссылке. Он проклинал землю, которая его приютила, и тот час, когда решился на свой необдуманный поступок. Знай он тогда, что вскоре после того, как он покинул корабль, «Сэнк пор» потерпел крушение и почти вся команда погибла, благодарил бы свою судьбу.

Как он сам потом рассказывал, восемнадцать месяцев потребовалось ему для того, чтобы привыкнуть к одиноче-

ству и примириться со своей участью. Но надежда не оставляла его. Каждый день Селькирк взбирался на самую высокую гору острова и часами всматривался в горизонт...

Немало труда, выдумки и изобретательности потребовалось ему для того, чтобы наладить «нормальную» жизнь на необитаемом острове. Селькирк построил две хижины из бревен и листьев, оборудовал их. Одна служила ему «кабинетом» и «спальней», в другой он готовил еду. Когда платье его изветшало, он при помощи простого гвоздя, служившего ему иголкой, сшил одежду из козьих шкур. Селькирк плотничал, мастерил, сделал, например, сундучок и разукрасил его искусной резьбой, кокосовый орех превратил в чашу для питья. Подобно первобытным людям он научился добывать огонь трением, а когда у него кончился порох — стал ловить руками диких коз. Быстрота и ловкость, необходимые для этого, дались ему нелегко. Однажды во время такой охоты «вручную, пытаюсь поймать козу, он сорвался вместе с нею в пропасть и трое суток пролежал там без сознания. После этого Селькирк на тот случай, если заболит или почему-либо еще не сможет больше преследовать животных, подрезал у молодых козлят сухожилия ног, отчего те утрачивали резвость.

Настоящим бедствием для него стали крысы, во множестве водившиеся на острове. Они бесстрашно сновали по хижине, грызли все, что могли, несколько раз по ночам принимались даже за ноги хозяина. Чтобы избавиться от них, Селькирку пришлось приручить одичавших кошек, как и крысы, завезенных на остров кораблями.

Здоровый климат и каждодневный труд укрепили силы и здоровье бывшего боцмана. Он уже не испытывал те муки одиночества, которые одолевали его в начале пребывания на острове. Подобная жизнь, по словам тех, кому довелось слышать рассказы Селькирка после его спасения, стала казаться ему не столь уж неприятной. Он свыкся с мыслью о том, что надолго отлучен от людского общества.

Прошло более четырех лет. Тысяча пятьсот восемьдесят дней и ночей один на один с природой, проведенных

в напряжении всех физических и моральных сил, дабы не впасть в уныние, не поддаться настроению тоски, не дать отчаянию одержать верх.

Работа — лучшее лекарство от болезни одиночества, трудолюбие, предприимчивость, упорство и целеустремленность — все эти качества были присущи Селькирку.

В начале 1709 года отшельничеству Селькирка пришел конец. Днем избавления для него стало тридцать первое января. В полдень со своего наблюдательного поста, откуда он каждодневно с тоской вглядывался в даль, Селькирк заметил точку. Парус! Первый раз за столько лет на горизонте появился корабль. Неужели он пройдет мимо?! Скорее подать сигнал, привлечь внимание мореплавателей. Но и без того было видно, что судно держит курс к берегу острова Мас а Тьерра.

Когда корабль подошел достаточно близко и бросил якорь, от него отчалила шлюпка с матросами. Это были первые люди, оказавшиеся к тому же соотечественниками Селькирка, которых он видел после стольких лет.

Можно представить, как были удивлены матросы, встретив на берегу «дикого человека» в звериных шкурах, обросшего, не умевшего поначалу произнести ни единого слова. Только оказавшись на борту «Дьюка» — так называлось судно, избавившее боцмана от «неволи», он обрел дар речи и рассказал о том, что с ним произошло.

«Дьюком» командовал Вудз Роджерс — один из сподвижников знакомого Селькирку «морского разбойника» Уильяма Дампьера. В числе прочих кораблей его флотилии «Дьюк» совершал длительный и опасных рейд по семи морям. Поэтому сразу попасть домой Селькирку не удалось. После того как 14 февраля судно снялось с якоря у острова Мас а Тьерра, ему пришлось объехать на нем вокруг света. И только спустя тридцать три месяца, 14 октября 1711 года, он вернулся в Англию, став к этому времени капитаном захваченного во время похода парусника «Инкриз».

Когда лондонцы узнали о похождениях Селькирка, он стал самой популярной личностью английской столицы.

С ним искали встреч, его приглашали в богатые дома, где демонстрировали аристократам. Газетчики не давали ему прохода. В печати появились статьи, рассказывающие о его приключениях. Один из таких очерков, опубликованный в журнале «Инглишмен», принадлежал перу английского писателя Ричарда Стиля. «Человек, о котором я собираюсь рассказать, зовется Александром Селькирком,— писал Р. Стель.— Имя его знакомо людям любопытствующим... Я имел удовольствие часто беседовать с ним тотчас по его приезде в Англию...» В своем очерке Ричард Стель вкратце излагал историю Селькирка.

Существует предание о том, что и Дефо встретился с боцманом в портовом кабаке с тем, чтобы взять у него интервью. По другой версии они увиделись в доме некоей миссис Даниель, где Селькирк будто бы передал будущему автору «Робинзона Крузо» свои записки. Нам неизвестно, как протекала беседа между моряком и писателем и было ли вообще после этого написано Д. Дефо интервью. Что касается записок, якобы полученных писателем от Селькирка, о чем миссис Даниель поведала перед смертью своему сыну, то спор вокруг этого не затихал более двух столетий. Некоторые особенно упорные исследователи до сих пор считают, что факт этот имел место. Как бы то ни было, но история Селькирка оставила след в памяти писателя.

Нежиться в лучах всеобщего внимания Селькирку пришлось недолго. Немногословный, не умевший красочно и ярко рассказывать о пережитом, он быстро наскучил публике, перестал быть для нее забавой. Тогда он уехал в свой родной Ларго. Встретили его здесь поначалу радушно. Однако постепенно отношение земляков к нему изменилось. Пребывание на острове не прошло для Александра бесследно. Мрачный вид и угрюмый взгляд Селькирка отпугивал людей, его молчаливость и замкнутость раздражали.

Спустя несколько лет он вернулся на флот, стал лейтенантом на службе его величества короля Великобритании. Ему поручили командовать кораблем «Уэймаус». Во время

очередного плавания к берегам Западной Африки в 1720 году Селькирк умер от тропической лихорадки и был похоронен с воинскими почестями.

МАС А ТЬЕРРА ИЛИ ТОБАГО

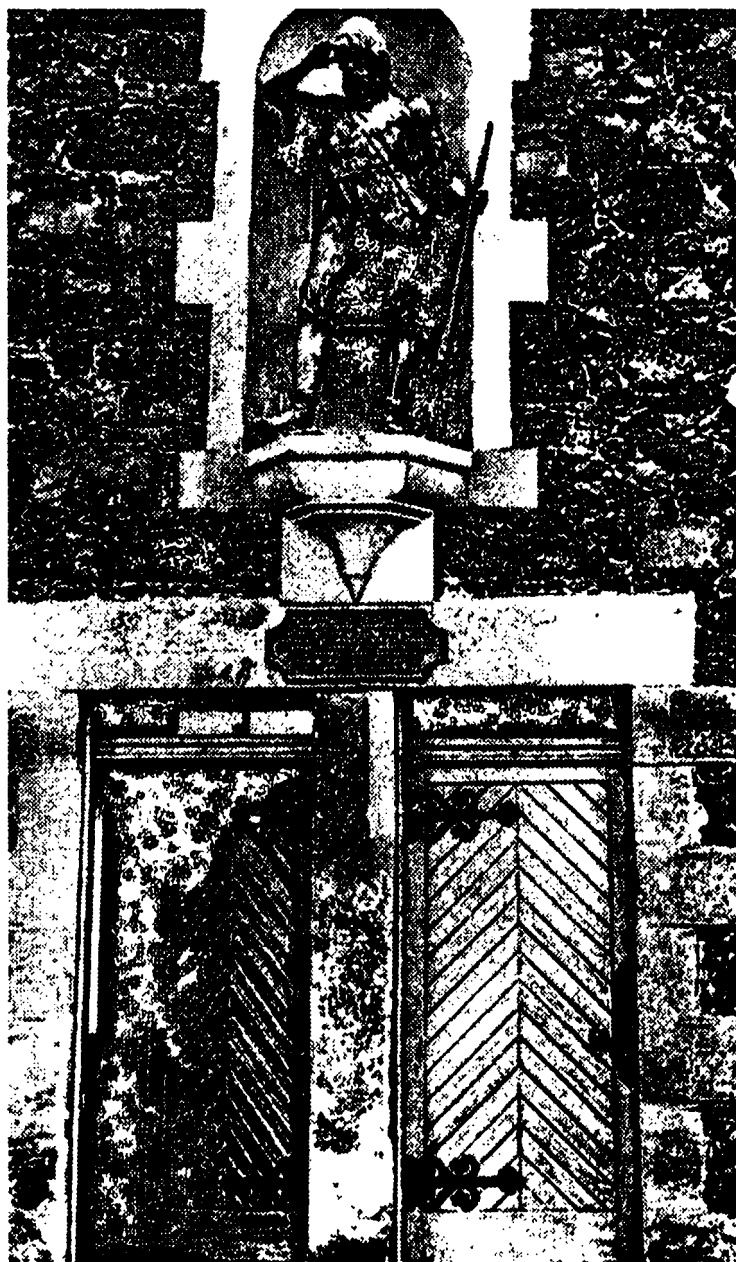
...Дефо закрывает последнюю страницу истории Селькирка, рассказанную капитаном Вудзом Роджерсом. Некоторое время сидит задумавшись. Человек на необитаемом острове! Пират-литератор подал ему великолепную мысль. В голове, пока еще смутно и нечетко, зарождается литературный замысел, намечаются контуры будущего повествования.

В этот раз он возьмется за перо не для того, чтобы написать очередной острый политический памфлет или статью. Нет, он переплавит в своей творческой лаборатории одиссею Селькирка, использует его историю как основу сюжета для романа, в котором расскажет о приключениях человека, оказавшегося на необитаемом острове. Героя своего он назовет Крузо, по имени старого школьного товарища.

Его цель — заставить читателей поверить в реальность



*Фронтиспис первого издания
«Приключений Робинзона Крузо»*



*Памятник Александру Селькирку,
установленный в г. Ларго, в нише
дома, где он родился*

своего героя, в подлинность того, что с ним произошло. А для этого он пойдет на небольшую хитрость и издаст книгу анонимно, выдав повествование за рассказ самого героя.

Успех романа был небывалый. Не успела 25 апреля 1719 года книга выйти в свет, как одно за другим в том же году последовали новые четыре издания.

Издатель Тейлор положил в карман тысячу фунтов — сумму немалую по тому времени. Неизвестно только, нашлись ли у самого Селькирка, который был тогда в Лондоне, пять шиллингов, чтобы купить книгу, написанную «про него».

Мастерство писателя победило — люди, читая книгу Дефо, искренне верили в «удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве у берегов Америки, близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб».

В этом заглавии, необычайно длинном, как было тогда принято, обращает на себя внимание следующее. Во-первых, то, что герой Дефо оказался на острове близ устья реки Ориноко. Что же касается лет, проведенных героем книги на острове, то Дефо просто-напросто увеличил их число, желая, видимо, поставить своего Робинзона в наитяжелейшие условия.

Иначе обстоит дело с причинами, побудившими автора перенести место действия романа.

Писатель переместил своего героя с острова Мас а Тьерра в Тихом океане в Атлантический, в устье реки Ориноко. Но какой именно остров имел в виду автор книги? Ведь в ней ни разу не упоминается его название. Тем не менее Дефо подразумевал вполне реальную землю. Помните начало романа: Робинзон Крузо отплывает из Бразилии. Едва корабль пересек экватор, как разразилась буря, ветер относит его все дальше на север. Экипаж пытается держать курс на остров Барбадос в Карибском море. Но ураган бросает судно на мель около необитаемого острова. Что же это за земля? Ее географические координаты, которые сообщает Дефо, почти совпадают с координатами острова Тобаго.

Дефо избрал этот район местом действия своего романа потому, что он был довольно подробно описан в тогдашней литературе. И хотя сам писатель никогда здесь не бывал, он мог найти нужные ему сведения в таких книгах, как «Открытие Гвианы» Уолтера Рели, «Путешествия вокруг света», «Дневник» Уильяма Дампьера и других. Они-то и помогли Дефо вести достоверный рассказ.

Из трехсот произведений, написанных Даниелем Дефо, лишь «Робинзон Крузо» принес автору подлинную славу, правда, как это часто бывает, уже после его смерти. Эта книга — зеркало эпохи, а Робинзон, в образе которого писатель воспел мужество человека, его энергию и трудолюбие, — герой великой эпопеи и труда.

* * *

Три точки на земном шаре связаны с именем Робинзона Крузо. Для того чтобы посетить их, надо совершить долгое путешествие — объехать почти полсвета. В шотландском городке Ларго в нише старинного дома, в котором жил Селькирк, вы увидите памятник ему, сооруженный в 1885 году

одним из потомков моряка, послужившего прототипом знаменитого литературного героя. На Мас а Тьерра — «Острове Робинзона Крузо» вам предложат подняться на вершину Эль-Юнке, где находился наблюдательный пост Селькирка, и укажут на бронзовую мемориальную доску, установленную английскими моряками в 1868 году в память об их земляке. На острове Тобаго покажут отель «Робинзон Крузо», «Пещеру Робинзона» и другие достопримечательности. Впрочем, за право называться «Островом Робинзона Крузо» — Мас а Тьерра и Тобаго — с равным успехом боролись долго и упорно. Дискуссия эта не столь отвлеченна, как может показаться. В причинах, породивших ее, нетрудно разглядеть вполне материальную основу. Речь идет о туризме и приносимых им доходах. О том, какую, скажем, роль он играет на Тобаго, можно себе представить, если учесть, что на 36 тысяч жителей этого острова в год приходится 30 тысяч туристов.

Не так давно спор между островами получил юридическое завершение. Чилийское правительство официально переименовало Мас а Тьерра в остров Робинзона Крузо, а соседний с ним — в честь шотландского моряка — назван островом Александра Селькирка.

СОКРОВИЩА АББАТА ФАРИА И МЕСТЬ ГРАФА МОНТЕ-КРИСТО



ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ

Образы, вызванные и возвеличенные
Дюма, живут сотни лет и передаются
миллионам читателей. Их можно назвать
вечными спутниками человечества.

А. Куприн

— Господин Дюма, где вы берете сюжеты для своих многочисленных произведений? — нередко спрашивали писателя.

— Отовсюду, где только могу, — отвечал прославленный автор.

И это действительно было так. Под его пером оживали исторические хроники, он мог вдохнуть жизнь в старинные легенды, воскрешал забытые мемуары, написанные в разные эпохи. Дюма добывал драгоценные крупницы фактов в шахте истории и заявлял: «Моя руда — это моя левая рука, которая держит открытую книгу, в то время как правая работает по двенадцать часов в сутки». Неутомимый рудокop увлекательных сюжетов, он поклонялся его величеству Случаю, считал его «величайшим романистом мира». Пути изыскателя сюжетов привели его к чтению Ридерера — компилятора повествования о политических и галантных интригах при дворе французских королей от Карла IX до Людовика XV; мемуаров мадам де Мотте-виль, камеристки Анны Австрийской, и записок Пьера де



Лапорта — ее лакея; Тальмана де Рео — автора «Анекдотов» о нравах XVII века; «Истории Людовика XIII» Мишеля Ле Вассора; трудов историков Луи Блана и Жюль Мишле.

И действительно, Александр Дюма был великим расточителем литературного дара. Засучив рукава, словно лесоруб, отмахивая главу за главой, он оставался Геркулесом плодовитости. Писал А. Дюма не только много, но и невероятно быстро. «Я неиссякаемый романист», — говорил он сам про себя.

Большинство его романов на исторические темы. Как никто, он умел использовать «богатство интриги», которое История щедро предлагает писателю воображению. На страницах его книг оживали персонажи далекого прошлого, времен таинственных заговоров, кипения страстей, жестокого насилия, религиозного фанатизма и любовных безумств. Его перо создавало романтический мир, который, однако, состоял из точно описанных характеров и нравов. «Дюма — народен, — отмечал его современник литератор Жюль Валлес. — Он заставил Историю сойти с величественно-строгого пьедестала, заставил принцев и принцесс, маршалов и епископов участвовать в скромных и по-человечески интересных приключениях, а маленьких людей вершить судьбами царств. Шуты и пешки, вышедшие из низов, ставили шах королям на доске его книг — веселых, как дубок, и пространных, как фрески Ватикана».

Значит ли это, что А. Дюма создавал произведения только о прошлом? И у него нет сочинения, которое относилось бы к эпохе, когда оно писалось? Такая книга есть и называется она «Граф Монте-Кристо». Это рассказ о современной писателю Франции, о событиях, разворачивающихся на фоне эпохи Реставрации.

АЛМАЗ ВОЗМЕЗДИЯ

Еще недавно у него не было даже чистого воротничка — приходилось выкраивать его из картона. Он хорошо помнил

и то недоброе время, когда из всего тиража разошлись лишь четыре жалких экземпляра его книги. Это тогда. А теперь? Теперь на нем фрак и манишка с модным воротником, светлый жилет с отворотами. Он носит лорнет, хотя у него великолепное зрение. Знаменитый скульптор Давид д'Анжер запечатлевает его на медальоне, другой художник — Ахилл Девериа создает литографию, на которой изображает его триумфатором. Перед ним заискивают, с ним ищут знакомства. Издатели наперебой засыпают его заказами. Часто, не успевая уложиться в сроки договора, он вынужден сдавать недовершенные рукописи, печатать одновременно в разных газетах свои романы-фельетоны. Затем составлять их в тома и публиковать книгу целиком. Доходы его растут со сказочной быстротой.

Однако рядом с ним, в Париже, жил и трудился литератор, который превосходил его если не по популярности, то по суммам получаемых гонораров, безусловно. Сочинения Эжена Сю — главного соперника Александра Дюма — читала вся страна. Особенно зачитывались «Парижскими тайнами» — книгой о тогдашней жизни французской столицы. За нее автор получил баснословный по тем временам гонорар — сто тысяч франков. Имена принца Герольштейна, Родольфа и других персонажей романа Эжена Сю были у всех на устах.

Издатель Бетюн предложил А. Дюма вступить в соревнование с Эженом Сю. Для этого требовалось написать роман на современный сюжет. Соперничать с Эженом Сю по части изобретательности сюжетов мог далеко не каждый. Автор «Парижских тайн», «Агасфера», «Мартина Найденыша» нещадно эксплуатировал свое воображение, сочиняя неимоверно запутанные ситуации и напряженные конфликты.

Дюма принял предложение Бетюна. Работу над романом он начал, как всегда, с поисков подлинной истории, достойной послужить основой сюжета. Нужна была интрига, случай, который под пером мастера превратился бы в литературный шедевр.

И тут на помощь писателю пришла услужливая память. Дюма вспомнил, что два-три года назад ему в руки попала книжонка «Полиция без масок», изданная неким Бурмансе в 1838 году. Это был один из шести томов, извлеченных из полицейских архивов Жаком Пеше и обработанных журналистом Эмилем Бушери и бароном Ламотт-Лангоном.

Перелистывая записки бывшего полицейского хрониста, он наткнулся на главу под интригующим названием «Алмаз и возмездие».

О чем же рассказывал в своих записках безвестный полицейский чиновник?

История, вдохновившая Дюма, началась в 1807 году. В ту пору жил в Париже молодой сапожник по имени Франсуа Пико. У него была невеста, столь же красивая, как и богатая. Звали ее Маргарет Фижеру. За ней было приданого целых сто тысяч франков золотом — сумма, что и говорить, немалая.

Однажды во время карнавала разодетый Пико заглянул в кабачок к своему приятелю Матье Лупиану. Здесь, подвыпив, он рассказал о своей удаче. Кабатчик оказался человеком завистливым, да к тому же тайно влюбленным в красавицу Маргарет. Он решил помешать женитьбе своего друга. И когда тот ушел, коварный кабатчик предложил свидетелям рассказа Пико (а их было трое, в том числе и Антуан Аллю, — имя, которое следует запомнить) подшутить над счастливым женихом. Как это сделать? Очень просто: написать полицейскому комиссару, что Франсуа Пико — английский агент и состоит в заговоре, цель которого вернуть на престол Бурбонов.

Шутка, рожденная разгоряченным воображением карнавальных гуляк, обернулась настоящей трагедией. За три дня до свадьбы Пико арестовали. Причем усердный комиссар, не произведя следствия, поспешил дать делу ход и сообщил о заговорщике министру полиции Савори. Надо ли удивляться, что участь бедного Пико была решена. Вместо свадьбы его запрятали в крепость Фенестрель в Пьемонте.

Родители исчезнувшего Пико, его невеста были в отчаянии. Но все их попытки узнать, что стало с юношей, не дали никаких результатов. Пико бесследно исчез.

Минуло семь долгих лет. За это время Наполеон был низложен. На троне вновь восседают Бурбоны. Для Пико это означает свободу. Измученного годами заключения, его выпускают на волю. Трудно было узнать в этом состарившемся человеке некогда красивого парня. Темница наложила неизгладимый отпечаток на его внешний вид, сделала его мрачным, суровым, но одновременно и богатым.

В крепости один итальянский священник, такой же арестант, как и Пико, завещал ему перед смертью все свое состояние: восемь миллионов франков, вложенных в движимое имущество, два миллиона в драгоценностях и на три миллиона золота. Сокровища эти были спрятаны в потайном месте, которое аббат открыл Пико.

Первым делом, выйдя из тюрьмы, Пико завладевает богатством. А затем посвящает себя целиком выполнению задуманного плана: найти Маргарет и отомстить всем тем, кто был виновен в его аресте и помешал свадьбе.

Под именем Жозефа Люше он объявляется в квартале, где некогда жил. Шаг за шагом ведет свои расследования. Узнает, что прекрасная Маргарет «после того, как оплакивала его целых два года», вышла замуж за кабатчика Лупиана — главного, как ему сообщают, виновника несчастья Франсуа Пико. За это время его бывшая невеста стала матерью двоих детей, а ее муж превратился в богатого владельца одного из самых шикарных парижских ресторанов. Кто же остальные виновники карнавальной шутки? Ему советуют обратиться к Антуану Аллю, проживающему в Ниме.

Переодевшись монахом, Пико появляется в Ниме и предстает перед владельцем жалкого трактира Аллю. Выдав себя за аббата Балдини — священника из крепости Фенестрель, он заявляет, что явился, чтобы выполнить последнюю волю несчастного Франсуа Пико — выяснить, кто же был повинен в аресте сапожника. При этих словах

лжеаббат извлек на свет чудесный бриллиант. «Согласно воле Пико,— заявил он изумленному Аллю,— этот алмаз будет принадлежать вам, если назовете имена злодеев». Не раздумывая, трактирщик отвечает: «Донес на него Лупиан. Ему помогали бакалейщик Шобро и шляпочник Соляри».

Пико получил подтверждение виновности Лупиана и имена остальных врагов, а Аллю — желанный алмаз, который тут же продал. На полученные деньги купил роскошную виллу. Однако скоро ему стало известно, что ювелир надул его: перепродал камень за 107 тысяч франков, в то время как Аллю получил лишь 65. Пытаясь вернуть недостачу, он убил ювелира и скрылся.

Тем временем Пико вернулся в Париж и под именем Просперо нанялся официантом в ресторан Лупиана. Вскоре здесь он увидел не только бывшую невесту, но и обоих сообщников — Шобро и Соляри.

Однажды вечером Шобро не появился, как обычно, на партии домино, которую, по обыкновению, играл с Лупианом. Труп бакалейщика с кинжалом в груди нашли на мосту Искусств. На рукоятке было вырезано: «номер первый».

С этих пор несчастья так и посыпались на голову Лупиана. Его дочь от первого брака, шестнадцатилетнюю красавицу Терезу, совратил некий маркиз Корлано, обладатель солидного состояния. Чтобы предотвратить скандал, решили устроить немедленную свадьбу. Сделать это было тем более легко, что соблазнитель не возражал. Напротив, с радостью готов был сочетаться законным браком с той, которая скоро должна была стать матерью его ребенка. Скандал разразился во время свадебного ужина. Новобрачный не явился к столу. Более того, он вообще исчез. А вскоре из Испании пришло письмо, из которого явствовало, что Корлано никакой не маркиз, а беглый каторжник.

Родители покинутой молодой жены пребывали в ужасе. Супругу Лупиана пришлось отправить в деревню — нервы ее оказались совсем расстроеными.

К старым бедам прибавляются новые. Дотла сгорают дом и ресторан Лупиана. Что это, несчастный случай или загадочный поджог? Лупиан разорен. Но он и опозорен. Его шалопай сын втянут в компанию бездельников и попадает на краже: двадцать лет каторги — таков приговор суда.

Неожиданно в мучениях умирает Соляри. К его гробу кто-то прикрепляет записку со словами: «номер второй».

Катастрофа следует за катастрофой. В начале 1820 года от отчаяния умирает «прекрасная Маргарет». В этот самый момент официант Просперо нагло предлагает купить у Лупиана его дочь Терезу. Гордая красавица становится любовницей слуги.

Лупиану начинает казаться, что он сходит с ума. Однажды вечером в саду перед ним вырастает фигура в черной маске. Таинственный незнакомец произносит: «Я Франсуа Пико, которого ты, Лупиан, засадил в 1807 году за решетку и у которого похитил невесту. Я убил Шобро и Соляри, обесчестил твою дочь и опозорил сына, поджег твой дом и довел тем самым до могилы твою жену. Теперь настал твой черед — ты «номер третий». Лупиан падает, пронзенный насмерть кинжалом.

Мсть свершилась. Пико остается бежать. Но кто-то хватает его, связывает и уносит. Придя в себя, он видит перед собой Антуана Аллю.

Нимский трактирщик давно догадался, что под личной монаха к нему являлся Пико. Тогда он тайно приехал в Париж и все это время был как бы молчаливым соучастником мести сапожника. Теперь за свое молчание он потребовал половину состояния Пико. К удивлению Аллю, тот наотрез отказался. Ни побои, ни угрозы — ничто не могло сломить упорства бывшего узника Фенестреля. В припадке бешенства Аллю закалывает его. После чего бежит в Англию, а еще через несколько лет Аллю, чувствуя приближение смерти, призывает католического священника. Он признается ему в совершенных злодеяниях и просит свою исповедь сделать достоянием французской полиции.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЧЕРВЬ

Всего двадцать страниц занимала история сапожника Пико. Но зоркий глаз Дюма сразу увидел в ней великолепную, пока еще бесформенную, необработанную жемчужину. Ему и раньше приходилось иметь дело с подобным материалом. Однако на сей раз в руках у него оказалась не историческая хроника, а драма из современной жизни. Интрига, которую он искал, лежала перед ним на столе. Мастер принялся за шлифовку жемчужины.

По существу, ему надлежало сделать из уголовной хроники художественное произведение. Не он первый обращался к сюжетам, в изобилии поставляемым миром преступности. Разве до него такие писатели, как Прево и Дефо, Шиллер и Вальтер Скотт, Бальзак и Диккенс, и многие другие, не черпали образы и коллизии в полицейских актах, судебных отчетах и тюремных записках?

С помощью уникального инструмента — воображения — Дюма предстояло превратить живших когда-то реальных людей в художественные образы, обретя право автора вершить судьбы своих героев.

И возмездие сапожника Пико станет не только мстью за себя и свои несчастья, но и за всех обиженных, оклеветанных и преследуемых. А что такое клевета и преследования, Дюма хорошо знал сам. Он очень хотел хотя бы на бумажных страницах свести счеты со всеми выскочками и карьеристами, с жуликами, ставшими банкирами, бродягами, превратившимися в сановников, мошенниками, разбогатевшими в колониальных экспедициях и вернувшимися генералами. Несмотря на преступления, совершенные ими, они процветали, добившись завидного положения в обществе. Столица кишела этими «героями» эпохи Реставрации. Пройдоха, авантюрист и преступник стали активно действующей фигурой французского общества. Вспомните хотя бы персонажей Бальзака: Ростиньяк, Феррагюс, наконец, Вотрен.

Мсть героя Дюма, может быть, будет жестокой, но справедливой. Враги понесут наказание за вероломство

и предательство. Интрига станет намного сложнее, в повествовании появятся новые персонажи и эпизоды. Словом, как всегда, у Дюма грубая ткань подлинного факта будет расшита причудливым узором вымысла.

Герои его романа, начав жизнь простыми и неизвестными, достигнут с помощью обмана, клеветы и подлости богатства, проникнут в высший свет, станут влиятельными и всесильными. Но и там возмездие человека, который был ими оклеветан и заживо похоронен, настигнет их и низвергнет в бездну.

Над новой книгой Дюма трудился с особым увлечением. Реальные факты полицейской хроники, разбудившие его воображение, переплетались с вымыслом, подлинные прототипы превращались в яркие характеры.

Когда часть романа была уже написана, Дюма рассказал о своем замысле Огюсту Маке, который до этого не раз выступал неизвестным соавтором знаменитого драматурга и романиста.

Их сотрудничество началось с тех пор, как Жерар де Нерваль — один из тех литературных «негров», которые подвизались на ролях закулисных сотрудников Дюма, привел к нему скромного преподавателя истории, «библиотечного червя», пожирателя мемуаров.

Молодой и энергичный Маке, знаток истории, но не любитель ее преподавать, мечтал о литературной карьере. Ему было двадцать семь, а Дюма — тридцать семь, когда он через год снова принес сырую рукопись. Дюма извлек из нее четыре тома «Шевалье д'Арманталь».

Добродушный Дюма не видел ничего худого в том, что на титульном листе имена Дюма и Маке будут стоять рядом. Против этого возражали издатели. Эмиль Жирарден, владелец газеты «Ля Пресс», заявил: «Роман, подписанный именем Дюма, стоит три франка за строчку, если же он подписан Дюма и Маке — строчка стоит тридцать су». Так Огюст Маке оказался в положении безвестного помощника, подмастерья у знаменитого метра.

Что касается Эмиля Жирардена, то, по его убеждению, он действовал в интересах своих подписчиков, стремясь

увеличить их число. «Любая стряпня», подписанная именем Дюма, принимается за шедевр, цинично заявлял газетчик и добавлял: «Желудок привыкает к тем блюдам, которые ему дают».

Этот издатель был одним из создателей так называемой дешевой «прессы в 40 франков». Он знал верный способ привлечь внимание читателей к газете, а значит, сделать ее еще более прибыльной, для этого нужно было просто начать печатать в ней роман-фельетон, давать в каждом номере два «подвала» с интригующей заключительной фразой: «продолжение следует».

Форма эта была изобретена за 15 лет до этого издателем Вероном, который руководил тогда газетой «Ревю де Пари». С тех пор романы-фельетоны заполонили страницы газет. Особый успех выпал на долю романа А. Дюма «Капитан Поль», который публиковался в «Ле Сьекль» в 1838 году и за три недели принес газете пять тысяч новых подписчиков. Когда в газете печатались «Три мушкетера», «вся Франция», свидетельствует Париго — исследователь творчества Дюма, с замиранием сердца ожидала появления каждого нового номера и смерть Портоса была воспринята как всенародный траур.

Условия печатания с обязательным «продолжение следует» не только вынуждали писать быстро, сразу начисто, но и вырабатывали особую технику письма. Искусство состояло в том, чтобы держать читателей в постоянном напряжении. Для этого требовалось умение увлечь их с первых страниц: несколькими штрихами обрисовав героев, переходить к действию. Основные средства сделать чтение занимательным и доступным — сложная интрига и авантурный элемент. Длинные описания были противопоказаны этому виду литературы.

Вместе с читателем испытывал напряжение, несколько, правда, иное, и автор. Ведь ему приходилось, хочешь не хочешь, выполнять обещание о публикации продолжения в следующем номере. Вот откуда те темпы в работе А. Дюма, которые поражали современников. «Физически невозмож-

но,— писал один из них,— чтобы господин Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его именем». Его называли «пишущей машиной, механизм которой ничто не портило и не замедляло».

Как бы оправдывая краткие сроки, в которые Дюма создавал свои романы, писатель Жюль Жанен восклицал: «Что же вы хотите? Сто тысяч читателей должны быть удовлетворены завтра, журнал ждет своего корма, и «продолжение следует» совершенно неумолимо».

Эти же условия вызвали к жизни и так называемых помощников Дюма, в том числе и Маке. За это его высмеивали, называли эксплуататором. На что писатель, со свойственным ему добродушием, отвечал: «У Наполеона тоже были свои генералы». Когда же его упрекали в заимствовании, он, ворча, парировал наскоки: «Гениальный писатель не крадет, а завоевывает».

Тень Огюста Маке незримо присутствует в восемнадцати романах, на обложке которых стоит одно имя: Александр Дюма. Многие из них представляли собой рукописи Маке, в корне переработанные гениальным пером метра. «Он испытывал необходимость в сырье,— пишет Андре Моруа,— переработав которое мог бы проявить свой редкий дар вдыхать жизнь в любое произведение». Иные они писали вместе, предварительно обсудив интригу, которую часто поставлял тот же Маке, обладавший особым нюхом на исторические сюжеты.

УЗНИК ЗАМКА ИФ

Когда Дюма рассказал Маке о своей работе над романом из современной жизни, они стали встречаться еще чаще. За завтраком, обедом и ужином речь шла о будущей книге. Дюма делился своими планами.

О любви Эдмона к девушке Мерседес, предательстве друзей, заключении в крепости и встрече там с аббатом он собирался лишь бегло упомянуть. Основное место



Эдмон Дантес после побега из замка Иф.

Рисунок Т. Жованно

отдавал рассказу о мести, которая, как он надеялся, затмит все фантазии Эжена Сю. Маке высказал свои сомнения: стоит ли опускать столь заманчивые моменты истории Пико. То есть все то, что происходит с героем до побега из крепости. Дюма задумался.

— Пожалуй, Маке, вы правы. Предыстория (сама по себе захватывающе интересная) должна быть

изложена более подробно. Да и по времени она занимает долгих десять лет.

— Ваш герой будет сапожником?

— О нет. Он будет солдатом, как мой отец, черт возьми!

— Не сделать ли его моряком? Это романтичнее.

— Согласен. Но тогда он должен жить не в Париже, а в каком-нибудь порту. Что если мы поселим его в чудесном городе Марселе?..

Так возник новый план романа. Действие его начиналось на солнечном юге, в приморском городе, который Дюма любил: он считал себя его приемным сыном.

На страницах задуманного романа надо было воссоздать атмосферу этого южного города, дать живописные его описания. И Дюма решает отправиться к морю. «Чтобы написать своего Монте-Кристо,— говорил он,— я вновь посетил Каталаны и замок Иф».

Впервые Дюма приехал в Марсель в ту пору, когда уже слыл знаменитостью, но славой своей был покамест обязан

исключительно театру. Было это в 1834 году. С тех пор в течение четверти века ежегодно он посещал этот благословенный город, столь милый его сердцу, так импонирующий его восторженности, увлеченности, мечтам. Город, который восславляли многие. Шатобриан называл его дочерью Эллады, просветительницей Галлии, его восхвалял Цицерон и победил Цезарь. «Еще ли тут мало славы!»

В начале сороковых годов прошлого века Марсель считался крупным портом, разбогатевшим на торговле со всеми странами мира. Сказочно быстро росло число мельниц, заводов и фабрик — мыловаренных, химических и бакалейных товаров, а также по производству свечей, посуды, мебели. Одним словом, это был город с развивающейся промышленностью и населением в 156 тысяч человек. Если учесть, что за сто лет до этого чума унесла половину его жителей — 50 тысяч, то к 1841 году население его возросло вдвое. В те времена Марсель еще не вышел за пределы городской черты, но уже начинал задыхаться в своих тесных улочках. В городе велись крупные работы, прокладывалась дорога вдоль моря, строилась набережная Прадо...

Обычно Дюма останавливался в «Отеле дез Амбассадер». Сменив дорожное платье, он спешил оказаться среди «морщин» старого Марселя, в тесных улочках, там, где протекала восхищавшая его жизнь портового города. Ему не терпелось побывать на террасах кафе, заполнявших набережную Канебьер — улицу Канатчиков. В белом костюме, в соломенной шляпе — своей знаменитой панаме Дюма, сопровождаемый любимым псом Милордом, привлекал всеобщее внимание. То и дело раскланивался со знакомыми, что-то рассказывал. Подобно своему герою судовладельцу Моррелю, писатель ходил пить кофе в «Клуб фокьян», который существует и сегодня в том самом доме номер 22 по улице Монгран. Во времена Дюма местные обыватели читали там «Семафор» — ежедневную газету моряков и коммерсантов. Частенько заглядывал Дюма и в «Резерв» — ресторан, где по его замыслу состоится праздничный свадебный обед в честь героев его романа —

Эдмона Дантеса и Мерседес. Бродил он и по Мельянским аллеям, там, где потом много лет подряд будут показывать «дом Дантеса»; не раз посещал поселок Каталаны, где некогда ютилась в хижине прекрасная Мерседес.

В Марселе будет замыслен и осуществлен коварный план Данглара и Фернана, совершен бесчестный поступок Вильфора; здесь же, в каземате крепости, расположенной на подступах к марсельской гавани, будет заточен Эдмон Дантес; отсюда он совершит дерзкий побег, но сюда и вернется впоследствии, чтобы вознаградить семью старика Морреля. Пожалуй, Дюма станет первым писателем, который отведет в своем романе такое большое место древней Фокее.

Неизменным спутником Дюма в его странствиях по городу стал Жозеф Мери. Именно он заразил писателя любовью к этому городу, заставил посмотреть на Марсель своими глазами.

Сын разорившегося коммерсанта, Жозеф Мери был на шесть лет старше Дюма и являлся автором множества стихов, рассказов, пьес, либретто и газетных статей. Одно время издавал антимонархическую газету, писал сатиры, бичующие режим, потом выпускал тот самый «Семафор». Его преследовали. За острые политические памфлеты он дважды сидел в тюрьме. Позже, поддавшись охватившей многих лихорадке, начал писать романы-фельетоны. Словом, это был очень плодовитый литератор. Правда, от его наследства мало что дожило до наших дней.

В компании Жозефа Мери и его друзей — поэтов и художников Дюма появлялся в местах народных гуляний, осматривал исторические памятники. С башен собора Нотр-Дам де ля Гард любовался живописным видом окрестностей, амфитеатром раскинувшегося по взгорью города. Подолгу простаивал в порту, вглядываясь в даль, туда, где между небом и морем высились отвесные стены замка Иф.

Бойкие лодочники наперебой предлагали приезжему господину посетить эту таинственную крепость, где некогда

томились многие страшные преступники: Железная маска, маркиз де Сад, аббат Фариа.

— Аббат Фариа? — заинтересовался Дюма. — За что же этот несчастный угодил в каменный мешок?

— Это нам неизвестно. А то, что в камере на галерее замка Иф лет тридцать назад содержался один аббат — это точно, — услышал Дюма в ответ.

Тогда Дюма обратился к всеведущему Жозефу Мери. И тот поведал ему необычную историю.

О мрачном замке Иф, расположенном на крохотном островке перед входом в марсельский порт, жители побережья издавна рассказывают различные поверья. Здесь, в сырых темницах, действительно томились многие преступники. Однажды, лет тридцать назад, в их числе оказался и аббат Фариа.

БРОНЗОВЫЙ АББАТ

Человек, известный во Франции как аббат Фариа, родился в Индии близ Гоа в 1756 году. Он был сыном Каэтано Виторино де Фариа и Розы Марии де Соуза. По отцовской линии происходил от богатого индийского брамина Анту Синай, который в конце XVI века перешел в христианство.

Когда мальчику, которого нарекли именем Хосе Кустодио Фариа, исполнилось пятнадцать лет, отец отправился с ним в Лиссабон. В столицу Португалии они прибыли на корабле «Святой Хосе» в ноябре 1771 года. Прожив здесь без особого успеха несколько месяцев, Каэтано решил попытать счастья в Риме. Заручившись поддержкой влиятельных лиц и протекциями, он отправился в Италию. Здесь ему больше повезло: сам он получил звание доктора, а сына пристроил в колледж пропаганды. В 1780 году Хосе закончил курс теологии.

В Лиссабоне, куда он не преминул вернуться, ему представилась блестящая возможность для карьеры. Его назна-

чили проповедником в королевскую церковь. Произошло это не без помощи отца, который к тому времени стал исповедником королевы.

Но вот наступает 1788 год, и неожиданно отец и сын Фариа спешно покидают Португалию. Что побудило их к бегству? Почему они вынуждены были бросить с таким трудом добытое положение? Есть основание считать, что оба они оказались участниками заговора, возникшего в Лиссабоне в 1787 году. Получив сведения о раскрытии планов заговорщиков, они успели спастись бегством. Свои стопы отец и сын направили в Париж.

Здесь молодой Хосе встретил революционный 1789 год. Его назначают командиром батальона санкюлотов. А несколько лет спустя Хосе пришлось убраться из столицы, ему не простили его прошлое. Тогда-то и оказался он на юге, в Марселе, где, как уверял позже, стал членом Медицинского общества. Впрочем, подтверждений этому нет. Зато точно известно, что Фариа был профессором Марсельской академии, преподавал в местном лицее и даже поддержал однажды бунт учащихся. После чего его перевели в Ним на должность помощника преподавателя. А отсюда, арестованный наполеоновской полицией, в карете с железными решетками, он был доставлен снова в Марсель, где и состоялся суд. Его обвинили в том, что он будто бы



Замок Иф на о. Фриуль

является последователем Гракха Бабефа. Столь опасного преступника суд решил поместить в замок Иф. Сюда, в мрачные казематы, и угодил Хосе Фариа.

Сколько лет томился он в крепости, точно неизвестно. Освободили его после того, как был низвергнут Наполеон. Хосе получил возможность вернуться в Париж. И вот он уже в столице, где на улице Клиши, в доме номер 49, открывает зал магнетизма.

Всего пять франков требовалось заплатить за то, чтобы стать свидетелем или участником поразительных по тем временам опытов аббата Фариа. Какие же чудеса совершались в доме на улице Клиши?

Еще раньше, вскоре после того, как Фариа впервые приехал в Париж, он подружился с графом Пюисегюром — учеником «излечителя» Месмера, австрийского врача, с упорством фанатика проповедующего свое учение о «животном магнетизме». Граф, следуя наставлениям Месмера, считал себя человеком, улавливающим некие сверхъестественные токи, от которых якобы зависят все явления, носящие название магнетических.

Производя бесплатно в своем поместье лечение по советам Месмера, граф случайно открыл особое состояние, названное им искусственным сомнамбулизмом. Пюисегюр и посвятил Фариа в практику магнетизма. С тех пор аббат, вспомнив о своих предках браминах, широко использовавших гипноз, стал заядлым последователем ученого графа.

В доме на улице Клиши отбоя не было от посетителей, в основном женского пола. Одних приводила сюда надежда на исцеление от недуга; других — возможность себя показать и мир посмотреть; третьих — просто любопытство. Странная личность аббата, высокий рост и бронзовая кожа, репутация чудодея и врачевателя немало способствовали успеху его предприятия.

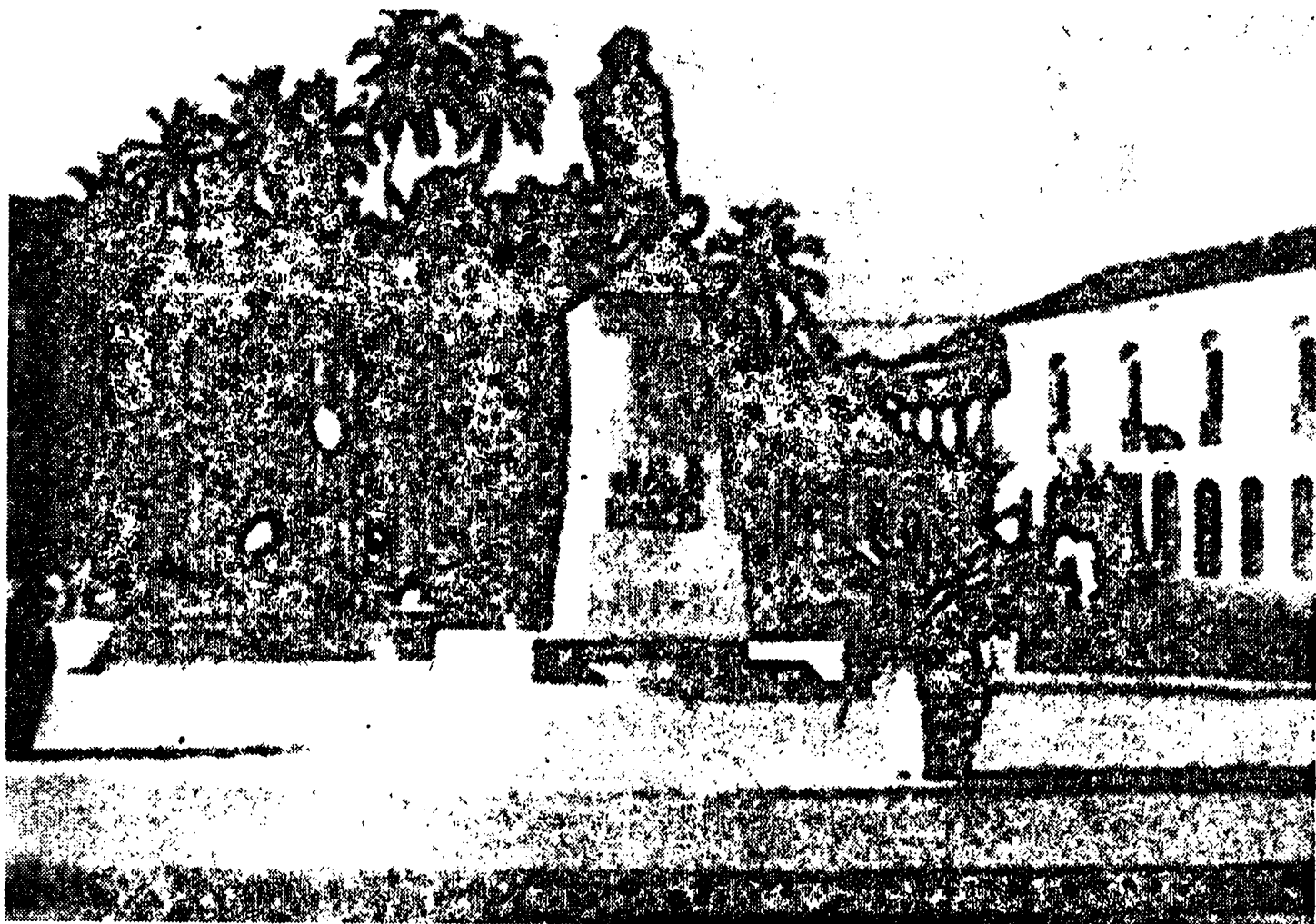
Очень скоро опыты убедили его в том, что нет ничего сверхъестественного в так называемом сомнамбулизме. Он не прибегал к «магнетическим пассам», не пользовался ни прикосновениями, ни взглядом. Словно маг из восточной

сказки, аббат вызывал «магнетические явления» простым словом «спите!». Произносил он его повелительным тоном, предлагая пациенту закрыть глаза и сосредоточиться на сне. Свои опыты он сопровождал разъяснениями. «Не в магнетизере тайна магнетического состояния, а в магнетизируемом — в его воображении,— наставлял он.— Верь и надейся, если хочешь подвергнуться внушению». За четверть века до английского врача Джемса Бреда он пытался проникнуть в природу гипнотических состояний. Фариа впервые заговорил об одинаковой природе сна сомнамбулического и обыкновенного.

Об опытах «бронзового аббата» говорила вся столица. Популярность потомка браминов росла день ото дня. Публику привлекали, однако, не теоретическое изложение идей аббата, а сами гипнотические сеансы.

Церковники с яростью и хулой обрушились на экспериментатора. Хотя Фариа был человеком верующим, он, не колеблясь, встретил нападки теологов, утверждавших, что магнетизм — результат действия флюидов адского происхождения. И все же церковники победили. Их проклятия и наветы заставили клиентов и любопытных забыть дорогу в дом на улице Клиши. Маг и волшебник был вскоре всеми покинут. Без пенсии, сраженный превратностями судьбы, оставленный теми, кто еще недавно ему поклонялся, он оказался в нищете. Чтобы не умереть с голода, ему пришлось принять скромный приход. Тогда-то он и написал свою книгу, посвятив ее памяти своего учителя Пюисегюра. Называлась эта книга «О причине ясного сна, или Исследование природы человека, написанное аббатом Фариа, брамином, доктором теологии». Умер он в 1819 году.

— Если мне не изменяет память, этот бедняга врач был осмеян в веселом водевиле «Мания магнетизера»,— вспомнил Дюма.— Ну, конечно, это тот самый «бронзовый аббат», который, по словам Шатобриана, однажды в салоне мадам де Кюстин с помощью магнетизма у него на глазах умертвил чижику. А недавно мне встретилось его имя на страницах «Истории академии магнетизма», только что



Памятник аббату Фариа в Пенаджи

изданной в Париже. Ничего не скажешь, странная, таинственная личность...

Именно такой персонаж и требовался для его романа. Вывести человека, хорошо известного в столице, пользующегося, как, скажем, граф Сен-Жермен или Калиостро, репутацией кудесника, о котором весь Париж гадал: кто же он на самом деле — индийский маг, ловкий шарлатан или талантливый ученый?

Реальный Фариа, португальский прелат, превратится на страницах романа Дюма в вымышленного итальянского аббата, человека широчайшей образованности, ученого и изобретателя, книжника и полиглота, борца за объединение Италии. И еще одним будет отличаться созданный воображением писателя священник от прототипа. Настоящий Фариа умер нищим. Герой Дюма, как и аббат из полицейской хроники, — обладатель несметных сокровищ. Фариа, умирая в камере крепости Иф, завещает свои сокровища юному другу по заключению Эдмону Дантесу. Богатство становится орудием его мести.

Реальный аббат Фариа умер и никогда не воскреснет. Вымышленный Фариа живет на страницах книги — один из удивительнейших героев Дюма.

ОСТРОВ МОНТЕ-КРИСТО

Фабрика «Дюма и Make» работала полным ходом. Make трудился без устали, делая черновые заготовки эпизодов. Очередной кусок должен утром лежать на столе у метра. Его вклад в создание книги оказался столь значителен, что сам Дюма позже признавал: «Make проделал работу соавтора». Сам Дюма едва успевал писать свои собственные части и обрабатывать сырье, поставляемое соавтором. Первый том необходимо было закончить в десять дней. Газета «Де Деба», где роман будет опубликован, уже требует первые главы. «Работайте ночью, утром, днем, когда хотите, но мы должны успеть», — приказывал Дюма. Для быстроты дела, чтобы рукопись была написана одним почерком (издатели признавали только руку Дюма, отказываясь принимать оригинал, если он был написан другим), пришлось, как бывало и прежде, привлечь некоего Вьейо — пропойцу и бездельника, единственное достоинство которого состояло в том, что его почерк, как две капли воды, походил на почерк Дюма.

В отличие от мелкого, убористого почерка Make, выдававшего в нем скрупулезного выискивателя фактов, Дюма писал размашисто, каллиграфически красиво, однако почти без знаков препинания — это была забота секретарей. Пользовался он обычно широкого формата бумагой голубого цвета. Ее специально поставлял ему лильский фабрикант Данель — поклонник его таланта.

Однажды утром Дюма сам явился в кабинет Make. Тот сидел, обложенный выписками, кипой бумаги, книгами. Подали кофе.

— Дорогой Make, приближается 28 августа — день, когда газета намерена начать публиковать наше детище. Мы должны успеть во что бы то ни стало.

— Я работаю не покладая рук. Но должен заметить, что мы все еще не придумали, как будут называть Дантеса после побега из крепости Иф.

— Наш герой, как и Атос из «Трех мушкетеров», будет жить на парижской улице Феру в двух шагах от Люксембургского сада,— парировал Дюма.— Впервые он объявится в столице под именем аббата Бузони. Это одна из масок, которую носит Эдмон Дантес после побега.

— Но у него должно быть и настоящее имя,— замечает Маке.— Он богат, пусть его называют принц Заккон или что-нибудь в этом роде.

— Вы правы. Необходимо запоминающееся, необычное имя. Я подумаю об этом сегодня вечером.

...В полночь, отложив перо, Дюма предался воспоминаниям. Перед ним возникали картины Марсея, эпизоды его последнего путешествия на юг, поездка в крепость Иф, встреча на берегу со знаменитой актрисой Рашель.

Весенняя ночь, шум прибоя настроили его тогда романтически. Подобрал отшлифованный волнами кусочек мрамора, он подарил его спутнице «в память о нашей приятной встрече».

Сейчас, вспомнив об этом, он подумал о другой своей поездке по Средиземному морю. Она состоялась вскоре после встречи с Рашель, в 1843 году. Дюма странствовал тогда по Италии и остановился у Жерома Бонапарта — последнего из четырех братьев Наполеона.

Бывший экс-король Вестфалии попросил писателя свезти его восемнадцатилетнего сына на остров Эльба, где многое напомним племяннику о великом дяде.

Путешественники обошли остров, осматривали реликвии, связанные с пребыванием здесь императора Франции. Потом совершили поездку на соседний островок в надежде поохотиться на куропаток и кроликов. Но охота не удалась. Тогда проводник, местный житель, указал на утес, словно сахарная голова, вздымающийся в морской дали:

— Вот где великолепная охота.

— Какая же там водится дичь?

- Дикае козы, целые стада.
- А как называется этот благословенный клочок земли?
- Остров Монте-Кристо.

Название пленило неисправимого романтика Александра Дюма. Однако к его досаде, попасть на этот скалистый, почти полупустынный утес, входивший в Тосканский архипелаг, тогда так и не удалось: на острове был карантин.

— Монте-Кристо! В память о нашем путешествии, — воскликнул Дюма, — я назову этим именем одного из героев своего будущего романа.

И вот теперь вспомнившиеся ему собственные слова, обращенные к Рашель, — «в память о нашей приятной встрече» — воскресили обстоятельства поездки с племянником Наполеона и обещание назвать «в память о нашем путешествии» именем острова, на котором им так и не удалось побывать, одного из своих будущих героев. Неожиданно для себя Дюма произнес: «Монте-Кристо, граф Монте-Кристо!»

ПОХЛЕБКА ЭДМОНА ДАНТЕСА

«Фантазия этого человека обладает таким дьявольским могуществом, что под конец трудно провести границу между вымыслом и реальностью». В справедливости этих слов писателя Андре Ремакля могли убедиться и современники Дюма, начав читать очередной его шедевр «Граф Монте-Кристо».

Первый отрывок появился в газете «Де Деба», как и было намечено, 28 августа 1844 года. С этого дня в течение полутора лет приключения графа Монте-Кристо не давали спокойно спать читающей публике. Благородный и справедливый граф, с таким необычным именем, быстро завоевал всеобщую симпатию. Читатели сотнями запрашивали газету, горя желанием узнать конец истории графа Монте-Кристо. Наиболее нетерпеливые платили рабочим типографии, чтобы выяснить, передал ли Дюма продолжение для следующего номера или нет: публикации в «Де Деба»

то и дело прерывались, причем часто на целые месяцы. Причина была в том, что Дюма и Маке одновременно трудились над несколькими сочинениями. В газете «Конститусионель» почти в то же время печатался их роман-фельетон «Дама из Монсоро», в других изданиях — «Сорок пять», «Шевалье де Мезон-Руж».

Публикация «Графа Монте-Кристо» заняла 136 номеров и растянулась до 15 января 1846 года. Но первые тома отдельного издания появились в книжной лавке издателя Пиэтона еще в 1845 году. А всего роман занял 18 томов и продавался за 135 франков. Доходы Дюма достигли небывалых размеров. В год он заработал двести тысяч золотом. Про него теперь говорили: «богат, как Монте-Кристо». Слава, затмившая соперников, стала его тенью.

Прошло два года. Однажды Дюма охотился в лесах Марли и внезапно был поражен открывшейся ему панорамой. Вокруг простирались красивые леса, вдали виднелись террасы Сен-Жермена и холмы Аржантяля, сапоги утопали в густом цветочном ковре. На другой день Дюма вернулся сюда со своим архитектором Дюраном.

И вот на лесном участке, так приглянувшемся Дюма, возведен великолепный «замок». Парижане удивлялись. Писатель Леон Гозлан назвал его «жемчужиной архитектуры», Бальзак — «одним из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались». И действительно, лишь очень богатый человек мог позволить себе такую поистине королевскую роскошь. Но ведь Дюма, как и его герой граф Монте-Кристо, был теперь неимоверно богат. Вот почему и свой замок он назвал «Монте-Кристо».

Новоселье состоялось в жаркий июльский вечер 1848 года. Кареты одна за другой подъезжали к массивным чугунным воротам, на которых выделялся позолоченный вензель: «А. Д.». Оказавшись за оградой, гости останавливались пораженные. Но не пятьдесят столов, накрытых на шестьсот персон на лужайке перед «замком», были тому причиной. Всеобщее восхищение вызывали английский парк, водопады,

подъемные мосты, озерцо с островками. Самое большое впечатление производил сам «замок». Вернее его было бы назвать причудливой виллой, где смешались стили разных эпох. Готические башни, мавританские плафоны, гипсовые арабески с изречениями из Корана, восточные минареты, фронтоны с итальянской скульптурой. Стили Генриха II и Людовика XV странно сочетались с элементами античности и средневековья. Витражи в свинцовых рамах, флюгера, балконы, апартаменты, украшенные золотой вязью лепных украшений.

Рядом с «замком» находилась конюшня, где содержались три арабских скакуна: Атос, Портос и Арамис. В вольерах проказничали обезьяны, бродил фазан Лукулл, кричали попугаи, голосил петух Цезарь. Нахохлившись, восседал на миниатюрной скале гриф по прозвищу Югурта, привезенный хозяином из Туниса. Трудно было остаться равнодушным при виде всего этого великолепия. Только один негритенок с Антильских островов, подаренный актрисой Мари Дорваль в корзинке с цветами, сохранял бесстрастное выражение лица. Да кот Мисуф и любимцы хозяина псы безучастно слонялись по зеленым лужайкам.

— Всего золота вашего графа Монте-Кристо не хватило бы на то, чтобы возвести этот роскошный замок, — заметил хозяину писатель Леон Гозлан в порыве восторга.

Среди всей этой вычурности и помпезности лишь кабинет хозяина напоминал простую келью. Узкая витая лестница вела в тесную каморку, где стояла железная кровать, деревянный стол и два стула. Здесь Дюма работал, иногда по несколько дней не покидая своего «кабинета». Лишь изредка появлялся на балконе, откуда мог наблюдать за гостями, посещавшими его дом.

Замок — «самая царственная из всех бонбоньерок на свете», как заметил Бальзак, — странным образом напоминал портрет создателя д'Артаньяна и графа Монте-Кристо. Это была копия самого Александра Дюма — веселого, остроумного и безалаберного малого, безрассудного и вели-

кодушного, одержимого невероятными прожеками, нерасчетливого и трогательно-наивного.

Недолго владелец поместья «Монте-Кристо» был опьянен радостью и успехом. Вскоре долги и судебные исполнители обрушились на беспечного Дюма. Мебель, картины, книги, кареты, даже звери и птицы были распроданы. Затем настала очередь и самого здания. В феврале 1849 года его приобрел за 30 тысяч франков некий зубной врач, разбогатевший в США. Запирая ворота опустевшего «замка», судебный исполнитель оставил записку, достойную фигурировать в досье Дюма: «Продается гриф по прозвищу Югурта. Оценивается в 15 франков». Дом расточителя Дюма пошел с молотка.

В то же самое время Огюст Маке приобрел неподалеку виллу. Более скромную и отнюдь не чарующую воображение, вполне по его средствам и характеру. В отличие от Дюма он ее сохранил.

«Замок» Монте-Кристо дожил до наших дней. Добраться сюда несложно. Из Парижа в сторону Сен-Жермена ведет отличный путь. Миновав городки Рюэ, Бужеваль, Порт-Марли, у указателя с надписью «К Монте-Кристо» свернуть с шоссе влево. Дорога, петляющая среди садов, приведет к цели путешествия.

Ежегодно почитатели Александра Дюма приезжают сюда со всех концов света. Иногда здесь разыгрываются сцены из жизни писателя. И тогда на заросших аллеях, среди вековых деревьев перед «замком» слышатся смех и песни отважных мушкетеров, мелькает маска графа Монте-Кристо, и аббат Фариа, показывая фокусы, демонстрирует свое искусство волшебника.

Но вот над усадьбой нависла угроза. Власти разрешили строительство в этом районе. «Неужели все это исчезнет бесследно? — писал Алэн Деко в газете «Фигаро» после того, как об этом стало известно. — Неужели исчезнет и парк, где мечтал Дюма, и сам дом, восхищавший Андре Моруа?»

К счастью, в конце концов дом удалось отстоять и сегодня здесь музей Дюма. Повезло писателю и в его любимом

Марселе. Стремясь почтить память Дюма, отцы города дали одной из улиц в квартале, раскинувшемся по склону холма, который высится над главной улицей Канебьер, имя графа Монте-Кристо, другой — аббата Фариа, третьей — Эдмона Дантеса. А одной из магистралей на окраине города присвоено имя Александра Дюма. Так Марсель отплатил за любовь к нему писателя. Это единственный город, четырехкратно почтивший память автора «Графа Монте-Кристо», своевольно соединив в названии улиц имя писателя с именами его героев.

* * *

Многие марсельцы, да только ли они, и по сей день искренне верят, что все, о чем написал Дюма в своем романе, случилось на самом деле. Этой верой ловко пользуются все те же лодочники и расторопные гиды, предлагающие посетить замок Иф. Слава той «южной Бастилии» не померкла и по сей день. Однако сегодня замок Иф — безобидное место. Не видно больше часовых на стенах — вот уже сорок лет крепость охраняется лишь как памятник старины. Повсюду — на площадке внутри форта, в казематах — толпы туристов. С любопытством они останавливаются перед табличками на дверях камер, гласящих, что здесь содержались некие Эдмон Дантес — в будущем граф Монте-Кристо — и обладатель несметных сокровищ аббат Фариа. Показывают даже лаз, который они якобы прорыли из камеры в камеру. Так писательский вымысел, благодаря которому несчастный юноша оказался похороненным в этой страшной тюрьме, многие годы спустя обрел жизненное подтверждение. Впрочем, сам Дюма еще при жизни немало способствовал тому, чтобы история Эдмона Дантеса выглядела подлинной.

...Однажды Дюма отправился на рыбный базар в Старый порт. С изощренным искусством завязанного кулинара выбирал он здесь рыбу и ракушки для рыбной похлебки, секретом приготовления которой владел он один.

— А верно ли, господин Дюма,— спросил его любопытный марселец, увидев, как писатель с засученными рукавами стоит у плиты,— что Эдмон Дантес тоже умел готовить эту похлебку?

— Те! — отвечал Дюма, стараясь произносить слова с марсельским акцентом.— Он-то меня и выучил этому искусству!

Возбуждая фантазию своим названием, привлекает внимание туристов и остров Монте-Кристо. В желающих пройти тропами прославленных литературных героев никогда нет недостатка.

Однажды в зарубежной печати промелькнуло сообщение о том, что остров Монте-Кристо, площадь которого 10 кв. км, собираются превратить в заповедник. Здесь якобы будет создана «Республика Монте-Кристо». Она получит свой флаг — крест на белом поле, окаймленном голубыми полосами; и герб, на котором изображены якорь и охотничий рог.

Проводник А. Дюма был прав: не было и нет лучшей, чем здесь, охоты. То и дело на скалах на фоне неба возникают изящные силуэты горных коз особой породы — единственных хозяев этого царства зелени и гранита. Существуют, правда, на острове и остатки человеческого жилья: грот древнего отшельника да развалины монастыря.

Давно осыпалась позолота с вензеля «А. Д.» на чугунной решетке ворот «Монте-Кристо». Но неизменно в памяти читателей будет жить благородный псевдограф, в одиночку вступивший в борьбу с сильными мира сего. И напрасно волновался Дюма, задавая перед смертью сыну вопрос: «Александр, ты не веришь, что после меня что-то останется?» Время, беспощадное к творениям человеческого духа, щадит и увековечивает лишь то, что оказывается прочным. «Все, что было лишь звонким созвучием,— писал Анатоль Франс,— рассеется в воздухе; все, что создано лишь ради суетной славы, развеет ветер... Будущее знает свое дело — ему одному дано таинственное и безусловное право произносить окончательные, непререкаемые приговоры».

Будущее вынесло свой приговор творчеству Александра Дюма. Его книги, и среди них прежде всего роман «Граф Монте-Кристо», победили капризное и своевольное Время. Победило чудотворное, талантливое писательское слово.

СМЕРТЬ ПЬЕРА МОРЕНА И БЕССМЕРТИЕ ЖАНА ВАЛЬЖАНА



В «Отверженных» реальные факты составляют бесспорную основу произведения.

Андре Моруа

Почтовая карета, прибывшая из Нивеля, остановилась перед гостиницей «Отель де Колонн» в местечке Мон-Сен-Жан. Было одиннадцать часов утра 7 мая 1861 года. Погода стояла чудесная. Солнце успело высушить следы раннего дождя, и птицы звонко заливались в молодой листве.

Первым из кареты вышел мужчина лет шестидесяти, за ним, опершись на протянутую руку спутника, на землю ступила женщина с лицом, сохранившим следы былой красоты. Видно было, что путешественники утомлены дорогой. К тому же мужчина страдал от ломоты в ногах и непрестанно покашливал. Не дожидаясь, пока выгрузят багаж, они направились в гостиницу. Едва они вошли в отведенное им помещение, как мужчина подошел к окну и распахнул его. Первое, что он увидел вдали, был каменный лев, памятник героям императорской гвардии, павшим на поле Ватерлоо в июне 1815 года. Перед ним простиралось плато Мон-Сен-Жан, где и разыгрались основные события теперь уже давнего трагического сражения.

Могло показаться, что приезжий только и ждал этого момента — окинуть взором поле великой битвы. Однако из окна гостиницы сделать это в полной мере было невозможно. Но господин, по всей видимости, сгорал от нетерпения. Пока готовили завтрак, он успел сходить в табачную лавку под вывеской «Эсмеральда», где купил двенадцать открыток с видами местности.



Виктор Гюго. Литография Франсуа Дельпеша с рисунка Морена. 1825

Наскоро проглотив еду, он тут же один отправился по Нивельской дороге осматривать знакомые ему по книгам места былых боев.

Пора, однако, назвать имя господина, проявлявшего столь исключительный интерес к минувшему. Это был Виктор Гюго, известный писатель, живший в изгнании на острове Гернси. Вместе со своей подругой актрисой Жюльеттой Друэ он по морю добрался до Бельгии (во время морского путешествия схватил простуду, отчего и кашлял), и вот они наконец в Мон-Сен-Жане, напротив Ватерлоо.

Здесь, на месте великой битвы, он намерен завершить свой грандиозный роман. На целых шесть недель он укроется в этих местах, устроит себе логово, как позже скажет, в непосредственной близости от льва и напишет развязку своей книги. Только ради этого, собственно, Гюго впервые за девять лет своего изгнания и приехал с английского острова на материк.

Солнце стояло в зените, когда Гюго пешком отправился по широкому шоссе, вьющемуся по холмам, которые то как бы поднимали дорогу, то опускали ее, словно образуя на ней огромные волны.

Он миновал два каких-то местечка, состоявших из нескольких домиков, заметил вдали шиферную крышу колокольни, прошел рощу и на перекрестке дорог остановился около «Гостиницы четырех ветров». Передохнув, двинулся дальше вдоль ярко-зеленых деревьев, посаженных у дороги. Дойдя до постоянного двора, Гюго свернул на скверно вымощенную дорожку. Она привела его к старинной кирпичной ограде. За ней виднелся фасад здания в суровом стиле Людовика XIV. Ворота были закрыты.

Гюго осмотрелся. Внимательный взгляд писателя сразу заметил круглую впадину на правом упорном камне ворот. Не успел он нагнуться, чтобы получше рассмотреть изъяс на камне, как ворота отворились и появилась крестьянка. Догадавшись, на что он смотрит, она с готовностью пояснила:

— Сюда попало французское ядро.— И добавила: — А вот здесь,— она указала на отметину чуть повыше, на воротах,— это след картечи...

— Как называется это место? — спросил Гюго.

— Гугомон,— ответила женщина.

Писатель понял, что находится перед знаменитой стеной. Полвека назад Гугомон — тогда это было «зловещее место, начало противодействия. Первое сопротивление, встреченное при Ватерлоо великим лесорубом Европы, имя которого Наполеон; первый неподатливый сук под ударом его топора».

Ярость атакующих французов и отчаянная непоколебимость четырех рот англичан, засевших за стеной и в течение семи часов отбивавших натиск целой армии, оставили немало следов вокруг. Подле этой стены, ограждавшей строения, погиб чуть ли не целый корпус Рейля, а Келлерман израсходовал на нее весь свой запас ядер. «Если бы Наполеон сумел овладеть этим местом,— подумал писатель,— быть может, этот уголок земли сделал бы его владыкой мира».

Из-за стены слышалось рычание собаки. Как бы в ответ раздалось кудахтанье курицы и клекот индюшки, заскрипел ворот колодца. Мирная сельская картина. И тем не менее и эти развалины, источенные картечью, и некогда цветущий, а теперь полный сухостоя фруктовый сад, где в каждой от старости пригнувшейся к земле яблоне засела ружейная или картечная пуля, производили величественное впечатление.

В задумчивости стоял Гюго на месте, где началась великая битва.

— Мосье,— внезапно раздалось у него за спиной,— дайте мне три франка, и, если пожелаете, я расскажу вам, как было дело при Ватерлоо...

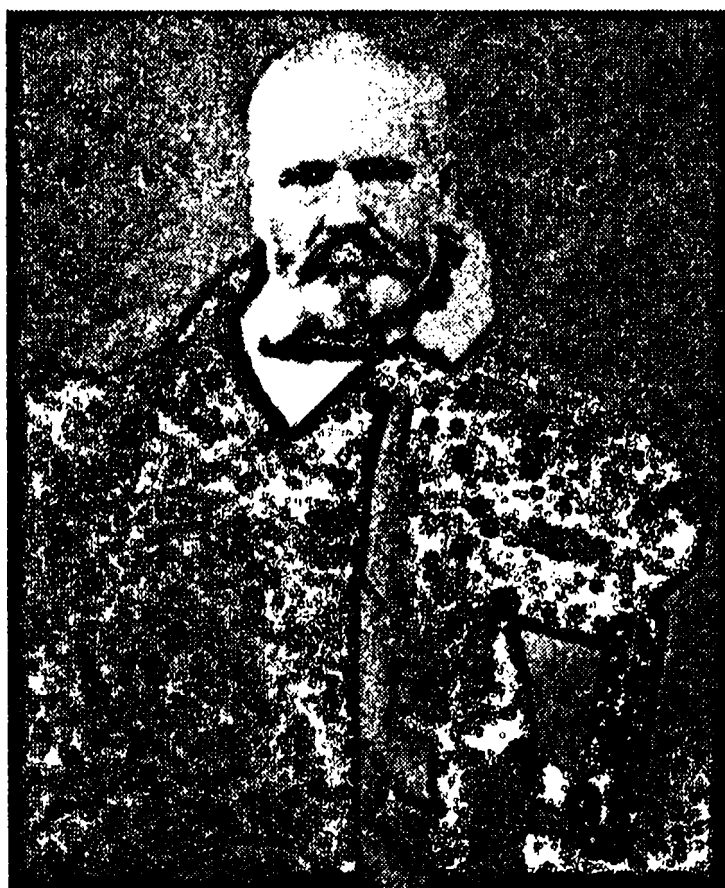
Перед Гюго возник неизвестно откуда появившийся небольшого роста человечек с хитрыми глазками, видимо подрабатывающий тем, что добровольно исполнял роль гида в здешних местах. Писатель приготовил свою записную книжку...

Возвращался Гюго под вечер. Алые лучи заходящего солнца освещали плато Мон-Сен-Жан, по которому тогда, в июне, неслись в конной атаке кирасиры Мило. Сколько полегло их здесь! Вспомнились цифры: сто сорок четыре тысячи сражающихся, из них шестьдесят тысяч убитых. Адская бойня. Здесь яростно бурлил смешанный поток английской, немецкой и французской крови; здесь была истреблена английская гвардия, полегли двадцать французских батальонов из сорока, составлявших корпус Рейля; у одной только стены и в развалинах замка Гугомон были изрублены, сожжены три тысячи человек... И все это лишь для того, размышлял Гюго, чтобы ныне какой-нибудь крестьянин мог вызваться быть гидом у заезжего иностранца.

Вернувшись в гостиницу, Гюго записывает в дневнике: «Видел Гугомон и купил за два франка кусок садового дерева, в котором застряла картечь». Затем он раскрывает один из чемоданов и вынимает железный сундучок. Повернув ключ, извлекает оттуда толстую, исписанную быстрым почерком рукопись, девять лет уже странствующую вместе с ним по дорогам изгнания. В ней около тысячи пятисот страниц. Это последняя часть самого большого его романа.

В открытое настежь окно льется вечерняя прохлада, уютно горит лампа на маленьком столе из потемневшего орехового дерева. Тишина. Гюго перечитывает последние строки написанного:

«— Мариус! — вскричал старик. — Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив, благодарю тебя!



Виктор Гюго. Фотография 1861 г.

И он упал без чувств».

Рядом с этими словами Гюго помечает: «Прервано 17 марта 1861 года из-за подготовки к моему путешествию в Бельгию...»

К сожалению, сильная простуда, которую он подхватил во время бури на Ла-Манше, позволит возобновить работу над рукописью только через десять дней после приезда в Мон-Сен-Жан.

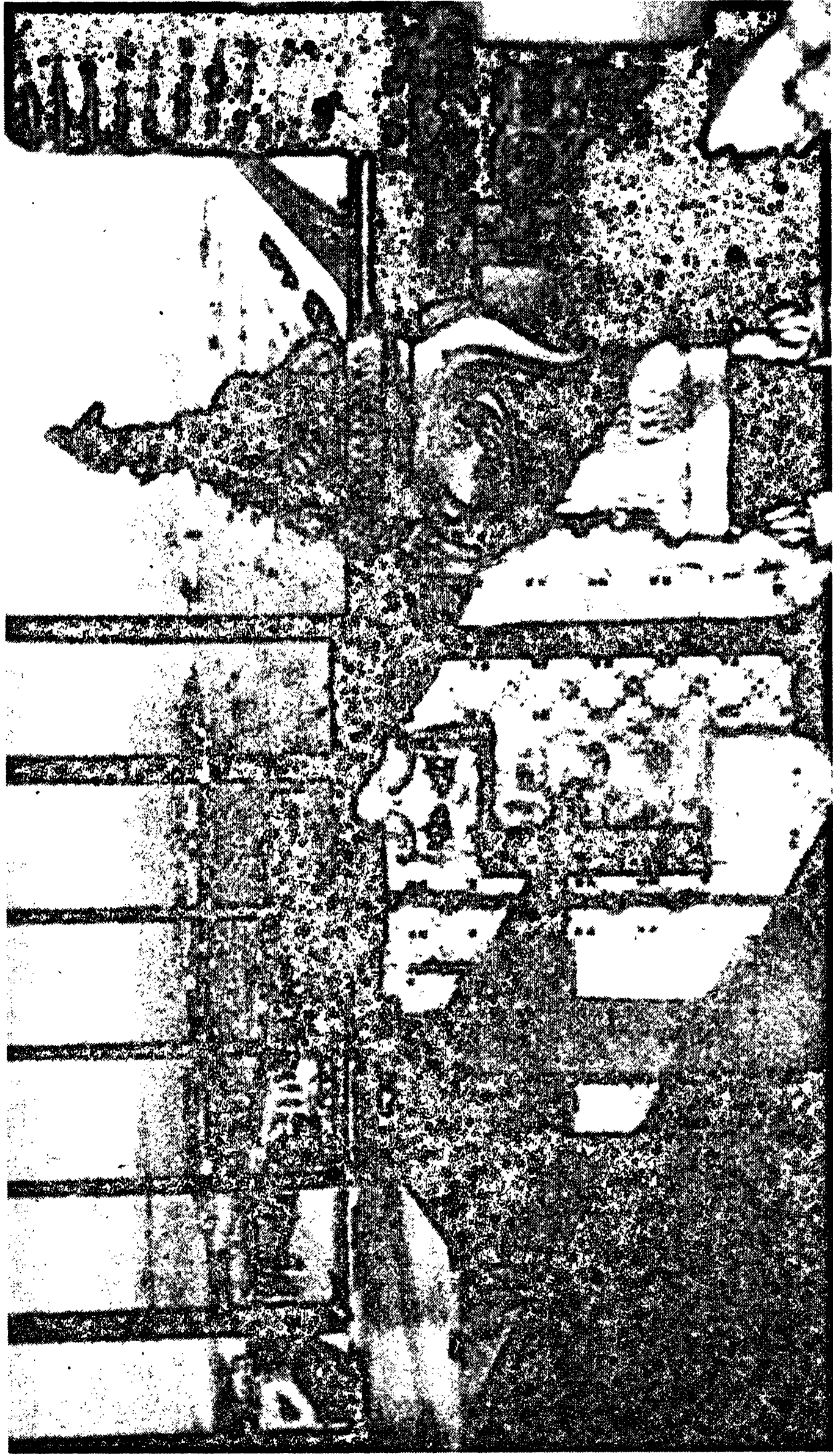
Постепенно, оправившись от болезни, он входит в свой обычный ритм. Каждое утро трудится по шесть часов. Прежде всего заготавливает огромное количество записей о битве при Ватерлоо. Связанные с ней эпизоды он напишет будущей зимой. Сейчас же главным образом сосредоточен на последних страницах своего романа.

Повествование идет к развязке. Гюго заканчивает главу «Бессонная ночь». В ней описана свадьба его молодых героев, двух влюбленных, Козетты и Мариуса, «которые ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет — любовь, увенчанную браком».

Вечером Жюльетта переписывает эти страницы, созданные накануне. И глухие рыдания подступают к горлу пятидесятипятилетней женщины. Читая, она вспоминает их собственную любовь, яркую толпу ряженых на улице Сестер Страстей Господних в последние дни масленицы, весь этот пестрый маскарад, веселящиеся маски паяцев, арлекинов и шутов, так красочно теперь описанные в этой главе, узнает многое из того, что они тогда, почти тридцать лет назад, переживали, о чем мечтали в ту ночь...

С особым чувством Жюльетта переносит на чистовую копию рукописи заключительные слова главы: «Любить, испытать любовь — это достаточно. Не требуйте ничего больше. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь — это свершение».

В гостинице «Отель де Колонн» была написана и глава о самоубийстве Жавера. Холодный и жестокий сыщик, причислявший себя к честным служителям закона, оказался принужденным выбирать между двумя преступления-



Здесь, в изгнании на о. Тернси, в Отвиль-хаузе писатель писал «Отверженных»

ми: отпустить человека — преступление, арестовать — тоже преступление!.. Значит, на путях долга могли встретиться тупики?.. И неужели закон должен отступить перед преобращенным преступником?

Не один десяток лет этот неподкупный полицейский, эта ищейка на службе общества, охотился за бывшим каторжником Жаном Вальжаном. И вот человек, которому надлежит надеть арестантский колпак, победил его, блюстителя порядка, победил, проявив к нему, Жаверу, великое милосердие, спас ему жизнь. И он, в свою очередь поправ закон, пощадил Жана Вальжана.

Дописав эту главу, Гюго зовет Жюльетту и читает ей. Это его ответ на вопрос, который она задала ему несколько месяцев назад: ей тогда не терпелось узнать, потерял ли этот чудовище Жавер след бедного и величественного господина мэра Мадлена, бывшего каторжника Жана Вальжана. Теперь Жюльетта знает, чем кончается этот поединок: «выведенный из себя» полицейский сыщик бросается в Сену. А что же будет с Жаном Вальжаном?

Об этом она узнает в той же гостинице 30 июня 1861 года.

В тот день, утром, в половине девятого, стремительное перо Гюго завершит свой бег по бумаге, и писатель поставит точку на последней странице рукописи.

За четыре часа до этого, на рассвете, его разбудила почтовая карета из Нивеля, вернее, ее кучер Жозеф, который, погоняя белую лошадь, насвистывал какую-то песенку. И в тот же час Гюго склонился над столиком из орехового дерева.

Лучи восходящего солнца постепенно наполняли светом комнату. Гюго простился со своим героем: он умер в феврале 1833 года, благословив два юных сердца, открыв им тайну и наказав вспоминать о нем. В предсмертные минуты Жану Вальжану показалось, что он, полуослепший старик, видит свет. Его озарял свет двух подсвечников епископа из Диня...

И в тот самый момент, когда Гюго дописал последнюю фразу, память его совершила скачок в прошлое, на тридцать лет назад.

Перед ним возник образ из далекого минувшего. Ему вспомнился вечер у парижского префекта и среди гостей брат хозяина монсеньер де Миоллис — благородный старец, который вот уже лет двенадцать как занимал епископскую должность в Дине.

Но почему именно этого служителя церкви вспомнил Гюго?

* * *

Истратив последнюю каплю чернил, которыми он писал, и поставив точку, Гюго пометил в дневнике: «Закончил «Отверженных» на поле битвы при Ватерлоо и в тот месяц, когда происходило сражение». В этот же самый месяц он дал и свое самое крупное сражение. Выиграл ли он его? Это станет ясно, когда книга выйдет в свет. Сейчас же важно одно — то, что многолетний труд завершен. И как часто бывает в соответствии с законами памяти, Гюго тогда же возвращается к началу, к истокам ручейка, которому с годами предстояло превратиться в полноводный мощный поток. Он совершает возврат в то время, когда еще смутно представлял, каким будет его главный труд (сегодня, слава Богу, им законченный), замысел которого уже зрел в нем и предстояло лишь выносить плод.

Целая жизнь прошла с тех пор, и многое из нее вобрали эти страницы. В том числе и образ его преосвященства де Миоллиса.

Когда Гюго встретился с престарелым епископом, а это было лишь однажды, то увидел невысокого роста человека, несколько располневшего, с мягкими, почти ласковыми чертами лица, но твердой поступью и прямым станом. На первый взгляд про него можно было сказать, что это добряк, и только. Но стоило с ним заговорить, как он преображался на глазах, становясь все значительнее, и тогда нечто возвышенное исходило от этой доброты. Это был, как скажет Гюго, пастырь, мудрец и человек. Про него говорили,

что когда-то он, будучи скромным кюре в Бриньоле, говорил с самим Наполеоном и понравился тому своим чистосердечием. А вскоре после этой встречи простого и сравнительно молодого священника, к удивлению всех, в том числе и его собственному, назначили епископом в Динь.

Образ этого добродетельного пастыря с высоким спокойным лбом, увенчанным сединой, и мудрыми, излучающими добро глазами, поразил воображение Гюго.

С этого момента писатель начал собирать материал о Шарле-Франсуа-Мельхиоре Бьенвеню де Миоллисе. Каким-то образом он раздобыл рукопись епископа, исписанную мелким, но четким почерком. В ней его преосвященство излагал учение Священного писания, разъясненного отцами церкви и Вселенскими соборами. В сущности это богословское сочинение носило компилятивный характер.

Автор трудолюбиво и скрупулезно собрал все сказанное отцами церкви и богословами на тему, скажем, «Об обязанностях» — общечеловеческих и каждого в отдельности. Из всех отобранных предписаний он составлял одно гармоническое целое. Ему хотелось сделать мудрость достоянием человеческих душ. В другом месте епископ рассуждал по поводу стиха из книги Бытия «Вначале дух Божий носился над водами», сопоставляя этот стих с арабскими и халдейскими текстами; разбирал различные богословские сочинения.

Вначале сведений у писателя было не так уж много. Но их оказалось достаточно, чтобы пробудить творческую мысль Гюго. Перед ним вырисовывалась удивительная, как ему казалось, личность праведника, своей душевной чистотой творящего чудеса, доброго пастыря, исцелителя падших и заблудших. Впрочем, Гюго не ошибся. Вскоре ему удалось узнать в подробностях жизнь этого человека, пережившего революцию, разорение, изгнание, потерю семьи... Писатель задумывает роман, который должен был называться «Рукопись епископа». Правда, пока что у него нет четкого представления о будущей книге. Знает лишь, что в основу ее он положит историю о добродетельном диньском епископе.

* * *

Когда в 1826 году у Гюго родился сын Шарль и квартира на улице Вожирар стала тесной, семья переехала в особняк на улице Нотр-Дам-де-Шан. Дом, расположенный неподалеку от Люксембургского сада, казался по сравнению с прошлым жильем огромным, комнаты были просторными и светлыми. И сразу же зачастили в гости друзья-литераторы, да и почитатели почувствовали себя в новом доме Гюго свободнее.

Среди посетителей однажды оказался и каноник Анжелен, пятидесятилетний священник, довольно моложавый для своих лет, крепкого телосложения и общительного нрава.

Что привело его на улицу Нотр-Дам-де-Шан? Его пригласил к себе писатель. Ему было важно побеседовать со священником.

И вот гость сидит перед писателем. О чём же говорит святой отец? Он рассказывает о монсеньере де Миоллесе, епископе из города Динь, у которого в молодые годы служил секретарем епархии.

Проводив священника, Гюго коротко записывает только что услышанное. Он явно доволен. В это утро значительно пополнилось досье будущей книги. Особенно ценным писателю кажется рассказ о встрече епископа с каторжником, чему каноник лично был свидетелем.

...Случилось это более двадцати лет назад, в первые дни октября 1806 года. Примерно за час до захода солнца в маленький городок Динь вошел путник. На вид ему было лет сорок шесть — сорок восемь, коренастый и плотный, с загорелым и обветренным лицом. Одет в лохмотья — рваная серая блуза с заплатами, ветхие, в дырах штаны, башмаки на босу ногу. Видно было, что шел он издалека и сильно устал.

Это был освобожденный с тулонской каторги преступник. Звали его Пьер Морен. Пять лет назад, в 1801 году, его приговорили к галерам за кражу куска хлеба.

Под деревьями эспланады он остановился и напился из фонтана. Затем направился к мэрии, где ему надлежало отметить свой паспорт. Жандарм, сидевший на крыльце, видел, как Морен вышел на улицу и, опираясь на суковатую палку, побрел к постоялому двору «Кольбасский крест». Хозяин, увидев желтый паспорт преступника, выгнал Морена. Точно так же с ним обошлись в кабачке, куда он попытался войти, чтобы поесть за свои деньги, которые у него имелись. В тюрьме, где он попросил приюта на одну только ночь, его тоже не приняли, предложив совершить что-нибудь такое, за что его схватят, и тогда, пожалуйста, входи как арестант.

Ему казалось, что весь городок ополчился против него, всюду его провожали полные ненависти взгляды, вслед несло: «Воровское отродье». А когда он попросил у крестьянина, ради Бога, дать ему напиток, тот ответил: «А пулю в лоб не хочешь?»

Отчаявшись, Морен решил устроиться в собачьей конуре, но и пес оскалил на него зубы. Покидать город было поздно — ворота уже закрыли. В этот момент какая-то сердобольная женщина указала ему на низенький домик рядом с епископством.

— Попробуйте постучать в эту дверь.

Это была дверь монсеньера де Миоллиса. Здесь каждый, кто бы он ни был, мог рассчитывать на кров и пищу. Так бывший тулонский каторжник провел ночь под кровлей милосердного епископа города Диня. Факты — а они абсолютно достоверны — этим, впрочем, не ограничиваются.

Епископ принял самое горячее участие в судьбе Пьера Морена. Не раздумывая, он написал своему брату графу Секстиусу, наполеоновскому генералу, исполнявшему одно время обязанности губернатора Рима, письмо, в котором рекомендовал тому Пьера Морена.

Граф выполнил просьбу и сделал бывшего каторжника не то своим денщиком, не то чем-то вроде ординарца. И Пьер Морен оправдал доверие. Он стал храбрым солдатом, честно исполнял свой долг. Во время боя его видели

в самой гуще сражения. Казалось, он стремился вернуть себе доброе имя. «Цена выкупа в его глазах все увеличивалась. Он всячески старался изгладить и искупить свое прошлое». И он доблестно искупил его: Пьер Морен пал под наполеоновскими знаменами на поле Ватерлоо.

В отличие от него епископ Миоллис прожил долгую жизнь праведника и умер глубоким стариком.

Встреча с каноником Анжеленом и его рассказ как бы подлили масла в огонь воображения Гюго. Писатель продолжает пополнять досье романа, в частности, наводит справки о епископе у его родственников, живших в Париже; и даже рисует план Диня, где указаны улицы и площади города. К этому времени, видимо, первоначальный замысел будущей книги стал более определенным, а образ диньского епископа все больше, казалось, походил на своего прототипа. Много лет спустя все так и восприняли выведенный в романе образ, хотя в книге у него другое имя — епископ Мириэль. И когда каноник Анжелен, доживший до дня опубликования «Отверженных», раскрыл роман Гюго и прочел первые главы, он не удержался от восклицания: «Это он, это монсеньер Миоллис! Я узнаю его!»

Епископ в романе настолько походил на его преосвященство в жизни, что возмущенные родственники покойного, призвав это сходство, выступили с протестом в защиту его памяти: Мириэль в «Отверженных» не соответствует своему историческому прототипу. В негодующем письме, опубликованном в «Юнион», племянник епископа писал о том, что автор злостно исказил характер Миоллиса, извратив к тому же и некоторые факты его жизни. Особенно возмущало их то, что по воле писателя епископ испрашивает благословения у бывшего члена Конвента, смутьяна и революционера. Такого в жизни монсеньера Миоллиса действительно не происходило.

Господа родственники гневались, мы же с удовлетворением отмечаем это разночтение с фактами жизни диньского епископа, так как в этом видим подлинно художнический подход к материалу. Впрочем, и у этого эпизода

имелись свои источники. Так, в 1927 году в журнале «Ревю д'Истуар литтерер де ла Франс» была опубликована статья, в которой утверждалось, что вся сцена своеобразного поединка бывшего члена Конвента с епископом Мириэлем восходит к книге лионского автора Балланша «Человек без имени», первое издание которой вышло в 1820 году.

Правда, если обратиться к этой книге, то нельзя не заметить, что в ней происходит противоположное тому, что случается у Гюго. Балланш рисует скромного, из хорошей семьи человека, исполненного превосходных намерений, который, став членом Конвента, проголосовал за смерть короля, «заразившись настроениями жаждущей убийства толпы». Охваченный ужасом за свой поступок, он бежит за границу, где живет много лет в одиночестве, раздумьях, угрызениях совести до того дня, когда в 1816 году священник утешает, просвещает его и учит, что все, принимаемое за отчаяние, было только искуплением его вины, какого желал Господь. И бывший член Конвента бросается перед святым отцом на колени, а спустя некоторое время умирает, примиренный с миром и Богом.

В романе Гюго происходит прямо противоположное: епископ, который приходит отвратить бунтаря от пагубных помыслов, понимает, что перед ним не злодей, а праведник, убеждается в правоте идей революционера и просит у него благословения, вместо того чтобы самому благословить покаявшегося грешника. Гюго придает факту книги «Человек без имени» абсолютно противоположный смысл. Он заставляет своего епископа преклонить колени перед умирающим членом Конвента.

Впрочем, исследователи указывают еще один источник этого эпизода в романе: в 1935 году в журнале «Меркюр де Франс» появилась статья, автор которой доказывал, что Гюго воспользовался устным рассказом своего коллеги, писателя Ипполита Карно, об обстоятельствах смерти бывшего члена Конвента по фамилии Сержан-Марсо. И тем не менее епископ Мириэль в романе Гюго, в общем-то

столь мало похожий на священнослужителей той эпохи, одновременно является и не является монсеньером Миоллисом, как и член Конвента, описанный Балланшом, не есть Сержан-Марсо, о котором поведал Карно. Вспомним слова самого Гюго: «Мы не претендуем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен, скажем только одно — он правдив». Руководствуясь реальными фактами, писатель создавал своих героев в соответствии со своими замыслами. Для этого и понадобилось изменить смысл и «перевернуть» заимствованный у других авторов эпизод встречи священника с членом Конвента. У Гюго встреча бывшего члена Конвента с епископом Мириэлем с самого начала повествования обозначает тему революции.

Точно так же, в соответствии со своим замыслом, Гюго переосмыслил историю Пьера Морена. Случай с каторжником послужил главному — подал мысль о создании широкой социальной фрески.

Вся последующая жизнь бывшего преступника, его военные приключения, честно говоря, мало интересовали писателя. Его занимал один-единственный факт — встреча епископа и каторжника, благодеяние святого отца, за которое гость отплатил черной неблагодарностью, украв столовое серебро. Впрочем, вот этого уже на самом деле не было. Вся история с кражей серебра — гениальный вымысел художника. Гюго оставался бы холодным копиистом действительности, если бы не был наделен способностью переосмысливать правду. Реальная жизнь дала писателю зыбкие и смутные образы, пишет в связи с этим А. Моруа, Гюго же по своему усмотрению распределил свет и тени.

А теперь вновь заглянем в досье романа и обратим внимание на документ, под которым стоит дата: «31 марта 1832 года». Это составленный по всем правилам контракт с парижскими издателями Госленом и Рандюэлем о еще не озаглавленном двухтомном романе — социальной панораме XIX века. В основе его сюжета — все та же история епископа из Диня и каторжника Пьера Морена, которую Гюго хранит про запас.

Второй документ из досье — простая заметка о заводе черного стекла и его изготовлении в одном из северных департаментов. Но при чем тут черное стекло?

— Мой каторжник, ставший честным человеком, — объяснял писатель Гослену, — будет промышленником и облагодетельствует небольшой городок Монтрей-сюр-Мэр, в котором с незапамятных времен специальной отраслью промышленности была выработка поддельного, под немецкое, черного стекла. Какой-то неизвестный усовершенствовал этот способ. Этим неизвестным и был мой каторжник.

— Отличная идея, — согласился из вежливости издатель. — А что же дальше?..

* * *

Порывы осеннего ветра сотрясают стекла в доме на улице Сен-Анастас, где живет Жюльетта Друэ. Хозяйки, однако, не видно. В комнате за большим дубовым столом с изогнутыми ножками сидит Виктор Гюго. Потрескивают и чадят сырые дрова в камине. Шуршит по бумаге перо...

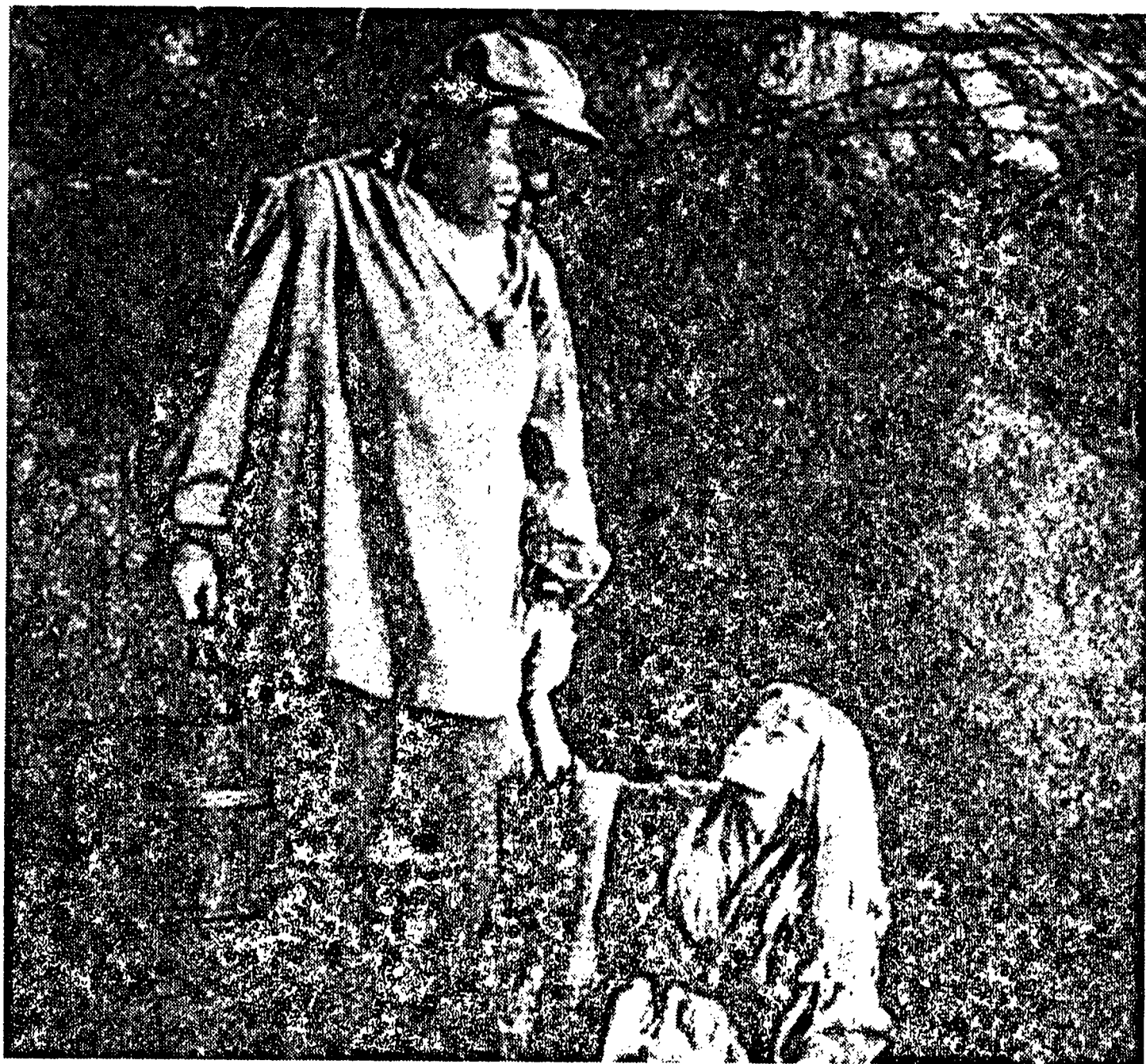
Неслышно входит Жюльетта, в руках у нее плед: надо укрыть гостя. Подойдя, она через его плечо читает написанные посреди листа два слова: «Жан Трежан». И рядом на полях дату — «17 ноября 1845 года». Она знает — это роман, над которым писатель трудится много лет. Гюго не раз рассказывал ей о епископе из Диня, о каторжнике Пьере Морене — прототипе его героя Жана Трежана и о канонике, который, собственно, и поведал ему эту историю чуть ли не пятнадцать лет назад.

— Пьер Морен был каторжником, всеми гонимым, униженным и отверженным, — говорит ей Гюго. — Никто, кроме милосердного Миоллиса, не захотел сжалиться над ним, проявить человеческое сострадание. Но за что этому несчастному приходится платить столь дорогой ценой, какое преступление совершил этот бедняк? Всего-навсего

украдкой немного хлеба, может быть, лишь одну булку, чтобы не умереть с голоду. И только за это из него сделали каторжника! Да, именно так — сделали, ибо каторжников создает каторга. Не будет странным, если он, оказавшись на воле с волчьим паспортом и изуродованной душой, озлобленный и отчаявшийся, пойдет на новое преступление. И он совершает его: у человека, давшего ему кров и пищу, крадет столовое серебро. Жандармы хватают вора. Это значит — снова арестантская куртка, тяжелое ядро, прикованное цепью к ноге, голые доски вместо постели, работа, галеры, палочные удары. Но тут совершенно неожиданно для него происходит чудо: епископ заявляет, что серебро не украдено, это его подарок. Мало того, на глазах оторопевших полицейских он отдает в придачу и серебряные подсвечники, которые будто бы тоже подарил ему. И предлагает опешившему вору употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком. Так бывший каторжник рождается к новой жизни. Монсеньер Мириэль — этим именем я назову епископа Миоллиса — передает Жану Трежану подсвечники как залог искупления.

Кстати,— продолжает Гюго,— почтенный Миоллис, оказавший мне, сам того не ведая, столь ценную услугу, скончался всего лишь два года назад. Он умер в своем родном городке Экс-ан-Провансе...

Таков все еще в общих чертах замысел будущего романа. Но на подступах к нему уже созданы повести «Последний день приговоренного к смерти» и «Клод Ге». Обе основаны на подлинных фактах, лично собранных писателем, хотя первую автор выдал за найденные в тюрьме записки приговоренного к гильотине, сюжет второй взят прямо из газетной хроники. У Гюго хранилась пожелтевшая вырезка из «Судебной газеты», где говорилось, что рабочий Клод Ге из Труа был казнен за убийство надзирателя тюрьмы, в которую он был заключен за кражу хлеба для своих голодающих жены и ребенка. Хлеб и дрова на три дня для семьи и пять лет тюрьмы — таков первоначальный печальный результат. А дальше — убийство



Козетта и Жан Вальжан. Кадр из кинофильма «Отверженные»

жестокого надзирателя и смерть несчастного, доведенного до отчаяния узника. «Снова казнь,— записал в те дни Гюго.— Когда же они устанут? Неужели не найдется такого могущественного человека, который разрушил бы гильотину?» Для обслуживания этого тяжелого железного треугольника содержат восемьдесят палачей, получающих жалованье шестисот учителей. И дальше Гюго переходит к главному — вопросу об устройстве общества в целом. Почему он украл, почему убил этот человек со светлым умом и чудесным сердцем? Кто же поистине виновен? Он ли? — спрашивает писатель. И добавляет, что любой отрывок из истории Клода Ге может послужить вступлением к книге, в которой решалась бы великая проблема народа XIX века.

Сейчас он пишет как раз такую книгу. Чтобы ускорить ее рождение и продлить свой рабочий день, Гюго обедает лишь в девять часов вечера; «так будет продолжаться два месяца для того, чтобы продвинуть Жана Трежана», — записывает он в дневнике. Уверенный, что теперь работа пойдет, он заключает повторный договор с Госленом на издание первой части своего романа.

Новая его книга вберет в себя многие события, свидетелем которых был Гюго: и треск перестрелки на парижских улицах в июльские дни 1830 года, и революционный, недолгий, как весенняя гроза, взрыв 1832 года, и баррикады 1848-го. И всякий раз, чувствуя приближение бури, Гюго откладывал перо, прятал незаконченную рукопись в железный сундучок вместе с другими тетрадями, записными книжками, крепко перевязанными пачками писем и выходил на улицу. Он слышал, как летом 1830-го возле Аустерлицкого моста какой-то каменщик прокричал: «Рабочие, объединяйтесь!» Видел мужчин в рубахах с засученными рукавами, несущих по улице Сен-Мьер-Монмартр знамя, на котором было написано «Свобода или смерть!». Шел в июне 1832 года вместе с толпой, провожавшей в последний путь генерала Ламарка, и был свидетелем того, как над головами демонстрантов взметнулось красное знамя, вслед за тем воздух разорвали три выстрела: мятеж снова расцвел на парижских мостовых. В феврале 1848 года на улице Сен-Флорантэн он присутствует при сооружении баррикады, которую строят, распевая песни, гамены — уличные мальчишки лет четырнадцати. Разбирая мостовую, ребята весело перекликаются:

— Баболен!

— Шаврош!

На другой день король-буржуа Луи-Филипп взял в руки перо, которое ему подал сын, герцог де Немур, в нерешительности немного подержал его и вдруг гневно расписался под своим отречением. А еще день спустя, в пятницу 25 февраля, Гюго был назначен исполняющим

обязанности мэра VIII округа. К этому моменту Временное правительство ликвидировало звание пэра, титул, которого Гюго был удостоен четыре года назад.

Под последней строкой рукописи, начертанной в феврале 1848 года, Гюго позже пометит: «Здесь замолкает пэр Франции и продолжает изгнанник». Запись эту он сделает в декабре 1860 года на острове Гернси, где живет после переворота, совершенного Луи Бонапартом. Девять лет назад писателю пришлось покинуть родину. Ему удалось вывезти кое-какие бумаги и среди них рукопись романа, который теперь называется «Нищета». На чужбине, продолжая работать над ней, он снова сменит название.

Перечитав за семнадцать дней свой роман, строку за строкой, переделав многие главы, написанные ранее, а заодно и имя героя Жан Вальжан, Гюго зачеркивает старое название и выводит новое: «Отверженные». И Жюльетта, переписывая свежие рукописные листы, потрясенная, признается автору:

— Я переживаю судьбу всех этих персонажей, разделяю их несчастья, как если бы они были живыми людьми, — так правдиво ты их описал...

* * *

Никто не сомневается сегодня в том, что каторжник Пьер Морен, сложивший свою буйную голову под Ватерлоо, послужил прообразом бессмертного Жана Вальжана. Но только ли этот ушедший в неизвестность несчастный стал прототипом героя Гюго? А другой заключенный, описанный в одноименной повести, — Клод Ге? И его называют в числе прототипов. Он тоже попал в тюрьму только за то, что украл немного хлеба.

Неужели те, кто творят правосудие, не понимают, что только голод толкает на воровство, а воровство ведет к дальнейшим преступлениям?

Гюго давно задумался над этими вопросами. Преступление и наказание, причины, толкающие к роковой черте, закон, косо смотрящий на голод... Красный муравейник Тулона и Бреста — каторга, где в красных арестантских куртках, в цепях томятся галерники с позорным клеймом на плече «К. Р.» («Каторжные работы»). Они живут одной надеждой — вырваться из этой страшной «юдоли печали». Но, оказавшись на свободе с волчьим паспортом, всюду гонимые, без работы, вынуждены совершать новые проступки. И снова должны надеть красную куртку. Либо, пройдя все ступени падения, взойти на эшафот.

Всю жизнь Гюго боролся за отмену смертной казни. Произносил речи, выступал за амнистию, обращался с просьбами о помиловании, писал статьи. Писатель доказывал, что смертная казнь уже не соответствует нашей цивилизации. «Давно уже кто-то провозгласил, что боги уходят, — писал Гюго в 1832 году. — Недавно другой голос громко заявил: короли уходят. Теперь уже пора появиться третьему голосу и громко сказать: палач уходит».

В этой долгой борьбе, которую вел писатель, сильнее любых логических доводов, сильнее самых веских доказательств оказались художественные образы, созданные им. Среди них — и осужденный, который пишет свои записки перед казнью, и Клод Ге, и, конечно, Жан Вальжан.

Но чтобы создать эти характеры, надо было их изучить.

В бумагах писателя сохранились записи, сделанные им еще в 1823 году, где перечислялось, какие наказания полагаются каторжнику за те или иные проступки: смерть, продление срока, палочные удары.

С этого времени писатель начнет постигать мир отверженных и неоднократно посетит ад, где томились несчастные парии. Не раз Гюго пересекал ворота Тулонской каторги, бывал в тюрьмах Бреста и Парижа, наблюдал, как заковывают в цепи партии каторжников, отправляемых на галеры.

Миром отверженных, миром низвергнутых в этот ад нельзя было пренебрегать при описании нравов тогдашнего

общества. Понимая это, Гюго, как и Бальзак, стремился глубже проникнуть в этот мир. К тому же и в жизни, и в литературе того времени — в 20–40-х годах прошлого столетия — господствовала мода на каторжников. Бальзак создает свой цикл романов о приключениях Вотрена по прозвищу Обмани Смерть; в свою очередь Эжен Сю рассказывает о героях парижского дна. С газетных страниц не сходит имя Пьера Коньяра, беглого каторжника, ловко скрывавшего свою личину под мундиром жандармского полковника. Тогда же публикуется книга «Воры, физиология их нравов и языка». Автор ее — в прошлом каторжник Франсуа Видок, ставший шефом полиции, хищный волк, обернувшийся сторожевым псом.

Пусть не покажется странным, но и этого бывшего отверженного, превратившегося в начальника Сюрте, называют в числе прототипов Жана Вальжана. Почему? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо хотя бы вкратце напомнить историю Видока.

Жизнь Франсуа Видока можно сравнить с самым острым, необычным авантурным романом. И в самом деле, его приключения кажутся невероятными, чуть ли не фантастическими.

Не буду распространяться о том времени, когда юный Франсуа Видок жил в отчем доме в Аррасе, слыл головорезом среди мальчишек и, как каждый из них, мечтал о подвигах и путешествиях. Это и толкнуло его совершить свое первое преступление. Выкрадв две тысячи франков из кассы отца, пятнадцатилетний отрок решил бежать в Америку. Путешествие, однако, сорвалось: не успел он добраться до порта, как оказался без гроша — по дороге его обчистили. Домой же возвращаться он побоялся. Началась бродяжническая жизнь, потом служба в армии, откуда он дезертирует.

Первые три месяца тюрьмы он заработал за драку, случившуюся на почве ревности. В тюрьме Видок решил помочь бежать одному несчастному крестьянину, осужденному за кражу хлеба к шести годам. (Заметьте, снова кража хлеба и явно не соответствующее наказание.)

Побег сорвался. За соучастие Видока приговорили к каторге. В цепях его отправили под конвоем в Брест. Он прошел все круги ада, называемого каторгой, неоднократно бежал, за что получил репутацию «короля побегов». Он жил среди отверженных законом, изучал их повадки и нравы, много лет наблюдал жизнь с ее изнанки. Но настал день, и ему надоело быть в положении травимого зверя. И тогда Видок совершает одно из своих необыкновенных перевоплощений. Каторжник решает навсегда приковать себя к галере власти. Видок становится тайным осведомителем. Путь этот приведет его на вершину — он станет шефом секретной уголовной полиции.

Заняв этот пост, бывший преступник объявляет решительную войну уголовному миру и весьма преуспевает в этом. Его успеху способствовали опыт и знания, приобретенные в предыдущие годы, достоверные сведения о жизни уголовников.

Только в первые шесть лет ему удалось упрятать за решетку около семнадцати тысяч преступников. Надо ли говорить, сколь богатый опыт приобрел он, подвизаясь в роли вороловителя, какими фактами располагал!

О своих похождениях Видок позже рассказал в знаменитых мемуарах, опубликованных в 1828–1829 годах. Четыре тома самых невероятных приключений читались лучше всякого остросюжетного романа.

На страницах жизнеописания Видока перед читателем возникал, по мнению тогдашнего генерального инспектора тюрем Моро-Кристофа, человек «необычайного ума, неслыханной, дерзновенной смелости, невероятной, неистощимой изобретательности, огромной физической силы и ловкости». Но только этого, согласитесь, совсем недостаточно, чтобы не оказаться за бортом истории. Почему же и сегодня мы вспоминаем о Видоке?

Как полагает современный историк Жан Савен, изучавший биографию Видока и написавший о нем ряд книг, имя Франсуа Видока до сих пор не кануло в Лету только потому, что его личность интриговала и вдохновляла великих

писателей. И это действительно так. Мемуары Видока, а также и он сам служили неиссякаемым источником, откуда его современники-литераторы черпали и сюжеты, и образы.

С Видоком были знакомы многие писатели. Долголетние отношения связывали с ним, например, Бальзака. Для него Видок был человеком, который обладал феноменальными талантами. «Был ли когда-нибудь у Бальзака более интересный собеседник?» — спрашивает Жан Савен, напоминая, что великий писатель сравнивал Видока то с Талейраном и Фуше, то с Кромвелем и Макиавелли. Знакомый Бальзака литератор Леон Гозлан увидел однажды Видока в гостях у писателя и ощутил «странное влияние этой индивидуальности, которая заполняла пространство, где мы находились, своим могущественным ясновидением». По его же словам, когда Бальзак и Видок находились лицом к лицу, ощущался вес не только одной планеты, излучавшей интеллект; здесь несомненно была и другая, которая притягивалась и притягивала.

Литературоведы считают, что Видок послужил прообразом многих героев Бальзака. Чуть ли не пятнадцать из них обладают его чертами. И первый среди них, конечно, титанический образ Вотрена. Помимо этого Бальзак создавал произведения на сюжеты, подсказанные Видоком, получал от него бесценные сведения о мире преступников и махинациях дельцов.

«Если бы у меня было ваше перо,— признавался он Бальзаку,— я написал бы такие произведения, что земля и небо перевернулись бы вверх ногами...» Понимая, что не обладает писательским талантом, Видок щедро предлагал использовать его знания жизни и опыт. «Действительность — вот она, у вашего уха, у вас под рукой», — говорит Видок и рассказывает Бальзаку историю «Общества десяти тысяч», вслед за тем историю Сильвии, которая станет Феодорой из «Шагреновой кожи», знакомит с досье на некоего каторжника Феррагюса. Образы Гобсека и Онорины, кузины Бетты во многом подсказаны были словоохотливым Видоком.

И чего только не дал он Бальзаку! Можно сказать, что Видок поставлял «сырье» для лаборатории писателя, который перерабатывал этот жизненный материал в соответствии со своими замыслами. «Дочь Евы» и «Депутат из Арси», «Отец Горио» и «Красная комната», «Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок» — многие страницы этих шедевров родились под воздействием рассказов Видока.

Не раз в «Человеческой комедии» появляется и сам Видок под собственным именем. Но чаще он предстает в иных обличьях. Бальзак заимствует черты его внешнего облика не только для Вотрена, но и для Годиссара и Бьяншона, Бисиу и Дероша, Серизе и Гобсека.

Следы Видока можно отыскать и в творчестве А. Дюма.

Если Бальзак познакомился с Видоком за столом в доме у господина де Берни, королевского прокурора, мужа госпожи де Берни, с которой писателя связывала многолетняя дружба, то А. Дюма встретился с ним в гостиной Бенжамена Аппера. На вилле у этого известного филантропа и писателя, редактора «Журналь де призон» раз в неделю собирались «самые блистательные умы эпохи». Здесь можно было встретить писателей, драматургов, политических деятелей, врачей, адвокатов и т. п. Бывал и Видок, утверждавший, что «добрые дела отмечают каждое мгновение жизни почтенного господина Аппера». Любезный хозяин, не желая оставаться неблагодарным, в свою очередь распинаялся перед гостем: «Я знаю тысячи штрихов, говорящих о добром сердце Видока, этого замечательного человека».

Завязавшаяся здесь, в доме Аппера, дружба А. Дюма с Видоком породила своего рода сотрудничество. Результаты его воплотились в изрядном числе томов. Среди них «Парижские могикане», «Сальваторе», «Габриель Ламберт».

Обязан Видоку был и Эжен Сю. На основе материалов, предоставленных Видоком, созданы «Парижские тайны». Черпали из этого же источника и другие — Леон Гозлан

и Фредерик Сулье, Леон Фоше и Паран-Дюшатле, и даже Жорж Санд, для которой Видок послужил прообразом Треномора в ее романе «Лелия».

Знал ли Гюго бывшего каторжника Видока?

Ответить на этот вопрос не составляет особого труда. Писатель не только читал мемуары Видока, но, как и многие литераторы, лично был хорошо знаком с ним.

Впервые они встретились в конце двадцатых годов, возможно, в доме того же Аппера, когда Гюго опубликовал повесть «Последний день приговоренного к смерти».

К тому времени некогда всесильный шеф полиции Видок уже находился в отставке и занимался коммерческой деятельностью. Он открыл бумажную фабрику, где вырабатывалась его собственного изобретения бумага с особыми водяными знаками, исключаящими подделку векселей. На этой фабрике трудились главным образом бывшие каторжники, те, кто не мог найти себе работу, кого избегали, словно прокаженных. Отношению к освобожденным преступникам Видок посвятит обширный труд, который изучали все юристы того времени. В нем Видок, в частности, писал: «Хотя нам оказывают честь называть нас самым просвещенным народом на земле, мы все еще находимся во власти предрассудков. Из них самым пагубным по своим последствиям, порождающим наибольшее количество преступлений, и, наконец, самым асоциальным является тот, который заставляет отталкивать освобожденных преступников».

Положение отбывшего срок и выпущенного на свободу, по словам Видока, очень похоже на положение должника, который наконец вернул свои долги. Он оплатил свой долг, отбыв наказание, к которому был приговорен. «Отчего же к нему не относятся так же, как к должнику, зачем беспрестанно упрекают в той ошибке или преступлении, которое он совершил? — продолжал Видок. — Отчего его отталкивают так безжалостно? В каких законах, божеских или человеческих, почерпнули люди эти принципы извечного упрека?»

Эти же вопросы волновали, как мы видели, и Гюго. И Видок оказал писателю неоценимую услугу. Вспомним, что и Жан Вальжан, превратившись в господина Мадлена, создает фабрику, где трудятся бывшие каторжники. Правда, мастерские, созданные Жаном Вальжаном, находились около Монтрей-сюр-Мэр, а не близ Монтрей-су-Буа, как у Видока. И производили здесь не бумагу, а так называемое черное стекло. Но это не меняет в сущности дела. Несомненно, писатель воспользовался этим фактом биографии Видока, как до него сделал это и Бальзак, создавший своего Давида Сешара — изобретателя нового дешевого состава бумаги.

Становится изобретателем и Жан Вальжан. Но если Видок, помимо бумаги с водяными знаками, изобрел несмываемые чернила и несколько способов производства картона, то Жан Вальжан усовершенствует производство черного стекла, удешевив метод его изготовления.

Знакомство Гюго и Видока продолжалось на протяжении многих лет, вплоть до того дня, когда писатель вынужден был удалиться в изгнание. Видок оказывал писателю кое-какие услуги в тот период, когда стал главой первого в истории частного сыскного бюро. В бумагах Видока после его смерти в 1857 году обнаружили огромное досье Прадье. Это было дело о тяжбе Жюльетты Друэ со своим бывшим супругом скульптором Джеймсом Прадье — дело, которым по просьбе Гюго занимался Видок. Там же оказалось и досье, имеющее непосредственное отношение к Гюго. На папке стояло имя «Биар». Бумаги, находившиеся в ней, относились к 1845 году и касались Гюго с Леони д'Онэ, по мужу Леони Биар. Видимо, Видока с его умением улаживать щекотливые конфликты пригласил вмешаться Гюго и помочь ему выйти из затруднительного положения.

Столь долгое и, можно сказать, близкое знакомство Гюго с Видоком не могло не отразиться на творчестве писателя. И если вновь обратиться к биографии Видока, то легко установить, что в его судьбе, как и в жизни Жана Вальжана, тоже сыграл роль священник. Звали его Пьер-Жозеф



*Бывший каторжник и полицейский Жавер
Кадр из кинофильма «Отверженные»*

Порион, он был епископом Па-де-Кале, откуда происходил Видок. Этот человек отличался необыкновенным милосердием и, как говорили, совершил не меньше благодеяний, чем епископ Миоллис в своей епархии.

Гюго использовал многие факты биографии Видока в романе «Отверженные». Это, например, история со стариком Фошлеваном, на которого опрокинулась повозка и которого Жан Домкрат, как прозвали Жана Вальжана на каторге за его силу, спас. Подобный случай действительно произошел с Видоком. Однажды в январе 1828 года шел дождь, и дорогу в Ланьи сильно размыло. Тяжелая повозка с бумагой и картоном с фабрики Видока увязла в грязи. Лошади не могли сдвинуть ее ни на шаг, встали на дыбы, повозка опрокинулась, и возница, бывший каторжник, оказался придавленным ею. Позвали хозяина, пришел Видок, подлез под повозку и, словно домкратом, одной лишь силой своих геркулесовых мускулов приподнял ее и освободил беднягу.

Запомнил Гюго и рассказ Видока о его побеге с каторги. Монахиню, которая способствовала бегству, писатель называл сестрой Симплицией, и она в свою очередь помогла скрыться Жану Вальжану.

Словом, без Видока, видимо, не было бы Жана Вальжана, грозного каторжника, «гонимого,— по словам А. Герцена,— целым гончим обществом». Как, впрочем, не было бы и Жавера — олицетворения другого его лица. «В святости Жана Вальжана,— пишет литературовед М. С. Трескунов,— воплощена правота угнетенных, в злобе Жавера — вся жестокость угнетателей».

И все же, в жизнеописании Жана Вальжана прослеживаются факты биографии многих людей, в его судьбе соединено множество судеб: Пьера Морена, Клода Ге, Франсуа Видока и других. Значит, при всей своей индивидуальной исключительности это образ собирательный.

В работе над романом Гюго использовал и другие подлинные факты. Например, умение Жана Вальжана подняться по стене с помощью одних мускулов плеч, локтей и пяток писатель заимствовал из рассказа начальника тюрьмы Консьежери о побеге некоего заключенного Боттемоля, сумевшего взобраться на крышу по прямому углу, образованному двумя отвесными стенами.

Столь же правдоподобен и эпизод, когда Жан Вальжан второй раз бежит с каторги, спасая при этом жизнь матроса, сорвавшегося с реи. Описание этого случая прислал писателю офицер ла Ронсьер. На его записках рукой Гюго помечено: «Эти заметки сделаны для меня в первых числах июня 1847 года бароном ла Ронсьером, ныне капитаном корабля».

И еще один документ, использованный Гюго. Это «Подлинная рукопись бывшей пансионерки монастыря Сен-Мадлен». Ее автором являлась Жюльетта Друэ, бывшая воспитанница ордена Бенедиктинок Вечного Обожания, чуть было не ставшая в молодости монахиней. Сведения о жизни за монастырскими стенами обогатили главы о воспитании Козетты в Пти-Пикпюс. Фрагмент этой рукописи

переплетен был вместе с основной рукописью «Отверженных».

А как родилась Фантина? Тоже из подлинного эпизода, о котором Гюго рассказал в отдельной заметке. Произошло это вечером 9 января 1841 года. За два дня до этого Академия наконец-то избрала писателя своим членом. Гюго занял кресло одного из сорока «бессмертных». В тот вечер писатель ужинал у госпожи де Жирарден. Направляясь домой, он решил подождать кабриолет на остановке «Улица Тэбу».

И тут на его глазах разыгрался следующий эпизод. Какая-то девица легкого поведения в декольтированном платье топталась на углу бульвара, поджидая редких прохожих. Вдруг молодой франт поднял горсть снега и, когда она прошла мимо него, швырнул снег ей за шиворот. Вскрикнув, девица набросилась на щеголя, стала дубасить его что есть силы, осыпая чудовищными ругательствами. Возникла драка, собралась толпа. Появились полицейские и схватили проститутку, а молодого повесу отпустили. Сержант предупредил ее:

— Не шуми, тебе и так уже полгода обеспечено...

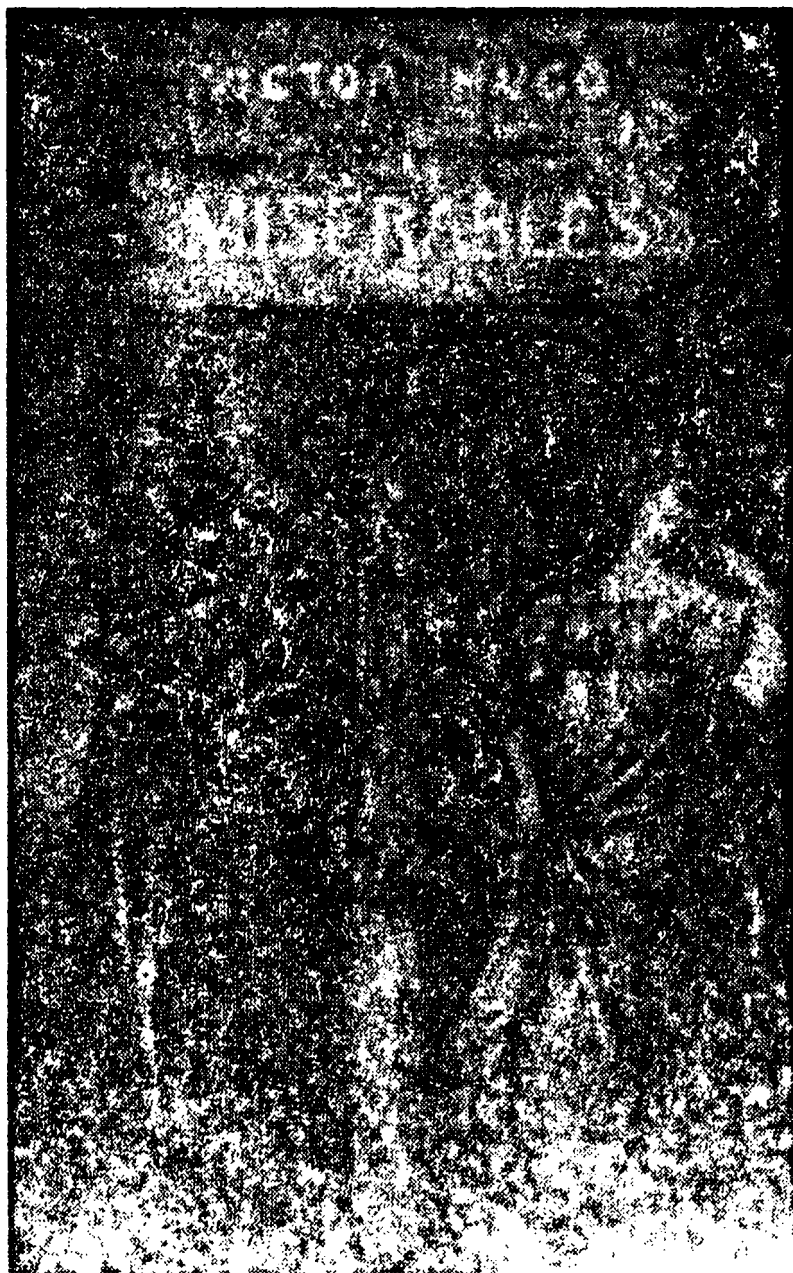
В ту ночь Гюго поздно вернулся домой. Он решил стать свидетелем и дать показания в комиссариате полиции по поводу этого происшествия. Благодаря его вмешательству девушку отпустили.

Дома, не сняв пальто, Гюго прошел в свой кабинет и быстро записал все, что произошло с ним этой ночью. В конце он пометил: «Так родилась Фантина».

* * *

...В начале сентября 1861 года Виктор Гюго вместе с Жюльеттой вернулся из Мон-Сен-Жана на остров Гернси. Спустя месяц писатель начал переговоры с бельгийским издателем. За тридцать лет Гюго четыре раза продавал права на «Отверженных». Теперь он подписывает в последний

раз контракт с Альбером Лакруа, безоговорочно согласившимся на условия автора. За исключительное право на опубликование романа в течение двенадцати лет Гюго получил триста тысяч франков золотом. Сумма по тем временам астрономическая, и банкиру Оппенгеймеру, взявшемуся предоставить издателю такого размера ссуду, пришлось самому часть денег занимать у коллег. Менее чем за шесть лет, с 1862 по 1868 год, молодой Лакруа заработал на романе Гюго более полумиллиона чистой прибыли.



*В 1865 году вышло в свет
иллюстрированное издание романа Гюго*

Небезынтересна в связи с этим читателям будет хронология «Отверженных».

1861 год. 4 октября. На Гернси состоялось подписание контракта с издателем А. Лакруа.

26 октября. Гюго в последний раз перечитывает текст романа.

5 декабря. Пересылает издателю первую часть («Фантина»).

1862 год. Конец января. Отправляет вторую часть («Козетта»).

13 марта. В Брюссель переслана третья часть («Мариус»).

3 апреля. Выходят в свет две первые части книги.

10 апреля. Первые издания «Фантины» и «Козетты» распроданы. Их немедленно переиздают.

8 мая. Гюго узнает, что правительство Наполеона III хочет запретить его книгу во Франции.

15 мая. Выходит в свет третья часть («Мариус»).

19 мая. «Сегодня, в десять часов утра, я окончательно завершил «Отверженных» (В. Гюго).

15 июня. Успех романа нарастает: к этому времени уже выявлено двадцать одно незаконное (без согласия и ведома автора и издателя) переиздание.

30 июня. Выходят четвертая и пятая части.

15 августа. Правительство Наполеона III запрещает инсценировку романа Гюго.

16 сентября. В Брюсселе состоялся банкет по случаю выхода в свет «Отверженных», на котором присутствовал Гюго. Среди восьмидесяти приглашенных — Луи Блан, Теодор де Бонвиль, Рошфор, Шанфлери, Гектор Мало и другие.

1865 год. Издатели Этцель-Лакруа публикуют иллюстрированное издание романа.

* * *

Гигантское творение В. Гюго имело колоссальный успех у толпы, откуда вышла история Жана Вальжана и к которой она теперь вернулась.

Не все знали о Франсуа Видоке, мало кто слышал о Клоде Ге, и никто не вспоминал бедного каторжника Пьера Морена, ушедшего в неизвестность. Все упивались Жаном Вальжаном, бессмертным героем Виктора Гюго.

ОТЕЦ ГАВРОША, ИЛИ ОЖИВШАЯ КАРТИНА



ГРОЗНЫЙ МАЛЬЧУГАН

Из трех тысяч картин, выставленных в парижском салоне летом 1831 года, особое внимание привлекало полотно художника Делакруа. Оно было посвящено «трем славным дням», как называли тогда недавние события июля тридцатого года. Этой картине не надо было, в отличие от многих изящных безделушек на выставке, выпрашивать, словно милостыню, внимание посетителей — перед ней никто не мог остаться равнодушным.

Полотно Делакруа относили к числу картин, возбуждающих наибольший интерес публики, — оно было одухотворено великой мыслью, могучее веяние которой передавалось каждому. «В ней чувствуется настоящее лицо Июльских дней», — говорили очевидцы этих событий.

Был поражен ею и молодой поэт Виктор Гюго. Его пленило мастерство, с каким была написана эта картина, огромная, исходившая от нее сила. Задумавшись, стоял писатель около полотна. В чем секрет столь мощного воздействия этой картины? Не в том ли, что художник смог передать в ней революционную романтику незабываемых дней. Создать такой шедевр мог только очевидец, только тот, чью кисть вдохновляли личные впечатления.

Три славных дня. Гюго хорошо помнил, как год назад Париж ответил баррикадами на несправедливые законы, введенные Карлом X.

Три дня, три ночи, как в горниле,
Народный гнев кипел кругом...

Три дня рабочие и ремесленники, студенты и торговцы сражались под трехцветным знаменем республики. Три дня беспрерывно пули ударялись о черепицу дома на улице Жан-Гужон, где он только что поселился с семьей. Накануне, утром 27 июля, едва устроившись в своем новом кабинете, он работал над романом «Собор Парижской богородицы». Днем, когда вышел пройтись, на улицах было беспокойно — парижане собирались толпами, повсюду стоял гул от голосов. Елисейские Поля походили на военный лагерь. С улицы доносились ружейная стрельба, пушечные выстрелы, грохот повозок по мостовой, призывные удары набата. Небольшая схватка произошла рядом с их домом. Канонада была столь оглушительна, что он выронил из рук перо и не смог закончить письмо, которое он писал в тот момент поэту Ламартину.

Никто из семьи не пострадал. Дом остался невредим. Жаль было только тетрадь с заметками и выписками, необходимыми для окончания «Собора Парижской богородицы», которую 29 июля он отправил вместе с другими рукописями в надежное место: она была потеряна при перевозке.

Многие друзья Гюго оказались на стороне восставших. Неугомонный, порывистый Александр Дюма, Фредерик Сулье, пятидесятилетний Беранже, чьи песни, с легкой руки Ламартина, называли патронами, которыми народ стрелял во время июльских боев. Даже такой скептик, как Стендаль, и тот был восхищен отвагой и мужеством горожан и заявил, что с этих пор стал уважать Париж.

Баррикады были повсюду. Их сооружали из всего, что попадалось под руку: экипажи и бочки, лестницы, матрацы и доски — все шло в дело. Но главным строительным материалом были булыжники. Камни мостовой! «Парижские улицы, — записывает Гюго в те дни в своем дневнике, — играют всегда решающую роль в революциях; королю не стоит их мостить».

Одна из баррикад тех дней изображена на картине художника Делакура. Автор назвал ее лаконично: «28 июля

1830 года». Некоторые называют картину «Июльская революция» или «Эпизод из июльских дней». Но, пожалуй, точнее и выразительнее всего сказать о ней «Свобода ведет народ». На картине — кучка бойцов. В середине группы — молодая женщина в красном фригийском колпаке, символе свободы. В одной руке у нее ружье, в другой — трехцветное знамя республики. Фигура почти аллегорическая. Это — Свобода. И ведет она не кучку отважных, нет, она увлекает за собой на битву весь народ. Разве мало подобных ей! Вспомните бесстрашную Теруань, «красную амазонку», которая за сорок лет до этого, в пору Великой революции, первой из восставших ворвалась в Бастилию. А гражданка Лакомб по прозвищу «Красная Роза», раненная при штурме Тюильри в девяносто втором! Они, как и многие другие, вполне могут считаться прообразами героини, которую Делакура привел в грозные июльские дни на баррикаду.

«...Бьет час боя и жертв» — повсюду сраженные пулями, но Революция непобедима. Отважно идет она сквозь грохот ружейных залпов и пороховой дым, пеленой покрывающий фигуры бойцов; идет под бой барабана и боевые клики. И кажется, что ее победное шествие сопровождают всем знакомые слова песни, которую принесли в восставший Париж летом 1792 года марсельские волонтеры:

Вперед, плечом к плечу шагая!
Священна к родине любовь.
Вперед, свобода дорогая,
Одушевляй нас вновь и вновь!

Рядом с «уличной Венерой» — оборванный уличный мальчуган. Может быть, еще недавно его видели играющим в канаве. Но вот он выпрямил спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости, вместе со всеми сорвиголова отважно идет навстречу врагу. В руках у него пистолеты, вид его грозен, взгляд полон решимости.

Точно такого же сорванца Гюго видел тогда, 29 июля, на Елисейских Полях, когда вышел из дома, несмотря на

опасность. Только тот был привязан к дереву, чтобы не убежал, как объяснил ему усатый капрал. Мальчик был бледен, его должны были расстрелять. Казнить ребенка! В ответ Гюго услышал, что этот оборвыш отправил на тот свет капитана, убив его наповал. Пришлось вмешаться и уговорить солдат отпустить мальчишку. Удивительно — даже лицом этот маленький герой чем-то походил на изображенного на картине малыша...

КОГДА ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ

Детей, подобных юному герою Делакруа, в июльские дни видели повсюду. Взрослые поражались их отваге и мужеству. О них говорил весь город.

Десять дней спустя, в августе, под впечатлением восстания, Гюго написал стихотворение. В нем поэт спрашивал: не потому ли город победил, что стойкость — свойство...

...нередкое в твоих сынах,
Что юность, полная геройства,
Сражалась смело в их рядах?

Однажды Генрих Гейне, писавший корреспонденции о выставке в аугсбургскую «Всеобщую газету», среди похвальных возгласов о картине Делакруа услышал поразившие его слова: «Черт возьми! Эти мальчишки бились, как великаны!»

Легенды о подвигах маленьких парижан продолжали жить и годы спустя. Одну из таких легенд услышал в Париже летом 1833 года Ханс Кристиан Андерсен. Случай, о котором он узнал, так взволновал молодого датского писателя, что одно время он даже намеревался написать роман об июльском восстании. Позже, однако, услышанную историю изложил в виде небольшого малоизвестного сейчас рассказа «Маленький бедняк на троне Франции».

Интересно, что Андерсен связывает легенду о мальчике-герое с картиной Делакруа. В столице Франции, где Андерсен пробыл всего месяц, ему хотелось увидеть как можно больше достопримечательностей — весь «тысячебашенный Париж». Целыми днями колесил он по городу, осматривая памятники, древние соборы. Площади и улицы. Все, что удалось посмотреть, глубоко запечатлелось в его памяти. «Невольно преклоняешься перед всем прекрасным и величественным, что создал этот народ», — писал он.

Как-то друг, молодой парижанин, привел Андерсена на выставку картин. Полотно Делакруа произвело на него неизгладимое впечатление, он назвал картину мастерской. Но особенно взволновала Андерсена история подлинного героя-подростка, послужившего прототипом художнику.

По словам спутника Андерсена, поведавшего ему, видимо, популярную тогда легенду, мальчик, изображенный на картине, погиб не на баррикаде, а в другом месте. Жизнь мальчугана геройски оборвалась при штурме королевского дворца. Он был убит в самый блистательный день победы, когда каждый дом был крепостью, а каждое окно бойницей. Когда восставшие ворвались в покои и залы дворца, оборванный мальчуган-подросток мужественно бился среди взрослых. В тронном зале он, смертельно раненный, упал, и его, истекающего кровью, положили на трон короля Франции, обернув бархатом раны; кровь струилась по королевскому пурпуру...

Предсказал ли кто-нибудь этому мальчику еще в колыбели: «Ты умрешь на троне Франции!» — воскликнул писатель, выслушав необыкновенный рассказ.

Через несколько дней Андерсен описал эту поэтическую историю в письме на родину. Но на этом его интерес к судьбе юного героя не закончился. Сказочнику захотелось узнать, где похоронен парижский мальчуган. Тот же спутник привел его на кладбище. Был день памяти погибших. На улицах раздавались звуки хоральной музыки, а на стенах домов развевались траурные полотнища. На маленьком кладбище каждому, кто проходил мимо, давали



Гаеброш. Рисунок Густава Бриона к одному из первых изданий романа Виктора Гюго «Отверженные»

букетики желтых бессмертников, обвитых крепом, с тем чтобы бросать их на могилы.

Перед одной из них на коленях стояла старая женщина с бледным лицом. От нее нельзя было отвести взгляда. Первое предположение, возникшее при виде этой безутешной, убитой горем старухи, превратилось в уверенность: она склонилась перед могилой того самого мальчика.

Громадный человеческий поток двигался в удивительном молчании. На всех могилах горели голубые огни. Глубокая тишина завораживала. Андерсен положил свой букет на могилу, спрятав из него только один цветок. «Он напоминает мне,— писал Андерсен,— о юношеском сердце, которое разорвалось в борьбе за отечество и свободу».

Отважный и благородный герой обретет бессмертие не только на полотнах французских мастеров и в рассказе Андерсена, но и на страницах других литературных произведений.

Проявляя храбрость и находчивость, будет сражаться на баррикаде вместе со взрослыми и мальчик Жозеф — персонаж романа Реи Дюссейля «Монастырь Сен-Мера», написанного в 1832 году. Парижский мальчуган перекоцует в книги Эжена Сю, Понсона де Террайля, А. Дюма-сына, он промелькнет в стихах Огюста Барбье и других поэтов. Много лет спустя, в конце века, его маленькая фигурка вновь возникнет в прекрасном романе Феликса Гра «Марсельцы».

В том же 1836 году, когда в журнале «Ирис» был опубликован рассказ Х. К. Андерсена, на парижской площади Звезды завершили сооружение Триумфальной арки. На одной из скульптурных групп, украшавших ее, были изображены «Волонтеры 1792 года». Современники назвали эту поэму в камне, созданную Франсуа Рюда, посвященную народному восстанию, — «Марсельеза». В центре группы — подросток, почти мальчик. Прильнув к плечу воина, он сжимает рукоятку меча. Вся его фигурка, взгляд полны решимости драться до победы.

СМЕРТЬ ЮНОГО БАРАБАНЩИКА

Встретим мы юного героя под разными именами и в произведениях Виктора Гюго — в романе «Собор Парижской Богоматери», в «Истории одного преступления», во многих стихах, в том числе и в стихотворении «На баррикаде». И, наконец, как наиболее яркий образ он предстанет перед нами под именем Гавроша на страницах огромной социальной фрески — романа «Отверженные».

Нам не известно имя мальчика, о котором рассказал Андерсен; не известно, кого именно нарисовал Делакруа. Но несомненно, что материал для их произведений дала жизнь.

Всякий раз, когда народ поднимается в бой против тирании, когда раздается клич «Отечество в опасности!», — в эти исторические моменты, говорил Гюго, обыкновенный человек вырастает в гиганта, «Руже де Лиль слагает песнь, ее претворяет в жизнь Бара». Виктор Гюго нередко вспоминает это имя в своих произведениях. «Пусть каждый подросток будет таким, как Бара!» — призывал писатель в «Воззвании к французам», написанном на склоне лет в тяжелый для его родины час — осенью 1870 года.

Имя Жозефа Бара, этого мальчика-патриота, стоит первым в списке реальных прототипов Гавроша. Он жил и сражался за полвека до того, как герой Гюго поднялся на баррикаду, в те великие дни, когда французы шли в бой за свободу, равенство и братство, штурмовали Бастилию, вели войну со всей аристократической Европой, воевали с собственной контрреволюцией.

Об этом маленьком храбрце было сложено столько песен и написано столько стихов, его изображали в своих работах художники и скульпторы. Поэты Т. Руссо, М.-Ж. Шенье, О. Барбье посвящали ему стихи, художник Жан-Жозе Веертс, скульпторы Давид Д'Анжер, Альберт Лефевр создавали ему памятники, и даже гений — Луи Давид — первый в мире великий живописец, ставший революционером, из трех картин, посвященных деятелям

французской революции, «мученикам свободы» — Лепелетье и Марату, одну посвятил Жозефу Бара.

...Год 1793-й, как сказал о нем поэт, «венчанный лаврами и кровью, страшный год!», начался тревожным известием. За день до казни Людовика XVI офицер его бывшей охраны убивает революционера, члена Конвента — Мишеля Лепелетье.

Враги республики ликуют. Торжествуют они и в марте, когда на северо-западе страны, в Вандее, вспыхивает контр-революционный мятеж. К внешнему фронту, тугим кольцом охватившему страну, добавился внутренний фронт.

С новой силой над площадями Парижа звучит призыв: «Отечество в опасности!» Вновь гремят слова: «К оружию, граждане! Ровней военный строй!» Барабаны бьют сбор, трубы трубят тревогу, батальоны выступают в поход. Солдаты революции идут усмирять мятежную Вандею.

Вперед, сыны отчизны милой!
Мгновенье славы настает!

Юный барабанщик Жозеф Бара шагает в первых рядах. Палочки, ударяясь о туго натянутую кожу барабана, дробно отбивают такт: «Вперед! Вперед!» Слова героической «Марсельезы», созданной саперным капитаном Руже де Лилем, звучат призывом к сражению, предупреждают о встрече с ненавистным врагом. «Любой из нас героем будет», — поют бойцы, и Бара подхватывает эти слова, произнося их как клятву. Его матери, бедной многодетной вдове, которой он регулярно пересылает свое жалованье солдата, не придется за него краснеть. Жозеф Бара — маленький гражданин французской республики — будет отважно сражаться в рядах патриотов и сдержит свою клятву.

В середине октября так называемая католическая и королевская армия вандейцев была окружена под Шоле. Шли ожесточенные бои, мятежные войска упорно сопротивлялись. Чем безнадежнее было их положение, тем



*Смерть Бара. Бронзовый памятник
работы Альберта Лефевра,
установленный в местечке Палезо —
на родине отважного барабанщика*

яростнее бились они, применяя хитрость и коварство.

Однажды во время стычки в лесу Жозеф Бара был окружен отрядом мятежников. Двадцать ружейных дул направили на юного барабанщика. Двадцать вандейцев ждали приказа своего главаря. Мальчик мог спастись ценой позора. Стоило лишь прокричать, как требовали враги, три слова: «Да здравствует король!» Юный герой ответил возгласом: «Да здравствует республика!» Двадцать пуль пронзили его тело. А через несколько часов революционные войска ворвались в Шоле, последний оплот мятежников.

И, словно подхватив предсмертный возглас Жозефа Бара, они вошли в город с криками: «Да здравствует республика!» После победы у стен Шоле, комиссары доносили Конвенту, что в боях отличились многие храбрецы. Барабанщик Жозеф Бара был первым в списках отважных.

Пройдет всего несколько месяцев, и с трибуны Конвента прозвучат страстные слова Максимилиана Робеспьера: пусть трепещут тираны — враги свободы в тот день, когда французы придут на могилы героев поклясться следовать их примеру! «Юные французы,— обращался Неподкупный к молодым республиканцам,— слышите ли вы бессмертного

Бара?» И молодежь, находившаяся в зале, вскочив со своих мест, с энтузиазмом прокричала: «Да здравствует республика!» В мощном, едином возгласе, прозвучавшем под сводами Конвента, вождь революции услышал ответ на свой призыв: не оплакивать юного героя, а подражать ему, и отомстить за него гибелью всех врагов республики! Каждый из юношей готов был повторить подвиг Жозефа Бара, каждый хотел быть соперником его доблести.

В своей речи, как всегда немного патетической, Робеспьер говорил о революции как о переходе от царства преступления к царству справедливости, о том, что надо бороться с предрассудками и пороками, доставшимися в наследство; он хотел с помощью мудрости и морали утвердить среди соотечественников мир и счастье. Он прославлял разум, добродетель, осуждал эгоизм, пороки, которые надо отправить в небытие; беспощадно разил врагов свободы, клеймил предателей, восхвалял патриотов, славил героев.

В конце своего выступления Робеспьер предложил Конвенту принять декрет о праздниках, ибо считал их важной частью общественного воспитания. Среди празднеств в честь Республики, Всемирной свободы, Истины, Справедливости, Счастья, Героизма были торжества, посвященные Мученикам свободы, Детству и Юности.

Конвент призывал всех талантливых людей, достойных служить делу освобождения человечества, считать честью оказать помощь в устройстве праздников.

Тогда-то и было внесено предложение, чтобы гражданин Давид увековечил юного героя на картине, копии которой должны были быть выставлены во всех школах республики. Ему же поручалось представить соображения о плане праздника в честь Бара и Виала.

Это второе имя не случайно оказалось рядом с именем отважного барабанщика. К тому времени в Париже стал известен еще один юный герой — Агриколь Виала. Ему было почти столько же лет, сколько и Жозефу Бара. И он тоже был маленьким солдатом — добровольцем вступил в небольшой отряд национальной гвардии в своем родном

городе Авиньоне. Летом девяносто третьего года отряд принял участие в боях с контрреволюционерами. Роялисты, поднявшие на юге мятеж, шли на Авиньон. Им преградили путь воды реки Дюранс и отряд храбрецов. Силы были слишком неравными, чтобы сомневаться в исходе боя. Помешать продвижению мятежников вперед можно только одним способом: перерубить канат от понтона, на котором враги намеревались переправиться через реку. Но отважиться на это не могли даже взрослые — батальоны роялистов находились на расстоянии ружейного выстрела.

Вдруг все увидели, как мальчик в форме национального гвардейца, схватив топор, бросился к берегу. Солдаты замерли. Агриколь Виала подбежал к воде и изо всех сил ударил по канату топором. На него обрушился град пуль. Не обращая внимания на залпы с противоположной стороны, он продолжал яростно рубить канат. Смертельный удар поверг его на землю. «Я умираю за свободу!» — были последние слова Агриколя Виала.

Враги все-таки переправились через Дюранс. Мальчик был еще жив. Со злобой набросились они на смельчака, распростертого на песке у самой воды. Несколько штыков вонзились в тело ребенка, потом его бросили в волны реки.

В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ

Вскоре Давид приступил к картине, которую ему доверил создать Конвент, ибо, как он считал, истинный патриот должен делать все для просвещения своих сограждан и неустанно представлять их взорам проявления высокого героизма.

Он задумал изобразить Жозефа Бара смертельно раненным. Враги сорвали с юного барабанщика одежду, он лежит на земле, прижимая к груди трехцветную кокарду.

Последнее полотно из триптиха в честь революционных героев Давид создавал, полагаясь исключительно на свое воображение. Работал он, как всегда, упорно, но

отсутствие живой модели (а он не мог даже воспользоваться своими воспоминаниями, поскольку никогда не видел Жозефа Бара) ставило его в трудное положение. Картина не была еще завершена и к моменту его выступления в Конвенте третьего термидора, где он рассказывал о плане манифестации, посвященной юным героям.

С присущим ему размахом он набрасывает проект грандиозного зрелища. Перед слушателями, членами Конвента, по частям словно оживают сцены огромного, невиданного доселе творения. Давид говорит о праве детей, погибших за родину, на признательность нации. Разве можно победить народ, который защищает правду, народ, рождающий таких героев, презревших смерть. «Все французы теперь, как Бара и Виала!» — восклицает Давид. Представители народа прерывают речь гражданина Давида бурными аплодисментами. «Почтим окровавленные тела юных героев Бара и Виала! — продолжает Давид. — Пусть торжество, которое мы им посвящаем, носит, по их примеру, характер республиканской простоты и величавый отпечаток добродетели!» Зал вновь гремит овацией.

Народная церемония должна начаться в три часа пополудни залпом артиллерии, — излагает Давид свой план. Колонны с изображениями Бара и Виала, с картинами, на которых будут отображены их подвиги, под дробь барабанов движутся к Пантеону, где уже покоятся национальные герои Лепелетье и Марат. Среди манифестантов — дети, они несут урну с прахом Виала; останки Бара, заключенные в другую урну, доверены рукам матерей, дети которых погибли, защищая родину.

В празднике примут участие танцоры, певцы, поэты — они должны декламировать стихи, сочиненные ими в честь юных героев. Народ трижды произносит: они умерли за отечество.

Наступает самый торжественный момент праздника — помещение праха героев в Пантеон. Хор трижды скандирует: они — бессмертны!..

Под шум рукоплесканий Давид покидает трибуну. Конвент постановляет: опубликовать его доклад и разослать во

все начальные школы, соответственным властям, народным обществам, раздать по шесть экземпляров каждому находящемуся в зале. Празднество провести десятого термидора.

Это было за семь дней до намеченного срока — третьего термидора по республиканскому календарю, то есть 21 июля 1794 года. Шесть дней спустя — девятого термидора — Париж ожидает иная «манифестация» — контрреволюционный переворот.

Торжество в честь Жозефа Бара и Агриколя Виала так никогда и не состоялось. Не была закончена и картина Давида, изображавшая юного Бара. Через несколько дней бывший член Конвента якобинец Луи Давид был арестован и заключен под стражу.

БУРЯ, 1832 ГОД!

...Нет, гибель героев не напрасна, думал Гюго, покидая Салон, взволнованный только что увиденной здесь картиной Делакруа. Подвиги самопожертвования заливают историю ослепительным светом и ведут человечество вперед. На картине — один из таких героических моментов истории: схватка за свободу, за будущее народа. Ради этого отдали жизни многие его соотечественники. Когда-нибудь в одной из своих книг он обязательно расскажет о маленьком герое парижских улиц, о таком же храбрце, которого только что видел на картине Делакруа.

Замысел будущего романа, на который уйдет более тридцати лет, начал складываться у писателя в конце двадцатых годов. Но и в тридцатых еще не было написано ни строчки. Материал для книги об отверженных и голодных, о непокорных духом и благородных сердцем накапливался постепенно. Даже весной 1832 года, когда Гюго заключил договор на роман в двух томах, он не смог бы подробно рассказать о своем замысле. В договоре тогда коротко значилось: роман из современной жизни. Скоро, однако, про-

изойдет событие, которое послужит как бы толчком к воплощению задуманной книги в жизнь. Событие это — рожденный бурей народного гнева революционный взрыв 1832 года.

...Выстрелы застали Гюго в Тюильрийском саду, на берегу реки, где он любил проводить утренние часы, обдумывая новые произведения. Врачи предписали ему тогда носить зеленые очки и как можно больше бывать на свежем воздухе, чтобы излечить хроническое воспаление век, которое он нажил постоянной работой при свечах. В то утро дойти до дому он не успел. По улицам Парижа разливалось грозное зарево восстания. Скакали драгуны, куда-то спешили национальные гвардейцы. Над толпой демонстрантов вспыхнуло ярко-красное знамя. Потом снова затрещали выстрелы, по мостовой пополз пороховой дым. Особенно жарко было у ворот Сен-Дени, где восставшие соорудили баррикаду. Кучка храбрецов, человек шестьдесят, отбивала атаки нескольких тысяч королевских войск, наступавших при поддержке пушек. Стрельба и пушечная пальба продолжались почти непрерывно. В конце концов защитники баррикады были сломлены — солдатам удалось зайти с тыла. Смельчаки почти все погибли — здесь «лилась самая пламенная кровь Франции».

Все, что произошло в Париже летом в 1832 году, особенно баррикадные бои на улице Сен-Дени, глубоко врезалось в память Гюго. Впечатления эти потом переплавятся в один из самых драматических эпизодов на страницах его эпопеи о жизни «отверженных».

Но прежде чем появились ее первые главы, написанные мелким почерком на тонкой светло-синей бумаге, пройдет еще почти десять лет. И только став очевидцем революционной бури 1848 года, грозным эхом прокатившейся по Европе, Гюго будет неустанно трудиться, вводя в повествование все новые и новые эпизоды, развивая и углубляя действие. Создавая следующие части своей главной книги.

ГАВРОШ НА БАРРИКАДАХ

...Вот уже несколько лет, как Виктор Гюго живет в изгнании на английском острове Гернси, расположенном в Северном море. Францию ему пришлось покинуть неожиданно. В тот день, когда Наполеон III осуществил заговор против республики и совершил переворот — 2 декабря 1851 года,— Гюго, по словам А. Герцена, встал во весь рост, «в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию: под пулями он протестовал против государственного переворота и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать». Гюго пришлось бежать под чужим именем: ищейки «Наполеона маленького» гнались за ним по пятам. Поэт обосновался вскоре в небольшом поселке Отвиль.

Дом, где Гюго поселился с семьей, стоит на берегу. Каждый уголок в Отвильхаузе любовно украшен руками хозяина. Он сам делал чертежи мебели, сам врезал герб на спинке кресла, сам мастерил подсвечники. Неумоимо выжигал по дереву, полировал мебель специальными смесями, секреты которых он знал и хранил. Четыре года Гюго трудился как заправский художник-оформитель. «Я и не знал прежде,— шутил он,— в чем мое призвание. Оказывается, я рожден стать декоратором».

Каждое утро Гюго по узкой лестнице, которая из библиотеки ведет наверх, поднимается в стеклянный шар-террасу, тоже построенную по его проекту. Здесь он работает, стоя за пюпитром из черного дерева. Сейчас он заканчивает десятую часть «Отверженных».

То, о чем рассказывается в ней и о чем пойдет речь в следующих частях, он видел своими глазами сначала летом в 1830 году, потом — в 1832 году, только имена героев пришлось заменить, ибо история повествует, а не выдает.

Время от времени Гюго отрывает перо от бумаги и задумчиво смотрит на море. В раскрытое окно стеклянного фонаря доносится шум прибоя. Виден порт, старая крепость, маяк. Слышатся крики чаек, среди волн мелькают паруса рыбачьих лодок. Они плывут к горизонту, там —

Франция. Тридцать лет прошло с тех пор, как он задумал свою книгу. Теперь она близка к завершению. Тридцать лет труда и раздумий! В ней — отражение всей его жизни, его борьбы в защиту народа. Перед мысленным взором Гюго проносится минувшее, лица друзей и врагов. Улицы восставшего Парижа, баррикады, свист пуль и грохот канонады. Сквозь ружейную пальбу он слышит веселый голосок. Это поет его Гаврош.

С задорной песенкой на устах малыш отправляется на войну. В руках у него старый седельный пистолет, реквизированный им у торговки хламом. Но он мечтает о большом, настоящем ружье, таком, какое было у него в 1830-м, в Июльские дни, когда французы поспорили с Карлом X. Гаврош — ветеран народной борьбы, ему не впервой воевать. И он получит свое ружье, чтобы драться наравне со взрослыми...

Вначале эпизод с Гаврошем занимал в рукописи романа всего каких-нибудь две страницы. Но постепенно образ маленького революционера, взятый писателем из реальной жизни, станет одним из основных в книге.

Гаврош — дитя народа, дитя революционного Парижа. Гаврош — воплощение духа древней Галлии. В нем сконцентрированы многие свойства национального характера: жизнерадостность, свободолюбие и бесстрашие, проявляющиеся особенно ярко в наиболее трудные моменты истории — во время народных восстаний. Не случайно этот герой несет в себе черты конкретных исторических прототипов. Чем-то он напоминает маленького барабанщика, погибшего в вандейских лесах, похож он и на Виала, провансальца из Авиньона, сложившего голову под пулями врагов на берегу Дюранс, и на юного героя Делакруа. Но этот образ сложился у Гюго в результате изучения жизни многих безымянных беспризорных мальчишек с парижских улиц — маленьких борцов, всем своим сердцем ненавидящих врагов революции. Гаврош — будущее, таящееся в народе. Пусть его опасаются: этот малыш вырастет. За ним — грядущее. А грядущее — это республика.

Перо почти машинально чертит на бумаге контуры мальчишеской фигурки. Таким Гюго представляет себе Гавроша. Рисунок, набросанный остатками чернил на пере, готов. Подобных набросков у Гюго скопилось более двухсот. Он считает их просто случайными, ни на что не претендующими рисунками, сделанными человеком, у которого есть другое, основное занятие. Правда, некоторые его друзья, например поэт Теофиль Готье, говорят, что, если бы Гюго не был писателем, он стал бы великим художником.

Наступает время обеда. Пора спускаться вниз.

— Папаша Гюго! Папаша Гюго! — раздаются детские голоса под самым окном. Это пришли местные ребята. Раз в неделю они собираются к Гюго на обед: так заведено. Вначале их было две дюжины, теперь вдвое больше. Гюго и его домашние ласково встречают детей, усаживают за стол. Хозяин смотрит на своих юных гостей, и взгляд его мрачнеет. Дети одеты как попало, многие босы, а скоро зима. Надо купить для всех теплую одежду, обувь. Как кстати ему предложили продать его рисунки. На вырученные деньги он поможет «своим» детям, младшим братьям и сестрам Гавроша, отцом которого себя считает. Через несколько лет Гюго так и напишет в письме, адресованном основателям газеты, которая будет носить имя юного героя: «Я — отец Гавроша»...

ОПАСНАЯ КНИГА

Что знали о книге Гюго, над которой он так долго работал, до того, как она вышла в свет? Ровным счетом ничего. Известно было лишь ее название «Отверженные». Оно настораживало, книгу ждали с любопытством. Не удивительно, что первое издание, появившееся в начале 1862 года, разошлось молниеносно: за два дня был распродан весь тираж — семь тысяч экземпляров. Тотчас же потребовалось новое, второе издание, которое и вышло через две недели. Почти одновременно роман появился в книжных лавках

Лондона и Брюсселя, Лейпцига и Мадрида, Варшавы и Милана; его успели издать даже в Рио-де-Жанейро, так как перевод во всех случаях делался заблаговременно по гранкам.

В России роман «Отверженные» напечатали сразу в трех журналах. Однако, спохватившись, цензура, в лице самого царя, запретила отдельное издание книги из-за ее сильного революционного воздействия на читателя.

В самой же Франции вокруг книги Гюго разгорелся горячий спор. Критики разделились на два лагеря. Одни хвалили роман, признавая его удачным, но таких было меньшинство, другие обрушились на Гюго с хулой. Его обвиняли в том, что все события и персонажи он выдумал. Такого нет в действительности и не может быть! В книге все вымысел, все невероятно, все ложь! Реакционная критика объявила книгу опасной и вредной. «На ее страницах,— писала газета «Журналь де Деба»,— автор отрицает принципы, на которых основано все современное общество». И это была правда. Гюго в своем романе гневно осуждал социальное зло в любых его проявлениях, он выступал за обездоленных, голодных, бесприютных, он обнажил язвы общества, показал жизнь обитателей парижских трущоб, нарисовал волнующую картину народного восстания.

Этого не могли ему простить, за это его роман называли социалистическим.

До хозяина Отвильхауза на далеком острове Гернси доходили отзвуки битвы, разыгравшейся вокруг его книги. Прием, который оказала ей реакционная критика, не был для него неожиданным. Он предполагал, что не всем придется по нраву его правдивый рассказ. Но он и не думал потрафлять вкусам всех. Его цель была — потрясти, взволновать сердца картиной нищеты, безработицы, страшной жизни всех отверженных обществом. Данте создал свой ад, пользуясь вымыслом; Гюго пытался создать ад, основываясь на действительности. И считал, что до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными.



ЧТОБЫ ЗАДУМАЛИСЬ РАВНОДУШНЫЕ

В гостиной нью-йоркского дома мистера Эдгара Бичера небольшое общество обсуждало последнее событие политической жизни. Беседа шла о только что принятом Конгрессом законе о беглых рабах. Отныне любой негр, проживающий в свободных штатах Севера, мог быть возвращен прежнему хозяину. Для этого тому лишь стоило заявить, что этот негр когда-то принадлежал ему. Закон о «беглых невольниках» лишал рабов последней надежды. Теперь, чтобы избежать ада на плантации и обрести свободу, мало было пересечь черту, разделяющую южные и северные штаты. Приходилось с великим риском пробираться через всю страну. Спасение можно было найти лишь на другом берегу озера Эри, где начиналась «английская земля» — Канада. Ничего не было желаннее для несчастного, истерзанного, запуганного раба, чем добратся сюда. Но сделать это было ничуть не легче, чем попасть в рай. Очень мало кому это удавалось. Плантаторы изощрялись в методах поимки. Охотники за живым товаром рыскали по стране, неся слезы, горе, отчаяние. Газеты то и дело писали о «подвигах» собак-негроловов. Преследователи имели право убить беглого раба. В лучшем случае его ждала суровая кара: клеймили щеки, выбивали передние зубы, надевали на шею колючий стальной ошейник. Негритянские семьи разъединяли на части, как лошадей одной упряжки, и продавали поодиночке — мужа отрывали от жены, детей от матери.

И многие жители северных штатов защищали этот бесчеловечный закон. Объяснить это можно было только их равнодушием.

— Видимо, они не знают, что такое рабство и какова жизнь бедных невольников на плантациях.— Слова эти, сказанные тихим голосом, принадлежали маленькой женщине в сером скромном платье, до сих пор молча сидевшей на софе. Гости с любопытством повернулись в ее сторону.

— Уже несколько лет сторонники отмены рабства,— продолжала она,— ведут борьбу, но пока все их усилия оставались тщетными. Ни брошюры, ни памфлеты, ни газетные статьи, как видите, не смогли убедить общество в необходимости упразднить рабство — этот национальный позор. Теперь надо обращаться не к разуму, а к сердцу, к совести людей. Следует разбудить американцев, безмятежно почивающих на «хлопковых подушках». Надо нарисовать такую картину рабства, чтобы к ней не остался равнодушным самый черствый человек.

— Хетти,— обратилась к ней одна из ее собеседниц,— если бы я так же владела пером, как ты, то непременно написала бы что-нибудь такое, что бы заставило весь наш народ задуматься над тем, какое проклятье это рабство.

— Я напишу, обязательно напишу, если буду жива! — ответила ей Гарриет Бичер-Стоу.

Эти слова вырвались у нее непроизвольно. Она произнесла их скорее под впечатлением разговора. Но, может быть, именно в этот миг и определилась ее писательская судьба.

Как бы то ни было, но с этих пор у Хетти, как называли ее близкие, необычайно возрос интерес к газетным сообщениям о поимке негров, к аукционам, на которых распродавали «живой товар», к выкупным сделкам и просто к рассказам о жизни на юге.

Сердце ее изнывало от горя, когда она читала печальные истории о жестокости плантаторов и надсмотрщиков, издевательствах над невинными, о том, как люди охотились на людей, ловили тех, кто хотел жить свободными. Протестовать, разоблачать?! Сокрушить эту стену можно только с помощью порохового заряда. Этим зарядом и будет ее книга. Она станет ключом, как потом скажет о ней

Фредерик Дуглас, современник писательницы, выдающийся борец за освобождение негров, — ключом, которым откроют двери тюрьмы перед миллионами рабов.

Книга о рабстве! Книга в защиту угнетенных! Гарриет докажет в ней, что негр — человек, а не вещь, которой можно распоряжаться как хочешь. Ее книга должна пробудить гнев, вызвать протест, заставить равнодушных задуматься. Пусть при чтении этой книги в их ушах раздастся свист рабовладельческого бича, стоны и крики измученных негров, и пусть эти страшные звуки отзовутся в каждом доме, в каждом честном сердце.

На ее столике появляются справочники, биографии бывших невольников, записи фактов бесчеловечного отношения к неграм, письма знакомых, которые, по ее просьбе, делились своими впечатлениями о том, что им довелось лично видеть и наблюдать на юге. Она усиленно трудится, перерабатывая всю эту массу сведений и рассказов. В воображении ее постепенно складываются сцены и эпизоды, все отчетливее вырисовывается история негра Тома. Скоро книга предстанет на суд публики. Но пока ее еще не существует, пока лишь идет подготовительная работа, кропотливая, порой неблагоприятная, но необходимая для создания достоверной картины. А между тем уже заключен договор на книгу с нью-йоркской газетой «Нэшнл ира», где Гарриет не раз печаталась. Больше того, в газете появился в начале 1851 года анонс о том, что скоро на ее страницах будет опубликован роман миссис Бичер-Стоу. Упоминалось даже название книги: «Хижина дяди Тома, или Жизнь среди обездоленных».

У нее не было своего кабинета, приходилось писать буквально на ходу — в углу столовой на маленьком столике. Впрочем, пожаловаться на то, что работа идет медленно, она не могла. Бичер-Стоу признавалась, что не может удержать пера, повесть создается помимо ее воли. Первоначально задуманные восемь глав не вместили всего замысла. Пришлось увеличить и превзойти обычно принятый издателями размер книги. Она писала почти без знаков

препинания, стремясь скорее зафиксировать мысль, сцену, диалог. Не хватало времени и на то, чтобы сразу же разделить действие на главы. Повествование разрасталось, герои, логика развития их характеров вели ее за собой. И уже не она, а они сами определяли свою судьбу на страницах ее книги.

Беда только в том, что трудиться над рукописью ей удается урывками. То и дело отрывают по домашним делам — большое хозяйство доставляет немало хлопот. Надо вовремя накормить детей (у нее трое малышей), убрать комнаты, потом стирка, еще надо суметь выбрать время для шитья. Где уж здесь сочинять книги!

Ей то и дело приходится откладывать перо и отправляться на кухню, чтобы проследить за кухаркой Минни. А что если захватить с собой бумагу, перо и чернила? И там, устроившись где-нибудь, продолжать записывать роман.

На кухне мулатка хлопочет у плиты. Гарриет располагается на краешке стола, чуть сдвинув в сторону миску с бобами, кусок свинины, сало, куль с мукой и всевозможные кухонные орудия, смиренно ожидающие, когда Минни пустит их в ход. Прежде, однако, кухарка должна получить указания от хозяйки — для этого та и пришла сюда. Но мысли Гарриет сейчас далеко отсюда, на берегу реки Огайо, по которой проносятся ледяные глыбы. Она спешит записать один из самых драматических эпизодов своей книги — побег Элизы с сыном Гарри после того, как хозяин продал ее мальчика работоторговцу. «Элизе казалось, что ее ноги еле касаются земли; секунду — и она уже подбежала к самой воде. Преследователи были совсем близко... Элиза дико вскрикнула и в один прыжок перенеслась через мутную, бурлящую у берега воду на льдину...»

Терпение Минни лопнуло. Печь пылает, время уходит. А обедом еще и не пахло.

— Мэм, положить имбирю в тыкву?

— «Сердце разрывается, на нее глядя!..» — машинально вслух произносит Гарриет.

— А по-моему, это прекрасная тыква. Я сама ее выбирала.

- «Видно, как попала в тепло, так сразу и сомлела...»
- Вы это о чем, мэм, о тыкве?
- Ну, при чем здесь тыква. Речь идет о жизни человека.
- Ах, Минни, «...вода так и бурлит...»
- И не думала закипать, вам показалось, мэм.
- «Значит, во всем виновата хозяйка?..»
- Господи боже! Что с вами, мэм?
- Ничего, Минни, ничего. Просто я немного увлеклась...

КРАСНАЯ ТРЯПКА ДЛЯ РАСИСТОВ

За окном пелена из дождевых нитей. Сквозь их завесу, словно мираж, перед ней возникает дом в Цинцинатти, домашние, слуги. Не раз еще в ту пору, когда она жила в этом городе на границе с рабовладельческими штатами, беглецы, те, что пробирались на север, находили приют и помощь в их доме. Не однажды ей приходилось выслушивать горькие исповеди беглых невольников, потрясающие душу истории. Часто по ночам она просыпалась от скрипа телеги или проскакавшей по улице лошади. Это значило, что беглецу удалось уйти от погони, и теперь он в руках добрых друзей, которые переправят его по «подпольной дороге» дальше. Одним из «кондукторов» на этой дороге был тогда их сосед Джон Ванцольт — старик с великим сердцем. Многим несчастным помог он скрыться и избежать рабства. Помог он и Элизе на страницах ее книги, действуя под именем Джона Ван-Тромпа.

Однажды вместе с подругой миссис Даттон она спустилась в этот ад на юге. Тогда это называлось — совершить путешествие «вниз по реке». Достаточно было раз увидеть, как живут невольники в одном поместье, чтобы представить всю картину в целом. Недостающее восполняли отчеты о процессах над плантаторами, встречи с беглыми рабами, их рассказы. Все, что Гарриет увидела в поместье во время поездки, она описала в романе. И миссис Даттон, читая

UNCLE TOM'S CABIN;
OR,
LIFE AMONG THE LOWLY.

BY
HARRIET BEECHER STOWE.



VOL. I.

BOSTON:
JOHN P. JEWETT & COMPANY.
CLEVELAND, OHIO:
JEWETT, PROCTOR & WORTHINGTON.
1852.

Обложка первого издания «Хижины дяди Тома»

впоследствии книгу, узнавала сцену за сценой, которые за много лет до этого им приходилось наблюдать во время путешествия по югу. «Теперь только,— писала Даттон,— догадываешься, где автор черпал материал для своего знаменитого произведения».

Маленькая бостонская типография мистера Джеуета на этот раз не справлялась с заказами. Она буквально захлебывалась и надрывалась от перегрузки и напряжения. Три старенькие печатные машины без устали трудились по двадцать четыре часа в сутки. Во двор то и дело въезжали фургоны с бумагой, поставляемой тремя фабриками. Над отпечатанными страницами корпели сто переплетчиков. И тем не менее мистер Джеует не успевал с выполнением заказов на эту книгу. Читающая публика жадно поглощала ее, разбирая очередную порцию, словно кипу свежих газет, и требуя все новые и новые издания. Первое разошлось в два дня, следующее, появившееся через неделю, тоже не залежалось, столь же молниеносно расхватили и третье. Шутка сказать! — в три недели продано двадцать тысяч экземпляров! Такого мистеру Джеуету не приходилось видеть. Можно было подумать, что в его типографии печатают революционные прокламации. Впрочем, уже первые отклики на эту книгу показали, что действие, оказанное ею на читателей, было ничуть не меньше, чем иной прокламации. И силу впечатления, которое она производила, можно было сравнить разве что со взрывом под стенами вражеской крепости.

Одни горячо приветствовали книгу, другие — свирепели, стоило лишь упомянуть ее название — «Хижина дяди Тома» или произнести имя автора — Гарриет Бичер-Стоу.

Признаться, когда она работала над своей книгой, ей и в голову не приходило, что издание вызовет такую бурю, всколыхнет и разделит на два лагеря все общественное мнение страны. Бичер-Стоу хотела, чтобы ее книга была оружием в борьбе за отмену постыдного рабства, и все силы она отдавала своему творению. Но на такой успех, на такой результат она, право, не рассчитывала.

В эти дни марта 1852 года старый и холодный дом в Бронсвике был полон людей. Наведывались знакомые, чтобы поздравить миссис Бичер-Стоу, заглядывали соседи, приходили и просто восторженные читатели. Грудой лежали в гостиной на столике письма, газеты, поздравления. Скромная Гарриет, маленькая Хетти, в один миг стала самой известной женщиной Америки. В эти дни под крышей неприветливого дома поселилась слава.

С апреля 1852 года по декабрь вышло 12 изданий книги, а за год было отпечатано триста тысяч экземпляров. Цифра неслыханная для тогдашней Америки. «Мы не помним, чтобы какое-нибудь сочинение американского писателя возбуждало такой всеобщий глубокий интерес», — писали газеты. Почти тотчас же роман появился в Англии, где спустя некоторое время уже полтора миллиона экземпляров шествовали по стране с не меньшим триумфом. То же повторилось во Франции, Германии. И вскоре историю о бедном Томе читал уже весь свет.

Однажды среди своей почты Гарриет увидела письмо от Лонгфелло. Великий поэт писал ей, что ее книга — свидетельство величайшего нравственного торжества, о каком до сих пор не знала история литературы. К его голосу присоединялся голос Чарльза Диккенса. Ни одной книге на свете, говорил он, не удавалось так возбудить некоторые горячие головы, как это сделал ее роман. По словам Жорж Санд, «Хижина дяди Тома» открыла новую эру в истории американской литературы и должна быть названа среди тех произведений, которые имели самое большое влияние на цивилизацию.

Но нигде, пожалуй, ее роман не нашел такого горячего отклика, как в России. «Читали ли вы «Хижину дяди Тома»? — Бога ради, читайте, я упиваюсь им», — восклицал Герцен. И добавлял, что это «громадное литературное явление».

Чернышевский и Некрасов, Толстой и Тургенев — все передовое русское общество увидело в романе Бичер-Стоу обличение и русского крепостничества, при котором

положение «наших домашних негров» было ничуть не лучше, чем американских. Не удивительно, что книга Бичер-Стоу вскоре была запрещена царским правительством.

Вместе с приятными известиями все чаще Бичер-Стоу получает письма без имени отправителя. Это были анонимные послания, в большинстве своем из южных штатов. Казалось, весь рабовладельческий юг готов ринуться к старому двухэтажному особняку и учинить расправу над его хозяйкой. Во всяком случае в письмах подобных угроз произнесено было немало. Плантадоры грозили Гарриет самосудом. Вскрыв как-то посылку, полученную с юга, она в ужасе отпрянула: внутри оказалось ухо негра. Началась травля, запугивание, угрозы.

Поистине ее книга стала красной тряпкой для расви-репевших расистов. «Одна лишь вспышка сердца и ума Бичер-Стоу,— писал Ф. Дуглас,— зажгла миллионы огней перед воинством поборников рабства, построенным в боевой готовности. И эти огни не смогли потушить смешанные с кровью воды Миссисипи». И вот уже со всех сторон раздаются голоса — все в ее книге ложь, выдумка, преувеличение; игра авторского воображения. Это «клевета, карикатура о положении дел на юге, оскорбительный шарж». Голоса эти становятся все громче, их подхватывает пресса рабовладельческих штатов.

Наконец, появляются книги — более дюжины, авторы которых стремятся изобразить картину жизни на юге идиллическими красками. Товар этот размножается все больше и получает особое название «антитомизма». Среди этих созданных на «подлинном» материале книжонок: «Хижина дяди Тома, как она есть, или Случаи из действительной жизни среди бедных»; «Жизнь на юге, добавление к “Хижине дяди Тома”»; наконец, объявилась еще одна хижина — «Хижина тетушки Филлис, или Подлинная жизнь южан».

Что должна была в этой обстановке предпринять Гарриет, чтобы отстоять свою книгу, а значит, защитить от нападков и клеветы и себя — ее автора. Ей оставалось одно:

доказать, что все, о чем она рассказала в своем романе, — правда. Но каким образом это сделать? Написать еще одну книгу? Едва ли новый роман из жизни негров сможет опровергнуть клевету. Нет, надо создать совсем иное. Не художественное произведение, а книгу-отчет, книгу фактов. Эта книга как бы введет читателя в писательскую лабораторию, покажет, какой документальный материал послужил основой для романа. Подлинные факты, собранные ею в этой книге, — только факты! — достоверные происшествия, газетная хроника, описание личных впечатлений, свидетельства негров — только этим можно заставить замолчать своих врагов.

ФАКТЫ ОБЛИЧАЮТ

Мало кто из писателей прошлого оставил подобные документы. Стефан Цвейг утверждал, что только рукописи могут помочь проникнуть в одну из глубочайших тайн природы — тайну творчества. И даже тогда, когда сам писатель не в состоянии объяснить тайну своего вдохновения — этой Синей птицы искусства, — рукописные листы его творения способны приблизить нас к разгадке неуловимого процесса творчества. В этом смысле то, что оставила нам Гарриет Бичер-Стоу, является уникальным документом. Она, как и Альфонс Додэ в «Истории моих книг», рассказала по существу историю создания своего романа, ввела нас в свою писательскую лабораторию. И сделала это с такой добросовестностью, на какую способен лишь большой и честный художник. Сравнивая две ее книги — роман и сборник фактов и документов, прокомментированных автором, мы можем проследить, говоря словами В. Брюсова, чудо превращения неясного контура в совершенную художественную картину, увидеть, как от жизненных фактов писатель переходит к обобщению и одухотворению их.

Поздний час. В доме все спят. Мягкий свет лампы под зеленым абажуром падает на стол. Гарриет пишет...

Всего несколько месяцев назад окончен роман. И вот уже она снова сидит, склонившись над листом бумаги: работает над своим отчетом. Он будет состоять из двух объемистых томов и выйдет под названием «Ключ к хижине дяди Тома».

Основная ее цель — показать, что в романе она следовала правде жизни и многое списывала с натуры. А для этого к каждому событию, описанному в романе, она в новой книге укажет источник, откуда были почерпнуты ею сведения.

Ее спрашивают, где она видела такое чудовище, как ее плантатор Легри? Перелистайте газеты южных штатов, отвечает писательница, и вы непременно встретите на их страницах изображение человека, несущего на плече палку, на конце которой привязан узелок. Не подумайте, что это уголок путешественника, где публикуются разные туристические рекламные объявления. Здесь печатаются объявления иного рода. Начинаются они, как правило, словами: «Сбежал от нижеподписавшегося...» Далее следует описание примет беглого невольника и обещание вознаграждения за его поимку живого или мертвого. А чего стоят объявления о том, что желающие могут приобрести специальных собак для ловли негров, или сообщения о публичных аукционах по распродаже рабов. Нередко в конце таких объявлений можно прочесть слова о том, что «на распродажу поступят рис, маслины, иголки, булавки, книги и прочее, в том числе и лошадь». Негров продают, как вещи, их не считают за людей. По существу каждый из четырех миллионов американских негров мог быть продан в любой момент по желанию хозяина. И этот произвол узаконен повсеместно. Но особенно бесчинствуют расисты юга.

Бичер-Стоу хорошо изучила законы южных штатов. На ее столе кипой лежат эти толстые книги, так называемые «Черные кодексы», приравнивающие людей к движимому имуществу.

«Вы хотите знать, что такое рабство?» — спрашивает писательница. Тогда раскройте свод законов хотя бы штата Луизиана. И вы прочтете в нем следующие слова: «Раб —

тот, кто находится во власти хозяина, принадлежит ему. Хозяин может продать раба, распоряжаться им по своему усмотрению, а также продуктами его труда и его трудом. Раб не имеет права передвижения, не имеет права приобретать знания, он должен лишь принадлежать хозяину». Немногим отличается и закон штата Южная Каролина: «Раб принадлежит хозяину со всеми своими мыслями, намерениями и целями». То же записано и в законах Джорджии, Северной Каролины: «Раб обречен и его потомство также обречено жить без знаний».

«Вот что такое рабство, вот что значит быть рабом!» — записывает Бичер-Стоу. Закон дает таким, как Саймон Легри, силу, которой не может быть у человека, рожденного женщиной. Говорят, что она выдумала своего Легри, что это страшная пародия на человека. Да, она согласна, облик у таких, как этот изувер, человеческий, но в душах их живет дьявол. И таких, как он, сотни, тысячи. Об этом пишет, к примеру, и автор статьи в газете «Вашингтон» некий Даниель Гудлай, который назвал ее роман «точной картиной жизни юга и его институтов». Что же касается образа рабовладельца Саймона Легри, то автор заметки утверждает, что «сотни раз встречал подобных ему».

Об одном из таких плантаторов ей рассказал как-то брат Эдгар. Рабовладелец, с которым он встретился в Новом Орлеане, заставил его пощупать огромный, как кузнечный молот, кулак. «А почему у меня такой кулак? — И сам же ответил: — Потому, что я бью им негров. С одного удара замертво валятся все, как один». Теперь она просит брата в письме вновь сообщить ей все, что говорил ему этот торговец неграми: «Пусть публика сравнит его слова с тем, что у меня напечатано».

А разве не принадлежал к числу палачей Симеон Саусер, дело которого Бичер-Стоу полностью воспроизвела в своей книге-отчете? Этот плантатор из штата Вирджиния был привлечен к суду за убийство своего раба. Было доказано, что по его приказу и при его участии жертву избивали, пытали огнем, обмывали наперченной водой, пока

невольник не умер. Наказание убийце вынесли столь незначительное, что Бичер-Стоу, описав этот случай, пророчески заметила: «По окончании короткого срока заключения Саусер может возвратиться к прежнему. Ему стоит лишь позаботиться о том, чтобы поблизости не было белых свидетелей».

Плантатор Саусер далеко не одинок. Чем, например, лучше его Элиза Роуэнд, забившая до смерти свою рабыню с помощью надсмотрщика, так похожего на негра Сэмбо — прислужника Легри из ее романа.

Немало места среди приводимых ею документов занимает и дело об убийстве в графстве Кларк штата Вирджиния. С отчетом по этому нашумевшему случаю она познакомилась в газетах незадолго до того, как написала сцену смерти своего дяди Тома. Несчастливого негра Левиса заперол до смерти его хозяин полковник Джеймс Кастелмэн. Весть о преступлении разнеслась по многим штатам, некоторые газеты требовали строгого суда над виновником. Однако разбирательство, как писали те же газеты, велось отвратительно. В результате — убийца был «с триумфом оправдан», как многие и надеялись, — писала Бичер-Стоу.

Так кончаются почти все дела об убийствах и истязаниях рабов, если, конечно, доходят до суда. По этому поводу один из плантаторов на вопрос о том, может ли хозяин убить негра, спокойно ответил: «Они делают это каждый день». Когда же его затем спросили, какая возможность у негра добиться справедливости в судах штата Вирджиния, последовал ответ: «Ни малейшей. Не больше, чем у зайца в когтях у льва».

В ее книге много описаний жестокости и преступлений. Конечно, это оскорбляет, наполняет гневом сердце. Неприятно знать о мерзких поступках людей. «Но, увы, Америка, такие злодеяния совершаются под защитой твоих законов!»

Кто теперь станет утверждать, что смерть старого Тома, забитого насмерть Саймоном Легри, — выдумка, небылица, ложь. Если же и найдутся еще сомневающиеся, можно продолжить перечень преступлений. И Бичер-Стоу приводит

все новые и новые факты — сухие строки судебных отчетов, циничные заявления плантаторов, свидетельства жертв.

И после этого еще говорят, что ее герои нереальные. Напротив, они списаны с живых лиц. С каких? И она называет прототипов. Впрочем, не только она. Бичер-Стоу дает слово читателям своего романа. Их письма, полученные ею или опубликованные газетами, — лучшее подтверждение жизненности образа старого негра, описанного ею. Они показывают, что в печальной судьбе дяди Тома нет ничего такого, чего нельзя было бы найти в подлинной судьбе любого невольника.

Многие, очень многие сообщают ей о том, что знают точно такого же дядюшку Тома. «Читая «Хижину дяди Тома», — пишет один из ее корреспондентов, — я подумал, что автор, работая над романом, имела перед своими глазами раба, которого я знал несколько лет назад в штате Миссисипи, звали его дядя Джекоб. Это был очень уважаемый негр, мастер на все руки, прекрасный работник». О другом, похожем на ее Тома, честном и правдивом невольнике Даниеле, проданном без жены и детей на юг, ей писали из городка Мейн. В небольшой книжке «Очерки о слугах из старинного дома в Вирджинии», присланной кем-то по почте, она, среди прочих, прочла историю «верного раба» Давида Райса, прослужившего у хозяина почти четверть века. Перечень этот она могла бы вести, кажется, без конца. И каждая человеческая история, изложенная на страницах ее книги, убедительно показывала бы, что ее Том — не выдумка, а реальная фигура американской действительности.

Однако главным прототипом своего героя писательница считала вполне определенного человека.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ДЖОШИА

Однажды ей в руки попала автобиография негра по имени Джошия Хенсон. Это произошло тогда, когда она уже работала над «Хижинной дяди Тома». Позже Гарриет

встретилась с этим человеком, и они стали большими друзьями. Подолгу рассказывал он ей о нелегкой жизни, дополняя живым рассказом то, о чем написал в автобиографии.

Первые воспоминания Джошии связаны были с тем, как его отца жестоко избили за то, что он осмелился защищать свою жену от посягательства белого надсмотрщика. На всю жизнь запомнил мальчик эту сцену и изуродованного (ему отрезали правое ухо), избитого в кровь отца, которого скоро продали без семьи «вниз по реке». Потом пришла очередь матери. Она умоляла, чтобы ее купили вместе с сыном, последним ее сыном. Удар тростью был ответом на ее мольбу.

Сын раба, Джошия был рабом. Служил хозяину, был честен и предан. Ему доверяли настолько, что, не задумываясь, поручали самые ответственные дела, такие, как поездки в другие штаты, в том числе в Огайо. Были уверены — он не сбежит. Хотя достаточно было негру очутиться на земле этого штата, как он по закону автоматически становился свободным. Не раз, говорил Джошия, во время посещения Огайо у него возникала мысль остаться здесь или бежать дальше на север. Но честность и исполнительность, присущие ему, удерживали его от этого шага. Пораженный такой преданностью раба, хозяин однажды пообещал отпустить его на свободу. Впрочем, очень скоро он раздумал — жаль было даром терять образцового слугу. Мало того, отказав в вольной, он решил продать Джошию.

Вместе с сыном хозяина Джошию отправили на лодке в Новый Орлеан на рынок сбыть скот и продукты. А заодно хозяйский сынок должен был продать и лучшего невольника. В душе Джошии все перевернулось от негодования и возмущения. Но воле господина по привычке он перечить не стал.

Рынок в Новом Орлеане славился на весь юг. Здесь торговля живым товаром была поставлена широко. Негров продавали, что называется, оптом и в розницу, партиями и в одиночку. Казалось, работоторговцы сожалеют лишь о том,

что не могут разделить человека надвое и продать одну часть туловища одному покупателю, а другую — другому. Шум, плач детей, которых отрывали от матерей, стоны женщин, звон цепей, крики торговцев. Свист бича, хохот наполняли рыночную площадь.

В те дни, когда Гарриет писала свой роман, а затем «ключ» к нему, корабли работорговцев еще пересекали воды Атлантики. Начав позорную торговлю «живым товаром» в середине пятнадцатого века, «цивилизованные» европейцы занимались этим отвратительным бизнесом более трех с половиной столетий. Сначала португальцы, первыми указавшие путь кровавым экспедициям в Африку, потом испанцы, затем голландская Вест-индская компания, основавшая в 1626 году Нью-Йорк. Ее корабли поставляли испанским колонистам в Новый Свет наряду с промышленными товарами и негров-рабов. Их ловили, словно животных, в Анголе, на Золотом берегу, в Сенегале и через океан везли на плантации сахарного тростника. К тому времени спрос на сахар возрос необычайно. Европа высоко оценила вкус этого ранее неизвестного ей лакомства, отнюдь не ощущая в нем привкуса горечи от пота и крови, которые проливали тысячи невольников на плантациях.

Португальцы и испанцы, французы и англичане быстро научились превращать сахар в золото. Под свист бичей надсмотрщиков богатели работорговцы, плантаторы, разные авантюристы. А на плантациях требовались все новые и новые рабы — изнурительный труд и жестокое обращение быстро сводили «рабочую силу» в могилу. Наконец, центром работорговли становится Англия. Старые допотопные «слейверы» — корабли малой оснастки, приспособленные для транспортировки рабов, по несколько месяцев плыли из Африки на Запад. В их трюмах, скованные цепями один к одному, сложенные так, что «у них оставалось ровно столько места, сколько бывает в гробу», лежали негры — «живой груз».

Так были перевезены через Атлантический океан только в XVIII веке три миллиона рабов. А сколько погибло

в пути от болезней, сошло с ума, предпочло добровольную смерть неволе — они душили себя цепями, глотали землю; сколько было уничтожено хозяевами судов так же, как уничтожил двести рабов капитан шхуны «Зонг», выбросив их за борт, когда обнаружил на судне нехватку воды.

Цифра эта известна — более 50 тысяч рабов в год! Пять миллионов в столетие. Впрочем, это приблизительные данные. По другим — всего за триста лет в Америку было ввезено 30 млн негров — значит, Африка потеряла за этот период около 150 млн человек. Недаром про город Ливерпуль говорили, что каждый камень здесь зацементирован на крови раба. Эти же слова относили к Бристолу и Лондону, Манчестеру и Бирмингему. На работорговле сколачивали целые состояния. Еще в прошлом веке португалец Да Суза зарабатывал на торговле «черным товаром» триста тысяч фунтов в год. Особо отличившиеся на кровавом поприще, такие, например, как Нортумберленд и Гамильтон, стали герцогами.

К концу XVIII века в Америке насчитывалось шесть с половиной миллионов африканцев. И хотя в начале следующего столетия работорговля сократилась, тем не менее в первую половину XIX века в Америку ввезли более полу-миллиона рабов. Но теперь бизнес этот стал значительно опаснее. В 1807 году Англия первой провозгласила отказ от работорговли. Ее суда блокировали африканские берега. Вскоре к ней присоединились и другие страны, однако вплоть до 1865 года закованных в цепи африканцев тайно вывозили на плантации в Соединенные Штаты.

Прошло триста лет с того дня, как первый корабль с рабами бросил якорь у берегов Америки. Что же изменилось с тех пор в судьбе негров? Ничего. Только цена стала иная. Раньше раб стоил 300 долларов, теперь его продают в четыре раза дороже.

Джошия вглядывался в лица невольников. По их виду можно было догадаться о тяжелой доле, о непосильной работе на плантациях. Такая же участь ожидает и его. До сих пор худо-бедно он жил и трудился в поместье. Теперь его продадут на плантацию, а какова там жизнь, он знает.

Тогда-то впервые по-настоящему и подумал Джошия о побеге. Он знал, если ему удастся добраться до Канады, — он будет свободен. Что означало быть свободным для негра? Прежде всего — право быть человеком, а не рабочим скотом. Это значило жить по своей воле, независимо от воли другого. И мысль о побеге все больше завладевала его сознанием.

Как на грех в этот момент сына хозяина свалила лихорадка. Он умолял Джошию не оставлять его и отвезти обратно к отцу. Негр встал перед выбором: остаться, несмотря на подлость хозяина, верным ему или осуществить свой план. И снова привычка к покорности взяла верх. Негр не бросил больного и исполнил просьбу. Какое вознаграждение ожидало его за преданную службу? Всего лишь простой похвалы был удостоен невольник за то, что спас жизнь хозяйскому сынку, — той награды, которой одабривают верного пса.

Джошия снова оказался в поместье. Но доверять хозяину уже не мог, а главное, не хотел больше терпеть несправедливость. Во что бы то ни стало он решил совершить задуманное. Ночью вместе с женой и детьми он убежал.

О том, с какими трудностями ему удалось добраться до города Сандаски, он рассказывал неохотно. Видно, столько пережил за это время — не хотелось вспоминать. Отсюда через озеро рукой подать до противоположного берега — берега свободы. И он обрел ее, когда ступил на землю маленького канадского городка Амхерстберг. Опустившись на колени, Джошия целовал эту землю, хватал ее пригоршнями и прижимал к губам. Вскикивал, плясал, плакал, смеялся. Люди думали, что негр лишился рассудка. «Нет, нет, — кричал им Джошия, — я не сумасшедший, просто перед вами свободный человек».

Джошия был одним из первых рабов, кто рассказал историю своей жизни на страницах книги. Это было тогда очень важно — рассказ очевидца, человека, пережившего ужасы рабовладельческого ада. Не менее важно было и другое. Джошия являл собой живой пример того, что забитый,

неграмотный раб, если предоставить ему свободу, ни в чем не уступает белым. Как и они, он способен овладевать знаниями, учиться, преподавать, писать книги, а каждая книга, написанная негром, воспринималась тогда как опровержение измышлений расистов, утверждала негра-человека, заставляла видеть в нем равного. Именно так были встречены в свое время воспоминания бывшего неграмотного раба Джеймса Пеннингтона «Кузнец-беглец» — история его двадцатилетнего рабства, побега и того, как он стал педагогом и писателем; мемуары Льюиса Кларка, который одно время жил в доме Бичер-Стоу и рассказывал ей о себе; или, скажем, автобиографическое произведение «Жизнь и времена Фредерика Дугласа» — выдающегося негритянского прогрессивного деятеля, прекрасного оратора и публициста.

Стала такой книгой и автобиография Хенсона, которая принесла ему широкую известность, когда же вышел роман «Хижина дяди Тома», слава Джошии возросла еще больше. Дело в том, что многие, зная историю его жизни, считали, что Бичер-Стоу изобразила его в образе Тома. С этим мнением писательница столкнулась и в Англии. «Английский народ, — писала она, — приветствовал моего друга Джошию с энтузиазмом, как дядю Тома из моей истории, хотя Джошия был жив и жил недурно, тогда как дядя Том умер мучеником».

Под словами «жил недурно» она имела в виду, естественно, не материальное его положение, а нравственную чистоту этого человека, его полезную общественную деятельность.

Джошия Хенсон не хотел умирать мучеником, как дядя Том. И хорошо зная, что такое рабство, решил бороться за освобождение негров. Он стал одним из активных сотрудников «подпольной дороги». Так называли путь, по которому противники рабства с одной «станции» на другую, из рук в руки, до самой канадской границы переправляли беглецов-негров. Не раз тайно пересекал Джошия границу своей родины и как «кондуктор» «подпольной дороги» выводил беглецов из американского ада.

Только теперь, когда ему было уже за сорок, он выучился читать. Осуществилась его давнишняя мечта. Джошия

хорошо помнил день, когда он, темный, забитый негрите-нок, решил пробиться к свету. Но для этого должно было случиться чудо. Маленький Джошия не хотел ждать. Он продал несколько яблок из хозяйского сада. Всего несколько яблок, чтобы купить книжку — обыкновенный букварь. С этих пор Джошия не расставался с ним. Он прятал книжку на голове под шляпой. В свободные от работы минуты где-нибудь в кустах за сараем или у изгороди он раскрывал букварь и разглядывал запретную книжицу. Через несколько дней его, однако, постигла неудача. Однажды он чистил лошадь. Хозяин с крыльца наблюдал за его работой. Вдруг лошадь вырвалась. Джошия бросился за ней, шляпа слетела у него с головы, и букварь оказался на земле. На вопрос о том, где он взял деньги на покупку книги, мальчик ответил: «Продал яблок из нашего сада». «Из нашего сада! — негодовал хозяин. Я научу тебя, как продавать яблоки из нашего сада!» Дорого обошлась Джошии попытка научиться грамоте. Следы от побоев, полученных тогда, остались на его теле на всю жизнь.

Трудный и долгий путь отделял его теперь от того дня. Обретя свободу, Джошия не только овладел грамотой, стал писателем, но и основал близ поселка Доун колонию беглых рабов, одну из самых процветающих в Канаде. Так из преданного хозяину раба, когда-то похожего на смиренного дядю Тома, Джошия Хенсон превратился в бунтовщика. Он избрал другой путь — не мученика, каким был бедный Том, не безграмотного и бесправного невольника, а путь бунтаря, путь познания. Тот путь, которым пошли и некоторые другие герои Бичер-Стоу. Вспомните хотя бы вольнолюбивого Джорджа Гарриса. Его образ тоже казался кое-кому преувеличением. Но Бичер-Стоу прямо пишет, что и этот персонаж сложился из вполне реальных прототипов. Она сама видела в поместье на юге цветного юношу (у которого, впрочем, была вполне белая кожа) — изобретателя машины для трепания конопли. Факт этот использован в романе. Ей заявляли, что негр не способен что-либо изобрести. «А разве не негр Эли Уитни, — напоминает Гарриет, —

еще в 1793 году изобрел машину для очистки хлопка, которая заменила труд двухсот рабочих?»

— Где вы видели грамотного негра, такого, как ваш Гаррис? — не унимались расисты.

— Джордж Гаррис умел читать и писать, — отвечает Гарриет, — ибо среди негров такие случаи, хотя как редкое исключение, бывали.

— Ну а ваша Элиза тоже, скажете, не выдумана? — продолжали диалог с писательницей ее противники.

— И она — если хотите, во многом списана с подлинного лица. Что касается случая с переправой негритьянки и ребенка по льду через реку Огайо, то эпизод этот, казавшийся некоторым неправдоподобным, тем не менее широко известен. О мужественной женщине писали в газетах, о ней сообщали мне в своих письмах очевидцы.

Даже подробности биографии мадам Ту из ее романа писательница почерпнула в рассказах Льюиса Кларка о его сестре Делии. Как и мадам Ту, она вышла замуж за француза, жила в Мексике, Вест-Индии, во Франции. После смерти мужа, получив в наследство большое состояние, она приехала на родину, решив выкупить из рабства братьев.

Каждому персонажу, выведенному на страницах «Хижины дяди Тома», Гарриет отводит главу в новой книге-отчете, словно дает ключ к характеру каждого героя, знакомит с его родословной. Ее герои — смиренный дядя Том и вольнолюбивый Джордж Гаррис, мужественная Элиза и отчаявшаяся Прю, непокорная Касси и жизнерадостный Сэм — воплощают различные стороны характера своего народа.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА НА СУДЕ

Все толще становились тетради с выписками подлинных сцен и эпизодов, совершенно тождественных с теми, которые у нее описаны в «Хижине». И все больше Гарриет чувствовала себя свидетельницей на уголовном суде, словно ее признавали быть обличительницей своих соотечественни-

ков. Пусть ее обличение разнесется по всему миру. Пусть же всеобщий глас человечества пробудит американцев от тяжелого сна! И пусть ее книга, основанная на протоколах и свидетельствах живых лиц, подтвердит точность и правдивость всего того, о чем она рассказала в «Хижине дяди Тома».

Работа эта не из легких. Писательнице приходилось просматривать газеты за многие годы, перелистывать многие книжные страницы, записывать показания очевидцев! Это был поистине адский труд — фактов оказалось такое множество, что у нее просто не хватало физических сил выписывать их. «Я совсем выбилась из сил, — пишет она брату, — приготавливая «ключ», чтобы отпереть «Хижину». Но трудность состояла не только в этом. Гораздо тяжелее было переносить моральное напряжение. Она писала эту книгу, «страдающая душой, плача, молясь, проводя бессонные ночи и переживая самые тяжелые дни». Писать правду всегда трудно. Тем более трудно писать горькую правду, рассказывать об издевательствах одних людей над другими людьми, не считавшимися таковыми только потому, что у них была черная кожа. Легче сочинять из головы, записала Бичер-Стоу в предисловии к книге «Ключ к хижине дяди Тома», тяжелее создавать книгу на фактах, взятых из страшной действительности.

«Ключ к хижине дяди Тома» — публицистический комментарий к роману Бичер-Стоу — сделал свое дело. Если про художественное произведение можно было говорить, что оно — плод фантазии автора, что написанное в нем в жизни не встретишь, то документальная книга заставила навсегда замолчать всех противников писательницы. Она как бы обнажила фундамент «Хижины дяди Тома», сложенный из жизненных фактов. Трудно было что-либо возражать, когда пришлось иметь дело по существу с самой жизнью. Невозможно было, даже при всем желании, опровергнуть такое обилие фактического материала и документов.

Гарриет Бичер-Стоу выиграла эту битву, битву за право художника на обличение несправедливости и зла, за право литературы быть воспитателем нравов.

С тех пор как имя Бичер-Стоу стало известно всему миру, прошло много лет. Позади — триумфальная поездка по Европе, признание соотечественников, запомнившаяся ей на всю жизнь встреча с Авраамом Линкольном — президентом. Это случилось через девять лет после выхода ее книги, когда по всей Америке гремели орудия гражданской войны между Севером и Югом за освобождение негров. Войны, к которой она, а вернее ее книга, имела самое непосредственное отношение. Во всяком случае, так сказал Линкольн, встретив ее однажды на приеме. «Так это вы — та маленькая женщина, — воскликнул президент, — которая вызвала эту большую войну». Гарриет по праву могла гордиться такой лестной характеристикой. Ведь это значило, что цель ее достигнута. Когда-то она хотела пробудить американцев, спящих на «хлопковых подушках». Желание ее исполнилось. С помощью своей книги она достигла этого.

Пойти на фронт Бичер-Стоу, естественно, не могла. Зато она была первой матерью в штате Массачусетс, которая послала своего сына сражаться в армии северян. Сама же, как и прежде, не выпускала из рук пера. Писала статьи, выступала перед публикой, как когда-то Чарльз Диккенс, с чтением своих произведений, прежде всего, конечно, с чтением «Хижины», продолжала бороться за права негров.

Немало создала она за это время и новых книг. Одну из них — «Дред, повесть о Проклятом Болоте» Гарриет посвятила восстанию негров в 1830 году под руководством Ната Тэрнера, которого писательница вывела под именем Дреда. Об этом она рассказала в своем послесловии к роману. Однако ни одна из ее последующих книг не приобрела той популярности, не имела того общественного резонанса, который вызвала «Хижина дяди Тома».

Бичер-Стоу оставалась по существу автором одной книги, но книга эта стоила многих иных томов. Она заставила снять оковы с рабов целого материка. Более того, с годами ее роман из оружия борьбы за освобождение негров превратился в повесть об угнетенном человечестве вообще.

...На старости лет Гарриет жила в Хатфорде. Дом ее стоял рядом с домом другого великого американца — Марка Твена. Они были соседями. Часто виделись. Марк Твен вспоминал о том, как Бичер-Стоу играла на рояле в гостиной его дома или бродила в саду, где было много цветов — она их всегда любила. Иногда маленькая, сгорбленная старушка отдыхала среди клумб в плетеном кресле. И тогда можно было заметить, что взгляд ее становится каким-то особенно мечтательным, взор добрых глаз устремлялся куда-то вдаль. В эти минуты она казалась рассеянной. И только присмотревшись, можно было заметить в ее лице черты твердой воли и сильного характера. Такой и изобразил ее художник Ричмонд. Пожалуй, ему лучше других удалось на холсте передать эти ее качества — мечтателя и борца.

Портрет этот висел в гостиной хатфордского дома. Эта же комната служила и библиотекой. В осенние, холодные дни, когда дорожки сада покрывались осыпавшимися листьями и лишь на клумбах пламенели ее любимые настурции, в комнате приветливо горел камин, около него собирались обитатели дома, приходили друзья. Хозяйка сидела у огня, укутав ноги шотландским пледом. Ее ссутулившаяся фигурка отражалась в стекле книжного шкафа, где хранились издания «Хижины дяди Тома» в переводах на многие языки. Это была редкая коллекция, которой Бичер-Стоу справедливо гордилась. Второе такое собрание находилось только в Британском музее. Но еще больше гордилась Бичер-Стоу тем, что и спустя почти полвека ее книга не превратилась в исторический документ, не утратила своего звучания, своей действенной силы. Она продолжала быть книгой, которая помогала понять, что происходило в Америке в те дни.

...Пришла весна. Снова ожили цветы на клумбах в саду. Ее любимые цветы.

Цветы провожали Гарриет и в последний путь 1 июля 1896 года. Среди венков на ее могиле выделялся один. Он казался самым большим. На нем была надпись: «От детей дяди Тома».

«БЕДНЫЙ РИЧАРД» ПОГИБАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ



ТАИНСТВЕННЫЙ ЛОЦМАН

Он появляется неожиданно — загадочный, странный, до подбородка облаченный в грубый коричневый камзол, прикрывая лицо широкими полями шляпы. Немногословный, спокойный и невозмутимый при самых, казалось бы, невероятных обстоятельствах — таким предстает перед нами главный герой романа Джеймса Фенимора Купера «Лоцман».

Никто толком не знает даже, как его зовут. Называют мистером Грэм, но это явно вымышленное имя. Грэй — значит серый, неприметный, каких много. Не это ли и хотел подчеркнуть незнакомец, назвав себя так? Он поднимается на борт фрегата, чтобы вывести судно из крайне опасного положения, в котором оно оказалось. Только он, исключительно опытный лоцман, мог провести судно сквозь рифы и буруны пролива со зловещим названием Чертовы Клещи. И мистер Грэй, этот незаметный и на первый взгляд скромный моряк, на удивление всем совершает невозможное. Ему удается в темноте провести корабль при яростном норд-осте и штормовых волнах, счастливо избежав мелей и скал.

Даже опытные и выдавшие виды моряки поражены искусством таинственного лоцмана. Их восторг и благодарность выражает молодой лейтенант Гриффит, воскликнув: «Нет во всем мире моряка, равного вам!»

С этого момента лоцман проведет на борту фрегата всего пять суток. Но сколько событий происходит за этот небольшой срок!

Два корабля — фрегат и шхуна «Ариэль», принадлежащие молодому флоту восставших английских колоний

в Северной Америке, совершают смелый и дерзкий рейд у берегов Англии. Здесь американских моряков считают мятежниками и называют пиратами.

В схватках при высадке на берег одни из моряков погибают, другие, счастливо избежав плена и, казалось бы, неминуемой смерти, продолжают сражаться. Разбушевавшаяся морская пучина поглощает расстрелянную неприятелем почти в упор шхуну «Ариэль». Место ее занимает тендер «Быстрый», захваченный у англичан, и отчаянный рейд у британских берегов продолжается. Словом, с героями Купера происходит масса самых невероятных и увлекательных приключений. Но даже в них лоцман остается таинственной, неразгаданной личностью. И когда он в конце повествования покидает американский фрегат под любопытными взглядами матросов, никто из них так и не может сказать о нем что-либо определенное, кроме того, что это бесстрашный человек. Моряки толкуют о странном его появлении при набеге на берега Британии и о его не менее странном исчезновении среди штормовых просторов. Он оставляет корабль и в маленькой шлюпке под парусом уходит в сторону открытого моря...

Последние слова Гриффита о том, что он обещал хранить в тайне имя лоцмана при жизни и даже после смерти моряка, только разжигают наше любопытство.

Однако, вчитавшись в текст романа, можно найти некоторые намеки, указывающие на историю жизни этого персонажа.

Перелистаем страницы куперовского повествования и попробуем собрать воедино все имеющиеся сведения о «мистере Грэе».

Прежде всего возможно ли установить, когда происходит действие романа Купера?

Судя по косвенным данным, события, описанные в книге, относятся к 1780 или 1781 году. В тексте упоминается граф Корнваллийский — командующий английскими войсками на юге Соединенных Штатов. Известно, что пост этот он занимал именно в эти годы, вплоть до капитуляции

в октябре 1781 года. Поражение англичан в борьбе с «мятежниками» привело к падению правительства и чуть было не лишило престола короля Георга III. Мирный договор с молодыми Соединенными Штатами, завоевавшими независимость в долгой и упорной борьбе, был подписан в сентябре 1783 года. Таким образом, события, описанные Купером, следует отнести к завершающему периоду борьбы за независимость США.

Кстати говоря, на время действия романа оказывают и упомянутые в тексте волнения в Лондоне, известные под названием «бунт лорда Гардона» (событие, красочно рассказанное в романе Ч. Диккенса «Барнеби Радж»). Так вот, бунт этот случился в июне 1780 года.

Определив время действия, обратим внимание на другие факты повествования Купера, которые, возможно, помогут раскрыть загадку лоцмана.

И прежде всего вспомним, что еще в самом начале капитан Мансон узнает лоцмана несмотря на то, что тот очень изменился, «чтобы враги не могли узнать его и друзья тоже, — как говорит он сам, — пока не пробьет нужный час». Этого, конечно, недостаточно для разгадки того, кто же такой лоцман на самом деле. Но вот встреча лоцмана в тюрьме аббатства Святой Руфи с Элис Данскомб — дочерью почтенного пастора, кое-что проясняет. Мы узнаем, что эта уроженка суровой Шотландии, землячка лоцмана, была когда-то возлюбленной «мистера Грэя», которого теперь она называет Джоном. Впрочем, произнести громко это имя она не смеет, так как лоцмана тут же разоблачат и «накажут за дерзость».

Что имеет в виду бывшая его возлюбленная? Из ответа лоцмана это неясно. На ее предостережение моряк отвечает, что англичане не раз произносили имя его с нелюбовью и в страхе бежали от человека, который был жертвой их несправедливости. И дальше во время встречи лоцман произносит фразу о том, что он «гордо поднял знамя новой республики на виду у трех королевств». Это уже вполне определенный намек, который может помочь нам в нашей

попытке раскрыть тайну куперовского лоцмана. Причем лоцман не раз упоминает об этом событии, ибо явно гордится тем, что был удостоен чести первым поднять стяг Соединенных Штатов на мачте корабля молодой республики. «Если вы не забыли день, когда впервые на ветру затрепетал флаг,— говорит он капитану Мансону,— то вы, вероятно, вспомните и руку, поднявшую его».

Попробуем и мы воспользоваться предложением куперовского героя и обратимся к истории флота Соединенных Штатов.

Принято считать, что американский регулярный флот родился 3 декабря 1775 года. В этот день на мачте бывшего торгового парусника «Альфред», наспех приспособленного под военное судно, взвился флаг ставших свободными колоний. Правда, в то время еще не был учрежден звездно-полосатый флаг США и пришлось воспользоваться английским с красным крестом на белом поле, перечеркнув его двумя полосами, символизируя тем самым борьбу против тирании. Так вот, этот флаг был поднят, как говорилось, над «Альфредом». И честь поднятия была предоставлена Джону Полю Джонсу.

Но имеет ли какое-либо отношение этот американец к герою Купера? Оказывается, имеет, и самое непосредственное. Ведь по национальности Джон Поль Джонс никакой не американец, а шотландец, поступивший на службу к восставшим колонистам, как и лоцман, являвшийся уроженцем тех прибрежных мест Англии, где разворачивается действие романа.

Теперь вспомним, каким именем называет лоцмана его возлюбленная: тоже Джоном. Однако и этого, могут сказать, недостаточно. Тогда давайте определим, когда родился герой Купера. В тексте говорится, что ему тридцать три года. Если считать, что действие романа относится к 1780 году, то, следовательно, куперовский герой появился на свет в 1747 году. Но ведь это и год рождения Джона Поля Джонса!



Джеймс Фенимор Купер

И, наконец, эти неоднократные упоминания лоцмана о поднятии им стяга молодой республики. Причем неточность здесь может быть только одного рода. Либо Купер имеет в виду самый первый торжественный момент, когда на мачте «Альфреда» взвился перечеркнутый «Гренд Юнион» — американский флаг свободных колоний, либо речь идет уже о новом государственном флаге США, учрежденном североамериканским конгрессом

и поднятом тем же Джоном Полем Джонсом на корвете «Скиталец».

На этом новом знамени тогда можно было насчитать тринадцать звезд — по количеству существовавших в тот момент штатов.

Интересно, что постановление конгресса о новом флаге и назначение Джонса на «Скиталец» были приняты в один день — 14 июня 1777 года. Мало того, оба постановления оказались напечатанными рядом на одной странице, что дало повод Джонсу в шутку называть себя и американский флаг близнецами, появившимися на свет в один день и час.

Таким образом, можно сказать, что куперовский таинственный лоцман — образ не вымышленный, а вполне реальная историческая личность, только действующая как бы безымянно, «зашифровано». Выбор писателем прототипа не покажется странным, если иметь в виду его отношение к героическому прошлому своей родины. Купер,

преклонявшийся перед истинными героями борьбы за независимость Америки, вывел одного из них в своем романе «Лоцман» так же, скажем, как и в его «Шпионе», «Осаде Бостона» и других книгах, где тоже действуют подлинные исторические фигуры.

Теперь, зная, кто послужил Куперу историческим прототипом его героя, сопоставим сведения о лоцмане в книге с подлинной биографией Джона Поля Джонса. И вновь убедимся в том, что в основе романа Купера лежат реальные события, преломленные в призме художнического видения писателя. И нам станут понятными упоминаемые в тексте романа загадочные факты его биографии.

САЛЮТ В ЧЕСТЬ АМЕРИКАНСКОГО ФЛАГА

Отец его был садовником и служил в шотландском поместье у графа Селькирка, где и родился будущий ценитель моря.

Но сухопутное существование не привлекало сына садовника. С юных лет он мечтал о море. Его желание сбылось, когда ему едва минуло тринадцать лет. Юнга королевского флота Джон Поль начал проходить морскую школу. Он был, несомненно, способным учеником. И вот в семнадцать лет он уже третий помощник капитана на «Короле Георге». А два года спустя молодой моряк поднялся на борт бригантин «Два друга» в качестве первого помощника. Однако служба на этих судах — не самая лучшая страница в биографии Джона Поля. Оба корабля принадлежали работорговцам и занимались перевозкой «живого товара». Правда, к чести Джона Поля ему скоро опротивела роль надсмотрщика и тюремщика, надоело быть свидетелем мучений несчастных, томившихся в трюмах негров.

С легким сердцем, преисполненный мечты о великих подвигах, он покидает работорговый бриг. В этот момент получает известие о том, что стал владельцем имения в Виргинии: земля и дом достались ему по наследству от

умершего там брата. Это сообщение на время изменяет все его планы, его жизненный курс. Джон Польш плавает в Америку и в двадцать пять лет становится хозяином поместья.

Сменив зеленые луга старой Англии на полудикие леса и прерии Нового Света, он меняет и имя, как бы подчеркивая свой полный и безвозвратный разрыв с ненавистным прошлым. Отныне его зовут Джон Польш Джонс, или Польш Джонс.

Родину он покинул без сожаления, скорее с радостью, ибо к тому времени по неизвестной нам причине воспылал ненавистью к британской короне — чувством, которое будет сопутствовать ему всю жизнь. Неизвестно и то, действительно ли намеревался Польш Джонс вести добропорядочную и размеренную жизнь фермера. Возможно, вопреки своему характеру искателя приключений, он думал, что сможет усидеть на месте, привяжется к земле, как был привязан к ней его отец. Очень скоро, однако, он понял, что такая жизнь не по нему. Тем более что вокруг бушевали политические стра-



Джон Польш Джонс. Имеет ли какое-либо отношение этот моряк к персонажу Купера?

сти, колонисты готовились открыто выступить против английского господства. В законодательном собрании Виргинии, заседавшем в Джеймстауне, все отчетливее звучали свободолюбивые речи, и громче всех голос Томаса Джефферсона — впоследствии автора «Декларации независимости» и друга нашего героя.

В этой бурной политической атмосфере, в обстановке пламенных речей о свободе трудно было оставаться в сторо-

не. И когда патриоты бросили клич вступать в добровольческие отряды, Поль Джонс, ненавидевший Англию, с готовностью оставляет уединенное и спокойное существование в поместье и выбирает полную лишений, тревог и опасностей жизнь солдата. Англичанин по рождению, он становится участником вооруженной борьбы американцев за независимость против англичан. Его имя следует поставить в один ряд с именами героев освободительной войны колонистов Северной Америки — представителями чуть ли не всех европейских наций: французом Лафайетом и поляком Костюшко, англичанином Томасом Пейном и немцем Штейбеном, русским Федором Каржавиным и эстляндцем Веттер фон Розенталем...

Когда открытая борьба против англичан стала фактом, Континентальный конгресс принял свой первый акт от 15 июня 1775 года — о создании регулярных вооруженных сил и назначении Джорджа Вашингтона главнокомандующим. Но если с сухопутной армией дело обстояло сравнительно неплохо и на первых порах войска колонистов одерживали одну победу за другой, то война на море складывалась далеко не в пользу американцев. Сказывалось отсутствие регулярного флота. А без сильных и хорошо оснащенных военных кораблей трудно было победить «владычицу морей». Между тем английские суда чувствовали себя весьма вольно в прибрежных американских водах, активно помогали своим войскам на суше, угрожали блокадой гаваней. Вот почему срочно требовалось обеспечить защиту американского побережья.

Осенью 1775 года конгресс выделил сто тысяч долларов на снаряжение судов. А вскоре — еще пятьсот тысяч на строительство тринадцати кораблей. Тогда же, естественно, возник и вопрос о подборе способных моряков, которые могли бы успешно служить на флоте и командовать кораблями. Едва ли не тотчас на призыв откликнулся Поль Джонс. Его назначают первым лейтенантом на «Альфред» — в прошлом торговое судно «Черный принц», оснащенное тридцатью орудиями. Задача, поставленная перед

капитаном и командой, заключалась в том, чтобы нападать на транспорты англичан в открытом море, содействовать сухопутной армии, перебрасывать войска, добывать боеприпасы. Но, прежде чем выйти в море, надо было поднять на «Альфреде» флаг свободных колоний. Этой чести и был удостоен Поль Джонс.

Уже в первых боях доброволец Поль Джонс показал себя бесстрашным и искусным моряком. Повышение по службе не заставило себя ждать. Ему доверяют небольшой шлюп «Провидение» с двенадцатью орудиями на борту. Так сбылась мечта сына садовника — подняться на капитанский мостик. Теперь все зависело от него самого. И Поль Джонс, поступки которого в значительной мере определялись его честолюбием, произносит как клятву: «Большому кораблю — большое плавание» — слова, вычитанные им в популярном тогда «Альманахе бедного Ричарда», издаваемом одним из вождей американской революции Б. Франклином.

Случай отличиться скоро представился. Поль Джонс получил инструкцию направиться к Бермудским островам. Легкий, маневренный шлюп чувствовал себя среди волн как рыба в воде. Внезапно появлялся перед неприятелем, часто значительно превосходящим его по огневой мощи, брал на абордаж, а когда требовалось, бросался наутек и легко уходил от погони.

Ровно через месяц с борта «Провидения» поступает первое донесение. В реляции о плавании Поль Джонс сообщает о захваченных и уничтоженных им более тридцати кораблях противника.

Вернулся Поль Джонс в октябре, и сразу же его бросили на самый трудный участок боевых действий. Ему надлежало доставить боеприпасы и провиант повстанческим отрядам Вашингтона, блокированным в Нью-Йорке. Место это в устье реки Гудзон считалось удобным для обороны — городок, расположенный на острове, был как бы природной крепостью. Но одного этого мало, чтобы выдержать блокаду. На это и надеялись англичане — плотным коль-

цом окружить и задушить защитников города. Прорваться сквозь заслоны английских фрегатов казалось невероятным чудом. И это чудо совершил Поль Джонс. Ему удалось в тумане и темноте под самым носом английских кораблей провести свое судно в нью-йоркскую гавань. Для этого недостаточно было одной лишь храбрости и отваги, требовалось еще и высокое лоцманское искусство, умение хорошо ориентироваться в темноте и при непогоде.

Операция по прорыву блокады принесла Полю Джонсу заслуженную славу и чин капитана американского флота. И хотя численность его все еще была невелика, молодые и энергичные моряки, сражавшиеся под флагом новой республики, непрестанно давали англичанам почувствовать свою силу. Шутка сказать, за два года ими было захвачено и потоплено почти восемьсот кораблей противника.

С этого времени стал проявляться строптивый и неуживчивый характер «шотландского искателя приключений», его высокомерие и заносчивость, подчас нежелание подчиняться вышестоящим командирам. Это граничило с нарушением воинского устава, но пока всеобщему любимцу великодушно прощали его капризный нрав. Однако не всем приходились по душе эти качества прославленного моряка. Его самовольные поступки скорее походили на партизанские вылазки, чем на действия капитана регулярного военного флота.

И хотя авторитет у Джонса был немалый, а его преданность делу патриотов вне всяких подозрений, от него все же, видимо, на время решили избавиться. Но просто уволить его из флота не могли, да в этом и не было такой уж необходимости. Проще казалось удалить его подальше от американских берегов.

И вот 1 ноября 1777 года Поль Джонс на корвете «Скиталец» отплывает во Францию. Какова цель плавания? Его посылают принять построенный в Голландии для американского флота фрегат «Индеец». Это, так сказать, полукommerческое, полувоенное поручение. Есть еще одно задание, которое он должен выполнить. Ему доверяют

важные бумаги, которые следует передать послу США в Париже Б. Франклину.

Захватив по пути несколько вражеских судов, Поль Джонс в декабре бросил якорь в гавани Бреста. На берег он сошел под ликующие возгласы, ибо слава его достигла и берегов Европы.

Твердой походкой бывалого матроса Джонс направился к карете. И в этот момент публика заметила, что он был невысок ростом, гибок телом и смугл лицом, что свидетельствовало о долгом пребывании под ветром и солнцем. Удивил всех наряд прибывшего. На нем было простое партикулярное платье, несколько, правда, изысканное для грубого «морского волка». А «в его сумрачных властных глазах таилось пламенное упорство, граничащее с одержимостью», — как заметил Г. Мелвилл, рисуя портрет прославленного моряка в своем романе «Израиль Поттер». Нельзя было не обратить внимание и на его необычайное лицо — оно «дышало горделивым дружелюбием и презрительной замкнутостью». И всем показалось, что этот моряк «принадлежал к тем, кто ищет опасностей и сам идет им навстречу».

В Париже Джонса ждали нерадостные вести. Оказалось, что корабль, за которым, собственно, его и послали, передан американским правительством своему союзнику Франции. А ему, Полю Джонсу, предписывалось ждать новых указаний. Сидеть без дела в то время, когда шла ожесточенная война! И он возвращается в Брест. К этому моменту был заключен франко-американский союз. Французские корабли 13 февраля 1778 года отдали салют «Скитальцу» — первый салют в честь флага новой республики в европейских водах.

РЕЙД К БЕРЕГАМ АЛЬБИОНА

Наступила весна. Поль Джонс не терял времени. Он изучал французскую морскую тактику, пристально следил за сообщениями о военных операциях, анализировал дей-

ствия английского флота и составил полный список всех его судов с указанием их боевой мощи и даже характеристиками капитанов.

Делал все это он, однако, не ради праздного удовольствия. Поль Джонс готовился к новым сражениям с англичанами, и сведения о противнике, естественно, должны были способствовать его успеху. И такой день наступил.

Вечером 10 апреля, когда стемнело, корвет «Скиталец» — «слабый, гнилой, с медленным ходом», как справедливо охарактеризовал это судно Б. Франклин, — на всех парусах вышел в море. На борту его находилось сто тридцать человек команды. Вооружение — восемнадцать орудий старого образца — было приобретено на собственные деньги капитана. Только безумец или очень отчаянный человек посмел бы на таком корабле в одиночку сразиться с могучим английским флотом. Этим отчаянным смельчаком был Поль Джонс.

Куда взял курс «Скиталец»? Через Атлантику в сторону Америки? Ничуть не бывало. Капитан скомандовал: на север, к берегам Англии! Так начался знаменитый победоносный рейд Поля Джонса в европейских водах.

«Скиталец» был замаскирован под торговое судно, на его мачте развевался британский флаг. Но стоило ему повстречать английский корабль, как он ошетикивался, словно разъяренный пес, осыпая градом ядер не успевшего прийти в себя противника.

На исходе двенадцатого дня плавания «Скиталец» появился на рейде Уайтхэвена. Это был тот самый порт, откуда Поль Джонс впервые отправился в Америку. Что привело его именно в этот городок? Случайность или воспоминания о прошлых обидах, которые приходилось сносить от соотечественников? По какой-то причине, оставшейся нам неизвестной, именно здесь решил Поль Джонс преподать англичанам урок.

На рассвете капитан с тридцатью добровольцами на шлюпках вошел в порт, где скопилось более ста небольших судов, главным образом угольщиков. Быстро и бесшумно

связали часовых, охранявших форт, заклепали орудия. Затем подожгли несколько кораблей и обрубили у них якорные канаты. Только тогда в гавани прозвучал сигнал тревоги. Но было уже поздно. На охваченных огнем судах начали рваться бочки с порохом, пламя перебросилось на соседние корабли, и скоро весь порт превратился в сплошной пылающий костер. Между тем смельчаки без потерь вернулись на борт «Скитальца». В донесении о результатах этого набега Поль Джонс писал: «Я сжег английские суда в отместку за весь тот вред, который англичане нанесли американскому флоту». При этом капитан «Скитальца» с удовлетворением отмечал, что дело обошлось без жертв с обеих сторон.

Покинув пылающий порт, Поль Джонс устремился дальше на север, решил посетить места, где когда-то родился. Однако влекло его сюда отнюдь не сентиментальное воображение, а чисто прагматические цели. Он рассчитывал высадить десант на острове Сент-Мэри, где находилось поместье графа Селькирка, у которого некогда служил его отец, продвинуться в глубь территории и захватить в плен графа. После чего предполагал обменять этого знатного вельможу на американских пленных моряков.

Все произошло так, как и предполагал Поль Джонс. За исключением одного — граф, по счастливой для него случайности, оказался в отъезде. В замке находилась лишь его супруга и несколько слуг. Но воевать с женщинами было не в правилах отважного морехода. Так и пришлось ему ни с чем покинуть поместье, удовлетворившись тем, что побывал в некогда знакомых местах. Впрочем, моряки, участвовавшие в рейде, вернулись, в отличие от их командира, не с пустыми руками. «Случайно» они прихватили в качестве «трофеев» фамильное серебро Селькирков. Узнав об этом, Поль Джонс наказал виновных, а графине послал письмо, извиняясь за действия своих подчиненных и обещая вернуть отобранное, что и было им исполнено.

После столь дерзкого налета англичан, живущих в прибрежных районах, охватила паника. Никто не гарантиро-

вал, что завтра этот пират Поль Джонс не объявится на пороге и их дома. Газеты называли его не иначе, как изменником, кровожадным корсаром и грозили ему виселицей.

Тем временем «Скиталец» продолжал курсировать вдоль побережья, выжидая добычу. Она предстала перед американцами в конце апреля в виде «Дрейка» — двадцатипушечного фрегата английского королевского флота. Самоуверенный англичанин никак не ожидал, что «Скиталец» посмеет атаковать его. А между тем невзрачный и малобоеспособный американский корвет, словно кондор, ринулся на грозного противника. Больше часа длился упорный бой, после чего английский фрегат спустил флаг. Несколькими днями позже на рейде французского порта Лориан показался «Скиталец» с английским фрегатом на буксире.

Во время своего похода к берегам Британии Поль Джонс нанес англичанам немалый материальный ущерб, но куда значительнее был ущерб моральный. Как заметил впоследствии писатель и историк американского флота Сэмюэл Элиот Морисон, «никто не причинял англичанам подобного урона». Победы Джонса выглядели тем значительнее, что в других местах американские корабли действовали не столь успешно. Напротив, они терпели поражения, теряли капитанов.

К этому времени французы делают предложение Полю Джонсу перейти к ним на службу. Моряк, не привыкший спускать с мачты флаг, поднятый его рукой, отклоняет предложение, но изъявляет горячее желание продолжать сражаться с англичанами у их собственных берегов. Тогда ему поручают сформировать франко-американскую эскадру из четырех кораблей и отправиться к английскому побережью.

В начале августа 1779 года четверка небольших кораблей разного класса вышла в море во главе с флагманом под названием «Бедный Ричард». Это было старое французское коммерческое судно «Дюра», наспех перестроенное, а заодно и переименованное. Причем в несколько

странном названии содержался определенный смысл. Корабль был поименован в честь Бенджамина Франклина, который в своем знаменитом «Альманахе», расхваливавшемся невиданным по тем временам тиражом — десять тысяч экземпляров в год, вел повествование от имени Бедного Ричарда, человека мудрого, скромного, но лукавого. Назвав свой корабль столь популярным именем литературного героя, Поль Джонс намекал на то, что судно представляет простых его соотечественников, которые, когда надо, могут и постоять за себя.

Кроме сорокапушечного «Бедного Ричарда», в эскадру входили фрегаты «Союз» (36 орудий) и «Паллада» (32 орудия), а также бригантина «Месть» (12 орудий).

Эскадра обогнула Англию и двинулась к мысу Фламборо-Хед, сея панику среди жителей прибрежных деревень и английских капитанов.

23 сентября после полудня море было спокойно, дул легкий юго-западный ветер.

— Парус! Прямо по носу фрегат, сэр! — раздался, словно с небес, голос вахтенного. И тотчас вслед за этим прозвучал резкий свисток боцманской дудки: все наверх. «Бедный Ричард» развернулся и направился к окутанному облаком парусов величественному фрегату.

Это был пятидесятипушечный «Серапис» — линейное военное судно новейшей конструкции с экипажем в триста с лишним человек. Как писал Поль Джонс в письме к Б. Франклину, «он никогда в жизни не видел такого славного корабля». Вскоре показался и второй корабль неприятеля — сторожевой шлюп «Графиня Скарборо» с двадцатью орудиями на борту.

Битва, которая произошла вечером этого дня, считается самым впечатляющим эпизодом войны на море в годы борьбы американцев за независимость. И эта битва — по словам Г. Мелвилла, самый необычайный бой во всей морской истории — стала величайшим подвигом Поля Джонса. Описание этого сражения встречается у многих американских авторов, немало блестящих страниц отвел

ему, например, Г. Мелвилл в упомянутом уже романе «Израиль Поттер». Значительное место уделил этой битве и С.-Э. Морисон в своей книге «Джон Поль Джонс: биография моряка». Эта работа, созданная на основе изучения источников, в подробностях передает события жизни отважного морехода.

Итак, 23 сентября 1779 года. Место действия — восточное побережье Англии, близ мыса Фламборо-Хед, меловые скалы которого высотой более ста пятидесяти метров круто обрываются в море.

Капитан «Сераписа» Ричард Пирсон, задача которого состояла в том, чтобы охранять транспорт из сорока торговых судов, вскоре после полудня заметил четыре корабля противника. Несмотря на численное превосходство — два против четырех — он принял решение вступить в бой.

На «Бедном Ричарде» тоже готовились к атаке противника. Канониры, матросы и офицеры заняли свои места, судовые барабанщики забили боевую тревогу. На носу и на грот-мачте появился условный сигнал — синий вымпел: «Принять боевой порядок». Но тут произошло нечто



Только ближний бой мог принести победу. Гравюра XVIII века

странное. Корабли эскадры Поля Джонса, казалось, не заметили приказа. Больше того, они оставались без движения, явно предпочитая держаться подальше и издали наблюдать предстоящий бой, обрекая тем самым «Бедного Ричарда» сражаться один на один с противником.

Коммодору Джонсу (незадолго до этого он был удостоен этого звания командующего флотом) ничего не оставалось, как атаковать в одиночку.

Когда противники оказались на расстоянии пистолетного выстрела, амбразуры орудийных портов с грохотом отворились и корабли приняли грозный вид. Но судно Джонса в целях маскировки шло под английским флагом, и капитан «Сераписа» потребовал подтверждения принадлежности корабля королевскому флоту. Вместо ответа на «Бедном Ричарде» спустили британский флаг и подняли американский. В тот же миг орудия его правого борта открыли огонь по «Серапису». Тот не заставил ждать с ответом. Последовал залп из всех двух рядов его пушек.

Первые минуты боя сложились неудачно для капитана «Бедного Ричарда». Два его орудия сразу же разорвались, при этом погибли и канониры. На борту возник пожар. К тому же после ответного огня «Сераписа» корабль Джонса дал течь. Коммодору стало ясно, что дальнейшая дуэль с фрегатом, превосходящим его по огневой мощи, может плохо кончиться. Оставалось одно: подойти как можно ближе и взять «Серапис» на абордаж.

Продолжая вести ожесточенный огонь с дистанции тридцать метров, «Бедный Ричард» стал заходить на правый борт противника. Однако попытка взять англичанина на абордаж не удалась. После чего оба корабля начали маневрировать с целью протаранить один другого, срезать нос или ударить в корму. Задача Поля Джонса по-прежнему состояла в том, чтобы не дать возможности «Серапису» использовать свое превосходство в огневой мощи. С этой целью «Бедный Ричард» пошел наперерез «Серапису», намереваясь дать залп по британскому фрегату. «Маневр прошел не совсем так, как мне хотелось», — признается

Поль Джонс в своих воспоминаниях. Корабли столкнулись. «Ветер, продолжавший наполнять паруса обоих кораблей, развернул их, и они сошлись бортами — нос к корме и корма к носу по оси север — юг, — пишет С.-Э. Морисон в своей книге. — Лапа якоря, висевшего на правом борту «Сераписа», скрепила эти роковые узы, зацепившись за правый фальшборт «Бедного Ричарда», надводные борта кораблей оказались так тесно прижатыми, что дула пушек уперлись друг в друга».

Непредвиденная ситуация, когда оба судна попали в клинч, оказалась как нельзя лучше на руку Полю Джонсу. По его приказу матросы начали бросать на борт противника кошки и крючья, готовясь к абордажу. Только ближний бой мог принести победу. Понимал это и капитан «Сераписа» и предпринимал всяческие попытки оторваться. Однако в результате корабли сцепились еще крепче.

К этому моменту над морем взошла луна, осветив место боя. И скопившиеся на мысе Флампоро-Хед зрители из местных жителей могли наблюдать удивительную и странную картину сражения. Она стала еще более эффектной, когда загорелись паруса обоих кораблей. Командам пришлось на время забыть друг о друге и броситься бороться с огнем. Когда пожар потушили, бой возобновился с прежним ожесточением. В какой-то момент показалось, что «Бедный Ричард» не выдержал и готов спустить флаг. Капитан Пирсон поспешил убедиться в этом. Сквозь грохот боя он прокричал: «Вы сдаетесь?» На что последовал знаменитый ответ Поля Джонса: «Я еще и не начинал драться!»

Гул сражения, вспыхнувшего с новой яростью, перекрывал рокот моря. Орудия «Бедного Ричарда» почти все молчали — большую часть вывел из строя ураганный и меткий огонь пушек «Сераписа». Продолжали стрелять лишь несколько девятифунтовых небольших пушек. Возле одной из них можно было видеть и самого Поля Джонса. Тем временем его стрелки, засевшие на мачтах, метким огнем принудили канониров «Сераписа», которые вели

огонь из легких пушек на юте, и всех, кто был наверху, спрятаться под палубу. Зато пушки, находившиеся здесь, беспрестанно посылали ядра, разбивая в щепки черного цвета борт «Бедного Ричарда». Но сбить снасти, а главное, мачты и реи американского корабля и тем самым освободиться от клинча англичанам не удавалось. Этим и воспользовались матросы Поля Джонса. Перебравшись по реям на верхушки вражеских мачт, они открыли огонь из мушкетов и пистолетов по палубе «Сераписа», забрасывали судно горючим материалом, а один находчивый матрос, связав несколько ручных гранат, умудрился зашвырнуть их через люк на батарейную палубу. От взрыва гранат и находившихся рядом с орудиями зарядов погибло двадцать человек и многие были обожжены. Этот взрыв вновь сравнял шансы, когда победа уже начинала клониться на сторону «Сераписа».

Что же делали в это время остальные корабли эскадры? Почему не шли на помощь?

Моряки бригаантины «Месть», явно забыв о грозном названии своего судна, предпочли держаться в стороне, не решаясь приблизиться. «Паллада» вступила в бой с «Графией Скарборо», и та в конце концов спустила флаг. Что касается «Союза» и его капитана Пьера Ланде, то он повел себя, как показалось вначале, более чем странно. Этот капитан, заслуживший, по словам Г. Мелвилла, глубокое презрение в собственном флоте и неприязнь тех, с кем он плавал, и отказавший Полю Джонсу в повиновении, внезапно оказался рядом. Поль Джонс вздохнул с облегчением: наконец-то объявился хоть один из его кораблей, теперь битва выиграна. Но, вместо того чтобы поддержать «Бедного Ричарда», «Союз» дал по нему бортовой залп, причинив изрядный урон. Все решили, что из-за дыма Ланде не разобрал, где свои, а где враги. Но когда столь же неожиданно последовали еще два его залпа по своим, стало ясно, что Ланде либо обезумел, либо его действия преднамеренны. Впоследствии подтвердилось последнее. Завистливый французский капитан намеревался, потопив «Бедного

Ричарда», захватить английский фрегат и ценой предательства выйти из боя победителем.

Между тем положение судна Поля Джонса становилось все более критическим. На его израненном теле было столько пробоин, многие из которых находились ниже ватерлинии, что он начал медленно погружаться. Сам капитан попеременно то занимал место убитого у пушки канонира, то боролся с пожаром, стрелял из мушкета, а главное, подавал пример своей негибимой волей к победе. Он «метался по всему кораблю, — так описывает его в своем романе Г. Мелвилл, — подобный огню святого Эльма, пляшущему в бурю то тут, то сям на кончиках реев и мачт». Раззолоченный рукав его парижского кафтана повис лохмотьями, открыв всем взорам синюю татуировку, и эта рука, поднятая в яростном жесте среди клубов порохового дыма, сеяла суеверный ужас... Рука эта не дрогнула и тогда, когда паника охватила моряков. Это случилось после яростных залпов «Сераписа», когда была снесена мачта, а вместо парусов остались одни тряпки. Показалось, что продолжение боя равносильно смерти, и один из младших офицеров, охваченный ужасом, начал молить о пощаде. Тогда коммодор выхватил из-за пояса пистолет и уложил паникера на месте. Только неукротимость духа Поля Джонса, мужество его матросов и меткая стрельба тех, кто засел на мачтах, помогли выстоять «Бедному Ричарду» в этом многочасовом и ожесточенном бою.

К исходу третьего часа сражения положение «Бедного Ричарда» действительно казалось безнадежным всем, кроме его капитана.

На судне полыхал пожар, в трюме стояло полметра воды, противник не прекращал яростного огня. Любой на месте капитана спустил бы флаг, но не таков был Поль Джонс, не в его правилах было отступать. В этот момент с борта «Сераписа» вновь донеслись слова: «Вы сдаетесь?» На что Поль Джонс прокричал изо всех сил: «Не сдаюсь, а даю сдачи!»

И он выиграл эту битву. В половине одиннадцатого Поль Джонс дал двойной залп по грот-мачте «Сераписа»,

и она рухнула, вызвав полное замешательство в рядах противника. Капитан Пирсон не выдержал и решил спустить флаг. После чего с галантностью истинного джентльмена передал свою шпагу победителю. Оба они спустились в каюту Поля Джонса, чтобы распить здесь по стакану вина, как того требовал прихотливый тогдашний военный этикет. Надо думать, что в этот момент капитаны помянули погибших в этой жестокой битве: их насчитывалось около половины всех участников боя с той и другой стороны. И, может быть, именно тогда Поль Джонс произнес свои известные слова о том, что «человечество не может не испытывать отвращения и не сокрушаться при виде тех гнусных последствий, к которым приводит война». Эти слова прославленного флотоводца дали основание С.-Э. Морисону заявить, что «Поль Джонс любил сражаться, но ненавидел войну».

К концу боя «Бедный Ричард» был в жалком состоянии. Вода в трюме все прибывала. На палубе не было живого места. Рангоут и такелаж, иначе говоря, мачты, стены, реи и т. д., все паруса и снасти были уничтожены, руль сорван, кормовая часть палубы с минуты на минуту могла рухнуть. По-прежнему на борту бушевал огонь. Но теперь с ним никто уже не боролся. Остаться на судне, походившем на скелет, было опасно.

Поль Джонс с остатками команды перешел на «Серапис». А «Бедный Ричард» покачнулся, будто тяжело вздохнул, накренился на левый борт и скрылся под водой, сопровождаемый, как погибший герой, пушечным салютом, прозвучавшим с «Сераписа».

На захваченных кораблях Поль Джонс решил идти в Голландию. Надо было починить потрепанные суда, да и многие матросы, в том числе и сам коммодор, были ранены и нуждались в лечении.

Голландцы разрешили войти в порт, но воспротивились тому, чтобы на захваченных английских кораблях развевался американский флаг. У нейтральной Голландии еще не было дипломатических отношений с Америкой, поэтому

Полю Джонсу предложили или поднять на трофейных судах французский флаг, или отправить их в США. Он отвергает и то и другое предложение и выбирает третье: оба корабля посылает в подарок французскому королю.

Победа Поля Джонса и его щедрый дар произвели в Париже настоящую сенсацию. По словам Б. Франклина, в продолжение нескольких дней во французской столице ни о чем другом не говорили, как о подвиге, храбрости и необычном подарке американского капитана.

Когда же три месяца спустя в Париж явился и сам герой, его встретили с триумфом, каким удостоивали лишь великих полководцев. Сам монарх Людовик XVI соизволил принять коммодора в королевском дворце, наградил его орденом и вручил шпагу с золотым эфесом. В тот же день, сверкая новеньким орденом на мундире, при шпаге, Поль Джонс посетил оперу, где был приглашен в ложу королевы. Под гром рукоплескающего зала его увенчали лавровым венком, как венчали римских триумфаторов. И герою Фламборо-Хед показалось, что он достиг высшей чести и славы, о чем мечтал, к чему был далеко не равнодушен.

Не забыли отметить заслуги коммодора и на его второй родине. В честь Поля Джонса выбили золотую медаль. Конгресс постановил также выразить от имени народа Полю Джонсу благодарность за то, что он поддержал честь американского флага.

На корабле «Ариэль» Поль Джонс вернулся в Америку. Его назначили старшим офицером флота и поручили наблюдать за строительством первого линейного корабля — флагмана флота «Америка». Моряк, назначенный капитаном на этот корабль, стал бы и командующим всеми военными силами страны, и воображение Поля Джонса рисовало ему, как под орудийный салют и бой барабанов он поднимется на мостик флагмана в новеньком адмиральском мундире. Но судьба распорядилась иначе. К тому времени, когда фрегат «Америка» сполз со стапелей и закачался на плаву, Англия признала независимость своих бывших

колоний в Северной Америке. Был заключен мир, многолетняя война закончилась. Конгресс постановил распустить военный флот, а «Америку» передать своему французскому союзнику как бы в компенсацию за сепаратный мир, заключенный с Англией.

На корабле, с которым Поль Джонс связывал столько надежд, флотоводец, оставшийся без флота, покинул свою вторую родину. Он рассчитывал, что во Франции, где еще недавно ему воздавали поистине королевские почести, для него хватит дела. И вновь его надежды не оправдались. Пока «Америка» пересекала океан, был подписан англо-французский договор о мире, военному моряку вежливо предложили переменить местопребывание, дабы не смущать англичан, по-прежнему считавших Поля Джонса пиратом и не желавших забывать прошлого.

Что было делать прославленному мореходу? Имение продано, деньги израсходованы, возвращение на старую родину, в Англию, заказано. В этот трудный момент он узнает, что в русский флот набирают опытных иностранных моряков. Что ж, рассуждает он, служил двум, послужу и третьему.

НА СЛУЖБЕ У РУССКИХ

Когда небольшой бот, предназначенный для коротких морских прогулок, покинул копенгагенский порт, малочисленная команда не подозревала, что ей предстоит утомительный и опасный переход.

Нанявший судно незнакомец, хорошо заплатив, желал, как он объявил, лишь подышать воздухом в открытом море. Вскоре, однако, погода испортилась. Владелец бота предложил вернуться. Тогда, к удивлению всех, незнакомец, а это был не кто иной, как Поль Джонс, наставил на рулевого пистолет и приказал держать курс дальше в открытое море. Так под угрозой, после четырехдневного плавания утлое суденышко пересекло Балтийское море и бросило якорь в порту Выборга. Поль

Джонс сошел на русский берег. Отсюда добрался до Ревеля, а дальше уже по суше проследовал в Петербург.

Переход его на русскую службу был совершен с согласия Т. Джефферсона, тогдашнего американского посла в Париже и старого приятеля Поля Джонса, и по договоренности с русским посланником И. М. Симолиным.



Английские газеты называли его корсаром и грозили виселицей. Рисунок 1779 г.

Тотчас по прибытии в столицу, где его именовали Паул Жонес, он был зачислен на русскую службу сначала «в чине флота капитана ранга генерал-майорского», а спустя некоторое время указом Екатерины II, удостоившей его аудиенции, определен контр-адмиралом в Черноморский флот. Таким образом, лишь в России Поль Джонс получил звание, о котором давно мечтал. И вообще, в русской столице его встретили как нельзя лучше. Ему оказывали всяческие любезности. Когда сама императрица приняла знаменитого моряка, тот преподнес ей новую американскую конституцию, не задумываясь о том, какое это может произвести впечатление на царскую особу. Не отличавшийся талантом царедворца, Поль Джонс повел себя смело, как и подобает солдату, но отнюдь не как дипломат, что в тот момент ему более бы пристало. Самодержавная царица не выразила своего недовольствия таким подарком, напротив, разыграв этакую либералку, выказала интерес к ново-

му строю, окончательно пленив доверчивого моряка. Сам того не заметив, Поль Джонс начал расточать комплименты августейшей особе и из защитника свободы и равенства на некоторое время превратился в почитателя деспота. После столь явной милости к иностранцу весь светский Петербург, как писал Поль Джонс Лафайету, добивался его внимания, «подъезд осаждали кареты, а стол был завален приглашениями».

Пребыванию Поля Джонса в России посвящен ряд материалов зарубежных и отечественных авторов. Помимо отрывочных сведений, встречающихся в переписке той эпохи, в мемуарах и дневниках, в книгах по истории русского флота, о Поле Джонсе был напечатан биографический очерк Н. Боева, опубликованный в «Русском вестнике» за 1878 год, а в 1895 году в журнале «Исторические записки» появился еще один материал В. А. Тимирязева о службе По-

ля Джонса в русском флоте. В наши дни, в 1976 году было опубликовано исследование Н. Н. Болховитинова «Поль Джонс в России», где на основе новых архивных и прочих данных вновь освещается этот период жизни моряка.

Как в дальнейшем сложилась судьба Поля Джонса в России?

Назначив новоиспеченного контр-адмирала в действующий флот, Екатерина II писала своему любимцу, главнокомандующему Г. А. Потемкину, в чье



В Америке командора увенчали лавровым венком и выбили в честь него золотую медаль. Рисунок 1781 г.

распоряжение направлялся иностранный моряк: «Друг мой, князь Григорий Александрович, в американской войне именитый английский подданный, Паул Жонес, который, служа американским колониям, с весьма малыми силами сделался самым англичанам страшным, ныне желает войти в мою службу. Я, ни минуты не мешкав, приказала его принять и велю ему ехать прямо к вам, не теряя времени; сей человек весьма способен в неприятеле умножать страх и трепет; его имя, чаю, вам известно; когда он к вам приедет, то вы сами лучше разберите, таков ли он, как об нем слух повсюду. Спешу тебе о сем сказать, понеже знаю, что тебе не неприятно будет иметь одной мордашкой более на Черном море».

С прибытием такого опытного и отважного капитана, которого она называла мордашкой, то есть собакой особой породы с мертвой хваткой (этой кличкой в России тогда называли иностранных моряков), Екатерина II связывала многие надежды, писала, что «он нам нужен». А в одном письме даже высказывала предположение, что он «проберется в Константинополь».

Однако столь блистательное начало карьеры Поля Джонса в России уже в зародыше таило печальный конец. Главным его противником стал английский посол в Петербурге. Используя свое влияние на некоторых придворных, он старался через них всячески очернить нового контр-адмирала. Пока что, однако, особого успеха его усилия не имели.

Тем временем Поль Джонс, прибывший к месту назначения, поднял свой контр-адмиральный флаг на корабле «Владимир» в Днепровском лимане.

Командующим в этом районе был контр-адмирал Нассау-Зиген. Непосредственно ему подчинялась гребная флотилия. Поль Джонс руководил парусной эскадрой из одиннадцати судов. Вскоре новому капитану представился случай показать себя в деле.

Под Очаковом в июне 1788 года турецкий флот потерпел жестокое поражение. Немалую роль в разгроме неприятеля сыграли пушки А. В. Суворова, установленные на Кин-

бурнской косе, метко поражавшие пытавшиеся вырваться в открытое море турецкие корабли. Так скрестились пути Поля Джонса и А. В. Суворова, командовавшего сухопутными войсками в этом районе. Накануне боя они встретились, по выражению Суворова, «как столетние знакомцы». Видимо, американский моряк чем-то импонировал русскому воину, иначе он, обычно столь осторожный, не стал бы предупреждать Поля Джонса о том, что война связана не только с риском смерти, но и с несправедливостью. К сожалению, самоуверенный Поль Джонс не прислушался к словам Суворова. Хотя он говорил о нем с восторгом. «Это был один из немногих людей, встреченных мною, — писал он в своих воспоминаниях, — который всегда казался мне сегодня интереснее, чем вчера, и в котором завтра я рассчитывал — и не напрасно — открыть для себя новые, еще более восхитительные свойства. Он неописуемо храбр, безгранично великодушен, обладает сверхчеловеческим умением проникать в суть вещей под маской напускной грубоватости и чудачеств, — я полагаю, что в его лице Россия обладает сейчас величайшим воином, какого ей дано когда-нибудь иметь. Он не только первый генерал России, но, пожалуй, наделен всем необходимым, чтобы считаться и первым в Европе». Опытный воин и беспристрастный судья, Поль Джонс сумел разглядеть и чуть ли не одним из первых оценить гений Суворова.

Скоро Поль Джонс начал убеждаться в правоте слов о несправедливости. Началось с того, что решающую роль в победе под Очаковым приписали гребной флотилии Нассау-Зигена. Но это же ложь, протестовал наивный Поль Джонс и пытался доказать, что основная заслуга в разгроме турецкого флота принадлежит его парусной эскадре. Как бы то ни было, он считал себя обойденным, возмущался несправедливостью, жестоко страдал от уязвленного самолюбия. Кончилось тем, что непокорный Поль Джонс, не привыкший подчиняться, отказался салютовать новому вице-адмиральскому флагу Нассау-Зигена, повышенному за победу в чине. Ему же, Полю Джонсу, пожаловали всего

лишь орден Св. Анны. На мундире прибавился еще один знак отличия, но удивить этим бывалого моряка было трудно. Как сказал первый американский поэт Филипп Френо, воспевший победу Поля Джонса, «и шрамы на груди так и остались его единственным орденом».

Сохранился рассказ, записанный со слов старого запорожского казака Ивака, участника баталии с турками, которому иноземец контр-адмирал подарил на память кинжал с надписью: «От Поля Джонса запорожцу Иваку». Накануне сражения Поль Джонс с переводчиком явился ночью к запорожцам, поужинал с ними, угостил водкой, слушал их грустные песни и будто бы даже прослезился. Потом он выбрал лодку, приказал обернуть тряпками весла, встал на руль и с тремя казаками отправился прямо к турецким кораблям. По дороге их окликнули со сторожевого баркаса, в ответ казак прокричал, что они везут соль туркам, и их пропустили. После чего Поль Джонс осмотрел все вражеские суда и на одном из них мелом по-английски написал «Сжечь. Поль Джонс». И на следующий день во время боя действительно сжег одним из первых именно это судно.

Надо сказать, что Полю Джонсу не по душе были разного рода иноземцы-авантюристы, служившие в русском флоте, с которыми он не умел ладить, но ему понравились русские моряки, как офицеры, так и матросы. Невзлюбил он и заносчивого вице-адмирала Нассау-Зигена. Отношения их все больше принимали характер конфликта. Никак не мог поладить недовольный американец и с самим Г. А. Потемкиным. В «крайне возбужденном состоянии» он написал светлейшему князю письмо, жалуясь и выговаривая за обиды и несправедливость. Тот счел за лучшее избавиться от беспокойного американца. Под благовидным предлогом Поля Джонса отправили в Петербург. Здесь его снова приняла императрица, благодарила за «пыл и усердие», проявленные на службе, но назначения никакого он не получил. Правда, пока его еще принимали при дворе, несмотря на интриги и наветы англичан, проживавших

в русской столице. О нем они распространяли самые несообразные слухи, будто он был контрабандистом, убийцей собственного племянника и т. д. Впоследствии в своих мемуарах, изданных посмертно в двух томах в Париже в 1798 году, Поль Джонс писал, что в этих интригах была главная причина постигшей его в России неудачи.

Особенно пострадал престиж Поля Джонса из-за следственного дела, начатого против него весной 1789 года. Его обвинили в насилии над несовершеннолетней «девицей Катериной». Что же произошло на самом деле?

Вот как объяснял всю историю сам Поль Джонс французскому посланнику графу Сегюру, единственному, кто навестил его в эту трудную минуту, застав моряка сидящим перед заряженным пистолетом. «Однажды утром, — рассказал Поль Джонс, — пришла ко мне молодая девушка и просила дать ей работы, шить белье или зачинить кружева, при этом она очень неприлично заигрывала со мной; мне стало жаль ее, и я советовал ей не вступать на такое низкое поприще; вместе с тем я дал ей денег и просил уйти. Но она оставалась, и тогда я, выйдя из терпения, повел ее за руку к дверям. В ту минуту, как дверь отворилась, юная негодница разорвала себе рукавчики и косынку, надетую на шею, подняла крик, что я ее обесчестил, и бросилась на шею своей матери, которая ждала ее в передней. Они обе удалились и подали на меня жалобу».

При разборе обстоятельств скандала выяснилось, что старуха, выдававшая себя за мать молодой девушки, была никакой не матерью, а известной содержательницей девиц, якобы своих дочерей. Не была ли она и ее «дочка» подосланы? Точного ответа на это не существует. Но его нетрудно предположить.

Хотя злополучное судебное следствие и было прекращено, враги Поля Джонса добились своего. Его реабилитация носила формальный характер, мало кто верил в невиновность заезжего моряка. И царское правительство поспешило избавиться от беспокойного гостя. Ему предоставили двухгодичный «отпуск» с оплатой вперед, и в сен-

тябре 1789 года Поль Джонс — контр-адмирал российского флота — навсегда покинул пределы России.

Впрочем, несмотря на то что карьера его здесь не состоялась и он потерпел неудачу, Поль Джонс до последних дней своей жизни не оставлял мысли вернуться в эту страну и продолжить службу в русском флоте. Как и многим другим его замыслам, этому не суждено было сбыться.

Поль Джонс родился в Шотландии, был английским моряком, воевал на стороне американцев, служил в русском флоте и умер от водянки в Париже. Было ему всего сорок пять лет. Это случилось 18 июля 1792 года, когда по улицам французской столицы маршировали отряды патриотов, уходивших сражаться за республику. В тот день депутация Национального собрания проводила в последний путь и Поля Джонса, «человека, хорошо послужившего делу свободы».

Русская царица, когда узнала о том, как почтили память Поля Джонса в Париже, нисколько не удивилась. «Этот Поль Джонс,— с раздражением писала она,— обладал очень вздорным умом и совершенно заслуженно чествовался презренным сбродом».

«Я ДОЛЖЕН НАПИСАТЬ МОРСКОЙ РОМАН»

После обеда подали кофе. Гости мистера Чарльза Уилкса, нью-йоркского торговца и книголюба, разгоряченные вином, продолжили спор, возникший во время застолья. Речь шла о волновавшей тогда всех любителей литературы загадке: кто автор популярных романов «Уэверли», «Роб Рой», «Пират» и других? Ведь имя их создателя тогда, в 1822 году, отсутствовало на обложке изданий. Лишь пять лет спустя станет известно, что их сочинил английский писатель Вальтер Скотт. А пока читатели терялись в догадках, кто же он, этот неизвестный,— возможно, Вальтер Скотт, а может быть, кто-либо другой.

— Нет, я решительно не согласен с мнением нашего уважаемого мистера Уилкса,— возгласил один из гостей, господин с пышной шевелюрой поэта и тонкими пальцами музыканта.— Не может человек, занятый подобно Вальтеру Скотту — подумайте, ведь он обязан ежедневно являться в присутствие! — создать в столь короткие промежутки эти толстые романы. И, наконец, господа, нельзя же предположить, чтобы известный поэт отказал себе в удовольствии бывать в обществе, наслаждаться всеобщим поклонением. Нет, положительно, я отвергаю вашу догадку, мистер Уилкс.

— В самом деле, если господин Скотт так занят и проводит дни между судом, где служит, и светскими гостиными, то откуда у него такое знание жизни моряков, какое он показал в своем «Пирате»? — сочла нужным высказаться одна из присутствующих дам.

Все согласно закивали головами, показывая, что разделяют столь веские доводы. И только, пожалуй, один из гостей мистера Уилкса, не считая его самого, скептически отнесся к изложенным аргументам. Это был тридцатитрехлетний Джеймс Фенимор Купер, автор пока что одного романа «Шпион», имевшего успех у публики.

— Вы говорите о морской эрудиции того, кто написал «Пирата»,— начал Купер.— Но где вы заметили у автора этого романа глубокое знание моря, в чем проявилась его морская эрудиция? Она может поразить лишь тех, кто совершенно не осведомлен в этих вопросах. Кстати, вы, господа, наверное, заметили, что в романе «Пират» как таковых морских эпизодов сравнительно мало.

— Вот и хорошо, что мало,— подхватил солидный джентльмен, до сих пор, казалось, державшийся нейтральной позиции в споре.— Совершенно очевидно, что роман, целиком посвященный морю, может быть, и был бы интересен морякам, но не нам, простым читателям.

— От такого сочинения будет исходить запах пеньки и соленой воды, вызывая морскую болезнь,— вставила реплику уже высказывавшаяся дама.

— Позволю себе не согласиться с вами,— продолжал Купер.— Я убежден, что роман о море и морях способен увлечь читателей не меньше, чем любая другая книга.

Однако напрасно тратил Купер свое красноречие. Переубедить в тот день оппонентов ему так и не удалось. Достичь этого можно было только одним путем: самому написать роман о море, который бы читали все.

В тот вечер Купер сказал жене: «Я должен написать морской роман. Я покажу, чего может добиться в этом жанре моряк».

Когда в 1824 году вышел роман «Лоцман», читатели с восторгом встретили новую, необычную книгу, где говорилось о борьбе людей с морской стихией, о сражениях на море, о кораблях, судьба которых, словно они были живыми существами, волновала не меньше, чем и судьба героев. Всем интересно было читать описания устройства судов, и никого не возмущала непонятная морская терминология. Напротив, глубокие знания профессии моряков, их жизни на море, которые показал автор, бывший когда-то моряком, делали повествование и убедительным, и увлекательным.

Об этом говорили многие, в том числе В. Белинский, писавший, что Купер «на тесном пространстве палубы умеет завязать самую многосложную и в то же время самую простую драму, и эта драма изумляет вас своею силою, глубиною, энергиею, величием». Русский критик особо отметил знание Купером морского дела, вплоть до «названия каждой веревочки».

Умением американского писателя живо и правдиво рассказывать о приключениях на море, рисовать картины борьбы со стихией восхищался также декабрист В. Кюхельбекер. В каземате Свеаборгской крепости ему удалось прочитать роман «Лоцман». Повествование привело его в восторг, русский поэт был поражен драматическим талантом автора книги, создавшего поразительный образ героя, человека дерзновенной силы, бросающего вызов грозному бушующему морю. Признал у Купера «дар описывать море и моряков» и Бальзак.

А теперь вновь обратимся непосредственно к куперовскому герою — лоцману. Но вначале вспомним слова Г. Гейне о том, что «история не фальсифицируется поэтами. Они передают смысл ее совершенно правдиво, хотя бы и прибегая к образам и событиям, вымышленным ими самими». Именно так и поступил Купер.

Биография исторического прототипа послужила ему той отправной точкой, с которой он начал создавать художественное произведение. И хотя писатель не имел намерения точно воспроизвести факты жизни Поля Джонса, многие из них вошли в ткань повествования, не говоря о характере героя, который вполне соответствует прототипу. Купер пишет: «Его преданность Америке происходила из желания отличиться — его главной страсти — и, быть может, немного из желания отомстить за какую-то несправедливость, причиненную ему, как он говорил, его соотечественниками. Он был человек и, естественно, не лишен слабостей, одной из которых была непомерно высокая оценка собственных подвигов. Но, по правде говоря, они действительно отличались смелостью и были достойны похвалы! Он не заслужил тех обвинений и упреков, которыми осыпали его враги». Хотя и «кончил службой у деспота»!

Познакомившись с жизнью Поля Джонса, мы открыли реальную основу образа куперовского лоцмана. И нам стали понятными факты его биографии, использованные в романе. И эпизод с высадкой десанта на английской земле, и захват заложников в аббатстве Святой Руфи, и упоминание о битве при Фламборо-Хед, и то, что американский фрегат плывет под британским флагом, а второй корабль, как и судно, на котором Поль Джонс вернулся в Америку, назван «Ариэлем». Перестали быть загадкой и слова лоцмана о королевских подарках и пребывании его в Тюильри, о том, что ему и раньше приходилось «биться под звездно-полосатым флагом» и «случалось проводить целые дни в кровавых боях». Как и его прототип, герой Купера — искусный лоцман, и если бы можно было назвать его имя перед экипажем в минуты опасности, оно одно способно было бы поднять дух матросов, как и имя Поля Джонса.

* * *

Писатель почерпнул сведения о жизни человека, послужившего прототипом его лоцмана? Конечно, он мог узнать подробности из собственных мемуаров моряка. Но и от очевидцев, от тех, кто сражался вместе с Полем Джонсом. Одним из таких свидетелей был Ричард Дейл, неизменный помощник коммодора, участник многих совместных с ним походов. Он-то и рассказал Куперу о знаменитом флотоводце, о его плаваниях и победах. И тем самым, возможно, подсказал идею написать роман о таинственном лоцмане. Вот почему можно сказать, что куперовский герой «создан грезой поэта в соответствии с истиной».

КАПИТАН НЕМО РАСКРЫВАЕТ СВОЕ ИМЯ



ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВОДЕ И ПОД ВОДОЙ

В последние дни уходящего лета 1868 года небо над Парижем было затянуто прозрачной серебристой дымкой. Темно-зеленая вода Сены переливалась перламутровыми бликами. По реке, словно трудолюбивые жуки, буксиры тащили тупоносые барки.

У моста Искусств 20 августа было необычнолюдно. Издали казалось, что через реку движется процессия, похожая на карнавальное шествие: зеленые, красные, синие пятна напоминали картину Альбера Марке. Толпа собралась и на набережной. Мальчишки гроздьями висели на деревьях. Видимо, кого-то ожидали.

Но вот масса людей всколыхнулась. Шляпы, трости, зонты взлетели над головами, указывая вниз по течению. Там, медленно продвигаясь по обмелевшей реке, на буксире шла шхуна. На ее мачте реял трехцветный со звездой флаг. Ни один, даже самый опытный, выдавший виды мореход не смог бы по этому флагу определить, какому государству принадлежит корабль. Да это и невозможно было сделать, ибо такой страны не существовало. Это был флаг страны капитана Верна, а точнее — Жюля Верна, прибывшего на своей шхуне «Сен-Мишель» в Париж.

На палубе появился хозяин — капитан Верн. Высокий, крепкого телосложения, с зажатой по-матросски трубкой в зубах, он походил на бывалого морского волка. Сзади капитана скромно разместились члены экипажа — два отставных матроса — Сандр и Альфред, одетые в синие шерстяные робы и красные береты.

Три года назад Жюль Верн приобрел на побережье в поселке Кретуа небольшой рыбацкий баркас, который вскоре он превратил в шхуну. На борту свежей краской было выведено: «Сен-Мишель» — в честь небесного покровителя нормандских рыбаков. А на мачте поднят трехцветный со звездой флаг «страны Жюля Верна». Ее владения к тому времени уже охватывали огромные пространства и простирались от Северных до Южных широт. А подданные этой страны — литературные персонажи — совершали дерзкие путешествия по этой необъятной стране, проникали в самые неизведанные уголки, пускались в самые рискованные плавания. Они побывали в джунглях Центральной Африки, объехали вокруг света, пробились к Северному полюсу, спустились к центру Земли и успешно облетели нашу ближайшую соседку в космосе. Имена смельчаков, отважно ринувшихся в неизведанное, пустившихся в опасные приключения, были на устах не только у французских читателей. Путешествие на воздушном шаре доктора Фергюсона, поход к полюсу капитана Гаттераса, приключения на море и суше тех, кто отправился на поиски капитана Гранта, полет отважных космонавтов Барбикена, Никола и Мастопа, спуск в преисподнюю профессора Лиденброка — волновали сердца читателей многих стран. И часто книги Жюля Верна, повторяя маршруты его героев, достигали отдаленных стран и материков, покоряя миллионы читателей.

Каждую весну шхуна «Сен-Мишель» покидала место своей зимней стоянки на побережье и выходила в море. Песчаные дюны становились похожими на небольшие холмики, рыбацьи лодки превращались в маленькие скорлупки, разбросанные на прибрежном песке. А «Сен-Мишель», распустив паруса, уходила в большое плавание. За кормой бурлили серые волны Ла-Манша. На палубе капитан Верн пристально всматривался в даль. Там, за линией горизонта, лежала Англия. В ясную погоду были видны ее меловые берега. Или капитану Верну виделось другое? Может быть. В его воображении возникали

неведомые земли, необитаемые острова и морские глубины? И там, в пучине океана, прорезая темноту электрическим светом, проносился подводный корабль. Не тогда ли вспомнились ему строки из письма Жорж Санд, восторженной его почитательницы, надеявшейся на то, что он скоро увлечет читателей в морскую бездну и заставит своих героев совершить путешествие в подводной лодке, которую усовершенствуют его, Жюль Верна, знания и воображение. Слова эти, как позже признавался писатель, действительно подсказали ему замысел романа о путешествии под водой.

С тех пор как был задуман новый роман, капитан Верн все чаще покидал палубу и скрывался в каюте — довольно тесной каморке, очень скромно обставленной. Здесь, в «плавучем кабинете», за своеобразным письменным столом — откидной доской на шарнирах — Жюль Верн работал. Писал он быстро и много, выработав в себе железную привычку к труду.

Сохраняя свой обычный режим и в море, он вставал в пять часов утра и трудился, не отрываясь до самого обеда. Спать ложился поэтому рано — в половине десятого. Этот образ жизни писатель вел в течение полувека, написав несколько десятков томов, которыми зачитывались миллионы людей в разных странах, поражаясь дару прозрения их автора. «Кто он? — спрашивали они. — Фантазер, провидец, поэт? В чем секрет творчества Жюль Верна?»

Слева перед ним лежат чистые листы бумаги, справа — исписанные карандашом черновики с широкими полями. Во время следующего этапа работы он обводит чернилами написанное карандашом, а на свободной половине листа записывает новые варианты.

Так лист за листом росла рукопись, на первой странице которой было выведено: «Путешествие под водой».

О том, что популярный писатель задумал новую книгу, уже известно в Париже. Но еще не скоро рукопись попадет к издателю — Жюль Верн скрупулезно шлифовал написанное, заново переписывал некоторые главы, стремился, как

он сам говорил, «сделать правдоподобными вещи очень неправдоподобные». Надёялся, что новая книга о подводном мире, о недрах океана заинтересует читателей и обогатит их новыми знаниями. И признавался, что желание открыть этот любопытный, причудливый, почти неведомый мир стоило ему особенно больших усилий и трудностей.

Лето 1868 года ушло на доделки и доработку романа, который теперь назывался «Двадцать тысяч лье под водой».

И вот «Сен-Мишель» пришвартовывается у моста Искусств в столице Франции.

Жюль Верн спускается по трапу. Под одобрительные возгласы и приветствия толпы садится в экипаж. В руках у него толстый, перевязанный тесьмой сверток. Это именно то, что с таким нетерпением ждет издатель Этцель, уже оповестивший читателей о новой книге господина Жюля Верна, о самом необыкновенном из всех его «Необыкновенных путешествий». Так с самого начала называлась задуманная им грандиозная серия романов. В ней он хотел объять весь земной шар, следуя из страны в страну по заранее установленному плану. Ему предстояло описать «довольно много стран, чтобы полностью расцветить узор». Он мечтал довести число романов этой серии до ста. В последней, сотой книге намерен был дать в виде связного обзора полный свод своих повествований о земле и небесных пространствах и, кроме того, напомнить о маршрутах всех путешествий, которые были совершены его героями.

Жюль Верн не написал задуманных ста книг знаменитой эпопеи. Их всего шестьдесят пять. Но и они возвышаются как величественный памятник деяний человека, как гигантский монумент его разуму и отваге и, конечно, как свидетельство писательского гения Жюля Верна.

ОХОТА ЗА ЧУДОВИЩЕМ

«1866 год ознаменовался удивительным происшествием, которое, вероятно, еще многим памятно,— этими словами

начинался новый роман Жюль Верна, с таким нетерпением ожидавшийся читателями. — Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море какой-то длинный, фосфоресцирующий веретенообразный предмет, далеко превосходящий кита как размерами, так и быстротой передвижения...

По милости «чудовища» сообщение между материками становилось все более и более опасным, и общественное мнение настоятельно требовало, чтобы моря были очищены любой ценой от грозного китообразного».

Начальные строки романа читаются как хроникальное сообщение тех дней. И это не случайно. Жюль Верн никогда не поддавался соблазну чистой выдумки. Трамплином для полета его писательской фантазии всегда служили подлинные факты, реальные достижения инженерной мысли и научные гипотезы.

Было ли только плодом воображения писателя грозное «чудовище», разбойничавшее на морских путях? Не использовал ли Жюль Верн странные сообщения, появлявшиеся время от времени в шестидесятые годы прошлого столетия в газетах многих стран? Действительно, такие сообщения появлялись на страницах газет в разных странах в эти годы. В них говорилось о внезапной гибели торговых и пассажирских судов в результате полученной пробоины. Паника охватила пароходные компании, моряков, пассажиров. Газеты «Морнинг стар» в 1860 году, «Глазго» в 1861 году, «Нью-Йорк таймс» в 1863 году высказывали в связи с таинственными событиями на море невероятные предположения и догадки. На поиски «морского разбойника» вышел фрегат американского военно-морского флота «Авраам Линкольн».

Долгое время о нем не было никаких известий. А с 1870 года он числился в списках без вести пропавших. Лишь двум его пассажирам, как считает американский исследователь творчества Жюль Верна Дональд Мэчэм, удалось спастись. Это был профессор Жюль Опонакс и его слуга Тони — через полгода их будто бы нашли на одном из Фолклендских островов.

Тот же Д. Мэчэм высказывает, прямо скажем, весьма смелое предположение о том, что Жюль Верн и герой его романа профессор Аронакс — одно и то же лицо. Свою «гипотезу» Д. Мэчэм, который, по его собственным словам, изучал архивы и переписку писателя, пытается подкрепить тем, что Жюль Верн якобы провел немало дней своей жизни в странствиях по белу свету. Однако, склонный к мистификациям, он пускался в путешествия тайком, не оповещая ни родных, ни друзей. Им он сообщал, что уезжает на отдых либо на лечение. Сам же, как и его герой Пеганель, «невзначай» перепутав каюту корабля, пускался в плавание на яхте «Донки-ант» на поиски некоего капитана Гаттера, исчезновение которого зафиксировано в архиве судовых журналов за 1865 год.

В результате этого и родился, мол, первый в трилогии роман «Дети капитана Гранта», писал Д. Мэчэм в начале 1972 года. Подлинное событие, по его словам, лежит и в основе последней книги трилогии — романе «Таинственный остров». Известно, что Жюль Верн поднимался на воздушном шаре вместе со знаменитым фотографом и страстным воздухоплавателем Надаром. «Не известен лишь тот факт,— пишет Д. Мэчэм,— что после столь удачной вылазки наш «фантаст» с несколькими друзьями построил воздушный шар, чтобы пролететь над Средиземным морем. Во время полета поднялся сильный ветер и шар унесло в Атлантику. Что случилось далее, повествует роман «Таинственный остров», где Жюль Верн выступает в роли Сайерса Смита. Различие в том, что пребывание на острове Линкольна (о. Табор) длилось четыре месяца».

Столь неожиданное утверждение Д. Мэчэма требует, безусловно, всесторонней проверки, новых обстоятельных доказательств.

Пока же нам точно известно, что Жюль Верн действительно нередко выводил в своих книгах героев, имевших реальных прототипов. Так, знаменитый полярный исследователь капитан Джон Франклин отчасти послужил прообразом капитана Гаттера; известный геолог Сен-Клер

Девиль — прототипом гамбургского профессора Отто Лиденброка; фотограф, журналист и воздухоплаватель Феликс Надар превратился в Мишеля Ардана (на что указывает и анаграмма этого имени); а профессор математики Анри Гарсе, друг и помощник, получил имя Импи Барбикена.

...Постичь тайну подводного гиганта случайно удастся профессору естественной истории в Парижском музее Пьеру Аронаксу и его спутникам слуге Конселю и гарпунеру Неду Ленду. Вместе с ними профессор участвует в погоне за «чудовищем» на фрегате «Авраам Линкольн».

Охота за морским разбойником кончается трагически. Фрегат после нападения на него «чудовища» получает пробоину и теряет управление, трое из его экипажа попадают в волны океана. А затем — в «утробу» страшного животного, которое оказывается гигантским подводным кораблем. С этого момента начинается одиссея профессора Аронакса и его спутников на борту «Наутилуса».

Не было плодом одного воображения и созданное фантазией писателя столь необычное в то время подводное судно. У жюльверновского «Наутилуса» имелось немало исторических предшественников. Писатель прекрасно знал об этом. И не только знал, но и специально изучал родословную своего подводного корабля. Энтузиасты ученые в разных странах и в разные эпохи пытались создать подводную лодку: англичане и голландцы, русские и французы, американцы и немцы. Жюль Верн подхватил и использовал мечту о подводном корабле в романе «Двадцать тысяч лье под водой», создав невиданную дотоле «субмарину».

Впрочем, Жюль Верн не был первым писателем, рассказавшим о подводной лодке. Задолго до него английский философ и писатель Фрэнсис Бэкон в 1627 году на страницах своей утопии «Новая Атлантида» описал корабль, способный плавать под волнами океана.

Умаляет ли это заслугу Жюля Верна? Нисколько. Лишь еще раз доказывает, что он отталкивался от известных ему гипотез ученых и реальных достижений. Значит, Жюль Верн всего лишь использовал то, что уже было известно



Капитан Немо у себя в каюте. Рисунок Невилля

тогдашней научной мысли? Да, с той, однако, разницей, что писатель умел заглянуть в завтрашний день научного открытия, предвидел бурное развитие века электричества, предсказал эпоху полетов к Луне.

Можно ли в связи с этим сказать, что главное в новом романе Жюль Верна — машина, подводное судно, движущееся с помощью одной лишь электрической энергии? Отнюдь нет. Если бы это было так, если бы центром повествования стал бездушный механизм, то книга о подводном путешествии давно бы устарела. Современные «Наутилусы» совершают гигантские подводные броски, проходят подо льдами Северного полюса, помногу дней скользят в глубинах океана. Мечта, тревожившая воображение в прошлом, сегодня стала повседневной реальностью.

На первом месте у Жюль Верна, писателя-гуманиста, был человек — творец, мыслитель, борец. В этом секрет долголетия его книг. В этом ключ к разгадке «тайны» его творчества.

Героем нового — второго в трилогии — романа Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой» стал человек исключительный, необыкновенного ума и странной, трагической судьбы — капитан Немо.

Среди огромной и пестрой толпы жюльверновских персонажей его колоритная фигура выделяется особенно ярко. Это был новый образ литературного героя — с одной стороны, ученый-новатор, смелый инженер, с другой — загадочная личность, «гений моря», навсегда порвавший с миром людей и обрекший себя на скитания под водой.

В чем же тайна этого человека, скрывшего свое подлинное имя под безликим латинским словом «Немо» — «Никто»? Почему он бежал от людей, отчего порвал с цивилизованным миром?

Загадки вокруг капитана Немо громоздятся одна на другую. Раскрыть их нелегко, ибо сам капитан предпочитал о себе молчать. За семь месяцев невольного заточения, которые профессор Аронакс провел на борту «Наутилуса»,

о командире подводного корабля ему удастся разузнать немного.

У капитана Немо была запоминающаяся с первого взгляда внешность южанина, не то испанца или турка, не то араба или индуса. Черные глаза, твердые и спокойные, были полны холодной решимости, но и возвышенных мыслей. Мужество и непреклонность воли, прямота натуры, уверенность в себе — таковы основные черты его характера. «Он был высокого роста; резко очерченный рот, великолепные зубы, рука, тонкая в кисти, с удлиненными пальцами... все в нем было исполнено благородства. Словом, этот человек являл собой совершенный образец мужской красоты».

При первой встрече профессора Аронакса особенно поразил взгляд капитана Немо: «Он пронизывал душу!»

Язык, на котором он говорил со своими подчиненными и отдавал приказания, казался странным и непонятным. Это был благозвучный, гибкий, певучий язык с ударением на гласных, язык, о существовании которого профессор Аронакс и не подозревал. Что это был за язык — для него осталось загадкой. Как и черного цвета флаг, который устрашающе реял над «Наутилусом». Это не было пиратское полотнище с изображением скрещенных костей и черепа на черном фоне. Что же в таком случае он означал? Символом чего являлось черное знамя с вышитой на нем золотой буквой «N»? И на это у профессора Аронакса и его спутников не было ответа.

Словом, профессору не удалось узнать ничего конкретного. Однако ему ясно, «что в прошлом этого человека скрыта страшная тайна», что «он поставил себя вне общественных законов», «ушел за пределы досягаемости, обретя независимость и свободу в полном значении этого слова!»

Сам о себе капитан Немо говорит, что он порвал всякие связи с обществом. И на это у него, по его словам, были веские причины. Насколько они основательны, судить мог лишь он один.

Да, капитан Немо порвал с человечеством. Он стал обитателем океанских глубин, которые любит, потому что «море — это все! Оно покрывает собою семь десятых земного шара. Дыхание его чисто, животворно. В его безбрежной пустыне человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он ощущает биение жизни». Но главное — «море не подвластно деспотам. На поверхности морей они могут еще чинить беззакония, вести войны, убивать себе подобных. Но на глубине тридцати футов под водою они бессильны, тут их могущество кончается! Тут, единственно тут, настоящая независимость! Тут нет тиранов! Тут я свободен!» — восклицает капитан Немо.

Не те же ли чувства испытывал к морю и сам автор? И не потому ли его так влекло каждую весну на побережье, в Кретуа, где, распустив паруса, его ждала шхуна «Сен-Мишель», готовая выйти в плавание? Жюль Верн часто повторял: «Море, музыка и свобода — вот все, что я люблю».

Капитан Немо тоже любит музыку. На борту подводного корабля, в салоне, находится огромная фисгармония. На ней разбросаны партитуры сочинений многих великих композиторов.

А в библиотеке «Наутилуса» собрано двенадцать тысяч книг на разных языках. Нетрудно предположить, что столь же обширными были и познания в языках капитана «Наутилуса». Книги являлись и свидетелями разносторонних интересов их владельца. На полках были представлены произведения великих писателей и мыслителей древнего и нового мира — «все то лучшее, что создано человеческим гением в области истории, поэзии, художественной прозы и науки».

Когда-то капитан Немо был страстным, неутомимым коллекционером произведений живописи. Теперь собрание картин, так же как и книг, — это единственное, что связывает его с землей, это последнее воспоминание о ней.

И снова возникает вопрос: какие причины заставили этого человека искать свободы под водой?

«Нет, не пошла мизантропия загнала капитана Немо с его товарищами в железный корпус «Наутилуса», но ненависть, столь колоссальная и возвышенная, что само время не могло ее смягчить». Ненависть! К кому? К деспотам и тиранам, к тем, в чьих руках была власть. Против них и направлял смертоносные удары своего «Наутилуса» капитан Немо.

Мсть его, однако, не носит личный характер. Нет, он мстит не только за себя, но и за всех угнетенных на земле. «Неужто я не знаю, — восклицает он, — что на земле существуют обездоленные люди, угнетенные народы? Несчастные, нуждающиеся в помощи, жертвы, вопиющие об отмщении!» Каждый угнетенный был ему братом, «его сердце отзывалось на человеческие страдания, и он широкой рукой оказывал помощь угнетенным!»

Значит, вернее будет сказать: капитан Немо — не столько мститель, сколько борец за права людей, за их будущее. Какими были и те герои, чьи портреты висели на стенах его каюты — «портреты видных исторических лиц, посвятивших себя служению высокой идее гуманизма: Костюшко — герой, боровшийся за освобождение Польши; Боцарис — этот Леонид современной Греции; О'Конпель — боец за независимость Ирландии; Вашингтон — основатель Северо-Американского союза; Линкольн, погибший от пули рабовладельца; и, наконец, мученик, боровшийся за освобождение негров от рабства и кончивший свои дни на виселице, — Джон Браун».

И постепенно все отчетливее перед нами вырисовывается фигура капитана Немо. «Не был ли он защитником угнетенных народов, освободителем порабощенных племен? Не участвовал ли он в политических и социальных потрясениях последнего времени?» — спрашивает профессор Аронакс, начинавший смутно догадываться о том, что представляет собой капитан.

Роман «Двадцать тысяч лье под водой» — книга не столько о море и подводных скитаниях «Наутилуса», сколько о видном ученом и революционере, борце и мстителе за все угнетенное человечество.



Профессор Аронакс на борту «Авраама Линкольна». Рисунок Невилля

Таким и нарисовал капитана Немо художник Невилль, иллюстрировавший издание, вышедшее осенью 1871 года. На мостике подводного корабля стоит его бесстрашный и благородный капитан. А в образе профессора Аронакса художник изобразил самого автора романа.

Пленникам удастся бежать с «Наутилуса», ставшего для них плавучей тюрьмой. Они вновь обретают свободу, возвращаются к жизни среди людей. «Однако что же случилось с «Наутилусом»? Жив ли капитан Немо? — спрашивает профессор Аронакс в конце книги. — Каково его настоящее имя?» Ответа на эти вопросы в романе он так и не получил.

СТРАНА-ТАЙНА

Много лет Жюль Верн вел свою картотеку. Это было поистине уникальное собрание всевозможных фактов и сведений, почерпнутых им при чтении разного рода литературы: книг, журналов, газет. Выписки эти (он делал их еще со студенческих лет) оказывали неоценимую услугу во время работы над книгой, а часто подсказывали и сюжет произведения.

К концу жизни картотека насчитывала более двадцати тысяч тщательно пронумерованных тетрадок с выписками. Здесь можно было быстро и без труда найти сведения по астрономии и физике, географии и истории, геологии и химии и т. п.

В читальном зале библиотеки у Жюля Верна был свой стол. И часто посетители видели его склонившимся над журналами и газетами, записывавшим что-то в тетрадь. Привычку просматривать таким образом свежую прессу он сохранил на всю жизнь. И даже в старости, больной и полуослепший, он стремился быть в курсе всех научных и политических новостей. Читальный зал он уже посещать не мог: свежие журналы и газеты доставляли на дом, где жена и внучка ему помогали штудировать их.

Картотека его пополнялась с невероятной быстротой. И в этом не было ничего удивительного. Вторая половина девятнадцатого столетия стала эпохой величайших научных и технических открытий. Одну за другой ученые

раскрывали тайны природы, отвоевывали у нее вековые секреты. Границы познания расширялись стремительно. И Жюль Верн считал себя счастливым, что родился в такой век, когда на его глазах было совершено столько замечательных открытий и изобретений. Верил он и в то, что живет на пороге эпохи, которая сулит еще больше чудесного. А география? Разве наш земной шар, его материки, моря и горы досконально изучены? Разве нет еще «белых пятен» на карте мира? В том-то и дело, что есть. Они ждут своих исследователей. Жюль Верн внимательно следил за теми, кто пытался стереть на карте очередное «белое пятно». Знал обо всех экспедициях, снаряжаемых в африканские джунгли и австралийские леса. Читал отчеты отважных путешественников, изучал по карте их маршруты.

Но не только научные и географические открытия находили отклик в его душе. Внимательно следил он и за острыми политическими баталиями своего времени. Об этом лучше всего говорят его книги. Они, словно эхо, отзывались на многие потрясения эпохи.

Экспедиции французских колонизаторов в Индокитай и в Алжир, их участие в «опиумной войне», которую уже не первый год вели англичане на Дальнем Востоке. Ко всему этому, «Наполеон-маленький» послал французских солдат убивать восставших китайских крестьян, когда в 1856 году мощная крестьянская революция тайпинов прокатилась по огромным пространствам Китая. Но и после того, как крестьянское восстание было подавлено, в Китае то и дело вспыхивали народные мятежи.

Доносился до Франции и гул событий, которые разворачивались в Индии. Начавшееся здесь в 1857 году антианглийское восстание охватило многие провинции британской «заморской жемчужины». В эти дни Жюлю Верну встретилось в печати имя Нана Сахиба, одного из руководителей индийских повстанцев. В картотеке писателя в разделе, посвященном Индии, долгое время

занимавшей его внимание, появляются все новые и новые записи.

Однажды мальчиком Жюль Верн вознамерился бежать в далекую сказочную Индию. Побег тогда сорвался. Беглеца сняли с борта готового к отплытию корабля. Путешествие, полное загадок, опасностей и открытий, не состоялось. Но Индия, страна несметных сокровищ, полноводных рек и удивительных храмов, страна-тайна, продолжала волновать его воображение. К тому же ему были глубоко ненавистны англичане, покорившие эту прекрасную землю. «Британская политика направлена к уничтожению туземных племен,— писал Жюль Верн,— к изгнанию их из тех местностей, где жили их предки». По его словам, такая пагубная политика проводилась англичанами во всех их колониях, в том числе и в Индии, «где исчезло пять миллионов индийцев».

Зная все это, писатель не мог оставаться равнодушным и бесстрастно описывать путешествия своих героев по морям и странам. Реальная жизнь вносила в текст книги поправки. И писатель все более чутко прислушивался к сейсмографу, фиксирующему колебания политических землетрясений.

Из сообщений английских газет о вожде индийского восстания можно было составить только искаженное представление. Англичане изображали Нана Сахиба варваром, насильником. Называли его «битхурским зверем» и охотились за ним, как за опасным преступником. По мере успехов восставших росла и цена за голову Нана Сахиба. Сначала генерал-губернатор Индии обещал 50 тысяч рупий тому, кто доставит Нана и передаст его в руки англичан, или тому, кто укажет, где он находится, и поможет захватить его. Через несколько месяцев цена за голову вождя возросла до ста тысяч. Англичане готовы были заплатить и еще больше, лишь бы покончить с народным возмущением, захватить его руководителей и тем самым обезглавить восстание.

Кто же был этот индус, осмелившийся поднять тальвар — меч — против захватчиков-чужеземцев?

НЕНАВИСТНЫЕ ФЕРИНГИ

Битхур — небольшой городок на берегу Ганга. Недалеко, километрах в сорока, расположен Канпур — шумный, многоязычный центр, через который проходят важные торговые пути. Ниже по течению — священный город Бенарес; в его храмы стекаются паломники со всей страны.

В тихом зеленом Битхуре находилась резиденция главы государства маратхов, пешвы Баджи Рао II. С тех пор как его владения были захвачены колонизаторами, старый правитель переселился в здешний дворец.

Англичане довольно щедро оплачивали лояльность его хозяина — пенсией в 800 тысяч рупий в год. Старый пешва доживал дни в тишине и покое. Большую часть времени проводил в тени деревьев своего сада, кормил ручных оленей и косуль, любовался великолепным одеянием павлинов, разгуливавших среди цветников, с гордостью показывал гостям прекрасных коней.

Залы дворца украшало богатое собрание картин. Тут были представлены работы европейских и индийских мастеров. Не меньшей гордостью владельца битхурского дворца являлась и коллекция оружия: сабли и пистолеты, кинжалы и пики, щиты и ружья, легкие кавалерийские седла и громоздкие кабины — хауды для поездок на спинах слонов. Но жемчужиной этого редкостного собрания был драгоценный меч пешв. Старинный клинок мирно висел на стене. Во дворе, перед дворцом, не слышно воинственных кличей, бряцания оружия, не видно боевых слонов и знаменитых маратхских всадников на быстрых скакунах. Грозные битвы забыты. И только в рассказах пешвы о героическом прошлом маратхов, об их многовековой борьбе оживали картины ожесточенных схваток и кровавых сражений, которые некогда приходилось вести его предкам.

Особый интерес к этим рассказам проявлял приемный сын пешвы юный Нана Сахиб. Часами просиживал он возле старика, слушая предания о походах против агрессивных афганцев, о том, как, возглавляемые национальным



Нана Сахиб

героем, «замечательным предводителем закаленных горцев» Шиваджи, портрет которого висел во дворце, маратхи воевали с могольской державой, и о многом другом, чему свидетелем был старинный меч.

С благоговением и почтением юноша прикасался к легендарному оружию. Но самыми счастливыми были минуты,

когда ему разрешали подержать в руках прославленный клинок. Тогда в глазах Нана вспыхивал огонь. Он представлял, как на взмыленном скакуне во главе отряда конников врывается в ряды противника и мечом предков разит врагов. Но пока об этом оставалось только мечтать. А пока, чтобы быть достойным владеть заветным мечом, Нана совершенствовался в военных упражнениях. Фехтовал, стрелял из пистолетов, занимался верховой ездой. Его часто видели вместе с братьями, с друзьями: Тантия Топи, сильным и ловким юношей, с Лакшми Бай — отважной девушкой, дочерью священнослужителя при дворе пешвы.

Увлекался молодой индус и музыкой, отлично разбирался в искусстве. Хорошо знал литературу, любил цитировать отрывки из поэмы «Рамаяна», славящей подвиги мифического героя Рамы.

Вызывал восхищение и внешний вид Нана, манера держать себя. У него были черные, гладко причесанные волосы, чуть поноватое лицо светло-коричневого цвета, прямой нос. Его крепкую мускулистую фигуру плотно облегал богатый костюм индийского вельможи. Холодный и твердый взгляд сразу подчинял себе.

МЯТЕЖНЫЙ ПЕШВА

Но вот устроенной жизни Нана Сахиба пришел конец. Умер пешва Баджи Рао II. Алчные англичане отказались признать права его приемного сына и наследника. Он был лишен пенсии и всех привилегий.

Напрасно Нана Сахиб пытался восстановить справедливость, напрасно писал письма генерал-губернатору в Калькутту и даже в Лондон. Здесь не собирались тратить золото на какого-то юнца без роду и племени. И поспешили одобрить решение генерал-губернатора, отказавшего приемному сыну пешвы в праве на пенсию.

Оставалось лишь возмущаться вероломством и наглостью ферингов-чужеземцев. Бесполезно было рассчитывать

на их милость. Несправедливость рождала гнев, побуждала взяться за меч. Но что мог сделать он один?!

...Звуки вина перед дворцом привлекли внимание Нана. Он вышел на террасу. Народ заполнял площадь — праздник был в разгаре. Певцы, перебирая струны, славили героев древности, пели о подвигах божественного Рамы, о мудром и справедливом Викрамадитья, об Акбаре — великом правителе и собирателе земель.

Тут же, среди толпы, разыгрывалось нехитрое представление. Зрители внимательно следили за действием. Актер, изображавший героя древнего эпоса, демонстрировал свое умение обращаться с мечом.

На сцену вынесли куклу в костюме ферингов. Зрители потребовали от актера решительных действий. Но он и не собирался отступать. Напротив, мгновение — и меч пронзил одежду чужеземца. Толпа разразилась восторженными криками. Удар, еще удар... Кукла повержена наземь. Всеобщее ликование охватило толпу.

Нана задумался о тяжелой участи этих людей, о том, что, доведенные до крайней степени нищеты, забитые, обездоленные, они готовы подняться против ненавистных пришельцев из-за моря. «Люди как порох, нужно лишь высечь искру!» — вдруг понял он.

В народе только и разговоров было, что скоро настанет конец владычеству ферингов. И случится это в тот самый год, когда исполнится сто лет хозяйничанья англичан в Индии, — в 1857 году. Об этом поведали индусские брахманы и мусульманские муллы, услышавшие предсказание своих богов.

Перед дворцом показались странствующие монахи-факиры. Нана подал знак пропустить их. Долго беседовал с ними. О чем — никто не знал. Как не знали и о том, что каждый из монахов, уходя, уносил под лохмотьями секретные письма к тем, кто ждал случая, чтобы подняться на борьбу.

Нана вел тонкую и хитрую игру. Англичане ни о чем не догадывались и считали его вполне лояльным к их власти.

Он часто посещал дома британских чиновников, был всегда вежлив и учтив. И когда Уилеру, командиру Канпурского гарнизона, стали докладывать, что Нана Сахиб из Битхура тайный враг англичан, старый генерал лишь рассмеялся в ответ.

Не верил Уилер, как и многие другие, и в то, что неспроста из полка в полк сипаи — солдаты-индийцы, находившиеся на службе у англичан, — передают цветок красного лотоса. Этот нежный и благородный цветок, появившийся, согласно легенде, из пупка бога Вишну, в Индии считается царем цветов, олицетворяет красоту, чистоту и гуманность. Во имя их ценностей и готовились к жестокой борьбе индийские патриоты.

Генерал Уилер телеграфировал начальству, что в Канпуре все спокойно. А между тем в расквартированных здесь сипайских полках деятельно готовились к выступлению.

Командир гарнизона не знал многого. Он никогда не поверил бы, что дом известной танцовщицы Азизан (здесь, случалось, бывал и сам генерал) стал местом, где заговорщики обсуждали свои планы. Так же, как ему трудно было бы представить, что торговец лошадьми Мудат Али, этот спокойный и вполне благонамеренный мусульманин, приходил в дом Азизан совсем не для развлечения. Он приносил письма Нана Сахиба к руководителям заговора в Канпурском гарнизоне.

В начале 1857 года разнесся слух о том, что битхурский владетель решил отправиться в путешествие по святым местам.

И действительно, в один из мартовских дней красавец слон в роскошном облачении, с хаудой на спине — покорно стоял у дворца, ожидая хозяина. Погонщик опустил анкуш — железный крюк, которым погоняют слонов, и непризнанный пешва в сопровождении свиты двинулся в дальний путь.

Всюду, где побывал гость из Битхура, он вел секретные переговоры с единомышленниками, вырабатывал план действий, выяснял настроения местных феодалов, их

готовность примкнуть к борьбе. Во время этой поездки Нана окончательно убедился в том, что его час настал — пора пустить в ход старинный меч маратхских пешв.

Глубокой ночью четвертого июня над пыльными, узкими улочками Канпура прогремели три пушечных выстрела. Это был сигнал к мятежу индийских солдат. В городе защелкали выстрелы, запылали дома. Кавалеристы восставшего полка сипаев захватили арсенал, банк, тюрьму. Нана Сахиб, прибывший накануне в город, был провозглашен правителем. А генерал Уилер жестоко расплатился за доверчивость. В честь победы над Канпурским гарнизоном и воцарения на троне он затеял пышный праздник. Парад войск, салют из пушек в честь пешвы и его соратников. Тут же солдатам раздали сто тысяч рупий. После чего из Канпура отправились в Битхур, и здесь веселье продолжалось.

В ту ночь Нана Сахиб окончательно выбрал свой путь, встал на борьбу за свободу родины. Путь изнурительных сражений и недолгих побед, путь, который стал для него дорогой к бессмертию.

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Никогда больше звезда удачи Нана Сахиба не поднималась так высоко, как в те дни. Упоенный победой, достигший, казалось, всего, чего хотел, Нана беспечно развлекался у себя во дворце. Когда же, спохватившись, он вернулся в Канпур, было уже поздно. Английские полки подходили к городу. Нана повел войска в бой. Жестокая схватка не принесла полной победы ни одной стороне. Надвигавшаяся ночь заставила сделать передышку. Этим и воспользовались англичане. Под покровом темноты они бросились в атаку на изнуренных битвой воинов Нана Сахиба. Утром Канпур был во власти пьяных мародеров.

Незадолго до поражения, видимо сознавая неизбежность его, Нана прискакал в Битхур. Вместе с семьей он успел переправиться через реку и скрылся в лесах.

Каратели вступили в Битхур. Дворец пешвы был разграблен и разрушен. Редчайшие ценности попали в руки победителей. Но самая большая неожиданная добыча ждала англичан на дне колодца, случайно обнаруженного в развалинах дворца. Здесь был тайник Нана Сахиба.

Десять дней, сменяясь каждый час, сто солдат извлекали из него поистине сказочные богатства. Из темного жерла колодца появлялись на свет слитки золота, ожерелья и украшения, золотая посуда, три миллиона рупий и, наконец, огромная серебряная хауда, еще недавно украшавшая слона пешвы. Завладели неприятели и оружием из знаменитой коллекции.

Нана Сахиб потерпели поражение, лишился средств, но он не был сломлен. Вскоре ему удалось вновь собрать вокруг себя отряд и начать партизанскую войну.

Так же яростно в одиночку бились его друзья.

Во главе конного отряда повстанцев героически сражалась Лакшми Бай. Став к тому времени правительницей княжества Джханси, она мужественно защищала свою столицу — Гвалиур. О ее отваге и подвигах певцы слагали песни, которые живут в народе и по сей день. Ее называют индийской Жанной д'Арк. И даже враги, отдавая должное ее храбрости, говорили, что «она была самой смелой среди повстанцев». Ей посвящена не одна книга, в том числе и роман писателя В. Вармы «Рани Джханси», изданный на русском языке.

Среди непокоренных был и Тантия Топи, прозванный за бесстрашие «маратхским тигром». Дж. Неру считал его «самым блестящим из всех» партизанских лидеров. Его отряд, состоявший из сипаев и крестьян, был грозой англичан. Неожиданно обрушивался он на врага и так же внезапно исчезал, скрываясь при самых, казалось бы, невозможных обстоятельствах.

Но что могли сделать эти и другие разрозненные горстки повстанцев против пятнадцатитысячной армии англичан во главе с лучшим генералом Британской империи, опытным и искусным военачальником Клином Кемпбеллом!

В неравных боях один за другим погибали сподвижники Нана Сахиба. В сражении, с мечом в руках, пала Лакшми Бай. Тело ее было предано огню, а пепел, по обычаю, рассеян над Гангом.

Схватили и Тантия Топи. Обманом его заманили в ловушку, заковали в кандалы. Перед казнью, подняв руки, он воскликнул: «Моя единственная надежда, что жерло пушки или петля виселицы избавит меня от этих цепей».

Немногие избежали их участи. Продвижение английских войск было повсеместно отмечено виселицами и грохотом пушек. Из них расстреливали, привязав к жерлу, пленных повстанцев. Бесчеловечность карателей запечатлел на своей знаменитой картине «Расстрел сипаев» русский художник В. Верещагин. Лишь некоторые из вождей мятежников сумели скрыться. Одни бежали в Непал, другим удалось уйти в Иран и Афганистан.

Где же скрывался в это время Нана Сахиб? Точно неизвестно. Его видели в лесном форте, на переправе, в далеком селении. Не раз преследователям казалось, что он уже в их руках. И всякий раз мятежному пешве удавалось скрыться.

Он метался из стороны в сторону, пытался сопротивляться. В гневных словах, адресованных колонизаторам, Нана Сахиб клеймил их, заявлял, что будет сражаться до конца. «Мы еще встретимся», — угрожал он. И обещал, что будет «действовать только мечом».

Увы, это были лишь слова. Реальной угрозы мятежный пешва уже не представлял.

Понимал это и он сам. Сознавал, что дальнейшая борьба обречена. Надо было выбирать — либо смерть в бою, либо — бегство. Нана Сахиб решил скрыться, навсегда покинуть Индию.

В середине апреля 1859 года границу Непала пересекла группа всадников. Во главе отряда из пятисот конников по горной тропе ехал седобородый старик. Видом своим он походил на пророка. Трудно было узнать в этом путнике сорокадвухлетнего Нана Сахиба. Белая от инея борода, погасший взгляд, запавшие щеки изменили некогда красивое и муже-

ственное лицо. Вместе с женой и верными сподвижниками Нана Сахиб уходил в изгнание. Он решил укрыться в горах соседнего Непала несмотря на то, что вероломный владетель его Джанг Бахадур отказал ему в убежище и, мало того, разрешил англичанам преследовать беглецов на своей земле.

И все же Нана выбрал такой путь. Впрочем, достоверных данных на сей счет нет. Судьба Нана Сахиба — одна из неразгаданных тайн истории.

Что стало с мятежным пешвой? Где нашел свою смерть Нана Сахиб? По этому поводу существует немало догадок и предположений.

Многие историки пытались ответить на этот вопрос и упорно искали следы таинственного исчезновения Нана. А тем временем поэты предлагали свои версии. Один из них — французский драматург и писатель Жан Ришпен в конце прошлого столетия создал пьесу «Нана Сахиб». Автор привел вождя индийских повстанцев и его спутницу под своды горной пещеры, напоминавшей пещеру Али Бабы. Здесь, среди сокровищ и драгоценностей, возвышается над очагом статуя бога Шивы. Внезапно в очаге вспыхивает огонь, он разгорается все сильнее. Спасения нет — дверь, через которую они проникли в пещеру, захлопнулась. Девушка всходит на костер, зовет возлюбленного:

Иди же! Иди! Наши поцелуи станут нашим саваном,
Наши сердца, умирая, сольются в одно.

Да, поднимайся, о, поднимайся выше, обжигающее безумное пламя!

Вместе с тобой взлетает и разгорается наша любовь.

В довольно примитивных сентиментальных красках изобразил смерть Нана Сахиба Жан Ришпен. И тем не менее спектакль, поставленный на сцене парижского театра Порт-Сен-Мартен, пользовался успехом. Но не роскошные декорации и не звонкие и раскатистые стихи принесли ему популярность. А игра несравненной Сары Бернар, исполнявшей главную роль в этой пьесе.

Так, по-своему, дал ответ на занимавшую всех загадку французский драматург.

Вождю повстанцев предрекали и другое.

Нана Сахиб жив. Ему удалось спастись. Он обитает под видом святого отшельника в горах Непала. Так говорила одна легенда. Согласно другой — Нана Сахиб спасся, бежал и нашел пристанище в далекой России. Разнесся даже слух, что генерал Скобелев, в то время отличившийся в Средней Азии, и есть Нана.

Народ не хотел верить в гибель вождя. Народ верил — Нана Сахиб жив...

Еще многие годы имя Нана Сахиба для индийцев оставалось символом борьбы за независимость и свободу.

С благодарностью и уважением вспоминают о нем и в сегодняшней Индии, сбросившей иго колониального рабства. И в наши дни его подвиг огнем самопожертвования озаряет Индии путь в веках. Так сказано на памятнике Нана Сахибу, установленному в столетнюю годовщину восстания, в 1957 году, в городе Битхуре.

В ПОДВОДНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ

Прошло немало лет. Однажды в печати промелькнуло сообщение о том, что в Индии, в лесах Бунделькханда, пойман наконец еще один из руководителей индийских бунтовщиков. «Неужели это Нана Сахиб?» — подумал Жюль Верн. Невольно в памяти возникли картины расправ, творимых англичанами над индийскими повстанцами. Они мало чем отличались от версальских солдат — душителей Парижской коммуны. Писатель был свидетелем их бесчинств в поверженном Париже. Над примолкшим городом висел черный шлейф дыма. Пахло гарью. словно серый саван, пепел покрывал крыши домов, улицы, площади. Это был саван для тридцати пяти тысяч человек, погибших во время штурма французской столицы. Такова была официальная цифра. На самом деле жертв было более

ста тысяч. Не вернулись с баррикад и многие друзья Жюль Верна. Зверски убили ученого Флуранса. В дни Коммуны он стал одним из ее генералов. Давний друг писателя публицист Паскаль Груссе, редактор газеты «Марсельеза» и министр иностранных дел Коммуны, приговорен к смерти. Та же участь уготована и писательнице Луизе Мишель — «Красной деве Коммуны», как ее называли. Пожизненная каторга ожидала знаменитого географа Элизе Реклю.

После всего, что увидел Жюль Верн у себя на Родине, трудно было вновь браться за перо. О чем писать, когда перед глазами все еще стояли страшные картины последних дней Коммуны. Когда мысли снова и снова возвращались к воспоминаниям о друзьях, о тех, кто погиб под пулями. Надо было куда-то ехать, побыть наедине с самим собой, обдумать еще раз происшедшее. И Жюль Верн едет в родной Амьен. В этом провинциальном городишке он останется до конца своих дней.

Он вновь начинает писать. Но как резко меняется тематика его романов! Как не похожи теперешние герои на тех, кто населял его книги прежде!

Отныне они все чаще становятся участниками революционных схваток. С оружием в руках сражаются за свободу и независимость. Тема борьбы человека с природой вытесняется темой политической, социальной борьбы.

На смену героям-ученым приходят герои-бунтари, герои-борцы. Жюль Верн пишет о тайпинском восстании и о венгерских революционерах, о сражении под Вальми — первой победе республиканской армии Франции в 1792 году, о борьбе негров Америки и рабстве в африканских колониях, о греках, восставших против турецкого владычества, и о русских ссыльных, бежавших с каторги...

Теперь его герои — это венгр Шандор Матиас, болгарин Сергей Ладко, мятежник Жан Безымянный — борец за независимость Канады, это — Анри д'Альбре, француз, сражающийся на стороне свободолюбивых греков, русский народоволец Владимир Янов.

В кабинете на втором этаже круглой башни амьенского дома, так же как и в каюте шхуны «Сен-Мишель», все очень просто: кровать, глобус, единственное украшение — бюсты Мольера и Шекспира. В пять часов утра он уже за конторкой — рабочим столом. Распорядок дня не изменился — тот же, что и всегда.

В романе «Двадцать тысяч лье под водой» не была разгадана тайна капитана Немо. Впрочем, могло случиться и так, что профессор Аронакс, столь упорно стремившийся разгадать тайну капитана Немо, а вместе с ним и читатели вообще никогда не узнали бы, кто скрывался под этим именем, что это за человек, откуда родом, какова его история. В первом варианте рукописи капитан Немо погибал. Потом, однако, писатель решил сохранить ему жизнь. Образ этот мог понадобиться в будущем. Что касается читателей, как и профессор Аронакс, заинтригованных загадкой, то их явно не устраивали скудные сведения о капитане «Наутилуса». Письма, которые получал автор, содержали просьбу рассказать подробнее о командире подводного корабля, сообщить более определенные сведения о нем.

И Жюль Верн раскроет тайну капитана Немо на страницах своей новой книги — «Таинственный остров». В ней он расскажет о жизни и труде горстки американских колонистов, заброшенных случайной судьбой на необитаемый остров в южной части Тихого океана.

Один на один с суровой природой оказываются люди разного возраста, профессий и социального положения. Благодаря их сплоченности, воодушевлению и воле, вере в безграничные возможности человека, они создают комму-ну — прообраз идеального общества будущего. Но не только в борьбе с природой проходит их жизнь. Им приходится отстаивать свою колонию с оружием в руках — воевать с пиратами, пытающимися захватить остров. Горстка смельчаков отважно вступает в бой с многочисленным противником. Исход поединка, казалось, предрешен. И только вмешательство загадочного покровителя острова спасает колонистов...

Кто помогает обитателям таинственного острова? Кто их невидимый защитник?

Об этом читатели узнают лишь на последних страницах романа.

В подземном гроте, затопленном водой, колонисты находят непонятный предмет веретенообразной формы. Он напоминает собой огромное морское животное из породы китообразных. Проникнув внутрь странного плавучего сооружения, они встречаются с его хозяином. Им оказывается не кто иной, как капитан Немо, а непонятный предмет — это «Наутилус».

Как и в романе «Двадцать тысяч лье под водой», Немо живет в подводном одиночестве. Однако он давно отказался от своих скитаний. В пещере таинственного острова он нашел себе вечное пристанище. Его мятежный дух все так же неукротим, его ненависть к угнетателям все та же. Его взор по-прежнему горд — он свободен. И все же он уже не тот — постаревший и больной, уставший от подводных странствований.

Седая борода, грива белых, откинутых назад густых волос придают ему облик библейского пророка. Одиноким, ибо все те, кто много лет назад вместе с ним обрекли себя на изгнание под водой, уже умерли. Предчувствуя свой скорый конец, хозяин «Наутилуса» спешил раскрыть колонистам свою тайну.

Столь позднее раскрытие тайны острова писатель объяснял стремлением «всячески повысить интерес к таинственному пребыванию капитана Немо на острове, чтобы, так сказать, подготовить необходимое “крещендо”».

РАЗГАДКА

Его настоящее имя — принц Даккар. Он родился в Индии и был сыном раджи, владевшим княжеством в Бунделькханде.

С юных лет его отличали живость ума, жажда знаний и благородство души. Наделенный многими дарованиями, он овладел различными науками и достиг больших успехов как в естествоведении и математике, так и в литературе. Любил живопись — чудеса искусства вызывали в нем благородное волнение.

Несмотря на то что образование принц получил в Европе, куда его отправили еще мальчиком, воспитан он был в духе ненависти к европейцам, поработившим его землю. Он проклинал англичан, заковавших в цепи народ его поэтической родины. Борьба за ее независимость стала целью и смыслом его жизни.

«Этот художник, этот ученый, этот одаренный человек оставался душой индусом, индусом, полным жажды мести, индусом, лелеявшим надежду, что настанет день, когда его соотечественники потребуют прав для своей страны, изгонят из нее чужеземцев и возвратят ей независимость... Он выжидал случая. И случай представился».

Когда вспыхнуло крупное восстание сипаев, пишет Жюль Верн, душой его стал принц Даккар. Он поднял на борьбу огромные массы людей, отдал правому делу все свои дарования и свое богатство. Бесстрашно шел он в бой в первых рядах, рисковал своей жизнью так же, как самый простой сипай, поднявшийся ради освобождения отчизны. «Имя принца Даккара стало в те дни знаменитым. Герой, носивший это имя, не тайлся и вел борьбу открыто. Голова его была оценена, и хотя не нашлось ни одного предателя, готового выдать Даккара, за него заплатились жизнью отец, мать, жена и дети — их убили прежде, чем он узнал, какая опасность грозит им из-за него...»

Но и в этот раз право было повержено во прах перед силой. Тщетно искал Даккар себе смерти, когда последние воины, отстаивавшие независимость Индии, пали, сраженные английскими пулями. Одиноким, исполненным беспредельного отвращения к самому имени «человек», питая ужас и ненависть к цивилизованному миру, стремясь навсегда бежать от него, он обратил в деньги остатки

своего состояния, собрал вокруг себя самых преданных ему соратников и в один прекрасный день куда-то исчез вместе с ними.

Куда же отправился принц Даккар? Где искал он той независимости, в которой ему отказала земля, населенная людьми? И Жюль Верн отвечает — под водой, в глубинах морей — там, где никто не мог преследовать его.

На пустынном острове воин, ставший ученым, заложил корабельную верфь. Здесь по его чертежам была построена подводная лодка. Он дал своему судну название «Наутилус», поднял на нем черный флаг (в Индии черный цвет — символ восстания), назвал себя капитаном Немо и скрылся под водой, став грозным мстителем за всех угнетенных.

Но у этого человека была потребность творить добро. Это он спас одного из колонистов — инженера Сайерса Смита, выпавшего из гондолы воздушного шара, подобрал людям, оказавшимся на необитаемом острове, ящик с так необходимыми им вещами, сбросил лестницу во время нашествия обезьян, спас юношу от смерти, принес необходимое для него лекарство, и, наконец, это он взорвал разбойничий бриг при помощи подводной мины и перебил бандитов изобретенными им электрическими пулями.

Последнее его благодеяние — ларец с бриллиантами, которые он вместе с другими драгоценностями завещает колонистам. Он верит, что в их руках деньги не станут оружием зла.

Принц Даккар умирает одиноким, вдали от всего, что он любил, что было ему дорого, за что он боролся. Последним словом, которое прошептали его холодеющие губы, было слово — родина.

Разве повесть жизни, рассказанная умирающим капитаном Немо, не напоминает историю Нана Сахиба? И возникает вопрос: не стал ли герой индийского народа прототипом знаменитого литературного образа? Не подсказала ли таинственная судьба Нана Сахиба, в частности, бесследное его исчезновение, загадку капитана Немо?

Несколько лет спустя Жюль Верн напишет роман «Паровой дом», где в главе «Восстание сипаев» продемонстрирует свою великолепную осведомленность о минувших событиях в Индии, о ее истории и географии. И неслучайно главным героем романа писатель сделает Нана Сахиба.

Слухи о его гибели в горах Непала оказываются ложными. После восьми лет изгнания Нана тайно возвращается на родину. Он мечтает вновь поднять знамя борьбы, освободить землю отцов от ига поработителей. В горах Бунделькханда герой пытается разжечь очаг восстания. У него все та же цель — мстить ненавистным ферингам. Его месть жестока. Но разве это не жестокость, когда солдаты полковника Мунро — главного врага Нана в романе — привязывали к жерлам своих пушек пленных сипаев, когда английские войска безжалостно истребляли жителей Дели и других городов, когда от их рук погибло «сто двадцать тысяч офицеров и солдат и двести тысяч индусов только за то, что они принимали участие в восстании во имя национальной независимости!» Нана Сахибу не удастся достичь своей цели, он попадает в плен и погибает. Видимо, и много лет спустя трагическая судьба Нана Сахиба не переставала волновать воображение Жюля Верна.

* * *

Жюль Верн откладывает перо. Взгляд его устремляется в окно на зеркальную поверхность Соммы. Неспешно несет она свои воды. Так же спокойно течет его жизнь. Вдали от столичного шума, вдали от докучавшей ему славы. Впрочем, и сюда, в Амьен, доносятся ее отзвуки. Только что, например, он узнал, что удостоен Большой премии Французской академии за книгу «Двадцать тысяч лье под водой».

Писатель встает, подходит к большому глобусу, стоящему в углу комнаты. Его поверхность, словно паутиной, опутана карандашными линиями. Это маршруты стран-

ствий его, жюльверновских, героев. На выпуклый шар ложится новая свежая полоска — путешествие героев «Таинственного острова».

Как-то встретит читающая публика его новых героев? Как отнесется к разгадке тайны капитана Немо?..

ПОКАЗАНИЯ АСТРОЛОГА, ИЛИ ОПОЗНАНИЕ СМУГЛОЙ ДАМЫ



Достоверными свидетельствами о жизни
Шекспира являются его сонеты.

Генрих Гейне

СМУЩАЮЩИЙ ПРИЗРАК

В тот день профессор Роуз, как всегда, ранним утром направился в Бодлинскую библиотеку. Известный историк и блестящий литературовед, он был здесь, что называется, своим человеком. Не один год провел в читальном зале за столом этого старейшего книжного хранилища. В нем собраны многие раритеты — автографы государственных деятелей, ученых, писателей и поэтов, редчайшая коллекция королевских рукописей, первые английские печатные издания, в том числе и «Изречения философов» — книга английского первопечатника Уильяма Кэкстона. Гордость библиотеки — собрание первых изданий пьес Шекспира и среди них единственный из дошедших до нас экземпляр «Короля Лира», напечатанных около 1606 года. А всего в этом крупнейшем книгохранилище находится около сорока тысяч рукописей.

Весна была уже на дворе, но погода стояла пасмурная. Ненастье настраивало на невеселый лад, и казалось, что и этот день пройдет впустую. В последнее время Роуз вновь обратился к документам елизаветинской эпохи, знатоком которой считался. Просматривал рукописные материалы, выискивая новые, необходимые для работы сведения и факты. Но дело двигалось медленно, и можно было ожидать, что и сегодня его поиски не принесут желаемого успеха.

Он шел по хорошо знакомым улицам Оксфорда, где когда-то учился и прожил немало лет, а теперь состоял в совете управляющих колледжа Поминовения усопших и одновременно — членом Британской академии. Мимо спешили обычные в это время прохожие — клерки, домохозяйки, то и дело попадались студенты, но Альберт Роуз словно не замечал их, погруженный в свои мысли. Уже давно его занимала одна литературная загадка. Скажем точнее — ему не давала покоя великая тайна Шекспира: кто была Смуглая дама его сонетов. Профессор мечтал приподнять вуаль на лице незнакомки, вот уже три с половиной века скрывающей свои черты.

Бывали, правда, моменты, когда ему думалось, что тайна имени Смуглой дамы, в которую многие исследователи тщетно пытались до него проникнуть, никогда не будет раскрыта. Смуглая дама всего лишь смущающий призрак, который, возможно, где-то и бродит, но неуловим и нераспознаваем.

Однажды в минуту отчаяния Роуз согласился было с пессимистами и заявил, что, видимо, никогда не удастся узнать имени возлюбленной и вдохновительницы сонетов Шекспира. Но без разгадки этой тайны, составляющей, по его словам, одну из важнейших проблем в шекспироведческой литературе, невозможно написать полную биографию величайшего поэта. О нем и так мало что известно — до нас дошло всего несколько документов: о крещении, женитьбе и последней воле. Сохранилось всего шесть его аутентичных подписей (три на завещании и еще три на различных деловых бумагах). Причем почерк в них не всегда одинаков, как, впрочем, это часто бывает с людьми, которые изредка что-либо подписывают. Отсутствие сколько-нибудь достоверных и более менее полных сведений о творце великих сочинений породило массу легенд, часто весьма анекдотического свойства. Разобраться в них, отделить зерна от плевел еще недавно было чрезвычайно трудно.

Между тем сонеты, судя по всему, автобиографичны. Как сказал в прошлом веке поэт Вордсворт, это «ключ,

которым Шекспир отпер свое сердце». Но биографу мало располагать авторским текстом, надо знать историю его создания, тем более, когда речь идет о сонетах, адресованных даме. Кто была эта женщина-мучительница, к которой обращены прекрасные любовные стихи? Какие отношения у поэта были с той, кто вдохновил его на создание столь страстных и горьких строк? И почему в них так много отчаяния, печали, ревности? Не выяснив всего этого, и думать нельзя о написании подлинной биографии Шекспира.

Над разгадкой этой труднейшей задачи и бился в последнее время профессор Роуз. Написанное им исследование о жизни и творчестве Шекспира, к сожалению, оставалось без нее неполным. Узнав имя возлюбленной поэта, можно было бы завершить работу над его наиболее полной биографией. Именно о такой книге, на страницах которой в полный рост предстал бы Шекспир-человек, и мечтал профессор Роуз.

В вестибюле библиотеки Роуз приветствует взглядом бюст основателя библиотеки дипломата и ученого Томаса Бодли из черно-белого мрамора, снимает пальто, бросает беглый взгляд на витрины постоянной книжной выставки, и направляется в зал к своему столу. На нем рукописи, над которыми он работает — бумаги некоего Симона Формана, человека по-своему удивительного. Во времена Елизаветы I он был врачом-практиком и астрологом и отлично знал добрую половину обитателей Лондона той поры, как и многое из того, что происходило тогда в английской столице. Ему, в частности, принадлежит самое раннее описание четырех постановок шекспировских пьес в театре «Глобус». В записках такого человека наверняка удастся обнаружить что-нибудь еще. Профессор Роуз внимательно вглядывается в записи астролога. Большей частью они говорят о посетителях, их гороскопах, напоминая ученому что-то вроде приходно-расходной книги: был такой-то, просил о том-то, заплатил столько-то. Цифры, числа, фамилии... Скучный, видно, был человек этот Симон

Форман. Иногда, впрочем, он сообщает и кое-что стоящее. Среди фамилий и цифр встречаются мимоходом сделанные им замечания, характеристики лиц, посещавших его, сведения о личных отношениях с некоторыми из своих клиентов, среди которых бывали и женщины.

По подсчетам английского общества «Друзей Шекспира», во всем мире около восьмисот тысяч человек занимаются изучением его творчества, зарабатывая этим хлеб свой насущный. Среди них писатели, издатели, библиотекари, актеры, режиссеры, искусствоведы, художники, наборщики, агенты бюро путешествий, продавцы сувениров и т. д. Но ближе всех к великому драматургу и поэту стоят, конечно, литературоведы. Сколько ими написано исследований! Сколько положено труда, чтобы научно прокомментировать великие творения, создать своего рода подсобную библиотеку для понимания шекспировского наследия. Немало сил затрачено и на то, чтобы подобрать ключи к загадкам Шекспира. Верно заметил один английский критик, что каждое поколение заслуживает хорошей книги о Шекспире. Однако он же напомнил мрачное предостережение о том, что вокруг пещеры, хранящей тайну, можно увидеть много отпечатков разнообразных следов Шекспира, но все они направлены внутрь. Никто еще не вышел оттуда и не объяснил ничего миру. Хотя каждый, кто немного приблизился к этой теме, считал своим долгом написать о Шекспире книгу.

КТО ВЫ, МИСТЕР У. Х.?

Особенно много было написано по поводу шекспировских сонетов. Каждый автор, предлагая свою разгадку, считал, что именно ему удалось проникнуть в тайну пещеры и благополучно выбраться на свет Божий, доставив, наконец, человечеству ключи к великой загадке. Увы, все их попытки оказывались несостоятельными. Тайна по-прежнему оставалась тайной, побуждая самых упорных вновь

продолжать свои поиски. Но интересно вот что. Многие исследования, посвященные шекспировским сонетам, отталкиваются от фактов или отсутствия оных, затем возвращаются к стихам и, ссылаясь на одни и те же слова и фразы, приходят к удивительно разным заключениям.

Спор вокруг сонетов Шекспира разгорелся в основном из-за трех неизвестных: загадки инициалов «мистера У. Х.», которому посвящены сонеты, и имен воспетых в них «Прекрасного юноши» и «Смуглой дамы».

Кому же адресованы слова на первом издании сонетов, опубликованных в 1609 году: «Тому единственному, кому обязаны своим появлением нижеследующие сонеты, мистеру У. Х. всякого счастья и вечной жизни, обещанных ему нашим бессмертным поэтом, желает доброжелатель, рискнувший издать их. Т. Т.»?

Если два последних инициала не вызывали сомнения — они принадлежали издателю Томасу Торпу, то по поводу личности таинственного «мистера У. Х.» были пролиты реки чернил и сломано изрядное количество перьев. Каких только догадок не высказывали, чего только не сочиняли иные пылкие литературоведы.

Под загадочными инициалами видели «неопровержимое» доказательство, что автором сонетов был современник Шекспира драматург и поэт Кристофер Марло — они, мол, посвящены его другу Томасу Уолсингему. На это, дескать, указывают буквы У. Х. (W. H.), которые легко вывести из фамилии «Уолсингем» (Walsingham). Другие настаивали, что инициалы У. Х. скрывают молодого Уильяма Херберта, впоследствии графа Пембрука, чья мать будто бы заказала Шекспиру сонеты, которые, по ее мысли, должны были образумить и побудить этого легкомысленного шалопая жениться. Третьи утверждали, что «У. Х.» это интриган-рифмоплет по фамилии Маркхем из окружения графа Эссекса, то есть поэт-соперник, о котором говорится в сонетах.

По меньшей мере, один исследователь был убежден, что «У. Х.» это не кто иной, как поэт, воин и мореход Уолтер

Рэли (Walter Raleigh); другой приходил к выводу, что за этими буквами укрылся Генри Райотсли (Henry Wriothesly), граф Саутгэмптон, ставивший свои инициалы в обратном порядке, что было тогда принято. Графу Саутгэмптону, своему юному другу и покровителю, Шекспир посвятил, как известно, две поэмы «Венера и Адонис» и «Лукреция». Отсюда, естественно, напрашивался вывод, что и сонеты посвящены ему. Иные считали, что «У Х.» не принадлежал к сильным мира сего, а был простым юристом по имени Уильям Хэтклифф. Дошло до того, что родилась теория, согласно которой Шекспир якобы воспел в сонетах самого себя и что инициалы «У. Х.» следует расшифровывать, как «мистеру Уильяму самому» — «to mr Willam himself».

Существовали и другие версии, предлагавшие ключ к расшифровке «У. Х.»: это-де актер шекспировской труппы Уильям Хьюз, которого, кстати говоря, не обнаружили в актерских списках того времени, и, скорее всего, он — плод фантазии Оскара Уайльда, предположившего эту кандидатуру; а также некий Уильям Холл, «добывший» для издателя рукопись сонетов. Дело в том, что Шекспир не собирался печатать их, и в течение десяти лет его сонеты были известны лишь узкому кругу друзей.

Неизвестно, во что вылился бы и к чему привел этот затянувшийся спор, если бы не Роуз.

Какую же гипотезу предложил профессор на страницах своих трудов, изданных в 1963 и 1964 гг.?

В «мистере У. Х.» он опознал Уильяма Харви, третьего мужа матери графа Саутгэмптона. Не кто иной, как он помог сонетам Шекспира впервые увидеть свет. Кто же был этот Уильям Харви, заслуживающий нашей искренней благодарности за то, что «добыл» бессмертные сонеты для издателя?

Потомок древнего знатного рода Харви Иквортских из Саффокла, он являлся младшим сыном и не имел права наследовать родовое владение, доставшееся старшему брату. Ему пришлось самому думать о своем будущем. Как и для многих младших сыновей дворян, выход был в же-

нитьбе на богатой невесте. И когда представилась возможность стать мужем состоятельной вдовы графини Саутгэмптон, он не долго раздумывал. Препятствием на его пути стал ее сын, молодой граф Саутгэмптон. Его отнюдь не привлекала перспектива оказаться в положении приемного сына человека, по возрасту более подходящего ему в братья или друзья. Он пробовал протестовать. Но молодой Уильям в глазах графини обладал несомненными достоинствами — был отличным воином, участником сражения с испанской армадой и знаменитой битвы при Кадисе, служил на кораблях королевского флота, контролировавшего морские пути у Азорских островов. В 1599 году он добился согласия на брак и стал счастливым супругом. Спустя несколько лет, в 1607 году, графиня внезапно умерла, доставив наследство мужу. В семейном архиве он нашел сонеты, которые отнес издателю. Мистер Торп, чрезвычайно благодарный сэру Уильяму Харви, пишет посвящение, называя его «единственным, кому обязаны своим появлением» сонеты, то есть считает его тем, кто содействовал их публикации.

Но как оказались сочиненные Шекспиром сонеты в архиве семьи Саутгэмптон? Ответ прост. Давно установлено, что в молодые годы Шекспир дружил с лордом Саутгэмптоном-младшим и пользовался его покровительством (напомню, что ему посвящены все поэмы Шекспира). Известно также, что в начале девяностых годов XVI столетия, когда создавались сонеты, поэт сблизился с кружком молодых аристократов, любителей театра, одним из которых и был граф Саутгэмптон. Можно представить, что в его роскошном дворце, украшенном гобеленами и картинами, друзья развлекались, слушая итальянскую музыку, а возможно, и читая сонеты. Тем более что «прекрасный юноша», воспетый в них, и есть не кто иной, как молодой хозяин дворца, граф Саутгэмптон, друг поэта. И те, кто пытался разгадать тайну «У. Х.», часто допускали ошибку, отождествляя героя сонетов с тем, кому они были посвящены.

Подводя итог, можно сказать, что род Харви, увековечивший себя в истории подвигами своих сыновей — адмиралов, дипломатов и писателей, тот род, о котором в шутку говорили: «человечество состоит из мужчин, женщин и Харви», — знаменит еще тем, что одному из них посвящены сонеты Шекспира.

ЛОЖНАЯ ВЕРСИЯ

Но и после этого открытия Роуза спор вокруг шекспировских сонетов отнюдь не утих. Ведь без ответа оставался главный вопрос: кто была Смуглая дама, которой посвящены сонеты второй группы — со 127 по 152.

Пытавшиеся раскрыть имя таинственной незнакомки исследователи избрали заведомо неверный метод: в большинстве случаев исходили из догадки, а затем уже «под нее» подгоняли доказательства. Подобных попыток было предпринято немало.

Время от времени раздавались голоса, будто адресата любовных стихов Шекспира вообще невозможно установить, поскольку поэт не имел в виду реальную женщину. В качестве аргумента приводили слова современника Шекспира Д. Флетчера, драматурга и поэта, о том, что «можно писать о любви, не будучи влюбленным, как можно писать о сельском хозяйстве и самому не ходить за плугом». Поэтому тщетно связывать образ Смуглой дамы с какой-то одной особой: поэт якобы пережил все то, что описано в сонетах, лишь в воображении. Иначе говоря, сонеты созданы Шекспиром в традициях петраркизма и воспевают некую абстрактную даму, которой в действительности не существовало.

Но от приверженцев этой точки зрения ускользал тот момент, что шекспировская героиня нарисована совершенно в иных тонах, чем это было принято в поэтической традиции, восходящей к Петрарке.

Прежде всего у нее глаза и «цвет волос с крылом вороньим схожи», вопреки принятому у петраркистов идеалу

женской красоты, когда дама непременно должна иметь светлые волосы — с золотым отливом в кудрях и бело-снежную кожу. Как, скажем, у Ронсара, следовавшего предписаниям канона и превратившего свою возлюбленную из шатенки в белокурую красавицу, или у Камозенса, воспевающего золотой поток пышных кос своей несравненной сеньоры.

К тому же дама сердца Шекспира отнюдь не была воплощением совершенства, что также противоречило традициям сонетистов. Более того, вопреки этой эстетической традиции та, в которую влюблен поэт, «как ад черна» — вероломна, жестока и порочна. Она разлучает поэта с другом, изменяет ему, заставляет ревновать — одним словом, Шекспир посвящает сонеты даме сомнительной нравственности. И весь цикл — это своего рода поэтическая исповедь, на основании которой можно восстановить перипетии пережитого любовного романа, где, по справедливому замечанию Гёте, «выстрадано каждое слово». С великим немцем солидаризировались Вордсворт, Кольридж, Теннисон, Гюго, Гейне, признававшие несомненную автобиографичность сонетов.

В конце прошлого века русский шекспировед Н. И. Стороженов в работе «Сонеты Шекспира в автобиографическом отношении» дал обзор накопившейся к тому моменту литературы, посвященной загадке, над которой столь долго билась наука. «Несмотря на то что загадка до сих пор продолжает упорно хранить свою тайну,— писал он,— энергия ученых не ослабевает, может быть оттого, что каждому из желающих разрешить ее по необходимости приходится заглянуть в бездонную, как море, душу Шекспира, побыть некоторое время в общении с нею и подслушать биение одного из благороднейших сердец, которое когда-либо билось в груди человека».

В наши дни с книгой «Женщины в жизни Шекспира» выступил Айвор Браун. В главе «Черные глаза» он пишет: «Едва ли следует оспаривать тот факт, что Смуглая дама существовала в жизни Шекспира. Сонеты, появившиеся

благодаря ее обаянию и ее изменчивой привязанности, полны жизни, любви, ненависти, поэтому нельзя считать их просто формальным упражнением в сочинительстве». В связи с этим идентификация личностей в сонетах была и остается важным, хотя и запутанным вопросом. Среди ученых нет, однако, единодушия, констатировал он и скептически заявлял, что никогда, наверное, и не будет.

Между тем Айвор Браун не удержался от соблазна и поддержал ранее уже выдвигавшуюся кандидатуру на роль загадочной Смуглой дамы.

Долгое время считали, что это была Мери Фиттон, существовавшая в действительности и известная так же, как Молл Фиттон. Впервые ее кандидатуру предложил Т. Тейлер в 1890 году. С его мнением не все согласились. Возник спор, который, как тогда же заметил Н. И. Стороженко, «грозил сделаться хронической болезнью». Похоже, Айвор Браун, поддержав гипотезу Т. Тейлера, пережил рецидив этой болезни. Как бы то ни было, сведений о Мери Фиттон в самом деле довольно много и могло показаться, что тайна Смуглой дамы близка к разгадке. Разделял это мнение и Бернард Шоу, о чем свидетельствует его интерлюдия «Смуглая леди сонетов», где рассказывается о том, как Шекспир, проникнув ночью во дворец для свидания с Мери Фиттон, встречается с королевой, блуждающей по дворцу в припадке сомнамбулизма. Мери действительно была фрейлиной — ее назначили ко двору в 1595 году, когда ей исполнилось семнадцать лет, и она должна была находиться при королеве, сопровождая ее на спектакли. Шекспир не мог ее не знать. Не раз он упоминает ее имя в «Двенадцатой ночи» — пьесе, написанной в то время. Однако вскоре ее репутация оказалась запятнанной: родила внебрачного сына от Уильяма Херберта, будущего графа Пэмбрука, того самого шалопая, мамаша которого так была обеспокоена женитьбой сына.

В сонетах обращает на себя внимание мастерство портретной характеристики, умение в лаконичной форме нарисовать яркий облик героини. То и дело поэт вспоминает

детали внешности своей дамы, как, впрочем, и других героев. Но в отличие от них, он более подробно рисует ее портрет, «не подгоняя его, — как заметил в свое время советский исследователь Ю. Ф. Шведом, — под условный идеал женской красоты, утвердившийся в литературе Возрождения». И это при том, что Шекспир почти никогда не давал определенного портрета своих героев. Его информация весьма скудная: герои — красивы, негодяи уродливы, женщины, которыми восхищаются, — прекрасны. Читатели должны сами представить, как выглядят персонажи. Между тем черные глаза «смотрят на нас с такой страстью и силой в «Ромео и Джульетте», пьесе, написанной в 1595 году. О первой пассии Ромео, жестокосердной Розалине, которая ни разу не появляется на сцене, Меркуцио говорит, что бедный Ромео насмерть поражен черными глазами. С именем Розалины мы встречаемся и в «Бесплодных усилиях любви». Здесь она — придворная дама со своенравным характером, непостоянным и капризным, острым языком, а главное — с шарами смоляными вместо глаз» и «лицом смолы чернее». Знакомый облик Смуглой дамы — черно-волосая, черноглазая — встречается и в пьесе «Как вам это понравится», написанной как раз в период взлета карьеры Мери Фиттон.

Некоторые настолько уверовали в Молл Фиттон как прообраз Смуглой дамы, что даже утверждали, будто связь поэта с ней продолжалась до разрыва в 1608 году, и это якобы стало главной причиной его ранней смерти.

Как оказалось, опровергнуть такое мнение было не трудно. На основании бумаг архива Фиттонов установили, что у Мери были каштановые волосы и серые глаза и в ее письмах нет и намека на знакомство с Шекспиром. Если к тому же придерживаться принятой сегодня хронологии, согласно которой сонеты были написаны в начале девяностых годов XVI столетия, то Мери вообще следует вывести из числа претенденток. Дело в том, что Уильям Херберт родился в 1580 году и никак не мог быть ее любовником в то время, когда Шекспир создавал сонеты.

Отпали и другие претендентки: и темноволосая Энн Вавасор, придворная леди, у которой был пылкий роман с графом Оксфордом; и пассия графа Саутгэмптона Элизабет Вернон. Безосновательными оказались и притязания некоей Льюс Морган, по прозвищу Негритянка. Обосновать эту версию пытались путем извлечения из сонетов упоминания имени Морган, усматривая связь между написанием такого употребительного слова, как *more* (больше) и фамилией Морган. По поводу чего А. Браун справедливо замечает: «Сонеты были написаны, чтобы отразить и выразить сильные и страстные чувства, а не как ключ к разгадке».

СМЕРТЕЛЬНО РАНЕННЫЙ

Теперь вернемся в зал Бодлинской библиотеки, где мы оставили Роуза над записями Симона Формана. Давайте познакомимся с ними подробнее и проследим за ходом рассуждений профессора, чтобы понять выводы, к которым он пришел.

К тому моменту, как Роуз встретился с записками лондонского астролога, ясно было, что сонеты создавались примерно в одно время — с 1592 по 1594—1595 год; молодой вельможа, «прекрасный юноша», упоминаемый в сонетах — покровитель драматурга и его друг граф Саутгэмптон; поэт-соперник (о нем тоже говорится в стихах) — конечно, Кристофер Марло; мистер «У. Х.» — это Уильям Харви — раздобывший рукопись и представивший ее издателю. И лишь имя Смуглой дамы оставалось неразгаданным.

В наши дни, кажется, не осталось скептиков, которые бы сомневались, что в сонетах речь идет о подлинной женщине, принесшей поэту столько страданий, но несмотря на это обожаемой, страстно им любимой. Посвященные ей стихи обжигают огнем живого чувства, и нет сомнения, что они отзвуки личной драмы Шекспира, поэтическая исповедь о неразделенной любви. Сонеты, замечает Ю. Ф. Шведов, отражают «внутреннюю трагедию человека, который любит

настолько сильно, что самые достоверные доводы рассудка, убеждающего в неверности и порочности возлюбленной, не могут примирить его с мыслью, что он должен расстаться с ветреной красавицей». Но и перенеся огромное потрясение, убедившись в порочности своей возлюбленной, поэт, хотя и смертельно раненный, находит силы смеяться над собой.

Горько, конечно, сознавать, что молодая женщина предпочла графа драматургу. Но граф был не женат, богат, к тому же на три года моложе, а поэт — беден, на шесть лет старше ее, обременен семьей. Поэту тем более было обидно, что молодой граф являлся его покровителем и другом и он сам на свою беду свел их. Так возникли сложные отношения треугольника, нашедшие отражение в сонетах.

Одни исследователи при помощи своеобразной аранжировки сонетов (давно подметили, что порядок их расположения не соответствует жизненной хронологии) построили из них целый роман с завязкой и развязкой: «страстной любовью Шекспира к бездушной кокетке, ее изменой и окончательным разрывом со стороны поэта». Другие шекспироведы делили сонетный цикл на несколько тематических групп.

Профессор Роуз считает, что в сонетах 1–126, 127–152 с предельной откровенностью затрагивается тема отношений в любовном треугольнике: друг — Смуглая дама — поэт. В сонетах с 34-го по 42-го она подается с точки зрения отношений Шекспира и Саутгэмптона. Но в более поздних (не по времени, а по нумерации) — со 127 и до конца — ситуация изображается с точки зрения Шекспира. В них наиболее ярко отражается честная, открытая и свободная натура. Эта группа сонетов посвящена отношениям поэта и Смуглой дамы. Помещенные по нумерации позже, они были написаны раньше, до появления на сцене Саутгэмптона. Об этом судят по двум фактам: во-первых, Шекспир сначала влюбился в женщину из жалости к ее положению, в котором она находилась; во-вторых, Саутгэмптон познакомился с ней, благодаря письму, которое он написал от имени Шекспира.

...Ее нельзя было назвать красавицей — смуглая, с черными глазами и такими же бровями и ресницами; однако ее внешность, несомненно, привлекала внимание. Так что Смуглую даму знали многие. Еще большую известность принесло ей искусство обольщения, которым она владела в совершенстве. Все, кому довелось испытать на себе ее чары, кто стал жертвой ее коварства, не могли остаться к ней равнодушны. И хотя «как приманке ей никто не рад», но «как приманку все ее хватают». Это случилось и с поэтом: поначалу он увлекся ее молодостью из жалости, а потом был ослеплен страстью: «чувственность держала его в плену». Но каждый раз, испытав любовный порыв, поэт, словно отрезвев, болезненно переживает собственное падение, его охватывает чувство нравственного отвращения, как заметил в свое время Н. И. Стороженко в статье «Психология любви и ревности у Шекспира». Ему даже принадлежит подстрочный перевод характерного в этом смысле сонета 129, где есть такие строки: «удовлетворение чувственности — это позор духа».

Объяснить этот сонет каким-либо литературным влиянием излишне — такие признания не пишутся «с чужого голоса». Несмотря на пылкий в молодости темперамент (Шекспир сам признавал, что «страсть была его грехом»), чувственная любовь «не могла удовлетворить его высоконравственную душу». И напрасно некоторые критики, полагая, что это бросает тень на поэта, отрицали автобиографичность любовных сонетов. Английская щепетильность в данном случае неуместна: пережитое чувство помогало Шекспиру с глубокой жизненной правдой изображать в пьесах обольстительных женщин, наделенных теми же неотразимыми чарами, которыми околдовала его самого Смуглая дама.

Безжалостная в своей красе, надменная, вероломная, она приворожила поэта, готового поклясться, что на целый свет «ничего прекрасней в мире нет, чем смуглое лицо и черный волос». Сознавая, однако, что беда не в черном лице, а «в поступках черных», он тем не менее, словно зачарованный, не в состоянии «покинуть рай, ведущий прямо в ад». И далее:

Безумен тот, кто гонится за ней,
 Безумен тот, кто обладает ею.
 За нею мчишься — счастья нет сильней,
 Ее догнал — нет горя тяжелее...*

Однако, вопреки разуму, поэт все больше оказывается в плену бессердечной кокетки. Пытаясь удержать ее, он идет на хитрости, скрывает свой возраст, — ведь «старость, полюбив, лета таит», тем более что его друг и ее избранник моложе его на девять лет. Просит ее признаваться открыто в новой страсти и хотя бы сделать вид, что дарит его своей любовью.

Чтоб избежать зловредной клеветы,
 Со мною будь, хоть не со мною ты.

Сердце его беспрестанно бредит сладострастной возлюбленной. Не в силах совладать с собой, он унижается, умаляет о жалости, называет свою любовь болезнью, «тоскует по источнику страдания».

Но все пять чувств и разум заодно
 Спасти не могут сердце от неволи.
 Моя свобода — тень, а я давно
 Немой вассал твоей надменной воли.

Вот ему кажется, наступает момент примирения и вновь для него — счастье повиноваться глаз ее движению. Увы, скоро снова он убеждается в коварстве, понимает, что «нужно презирать, а не любить», корит себя за собственную беспечность, когда «ослеплял глаза свои всечасно, чтоб не видеть порочности» ее.

* Здесь и далее стихи в переводе А. Финкеля. Они не так, может быть, поэтичны, как перевод С. Маршака, и не так легко читаются, но, как считает профессор А. Аникст, более приближаются к своеобразию оригинала.

Шекспироведы давно подметили также, что язык комедии «Бесплодные усилия любви» приближается к языку сонетов. Многие в этой очень личной пьесе, написанной в ту же пору, перекликается с сонетами: несомненно, образ Розалины списан с определенного лица, очень похожего на Смуглую даму.

Итак, Шекспир поведал едва ли не все о себе и своей Смуглой даме, ни разу ни упомянув ее имени. Оно бы так никогда и не стало известно, если бы Симон Форман не имел привычки записывать все, что относилось к его клиентам.

Обратимся к этому источнику сведений о Смуглой даме.

АСТРОЛОГ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Мы помним, что любовная связь поэта со Смуглой дамой относится к 1593–1594 годам. Спустя несколько лет, 13 мая 1597 года к астрологу Форману пришел на консультацию молодой человек по имени Уильям Ланье, сын известного придворного музыканта. Ему было 24 года, и он собирался отправиться с герцогом Эссексом к Азорским островам. В экспедиции должен был участвовать и граф Саутгэмптон, он командовал одним из кораблей.

Четыре дня спустя после этого посещения к Форману явилась жена Ланье. Ей также требовался совет. Она была дочерью придворного музыканта итальянца Батиста Бассано и Маргарет Джонсон, с которой он не был обвенчан. Звали ее Эмилия.

Эмили Ланье, или Эмили Бассано, как вначале называет ее астролог, было в то время 27 лет. Форман осведомлен о ее прошлом: «В молодости ей пришлось несладко,— записывает он.— Отец умер, когда дочь была еще ребенком». Содержала ее мать до своей смерти в 1587 году. В 19 лет девушка стала любовницей стареющего Генри Кэри — лорда Хенсдона, лорда Чемберлена, занимавшего должность лорда-камергера королевы. Когда она ждала

ребенка, ее выдали замуж за «менестреля», то есть за Ланье.

Через двадцать дней Эмилия снова пришла к астрологу посоветоваться насчет мужа и себя. Форман записывает: «Она выросла в графстве Кент и была замужем четыре года». Эти сведения (необходимые для астрологических предсказаний) возвращают нас к 1593 году. «Старый лорд Чемберлен был связан с ней длительное время» — это уводит к еще более раннему времени — к 1589 году. По-видимому, родилась она около 1570 года, «имела по тому времени приличное приданое и была богата для того, кто женился на ней. У нее водились деньги и драгоценности. В молодости она была очень смуглой».

Последнее замечание Формана особенно важно. В своих записках астролог ни о ком так не писал, он вообще редко описывал чью-либо внешность. Очевидно, Эмилия Ланье была настолько смугла, что это поражало окружающих.

«У нее был сын Генри», названный в честь отца Генри Кэри, сообщает астролог.

Следующие записи говорят о том, что Эмилия продолжала посещать Формана. Ей хотелось узнать, будет ли ее муж посвящен в рыцари до того, как вернется из экспедиции домой и станет ли она знатной дамой и как скоро. «Ее величество и многие вельможи покровительствовали ей», — рассказывает астролог, — она часто получала подарки, для нее много сделал один знатный господин, который умер, он очень ее любил. Супруг обращался с ней плохо, растратил ее состояние. Теперь она весьма нуждается, у нее долги и она готова, в меркантильных целях, подчиниться».

Далее идет запись о ее гороскопе: согласно предсказанию, она станет знатной леди и «добьется высокого положения», однако муж ее «вряд ли будет посвящен в рыцари» и проживет не более двух лет после возвращения домой. Действительно, он исчезает из поля зрения и ничего больше о нем не известно, кроме язвительного замечания астролога по поводу того, что у Уильяма Ланье было слишком мало оснований быть посвященным в рыцари.

Как видно из дальнейших записей, Форман не прочь был воспользоваться отсутствием мужа Эмилии. Следуют строки, по-видимому относящиеся к ней: «гороскоп показывает женщину, у которой на уме одно — удовлетворение желаний, непонятно, она кокотка или будет ею». Вскоре астролог задает вопрос: «Если я пойду к Ланье сегодня ночью или завтра, захочет ли она принять меня?» На другой день он гадает, написать ей или она сама предложит ему прийти. Свидание состоялось, и астролог провел у нее всю ночь. Она была с ним мила и любезна, но не более того. Позже он записывает: «Она была кокоткой и плохо обошлась со мной».

Из записей астролога становится ясно, что он неоднократно бывал у Эмилии, всякий раз, впрочем, гадая по гороскопу, идти ему к ней или нет. В общем, связь с этой «вредной женщиной», строившей ему «всяческие козни», длилась несколько лет. Несмотря на «зловредный» характер и коварное поведение кокотки, астролог встречался с нею, судя по его записям, вплоть до 1600 года.

Однако только этим их отношения не ограничивались. Есть запись, сделанная в конце этого года по-латыни — видимо, из предосторожности, чтобы кто-нибудь не прочел ее — о том, что, как утверждают, Эмилия способна вызывать духов, будто она колдунья, умеющая привораживать мужчин. В связи с этим он задается вопросом, следует ли ему порвать с ней отношения. Опасения вполне естественные — занятия черной магией в ту эпоху не сулили ничего хорошего.

На этом можно оборвать рассказ, ибо дальше в многочисленных бумагах Формана об Эмилии Ланье не упоминается. Но совершенно очевидно, что знакомство со Смуглой дамой принесло бедному астрологу лишь разочарование, стало мучительным и в конце концов поселило в его душе подозрения.

Но сами по себе сведения об Эмилии Ланье мало что еще говорили. Необходимо было подтвердить их другими данными и документами, спроецировать на текст сонетов и интерпретировать.

Каков же был дальнейший ход поиска и рассуждений профессора Роуза?

В церковных книгах и завещании Бассано, «королевского музыканта», обнаружились дополнительные данные. Удалось установить, что семья Бассано приехала из Венеции, чтобы служить при дворе Генриха VIII. Эмилия была младшей дочерью. Отец умер в 1576 году, оставив ее шестилетней девочкой. Он завещает ей сто фунтов, которые она могла получить, когда ей исполнится 21 год или когда выйдет замуж. Кроме того, двум дочерям досталась рента с трех домов. Родителей похоронили в Бишопсгейте, по дороге в Шередит, где в старину жили многие актеры. После смерти матери ей пришлось в семнадцать лет окунуться в жизнь. Особых средств у нее уже не было, все, чем она обладала — необычная смуглая внешность и несомненные музыкальные способности. Воспитанная в семье музыкантов, она хорошо играла на спинете. В глазах такого любителя музыки, как Шекспир, это значительно усиливало ее привлекательность. Об этом свидетельствует сонет 128, где говорится о том, как музыкой своею она пленяла слушателей, как «мелодия под пальцами лилась» и как поэт ревновал «к клавишам летучим, срывающим поцелуи с нежных рук...».

Вскоре юная итальянка стала подругой лорда Хенсдона. С этого момента история неизвестной жизни приобретает более ясные очертания.

Генри Кэри, первый лорд Хенсдон, являлся кузеном и фаворитом королевы. Его мать, Мария Болейн, была сестрой Анны Болейн, любовницы Генриха VIII, ставшей впоследствии его женой, однако казненной за якобы супружескую измену. Марию Болейн выдали замуж за Уильяма Кэри и их сына назвали в честь короля — Генри.

Семья Кэри жила припеваючи с тех пор, как дочь Анны Болейн вступила на престол под именем Елизаветы I. Генри Кэри стал лордом, получил поместье в графстве Кент, где, кстати говоря, как мы помним, выросла Эмилия. Это был мужественный человек с военной выправкой,

неоднократно отличавшийся в сражениях. Когда испанцы в 1588 году двинули к берегам Англии свой флот — Великую армаду, — угрожая высадкой войска, ему доверили командование королевской стражей.

Именно в тот год он и встретил смуглую итальянку. С этого момента в течение четырех лет она была его любовницей. Это о нем упоминал Форман, когда записал, что «для нее много делал один знатный господин, который умер», и который «очень любил ее» (лорд Хенсдон умер в 1596 году).

И тут мы подходим к самому важному для нас моменту. Задолго до того, как королева присвоила Хенсдону титул лорда Чемберлена, он создал труппу актеров для придворного театра. Было это в 1564 году, когда родился Шекспир. С 1585 года Хенсдона стали называть лордом-камергером — звание это он сохранял до своей смерти. А актеры его труппы именовались «слугами лорда-камергера» или «слугами достопочтенного лорда Хенсдона». Жил он в своей резиденции Сомерсет-хауз, арендовал и дома в районе, где позже Джеймс Бербедж, отец Ричарда Бербеджа — актера и друга Шекспира, — создал театр в здании старого доминиканского монастыря Блекфрайер.

Когда в 1594 году образовалось актерское товарищество «слуг лорда-камергера», Шекспир и Бербедж заняли в нем видное место. Естественно, что многие актеры были представлены своему патрону лорду-камергеру. Скорее всего, тогда же Уильям Шекспир встретился со Смуглой дамой. К этому времени, благодаря заботам своего знатного покровителя, она уже год как была замужем за Ланье. Ей исполнилось 24 года, мужу — 21, столько же Саутгэмптону; Шекспиру было 30 лет.

Теперь гораздо понятней стал смысл многих сонетов. В частности 135 и 136, которые построены на игре слова «Will» — сокращенное имя поэта. Пишется оно и произносится так же, как will — «желание», «воля». В ту эпоху у этого слова было еще одно значение — влечение к женщине.

Желаньем безграничным обладая,
 Не примешь ли желанья моего?
 Неужто воля сладостна чужая,
 Моя же не достойна ничего?
 Как ни безмерны воды в океане,
 Он все же богатеет от дождей.
 И ты «желаньем» приумножь желанья,
 Моим «желаньем» сделай их полней...

Используя эту игру слов, Шекспир называет и желание, и женскую сущность своей возлюбленной, и просит добавить еще одно — Уила, себя самого. В следующем, 136 сонете поэт молит ее найти место для него, Уила.

Ты только полюби мое название,
 А с ним меня: ведь — я твое «желанье».

«Мне никогда не забыть моего удивления, когда я обнаружил ту, которую искал так долго и настойчиво», — признается позже профессор Роуз. Благодарность за это, прежде всего, следует выразить Симону Форману — без его помощи имя Смуглой дамы сонетов едва ли удалось бы раскрыть. Как говорит Роуз, он «испытал чувство нежности к старому греховоднику за то, что тот поведал нам».

Вот вам и скучный Форман! Выходит, Смуглая дама все это время, целых три с половиной столетия, ждала встречи с внимательным исследователем на страницах записок лондонского астролога. Это случилось 3 марта 1972 года в Бодлинской библиотеке, ровно 375 лет после того, как Симон Форман сделал первую запись в своем реестре о Смуглой даме.

СЭР ДЖОН ФАЛЬСТАФ, АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

ДЖОН БРЮХАЧ — ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ

Для того чтобы попасть на представление в знаменитый театр «Глобус», лондонцам в начале семнадцатого столетия нужно было отправиться за город. Здание театра, представляющее собой круглую деревянную башню, невысокую, с широким основанием, немного сужавшимся кверху, и увенчанную флагом, стояло среди лугов по ту сторону Темзы. Горожане, миновав Тауэр-бридж, оказывались за массивными воротами, среди полей, пограничных с городской чертой. Здесь тянулись огороды, пасся скот, молочницы наполняли свои ведра, лучники упражнялись в стрельбе, ткачи и красильщики вывешивали на просушку ткани.

К театру добирались по утрамбованной подошвами ног дороге — в летний зной пыльной и мягкой, словно присыпанной мукой, в дождливые дни — грязной, превращавшейся в жидкое месиво. Но ни погода, жара или холод, ни распутица не могли помешать лондонскому люду посетить «Глобус» и насладиться игрой своих любимцев актеров.

С утра, еще до представления, которое обычно давали днем, пестрая и шумная вереница людей тянулась к воротам театра, над которыми высилась статуя геркулеса, держащего на плечах земной шар с запечатленными на нем словами: «Весь мир лицедействует». Спозаранку в театр спешила лондонская беднота. Мелкие торговцы, ремесленники, студенты, приказчики торопились занять места поближе к сцене. Расположившись в партере, эта часть публики без стеснения болтала, закусывала, играла в кости. Чуть позже появлялись горожане побогаче. Они занимали места на галереях. К началу представления заполнялись



Джон Сладкий Херес (Фальстаф). Скульптор Р. Гауэр

ложи — в них мелькали дорогие наряды, тонкие кружева и пышные платья, изящные камзолы и яркие плащи. Словом, театральная аудитория того времени была вполне демократической, доступ сюда был открыт всякому. «Курильщик, окутанный клубами вонючего дыма, так же свободно входит туда, как и надушенный придворный», — писал современник.

На сцене «Глобуса» начинали свою жизнь многие герои шекспировских творений: мучился сомнениями благородный Гамлет, страдал отважный Отелло, погибал кровавый Макбет; здесь любили и умирали Ромео и Джульетта, сражался король Генрих и потешал своим остроумием и фиглярством толстый и трусливый рыцарь Фальстаф. Что-что, а посмеяться лондонцы любили, особенно над проделками комиков. Не удивительно, что популярность комических актеров Тарльтона, Кемпа и Армина во времена Шекспира была поистине всенародной. Вот почему стоило на подмостках появиться Джону Сладкому Хересу (таково одно из прозвищ Фальстафа — персонажа нескольких шекспировских исторических хроник и комедии «Виндзорские насмешницы»), как театр разражался неудержимым хохотом. Сэр Джон Брюхач (еще одна из его кличек) был общим любимцем публики (честь исполнения этой роли на сцене «Глобуса» досталась актеру Томасу Попу). В толстом рыцаре лондонцы видели прежде всего шута, умеющего смеяться над другими, но и вызывающего смех и веселье у других. Завсегдатаи «Глобуса» знали наперед его реплики, и, предвкушая веселье, нередко кто-нибудь из них под общий хохот спрашивал из зала: «Сэр Джон, не забыл зарядиться кружечкой хереса?», «Славный рыцарь, нашел ли ты наконец лекарство от карманной чахотки?» или «Сколько лет, Джек, ты не видел своих собственных колен?»

Популярность этого образа была настолько велика среди всех слоев зрителей, что даже сама королева Елизавета повелела вывести его еще в одной пьесе, изобразив Фальстафа влюбленным. После чего к славе бахвала, наделенного необыкновенной способностью извращать

истину, к славе остроумца, умевшего пробуждать остроумие в других, к славе храбреца, инстинктивно ставшего трусом, прибавилась слава седобородого распутника, чей любовный пыл не остудили даже воды Темзы, куда его швырнули из корзины с грязным бельем, «как раскаленную подкову». Надо сказать, что отношения сэра Джона с женщинами были весьма сложными и, пожалуй, не всякий из поклонников этого героя мог бы в деталях воспроизвести все перипетии его любовных походов. Зато что касается других сторон биографии сэра Джона, то наверняка нашлось бы немало зрителей «Глобуса», которые могли бы, основываясь на отдельных репликах славного Фальстафа, пересказать жизнь этого героя.

Попробуем и мы составить его жизнеописание, опираясь на факты его жизни, отраженные в произведениях великого драматурга.

ДЕТСТВО БОГА ПЛОТИ

На первый вопрос своеобразной анкеты — когда родился? — следует ответить: «В три часа пополудни». Точная дата рождения Фальстафа остается тайной. К этому можно лишь добавить собственное свидетельство Фальстафа, заявившего однажды своим приятелям, что появился он на свет божий «с белой головой и довольно-таки круглым животом», что, однако, скорее относится к внешнему виду нашего героя.

Если же вспомнить его слова, произнесенные в 1402 году о том, что он прожил «пятьдесят с лишком лет, а то и, Богородица свидетель, почти полных шесть десятков», то, значит, он мог родиться где-то около 1348 года, когда непобедимые английские лучники короля Эдуарда III косили французских рыцарей на поле под Креси. И вполне возможно, что спустя два десятка лет во время какой-нибудь другой битвы рядом с королем стоял Фальстаф и наблюдал, как всадники один за другим падают со своих боевых



Актер Стивен Кембл в роли Фальстафа. Гравюра XVIII века

скакунов. Значит ли это, что у шекспировского героя был реальный прототип? Исследователи отвечают на этот вопрос утвердительно. Фальстаф, говорят они, начал жить гораздо раньше, чем приобрел свое театральное имя и вышел с ним на подмостки.

Будущий герой Шекспира происходил из древнего феодального рода, и не потому ли при каждом удобном случае

сэр Джон любил тыкать «всем в глаза своим званием» рыцаря. Воспитание он получил, служа пажом в доме Томаса Маубрея, герцога Норфолкского. Так сообщает его друг юности судья Шеллоу. Впрочем, престарелый Шеллоу вполне мог и напутать, у него была скверная память: Норфолк в то время был еще мальчишкой, и вельможа, которому служил Фальстаф, видимо, был отец герцога, Джон Маубрей, граф Ноттингемский.

Детство будущего бога плоти и веселья было довольно безмятежным, он «только и делал, что ощипывал чужих гусей, шлялся без дела и гонял волчок». Проделки и шалости, видимо, сходили ему с рук, ибо, по его свидетельству, он «не знал, что такое розга». Словом, маленький Фальстаф вел в те далекие дни вполне мирную жизнь. Говорят, и фигура в юности у него была совсем иная — никаких признаков будущего ожирения. Его «талиа была не толще орлиной лапы», и он мог свободно «пролезть сквозь перстень с большого пальца олдермена». И только потом, с годами, печали да огорчения испортили его внешний вид: «от них человек раздувается, как пузырь».

Что касается самого баронета Джона Фалстофа (Шекспир несколько изменил его фамилию, однако использовал подлинные факты, и благодаря драматургу мы можем представить жизнь этого реального человека), то он был современником Генриха V, участвовал вместе с ним во многих битвах на французской земле. Был храбрым воином, за что в 1426 году его удостоили чести называться кавалером ордена подвязки с правом на титул «сэр». К своему несчастью лишь однажды он «инстинктивно стал трусом» — бежал с поля сражения при Патэ в 1429 году, за что, по рассказу французского историка Ворэна, был лишен всех воинских чинов. Позже эпизод его позорного бегства попал в пьесу Шекспира «Генрих IV». Случалось подобное с сэром Джоном и в других произведениях этого автора. И всегда в трудную минуту его нередко выручали ноги, причем всех поражала прыть этого стареющего толстяка:

Фальстаф, как в смертный час, исходит по́том
И удобряет землю по пути.

Но это было позже, тогда, когда Фальстаф, вступив в почтенный возраст, а вместе с тем и на путь порока и разврата, стал собутыльником озорного принца и душой шайки распущенных бездельников, штаб-квартирой которых был лондонский трактир «Кабанья голова», по свидетельству историков, принадлежавший прототипу шекспировского героя.

О молодых годах сэра Джона известно немного, но все же несколько больше, чем о последующем периоде его жизни, предшествовавшем нашей встрече с ним на страницах шекспировских хроник. Достоверно известно, например, что юность он провел весело, но не слишком респектабельно. Образование получил в Климентовом колледже, который находился на Торнбульской улице. Здесь, как мы узнаем, он был весьма заметной фигурой, выделялся среди студентов-юристов, отпетых буянов, своими подвигами и ночными похождениями. Никто из его однокашников и приятелей, ни маленький Джон Дойи из Стаффордшира, ни черный Джордж Барнс и Франсис Пикбон, ни Уилл Скуил из Котсолда — никто из них не мог потягаться с Джоном Фальстафом, слывшим самым отчаянным шалопаем среди них. «Не зевай, ребята!» — таков был их девиз, когда они ухаживали за девушками, пьянствовали или дрались. Что касается последнего, то в «ратном» деле юный Фальстаф преуспевал не меньше, чем во всем остальном. Однажды на глазах своего дружка Шеллоу он «проломил голову Скогану у ворот школы». Случилось это в тот самый день, когда сам Шеллоу, тоже, видимо, удалец не из последних, дрался «с Самсоном Стокфишером, фруктощиком, на задворках Греевского колледжа». Веселое было тогда времечко. И верно, разве можно было скучать на Артуровых играх, которые проводились на поляне Майленд-Грин, близ Лондона. Во время этих игр, приняв имя того или иного персонажа «артуровых» романов, они состяза-

лись в фехтовании, стрельбе из лука и мушкета. Возможно, с тех пор Фальстафу и полюбились слова песенки, которую потом он так часто распевал:

Когда Артур взошел на трон...
Он славный был король...

Впрочем, скорее всего в этом сказывалась любовь Фальстафа к старой Англии, к ее героической и веселой истории, к ее зеленым лугам, о которых он будет лепетать в своем предсмертном бреду. Произойдет это, однако, не скоро. А до тех пор жирный рыцарь, представитель этой старой, уходящей средневековой Англии, совершит немало потешных подвигов.

Что касается любовных походов юного Фальстафа в то время, когда он еще постигал в колледже премудрость наук, то он и его друзья не оставляли без внимания ни одну хорошенькую девушку, жившую по соседству. А его закадычный дружок Шеллоу откровенно признавал, что в молодости к их «услугам были всегда самые лучшие женщины».

Особенно запомнился друзьям случай, когда они вынуждены были провести «ночь на ветряной мельнице на Сент-Джорджских лугах». По всей вероятности, дружки, изрядно гульнув накануне, оказались у городских ворот, когда те были уже закрыты. И двум подгулявшим лоботрясам ничего не оставалось, как заночевать на мельнице среди мешков с мукой. Отсюда они должны были хорошо слышать колокольный звон, доносившийся из города. Что произошло в ту ночь на мельнице, мы можем лишь догадываться. Но несомненно одно: молодцы не теряли времени даром. Когда много лет спустя Шеллоу напомнил об этом приключении Фальстафу, тот признался, что не забыл этого случая и скромно согласился: «Нам приходилось слышать, как бьет полночь, мистер Шеллоу».

Что и говорить, парни умели развлечься. В старости Фальстаф любил поболтать о том, каким добродетельным

он был в юные годы, — ровно таким, «как подобает дворянину»: «божился редко, играл в кости не чаще семи раз в неделю, ходил в непотребные дома не чаще одного раза в четверть часа», словом, «жил хорошо, держался в границах». И даже иногда возвращал занятые деньги. Всю жизнь, с самых молодых лет и до самой смерти он был подвержен тяжкому заболеванию — карманной чахотке. Тщетно сэр Джон пускался на все хитрости в поисках лекарства — средства его были ничтожны, траты огромны. Займы только затягивали эту болезнь — она оказалась неизлечимой. Его карманы были вечно полны неоплаченных трактирных счетов (их было даже больше, чем адресов веселых заведений). Не удивительно, что пропажа дедовского медного перстня-печатки привела его в глубокое уныние. Ведь эту вещицу можно было сбыть за целых сорок марок! А этой суммы хватило бы, чтобы покрыть часть неизбывного его долга хозяйке трактира «Кабанья голова» миссис Куикли. Она была женщиной доброй и многое прощала сэру Джону. То ли потому, что знала его почти тридцать лет и преисполнена была по отношению к нему уважения, считая честным, верным человеком, то ли от того, что однажды сэр Джон покорила ее слабое женское сердце, пообещал на ней жениться и сделать ее знатной леди.

Как бы то ни было, Фальстаф извлекал из ее расположения для себя немалую пользу. С удовольствием, например, носил купленные ею для него рубашки из чистого голландского полотна по восемь шиллингов за локоть. Но главным образом — по части гастрономической. Свою не любовь к физическим упражнениям он успешно возмещал пристрастием к жареным каплунам и сладкому хересу. Уж чего-чего, а зарядиться кружечкой хереса сэр Джон никогда не забывал. Делал он это не только в силу давней привычки к крепкому вину, но и вполне осознанно, ибо считал, что добрый херес ударяет в голову «и разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глупости, мрачности и грубости, делает ум восприимчивым, живым, изобретательным, полным легких, пылких, игривых образов, которые переда-

ются языку, от чего рождаются великолепные шутки. А Фальстаф не был бы Фальстафом, не обладай этим последним качеством. Но херес, как считал сэр Джон, оказывает еще одно не менее важное воздействие — «он согревает кровь; ведь если она холодная и неподвижная, то печень становится бледной, почти белой, что всегда служит признаком малодушия и трусости». Херес же горячит кровь, «она воспламеняет лицо, которое, как сигнальный огонь, призывает к оружию все силы человека», «тогда-то он и становится способен совершить подвиг. Все это от хереса». И не потому ли черту удавалось попутать храброго Фальстафа, заставив показывать врагу пятки именно тогда, когда он перед битвой изменял своему правилу? Понятно теперь, почему в его трактирных счетах херес — напиток смелых! — занимает столь важное место. Значительное количество вина в каждом счете вызывало возмущение принца Генриха. «Всего на полпенса хлеба при таком невероятном количестве хереса», — восклицал возмущенный принц, несмотря на свою привязанность к старому «волдырю», как он его называл. Сам сэр Джон видел спасение от столь обильных возлияний только в одном: «Если меня возвеличат, я уменьшусь в объеме, потому что стану принимать слабительное, брошу пить херес и буду жить прилично, как подобает вельможе». И надеялся, что это действительно произойдет после того, как его молодой друг принц Генрих, его любимец Гарри, его Хел, взойдет на английский престол.

ВЕСЕЛОЕ БЫЛО ВРЕМЕЧКО

А пока что оба они — молодой, капризный повеса и стареющий кутила и распутник — развлекались в компании завсегдатаев «Кабаньей головы» — сообразительного Пойнса, прыщавого Бардольфа, воришки Гедсхила и прихлебателя Пето. Все это были типичные представители лондонского дна. Каким образом Фальстаф попал в эту компанию,

нам не известно. Но то, что он предпочитал визитам ко двору общество людей низшего звания — несомненно. Здесь на него смотрели с почтением, там — с презрением. А кроме того, как можно заметить, он обладал естественной склонностью к жизни низов. Правда, как-то в порыве не то отчаяния, не то откровения он признал, что его сгубила дурная компания. Но это прорвалось у него лишь однажды и, можно сказать, случайно. А в общем, среди бродяг и нищих он чувствовал себя вполне в своей тарелке.

С наслаждением исполнял он и роль проводника молодого принца по закоулкам преступного мира Лондона. Частенько они и сами «грешили», отправляясь на охоту за кошельками. Грабеж на большой дороге не только приносил всей шайке средства для новых кутежей, но и служил своего рода развлечением, игрой.

Такую игру с ограблением принц, Пойнс, Фальстаф, Бардольф и Гедсхил (чье присутствие придало этой операции оттенок профессионализма) затеяли на Кентерберийской дороге летом 1402 года. Сценарий, разработанный принцем, полностью посвятившим в него лишь Пойнса, состоял из двух действий — ограбление путешественников, а затем нападение принца и Пойнса, лица которых были скрыты под масками, на своих сообщников. Несколько ударов оказалось достаточно, чтобы «храбрый как Геркулес» Фальстаф обратился в паническое бегство, бросив на поле битвы награбленную добычу. Его прыть начисто опровергла его же собственные заявления о том, что он был бы самым проворным малым во всей Европе, если бы не его брюхо. Храбрейший сэр Джон «унес свое брюхо так проворно, с такой отменной прытью... как впору доброму бычку».

Впрочем, маневр этот не противоречил его взглядам на доблесть. «Главное достоинство храбрости, — считал он, — благоразумие». Оно не раз спасало ему жизнь, уверял Фальстаф, да и «к чему торопиться отдавать жизнь, если Бог не требует ее».

«Благоразумное бегство» не помешало сэру Джону и в этот раз продемонстрировать свою способность извращать

истину. Вскоре в трактире «Кабанья голова» красный от возбуждения Фальстаф хвастал о том, как он сражался добрых два часа с целой толпой противников и лишь чудом спасся. Победа досталась ему нелегко — куртка оказалась проколотой в восьми местах, штаны — в четырех, щит пробит, меч иззубрен, как ручная пила. Нет, никогда он «не дрался так яростно с тех пор, как стал мужчиной».

В тот самый момент, как Фальстаф разглагольствовал о своих мнимых победах на большой дороге, в Лондон пришла недобрая весть о том, что клан Перси во главе с Хотспером присоединился к валлийскому мятежнику Оуэну Глендауэру и восстал против законного короля. Наследник обязан был явиться ко двору. Покидая Истчип, принц Генрих не забыл своего сообщника и собутыльника. Благодаря ему Фальстаф получил место в пехоте — свидетельство того, что его военная репутация еще не погибла окончательно. Правда, принц явно не учел (либо, напротив, сделал это специально) невероятной тучности своего приятеля, которому было не под силу пройти пешком и двухсот шагов, его подагры и одышки, от которой он спасался леденцами, заполнявшими его карманы. Короче говоря, Фальстафу ничего не оставалось, как отправиться вербовать солдат для своего отряда. Операция эта оказалась удивительно успешной. С присущей ему изобретательностью он сумел превратить набор рекрутов в весьма доходное дело, которое принесло ему триста с лишним фунтов. Его метод заключался в том, чтобы вербовать «только зажиточных хозяев, фермерских сынков, у которых храбрости в душе с булавочную головку», а затем разрешать им откупаться от службы и ставить вместо себя разных голодных оборванцев. Таким способом Фальстаф вскоре собрал «полторы сотни одетых в лохмотья блудных сыновей» — отряд, во главе которого даже сам их командир постыдился пройти по улицам Ковентри. Тем не менее он повел их в битву при Шрусбери 21 июня 1403 года. На глазах Фальстафа его сброд живо искрошили, так что в живых осталось не более трех человек. Тогда, почувствовав неожиданный

прилив храбрости, он осмелился скрестить меч с самим Дугласом. Однако, быстро обнаружив, что противник намного превосходит его силой и ловкостью, верный своей доктрине, благоразумно решил притвориться мертвым. В этом положении его и застал принц. И неожиданно для себя — человека в общем-то черствого, произнес над «толстым рыцарем» несколько теплых прощальных слов:

Ах, старый друг! Как! В этой груди мяса
Ни капли жизни? Бедный Джек, прощай!
Ты мне дороже был мужей достойных...

БРЮХО ВСЕМУ ПОМЕХА

Фальстаф жил в период войн и политических смут, среди «железных людей», солдат и политических деятелей, занятых тяжким делом «сотворения истории». Они были заняты тем, что либо спасали, либо губили королевство, выигрывали битвы, побеждали мятежников. Англия пребывала в постоянном ожидании тревожных событий. Неспокойным оказалось и десятилетие, последовавшее после битвы при Шрусбери — до 1413 года. В жизни же Фальстафа это десятилетие, наоборот, оказалось весьма деятельным.

Вернувшись в Лондон с полей сражения, сэр Джон на свою беду повстречался с верховным судьей, но смело отразил все упреки этого высокопоставленного лица заявлением, что веселое сумасбродство присуще весне жизни: «Вы уже старик и не понимаете, на что способны мы, молодежь...» Десница закона занесла было над ним свою карающую руку, и его арестовали, но, к счастью, ненадолго. Добиться свободы ему удалось только благодаря тому, что он искусно разыграл благородное негодование, а затем сумел воззвать к лучшим чувствам своей кредиторши и истице миссис Куикли.

В то же лето, когда Нортумберленд и другие недовольные английские лорды подняли второй мятеж, Фальстаф

вновь отправился по долам и весям Англии и снова повторил фокус с доходной вербовкой.

Пути привели его в Глостершир, где он встретил друга своей юности Шеллоу — мирового судью. Из их воспоминаний нам и стали известны некоторые подробности тех веселых деньков, когда они оба учились в колледже.

Отсюда Фальстаф повел свой отряд в Йоркшир и присоединился к королевской армии в лесу Голтри. В завязавшейся вскоре битве ему удалось отличиться: он лично взял в плен «бешеного рыцаря и доблестного противника», звавшегося «Кольвелем из Долины». Тем самым была восстановлена его репутация человека действия и мужественного воина.

Сразу же после победы сэра Джон поспешил вернуться к старому другу Шеллоу. Находясь у него в гостях, Фальстаф, как никогда, был преисполнен радужных надежд. Король Генрих IV стоял на пороге могилы, и фаворит наследного принца предвкушал сладкую, беззаботную жизнь. Даже Шеллоу и тот надеялся извлечь пользу из столь ценного знакомства, ибо знал, что «друг при дворе полезней пенсов в кошельке». Не потому ли и обед, устроенный им в честь дорогого гостя, был столь великолепен. После трапезы общество удалилось в сад, чтобы «отведать прошлогодних яблок и съесть тарелочку варенья с тмином». Идиллию эту неожиданно нарушил громкий стук в дверь — зов судьбы! Она предстала в лице прапорщика Пистоля, сообщившего своему командиру, что старый король скончался. С торжеством этот забияка-солдат провозгласил: «Милейший рыцарь, ты теперь одна из самых веских персон в королевстве». На эти слова Фальстаф, считавший теперь себя не менее как «наместником Фортуны», отреагировал мгновенно и весьма характерно для него: он тут же занял тысячу фунтов у судьи Шеллоу, предложив ему взамен любую должность в государстве. Затем потребовал лошадь и во весь опор помчался по лондонской дороге в столицу. Два чувства подстегивали его — то, что молодой король тоскует по нем и что отныне законы Англии ему, Фальстафу, подвластны.

В город он въехал в тот самый момент, когда герольды уже расчищали улицу и придворные слуги посыпали мостовую тростником, то есть в самый что ни на есть канун коронации. Вместе с друзьями Фальстаф в толпе с нетерпением ждал появления нового венценосца. Сердце его ликовало — есть же правда на земле, и на его улице настал-таки праздник. Наконец, в сопровождении свиты, появился Генрих V — в пышном наряде, величественный, надменный и официальный. Напрасно бедный Фальстаф улыбался во весь рот и то и дело отвешивал поклоны, стараясь привлечь внимание своего бывшего приятеля по кутежам. Напрасными оказались и его, впрочем, довольно фамильярные приветствия: «Храни тебя Господь, король мой Хел., мой милый мальчик...» В ответ раздались холодные, бессердечные слова:

Старик, с тобой я не знаком. Покайся!..

Новоиспеченный властелин призвал его заботиться о душе, бросить обжорство. И как бы опасаясь, что старый фигляр примет его совет за продолжение их былой игры, поспешил опередить его:

Дурацкой шуткой мне не отвечай.
Не думай, что такой же я, как прежде.
Известно Богу — скоро мир увидит,
Что я от прошлого навек отрекся...

Удар был, прямо скажем, сокрушительный, но Фальстаф стойко перенес его. И это несмотря на то что вместо почестей и славы, на которые он так рассчитывал, ему предстояло проделать путь в тюрьму Флит. Но как бы мы теперь сказали, Фальстаф оказался на высоте. Блеск успеха меньше шел ему, чем то достоинство, с которым он принял эту катастрофу. «Мистер Шеллоу, я должен вам тысячу фунтов», — все, что он сказал в эту роковую для него минуту. Правда, в глубине души он еще надеялся на благородство

своего бывшего приятеля Гарри и пробормотал что-то о том, что за ним еще пришлют сегодня же вечером». Но нет, за Фальстафом не прислали ни в этот вечер, ни в следующий.

С этого дня — 9 апреля 1413 года — звезда «толстого рыцаря» закатилась навсегда. Старость наложила на него свою неизгладимую печать. Он сразу заметно как-то сдал под бременем лет: седая борода, опавшие икры и разбухший живот, сиплый голос, короткое дыхание (следствие одышки), двойной подбородок — все это стало еще явственнее бросаться в глаза.

Однако сэр Джон не хотел сдаваться на милость времени. Дряхлеющий ухажер, не желавший покориться годам, затеял однажды интрижку с провинциальными кумушками в Виндзоре. Но, увы, стал лишь их игрушкой, был зло наказан и осмеян за свое легкомыслие.

ДЖОН СЛАДКИЙ ХЕРЕС ПРОКЛИНАЕТ ВИНО

Времена Фальстафа миновали, ушла эпоха «старой веселой Англии», эпоха рыцарства и бескорыстия. Главные роли теперь распределялись между «железными людьми», дело которых было «творить историю». «Ими правило Время,— говорит один современный английский автор.— Их воспламеняла идея Чести. Фальстаф смеялся над Честью, бросал гордый вызов беспощадности Времени». Он верил в счастье (всегда ставил в игре на нечетные числа — «счастье их любит»), в простое человеческое счастье и очень надеялся умереть как честный человек. Ради чего готов был даже покаяться, если бы только одышка не мешала ему прочесть молитвы.

Из всех «железных людей» самым худшим оказался его прежний идол — Генрих V, который в 1415 году затеял войну против Франции.

Его рыцарей вели закованные в латы вельможи. А в арьергарде маршировали наши старые знакомые —

прапорщик Пистоль, капрал Ним и Бардольеф, последнего, впрочем, скоро повесили за ограбление церкви. Перед тем как выступить в поход, они собрались утром на улице около Истчипа. Пистоля провожала Нелль Куикли, обретшая в нем своего повелителя. Здесь их и догнал паж Фальстафа. Он принес недобрую весть, сообщил, что его господин совсем расхворался. Это подтвердила и Куикли, которой было невмоготу смотреть, как бедного рыцаря трясет ежедневная перемежающаяся лихорадка. Она тут же поспешила к больному в его комнату в «Кабаньей голове». Верная старой дружбе, за ней последовала и вся компания. К несчастью, пришли они слишком поздно. Их старый дружище Фальстаф, их неугомонный сэр Джон уже переселился в мир иной.

Скончался толстый рыцарь, по словам хозяйки трактира, «между двенадцатью и часом, как раз с наступлением отлива». Она была свидетельницей последних его минут. Благодаря ей известно, что, умирая, сэр Джон бормотал слабым языком «про какие-то зеленые луга». Зеленые луга старой, любимой Англии рисовались ему в гаснущем сознании. Рассказала миссис Куикли и о том, что, холодея, Джон Сладкий херес проклинал вино и, как утверждал паж (Куикли это отрицала), — женщин, называя их воплощениями дьяволов с мясом и костями.

Если же говорить об истинной причине смерти сэра Джона, то главное все же было не в этом. Его свело в могилу предательство друга. «Король разбил ему сердце», — воскликнула в простоте душевной Куикли. И она была права. Каковы бы ни были недостатки сэра Джона, он был способен на благородные чувства. Фальстаф умел по-настоящему любить и страдать, у него было сердце, способное разбиться.

Так в начале 1415 года умер сэр Джон Фальстаф — Джек Фальстаф для друзей, Джон для братьев и сестер и сэр Джон для всей Европы.

«ИСПАНЬОЛА» ДЕРЖИТ КУРС НА ОСТРОВ СОКРОВИЩ



ОБРЕЧЕН НА БЕСКОНЕЧНОЕ ПЛАВАНИЕ

Дом стоял прямо у дороги, отделенный от нее невысоким забором на каменном основании. Напротив по горному склону громоздились заросли могучих буков и сосен, а ниже, за ними, виднелись поросшие вереском холмы. Впрочем, разглядеть их удавалось лишь в погожие, ясные дни, когда дорога была залита солнцем, в лесу не смолкал птичий гомон, а горный воздух, чистый и прозрачный, волшебным нектаром проникал в кровь. Чаще, однако, в этих местах бушевала непогода. Тогда холмы внизу скрывала пелена тумана или стена дождя.

Так случилось и в этот раз, когда в конце лета 1881 года Роберт Луис Стивенсон, в то время уже известный писатель, поселился вместе с семьей высоко в горах в Бремере. Некогда места эти принадлежали воинственному шотландскому клану Макгрегоров, историю которого Стивенсон хорошо знал. Он любил рассказывать о подвигах Роб Роя — мятежника Горной страны, которого с гордостью причислял к своим предкам. Вот почему бремерский коттедж писатель зловеще называл не иначе как «дом покойной мисс Макгрегор». В этих четырех стенах из-за случившегося ненастья ему приходилось теперь проводить большую часть времени. Воздух родины, который, как шутил Стивенсон, он любил, увы, без взаимности, был для писателя — человека с больными легкими — злее неблагодарности людской.

Дни напролет моросил дождь, временами налетал порывистый ветер, гнул деревья, трепал их зеленый убор.

Повсюду дождь; он льет на сад,
На хмурый лес вдали,
На наши зонтики, а там —
В морях — на корабли...

Как спастись от этой проклятой непогоды, от этого нескончаемого дождя? Куда убежать от однообразного пейзажа? В такие дни самое милое дело сидеть у камина и предаваться мечтам; глядя в окно, воображать, что стоишь на баке трехмачтового парусника, отважно противостоящего океанским валам и шквальному ветру. Это под его напором, там, за окном, скрипят, словно мачты, шотландские корабельные сосны, будто гром-брамсели и фор-марсели, шелестят и хлопают на ветру паруса, сшитые из листвы ив и вязов, трещат стеньги и рей — ветви дубов и буков.

Воображение уносило его в туманные дали, где по серому бескрайнему морю плыли белые, словно птицы, корабли, ревущий прибой с грохотом разбивался о черные скалы, тревожно вспыхивали рубиновые огни маяков и беспощадный ветер рвал флаг отважных мореходов.

Привычка фантазировать, самому себе рассказывать необыкновенные истории, в которых он неизменно играл главную роль, родилась у Роберта Стивенсона еще в детстве.

Обычно его воображение разыгрывалось перед сном. В эти минуты, «объятый тьмой и тишиной», он оказывался в мире прочитанных книг. Ему виделся зеленый остров посреди морской синевы и его одинокий обитатель, словно следопыт-индеец выслеживающий дичь. Чудился топот скакуна, уносящего в ночную тьму таинственного всадника, шум погони, мелькающие огоньки, пиратская шхуна в бухте и тающий вдали парус бесприютного «Корабля-призрака», над которым в воздухе, словно крест проклятия, распростерся белый альбатрос.

Неудивительно, что мальчик засыпал тяжелым, тревожным сном. А когда по ночам его душил кашель и не давал долго уснуть, добрая и ласковая нянюшка Камми уте-

шала и развлекала его, поднося закутанного в одеяло Роберта к окну и показывая ему синий купол, усеянный яркими звездами. Завороженный, он смотрел на луну и облака, странными тенями окружающие ее. А внизу, под окном, в непроглядной тьме сада таинственно шелестели листья...

Широко открытыми глазами созерцал он мир, полный загадок и тайн. Его воображение, пораженное величественной картиной мироздания, рисовало удивительные фантастические картины. Когда же под утро все-таки удавалось вздремнуть, ему снились кошмары, будто он должен проглотить весь земной шар...

Наделенный недюжинной силой воображения, Луис умел изумляться, казалось бы, обычным вещам: и виду, открывшемуся из чердачного окна, и залитому солнцем, полному цветов саду, который он как-то увидел сверху, забравшись на дерево, и зарослям лавровых кустов, где, как ему казалось, вот-вот появится фигура индейца, а рядом, по лужайке, пронесется стадо антилоп... Но ничто и никогда, по словам самого Стивенсона, не поражало в детстве его воображение, как рассказ об альбатросе, который он однажды услышал от своей тетки Джейн.

Впечатление было тем более сильное, что она не только показала своему любимцу бог весть как оказавшееся в ее доме огромное крыло могучей птицы, способной спать на лету над океаном, но и, сняв с полки томик Кольриджа, прочитала строки из «Сказания о Старом Мореходе».



Роберт Луис Стивенсон. Фотография

...Снеговой туман, глыбы изумрудного льда «и вдруг, чертя над нами круг, пронесся альбатрос». Уже первые строки захватили мальчика, увлекли в синие просторы, на корабль, который в сопровождении парящего альбатроса — путеводной птицы пробивался сквозь шторм. Моряки считали альбатроса птицей добрых предзнаменований:

Попутный ветер с юга встал,
Был с нами альбатрос,
И птицу звал, и с ней играл,
Кормил ее матрос!

В этот момент, нарушая закон гостеприимства, Старый Мореход убивает посланца добрых духов — птицу, которая, согласно поверью, приносит счастье:

«Как странно смотришь ты, Моряк,
Иль бес тебя мутит?
Господь с тобой!» — «Моей стрелой
Был альбатрос убит».

Разгневанные духи за совершенное кощунство проклинают Морехода. Они мстят ему страшной мезьей, обрекая, как и легендарного капитана Ван Страатена — «Летучего голландца», на скитания на корабле с командой из матросов-мертвецов.

Картины убийства альбатроса и того, как был наказан за это моряк, словно живые возникали в сознании Стивенсона. С тех пор мистический рассказ о судьбе Старого Морехода станет его любимым чтением, а Кольридж — одним из почитаемых им поэтов, так же, впрочем, как и Вордсворт. Тот самый Вордсворт, который предложил другу Кольриджу во время прогулки описать в будущей поэме, как моряк убил альбатроса и как духи решили отомстить ему.

Кольридж, которого всегда привлекали мрачная фантастика и различные суеверия, внял совету друга. Он знал, что среди моряков бытует множество поверий. Исстари

верят они в то, что женщина на борту приносит несчастье, не к добру и покойник на корабле — его надо поскорее отправить за борт. К несчастью также и встреча с «кораблем-призраком» — судном без экипажа, кочующим по воле волн и ветра подчас много лет, наводя ужас на команды встречных кораблей. Не менее дурной знак — оказаться в «мертвой воде», проделке дьявола, из-за которой корабль с поднятыми парусами словно замирает посреди волн и может простоять в такой западне без движения дни, а то и недели. Но стоит вахтенному заметить кувыркающихся морских черепах, и моряки ликуют: плену скоро конец, жди ветра и волн, ибо веселые черепахи-акробаты — предвестники непогоды. А вот голубоватые «огни св. Эльма», вспыхивающие на верхушках мачт, на стеньгах и реях, — добрый знак, возвещающий окончание шторма. Об этом знали еще спутники Колумба и Магеллана, которым не раз приходилось наблюдать волшебное свечение во время ураганов и бурь.

Но странное дело, легенда об альбатросе не встречалась среди предрассудков, бытующих с давних времен. Наоборот, в истории мореплавания можно найти как раз обратные примеры, когда моряки питались мясом убитых альбатросов. Об этом, например, писал в XVIII веке известный мореплаватель Джеймс Кук. Случалось, что матросы, заплывая в воды Южного полушария, часто «ради праздной забавы», как писал Шарль Бодлер в своем знаменитом стихотворении «Альбатрос», «ловят птиц океана» при помощи крючка и куска мяса:

Грубо кинул на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжело влачит за собой.

(Перевод В. Левика)

Откуда же Кольридж позаимствовал столь талантливо и убедительно описанную им легенду? Располагал ли

сведениями, подтверждающими слова Вордсворта? Известно, что, работая над поэмой, он ознакомился с большим количеством источников — от путевых заметок мореходов до ученых записок лондонского Королевского общества. Однако исследователи установили, что ни в одном из источников, которыми пользовался Кольридж, не было и намека на предрассудок о том, что всякий, кто убьет альбатроса, будет проклят. Сам поэт писал, что его произведение — это «плод чистейшей фантазии». Выходит, Кольридж оказался невольным творцом Предрассудка, который приняли на веру моряки, и новая морская легенда укоренилась в умах, зажила самостоятельной жизнью. С годами настолько уверовали в легенду об альбатросе, что даже в некоторых энциклопедиях о поэме Кольриджа говорится как о порожденной широко известным предрассудком. Так, под словом «Альбатрос» в Американской энциклопедии написано, что



*Ллойд Джордж, подавший идею
«Острова сокровищ»*

«моряки издавна относятся к этим птицам со страхом и благоговением», а в Британской энциклопедии прямо сказано, что «предубеждение моряков по поводу убийства альбатроса было использовано Кольриджем в его поэме». Так, рожденная фантазией поэта легенда об альбатросе спасает от уничтожения замечательных морских птиц.

Образ птицы добрых предзнаменований многие годы

сопутствовал Стивенсону. И, случилось, в мерцающих вспышках маяка метнувшаяся чайка напоминала ему об альбатросе, распластанные ветви лохматой ели под окном казались огромными крыльями, причудливый узор на замерзшем стекле был словно гравюра с изображением парящего над волнами исполина.

Придет время, и он воочию увидит эту удивительную птицу. Произойдет это при плавании его на яхте «Каско». И точно так же, как в поэме Кольриджа, когда яхта будет проходить вблизи антарктических широт, над ней воспарит огромный альбатрос. Залюбовавшись величественной птицей, Стивенсон невольно вспомнит строки из поэмы о том, что «проклят тот, кто птицу бьет, владычицу ветров». И еще ему тогда впервые покажется, что он, подобно Старому Мореходу, обречен на бесконечное плавание. С той только разницей, что его это скорее радует, а не угнетает и страшит. В душе он всегда чувствовал себя моряком и был счастлив скитаться по безбрежным далям. Ведь он знал, что обречен, что и у него за спиной, как и у Морехода, «чьей злой стрелой загублен альбатрос», неотступно стоит призрак смерти, готовый совершить кару. И скитания, казалось ему, отдаляют роковой конец.

Здоровье постоянно подводило Стивенсона, принуждало его к перемене мест в поисках благотворного климата. С этой целью, собственно, он и перебрался в Бремер. Но и здесь его настигло отвратительное ненастье. Вот и приходилось, по давней привычке, коротая время, фантазировать, глядя в окно...

Пережидая непогоду, чем-нибудь занять себя старались и остальные домашние. Фэнни, его жена, как обычно, занималась сразу несколькими делами: хлопотала по хозяйству, писала письма, давала указания прислуге; мать, сидя в кресле, вязала; отец, сэр Томас, предавался чтению историй о разбойниках и пиратах, а юный пасынок Ллойд с помощью пера, чернил и коробки акварельных красок обратил одну из комнат в картинную галерею.

Порой за компанию с юным художником принимался малевать картинки и Стивенсон.

ПИРАТСКАЯ КАРТА

Однажды он начертил карту острова. Эта вершина картографии была старательно и, как ему представлялось, довольно красиво раскрашена. Изгибы берега придуманного им острова моментально увлекли воображение, перенесли его на клочок земли, затерянной в океане. Оказавшись во власти вымысла, очарованный бухточками, которые пленяли его, как сонеты, писатель нанес на карту названия: Холм Подзорной трубы, Северная бухта, Возвышенность бизань-мачты, Белая скала. Один из островков, для колорита, Стивенсон окрестил Островом скелета.

Стоявший рядом Ллойд, замирая, следил за рождением этого поистине великолепного шедевра.

— А как будет называться весь остров? — нетерпеливо поинтересовался он.

— Остров сокровищ, — с бездумностью обреченного изрек автор карты и тут же написал эти слова в ее правом нижнем углу.

— А где они зарыты? — сгорая от любопытства, таинственным шепотом произнес мальчик, уже полностью включившийся в новую увлекательную игру.

— Здесь. — Стивенсон поставил большой красный крест в центре карты. Любуясь ею, он вспомнил, как в далеком детстве жил в призрачном мире придуманной им Страны энциклопедии. Ее контуры, запечатленные на листе бумаги, напоминали большую чурку для игры в чижика. С тех пор он не мог себе представить, что бывают люди, для которых ничего не значат карты, как говорил писатель-мореход Джозеф Конрад, сам с истинной любовью чертивший «сумасбродные, но в общем интересные выдумки». Каждый, кто имеет глаза и хоть на грош воображения, при взгляде на карту не может не дать волю своей фантазии.

...В иные времена сделать это было особенно легко. До тех пор, пока Мартин Бехайм, купец и ученый из Нюрнберга, не изобрел «земное яблоко» — прообраз глобуса в виде деревянного шара, оклеенного пергаментом. И пока не последовало отважных подтверждений великой идеи о том, что земля круглая, карты «читались», как теперь мы читаем фантастические романы. Об этом однажды написал Оскар Уайльд, мечтавший воскресить искусство вранья и не случайно вспоминая при этом о прелестных древних картах, на которых вокруг высоких галер плавали всевозможные чудища морские.

Рожденные и раскрашенные пылким воображением их творцов, древних космографов, эти карты и в самом деле выглядели чрезвычайно красочно: пестрели аллегорическими рисунками стран света и главных ветров, изображениями странных зрелищ, причудливых деревьев и неведомых животных. На этих старинных картах были очерчены границы «страны пигмеев», легендарных Счастливых островов и острова Св. Брандана, обозначены мифические острова Бразил и Антилия, загадочные Гог и Магог, отмечены места, где обитают сказочные единороги и василиски, сирены и чудесные рыбы, крылатые псы и хищные грифоны. Здесь же были указаны области, будто бы населенные людьми с глазом посередине груди, однорукие и одноногие, собакоголовые и вовсе без головы.

Создатели этих карт руководствовались не столько наблюдениями путешественников, таких как Плано Карпини, Рубрук, Марко Поло и других творцов первых глав великого приключенческого романа человечества — познания земли, сколько черпали сведения у античных авторов Птолемея и Плиния, следуя за их «географическими руководствами» в описании мира.

В рассказах древнегреческих авторов писателей привлекали прежде всего сообщения о таинственных, мифических странах и чудесах, которыми они знамениты. У Гомера поражало описание страны одноглазых циклопов, а у Лукиана — легенды об «индийских чудесах». Образы чудес

загадочной Индии влияли и на средневековую фантастику. Тогда же начал складываться жанр вымышленного путешествия, пользующийся огромной популярностью. Свои вымыслы о неведомых землях его творцы преподносили как достоверные свидетельства очевидцев, а, бывало, подлинные сведения землепроходцев и мореходов «переосмысливались» в традиционном ключе, стремясь лишь к тому, чтобы поразить чудесами впечатлительных современников.

Можно представить, как действовали на воображение, пребывавшее в плену тогдашних представлений, «свидетельства» об изрыгающих пламя дьяволах, обитающих в отверстиях, ведущих в ад, о зачарованном лесе и источнике юности. Здесь же, на земле загадочной Индии, якобы находилось и «царство пресвитора Иоанна». Следуя легенде, капитан Себастьян Кабот на своей карте поместил эту святую землю обетованную «в восточной и южной Индии». И не случайно Рабле, в эпоху которого легенда эта продолжала возбуждать всеобщий интерес, писал о предполагаемой женитьбе Панурга на дочери «короля Индии», пресвитора Иоанна. Намечал автор «Пантагрюэля» и путешествие своего героя в эту страну, где будто бы находился вход в преисподнюю.

Представления о сказочных странах, населенных фантастическими существами, отразились и в творчестве других писателей. Отелло, рассказывая венецианскому совету о своих скитаниях, о больших пещерах и степях бесплодных, упоминает и об «антропофагах — людях с головами, что ниже плеч растут». Легенды о призрачном острове Св. Брандана вдохновляли Тассо при описании садов Армиды в поэме «Освобожденный Иерусалим». Описание «индийских чудес» встречается у Деккера и Бекона, у Бена Джонсона, Флетчера и многих других литераторов.

Зарождение жанра вымышленного путешествия произошло еще в середине XIV века. Тогда французы и англичане буквально зачитывались рукописными списками сочинения сэра Джона Мандевиля, поведавшего о своем поистине необычайном тридцатичетырехлетнем хождении по свету.

Где только не побывал сэр Джон: Египет и Индия, остров Ява и Китай. Собственными ногами он ступал по земле Кадила, что к востоку от владений китайского хана, был в «стране пигмеев» и посетил «царство пресвитора Иоанна». А сколько он насмотрелся за это время, сколько пережил! Своими глазами видел грифона; засвидетельствовал о существовании живого растения «баранца» и сказочной магнитной горы, притягивающей железные части кораблей, что ведет к их гибели, горы, которую после этого тщетно пытались отыскать; наконец, разрешил еще одну загадку: пояснил, что Нил берет начало в Раю...

Пять веков читатели верили этим выдумкам, оттиснутым в 1484 году только что изобретенным типографским прессом и сразу же переведенным чуть ли не на все европейские языки, пока не выяснили, что популярное сочинение — мистификация. Автором ее оказался некий Жан де Бургонь, бельгийский врач и математик. Было установлено, что он — всего-навсего ловкий компилятор древних и средневековых авторов, искусно повторявший за ними были и небылицы.

Сочинений, подобных путешествиям Мандевиля, появилось множество. Еще при его жизни пользовалась успехом «Книга познания» неизвестного кастильского монаха о его неслыханном походе по земному кругу. Считали подлинной и зачитывались «Книгой Дзено» — о путешествии венецианцев к берегам Америки за сто лет до Колумба. Книга эта также оказалась фальсификацией, столь же изощренной, сколь и бессовестной, составленной, как теперь ясно, на основе различных источников. Позже вышли «Воспоминания Гауденцио ди Лукка», будто бы открывшего неизвестную землю в африканской пустыне Меццоранию (на самом же деле они принадлежали перу англичанина С. Берингтона), и многие другие фантазии. В том числе и измышления Джорджа Псалма-назара — авантюриста и мистификатора, якобы уроженца Формозы, прибывшего в Англию и выдававшего себя за японца.

Впоследствии выяснилось, что этот «японец» служил кашеваром в войсках герцога Мекленбургского. Здесь, в немецких землях, его встретил священник одного из шотландских полков Уильям Инес. Они быстро поняли друг друга и задумали крупное мошенничество. Священник привез «японца» в Лондон, уверяя, что ему удалось обратить в истинную веру уроженца далекой Формозы.

Святой отец мечтал прославиться, и бывший кашевар, прикинувшийся «язычником с неведомого острова», как никто, мог способствовать этому (ведь о Формозе тогда толком никто ничего не знал). «Новообращенный» стал рьяным поборником истинной веры, без устали восхвалял англиканскую церковь и ее главу — короля.

Капеллан Инес и без того быстро шел в гору, а тут он еще объявил, что поручает своему подопечному перевести на формозский язык катехизис, чтобы затем обратить в христианство весь остров. «Японцу» ничего не оставалось, как сочинить «формозский язык». И он создал его!

Обманщик выдумал алфавит и грамматику. Причем, пользуясь доверчивостью современников и отсутствием у них знаний о далеких, неведомых землях, он довольно нахально «изобрел» буквы, удивительно схожие с греческими. Когда ему указали на это, мошенник не моргнув глазом пояснил, что на его острове распространен древнегреческий язык, которому учат детей в школах.

Надо отдать должное Псалманазару: грамматика, которую он сочинил, была весьма логична и довольно проста. Все живые существа были мужского и женского рода, неживые — среднего. Имелось единственное и множественное число. Писали справа налево. Хитроумный автор выдумал и словарный фонд «родного» языка.

Всего несколько недель ушло на создание этого искусственного языка, видимо, первого в мире, если не считать алфавита утопийцев, придуманного Т. Мором.

Теперь можно было браться за «перевод». За катехизисом последовал перевод молитвенника. Лондонский

архиепископ был в восторге и уже видел себя повелителем душ крещенных островитян.

Обнаглевший авантюрист после первого успеха, действуя и дальше с той же откровенной наглостью, решил написать историю «родного острова». В 1704 году вышло его «Историческое и географическое описание Формозы».

Подробно и обстоятельно он рассказывал об острове и его обитателях, описывал одежду, быт и нравы, религию язычников-островитян, среди которых бытуют варварские обычаи.

Поражая наивных англичан, Псалманазар описывал обряд ежегодного приношения в жертву ни больше ни меньше, как восемнадцати тысяч детей. Их сердца, вырванные из груди, сжигали перед алтарем на гигантской жаровне.

Маловеерам автор предоставлял возможность увидеть и храм, изображенный на рисунке, и алтарь перед ним, и жаровню. Вообще в защите своих «откровений» авантюрист проявлял удивительную изобретательность, нередко апеллируя при этом и к старинным картам.

Но не только «уроженец Формозы», а едва ли не каждый из компиляторов и мошенников — творцов вымышленных путешествий — пользовался творениями древних и средневековых космографов — картами Гиефордской и Каталонской, земным кругом брата Мауро, чертежами португальских, испанских и итальянских картографов, созданными на пергаменте, на медных, а то и на серебряных пластинах, но одинаково сочетавшими в себе достоверное с необычным, фантастическим.

В этом убеждаешься, перелистывая тома «Атласа средневековых географических карт», составленного в 1852 году поляком И. Лелевелем, выдающимся ученым и революционером. Поистине похвалой старым картам следует назвать описание 175 чертежей, собственноручно им раскрашенных от руки, — титанический труд, стоивший его автору зрения!

Но вот средневековые вымышленные чудеса мало-помалу сменились на картах загадочными белыми пятнами.

И тогда разглядывание карт, как писал Джозеф Конрад, пробудило страстный интерес к истине географических фактов и стремление к точным знаниям, — география и ее родная сестра картография превратились в честную науку.

Только золотой мираж по-прежнему продолжал дразнить воображение, вселял надежду, что где-то в мире еще существуют неоткрытые золотоносные страны: в Африке — Офир, в Южной Америке — Эльдorado, в Юго-Восточной Азии — Золотые острова. И не успели отбушевать страсти, пробужденные золотым песком Калифорнии и слитками Австралии, как на смену одной «эпидемии» вспыхнули новые. Пылкие головы возбуждали золотые россыпи, открытые в Трансваале; с горящими глазами произносили магическое слово «Кимберли» — название южноафриканского поселка, где были найдены алмазы; алчные аппетиты возбуждала весть о том, что в Ратнапуру, далеком цейлонском селении, обнаружено месторождение невиданных по красоте самоцветов. Но тем не менее все яснее становилось, что ни золото Африки, ни драгоценные камни Азии никакого отношения не имели к сказкам о чудесах страны Офир, к несметным богатствам Эльдorado.

Как куски шагреновой кожи, одно за другим исчезали на карте мира белые пятна, а с ними и надежды на то, что в конце концов удастся обнаружить эти легендарные страны.

И все же призрак золота продолжал манить толпы авантюристов, упорно веривших в удачу. Как верил в нее одним из последних египетский паша Мухаммед-Али, отправлявший в прошлом веке одну экспедицию за другой на поиски таинственной земли Офир в надежде с помощью ее золота поправить свои дела.

Луч надежды вновь вспыхнул в угасавшем было огне воображения, когда в Мозамбике в 1871 году были открыты руины древнего каменного города Зимбабве.

Казалось, наконец-то найден след легендарной земли, откуда царь Соломон вывез тонны золота и которую много позже, в 1506 году, посетил удачливый португалец Диого де Альканова. Он назвал ее «золотым» царством Мономо-

тапа. В существование его уверовали даже самые стойкие скептики, а великий Камознс воспел это царство в своих «Лузиадах».

Золотой мираж вновь заморозил доверчивых, и многие с тех пор заболели лихорадкой поисков. Тем более что здесь, в Африке, действительно были обнаружены древние копи. Очень скоро, однако, выяснилось, что разработки давно уже истощены. Глаза потухли, воображение угасло. Вспыхнуло оно вновь лишь на страницах книг, и прежде всего в романах Райдера Хаггарда «Копи царя Соломона» и «Она» — о прекрасной королеве и ее каменном городе в центре Африки — книгах, несомненно, родившихся под впечатлением от слышанных писателем африканских легенд и открытий археологов.

Роман «Копи царя Соломона» появился в результате пари, заключенного писателем со своим братом, усомнившимся однажды в том, что Хаггард может создать нечто подобное «Острову сокровищ».

Карте-схеме, приложенной к тексту, Хаггард, по его собственным словам, придавал особое значение. Чертеж убеждал в том, что действительно существовал португальский авантюрист, владелец карты, которому довелось лично видеть легендарные копи в XVI веке. И автор как бы невольно предлагал воспользоваться ею и отправиться на поиски копей царя Соломона и его сокровищницы, дополненной алмазами и слоновой костью. Для этого согласно плану-карте надо было миновать пустыни и пересечь реки, пройти через горы царицы Савской и по дороге Соломона, как и герои Хаггарда, достичь желанной цели.

И нашлись читатели, всерьез воспринявшие выдумку писателя и его слова о том, что, возможно, в будущем найдется счастливец, которому удастся отыскать «секрет потайной двери» — вход в сокровищницу. Полные решимости отправиться на поиски сказочных богатств, они умоляли автора сообщить более точно координаты копей царя Соломона в Африке. Объявился даже такой энтузиаст, который, несмотря на отказ писателя уточнить

местонахождение сокровищ, решил на свой страх и риск отправиться на их поиски. Ему казались вполне достоверными и сведения, сообщаемые в Библии о соломоновых копях, откуда доставлялись тонны золота, и свидетельство португальского авантюриста, подтвержденное картой.

ЛЮДИ СИНЕРОЖЕГО ФЛИНТА

Соблазн дать волю воображению при взгляде на нарисованную им карту острова испытал и Стивенсон. Бросив задумчивый взгляд на его очертания, напоминавшие по контурам вставшего на дыбы дракона, он заметил, как среди придуманных лесов зашевелились герои его будущей книги. У них были загорелые лица, их вооружение сверкало на солнце, они появлялись внезапно, сражались и искали сокровище на нескольких квадратных дюймах плотной бумаги. Не успел писатель опомниться, как перед ним очутился чистый лист, признавался он позднее, и он составил перечень глав. Так карта породила фабулу будущего повествования, оно уходит в нее корнями и выросло на ее почве. Не часто, наверное, карте отводится такое знаменательное место в книге, и все-таки, по мнению Стивенсона, она всегда важна, безразлично, существует ли на бумаге или авторы держат ее в уме. Писатель должен знать «свою» округу, настоящую или вымышленную, как свои пять пальцев. Конечно, лучше, чтобы все происходило в подлинной стране, которую вы прошли из края в край и знаете в ней каждый камешек. Но и когда речь идет о вымышленных местах, тоже не мешает сначала заглянуть в карту.

Недаром существует мнение: кто хочет понять поэта, должен вступить в его страну. Об этом говорили, в частности, Гете и Тургенев. Детальное знание автором местности, где действуют его герои, прослеживается у многих писателей. Некоторые из них специально сочиняли для себя рабочие карты. Так, скрупулезно вычерченная карта города Карамазовых необходима была Ф. М. Достоевскому, чтобы

соотнести мысли и душевное состояние своих героев с реальной «почвой», на которой они проживали и действовали. Согласно карте без труда в сегодняшнем городе Старая Русса можно обнаружить место, где стояли дом отставного штабс-капитана Снегирева, Грушенькин дом и дом купца Самсонова, особняк фон Зона, также подлинного старорусского обывателя. Из современных писателей к созданию карты, где разворачивается действие его романов, прибегает Эрве Базен. Географическая карта помогла ему при создании книги «Счастливыцы с Острова отчаяния», а выдумав деревню, где происходят события его другого романа, «Масло в огонь», он нанес свою воображаемую деревню на карту путеводителя, как бы вписав ее в действительно существующие объекты.

Итак, карта придуманного Острова сокровищ побудила Стивенсона взяться за перо, породила минуты счастливого наития, когда слова сами собой идут на ум и складываются в предложение. Впрочем, поначалу Стивенсон и не помышлял о создании книги, рассчитанной, как сейчас говорят, на массового читателя. Рукопись предназначалась исключительно для пасынка и рождалась как бы в процессе литературной игры. Причем уже на следующий день, когда автор после второго завтрака, в кругу семьи прочитал начальную главу, в игру включился третий участник — старый Стивенсон. Взрослый ребенок и романтик в душе, он тотчас загорелся идеей отправиться к берегам далекого острова. С этого момента, свидетельствовал Стивенсон, отец, учуяв нечто родственное по духу в его замысле, стал рьяным сотрудником автора. И когда, например, потребовалось определить, что находилось в матросском сундуке Билли Бонса, он едва ли не целый день просидел, составляя опись его содержимого. В сундуке оказались: квадрант, жестяная кружка, несколько плиток табаку, две пары пистолетов, старинные часы, два компаса и старый лодочный чехол. Весь этот перечень предметов Стивенсон целиком включил в рукопись.

Но, конечно, как никого другого, игра увлекла Ллойда. Он был в восторге от затеи своего отчима, решившего

сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровища, зарытого главарем пиратов. Затаив дыхание, мальчик вслушивался в рассказ о путешествии к острову, карта которого лежала перед ним на столике. Однако теперь эта карта, несколько дней назад рожденная фантазией отчима, выглядела немного по-иному. На ней были указания широты и долготы, обозначены промеры дна, еще четче прорисованы названия холмов, заливов и бухт. Как и положено старинной карте, ее украшали изображения китов, пускающих фонтанчики, и корабликов с раздутыми парусами. Появилась и «подлинная» подпись зловещего капитана Флинта, мастерски выполненная сэром Томасом. Словом, на карте возникли новые скрупулезно выведенные топографические и прочие детали, придавшие ей еще большую достоверность. Теперь можно было сказать, что это самая что ни на есть настоящая пиратская карта, которые встречались в описаниях плаваний знаменитых королевских корсаров Рели, Дампьера, Роджерса и других. Ллойдгу казалось, что ему вместе с остальными героями повествования предстоит принять участие в невероятных приключениях на море и на суше, а пока что он с замирающим сердцем слушает байки старого морского волка Билли Бонса о штормах и виселицах, о разбойничьих гнездах и пиратских подвигах в Карибском, или, как он называет его, Испанском, море, о беспощадном и жестоком Флинте, о странах, где жарко, как в кипящей смоле, и где люди мрут будто мухи от Желтого Джека — тропической лихорадки, а от землетрясений на суше стоит такая качка, словно во время шторма на море.

Первые две главы имели огромный успех у мальчика. Об этом автор сообщал в тогда же написанном письме своему другу У.-Э. Хенли. В нем он также писал: «Сейчас я занят одной работой, в основном благодаря Ллойдгу... пишу «Судовой повар, или Остров сокровищ. Рассказ для мальчишек». Вы, наверно, удивитесь, узнав, что это произведение о пиратах, что действие начинается в трактире «Адмирал Бенбоу» в Девоне, что оно про карту, сокровища, о бунте и покинутом корабле, о прекрасном старом сквайре



*Бремерский коттедж писатель называл
«домом покойной мисс Мак-Грегор»*

Трелони и докторе и еще одном докторе, о поваре с одной ногой, где поют пиратскую песню «Йо-хо-хо, и бутылка рому», — это настоящая пиратская песня, известная только команде покойного капитана Флинта...»

По желанию самого активного участника игры — Ллойда в книге не должно было быть женщин, кроме матери Джима Хокинса. И вообще, по словам Стивенсона, мальчик, бывший у него под боком, служил ему пробным камнем. В следующем письме к Хенли автор, явно довольный своей работой, выражал надежду, что и ему доставит удовольствие придуманная им «забавная история для мальчишек».

ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛ ПОПУГАЙ?

Тем временем игра продолжалась. Каждое утро, едва проснувшись, Ллойд с нетерпением ожидал часа, когда

в гостиной соберутся все обитатели «дома покойной мисс Макгрегор» и Стивенсон начнет чтение написанных за ночь новых страниц.

С восторгом были встречены главы, где говорилось о том, как старый морской волк, получив черную метку, «отдал концы», после чего наконец в действие вступила нарисованная карта. Ее-то и пытались, но тщетно, заполучить слепой Пью с друзьями. К счастью, она оказалась в руках доктора Ливси и сквайра Трелони. Познакомившись с картой таинственного острова, они решили плыть на поиски клада. Ллойд, в душе отождествлявший себя с Джимом, бурно возликовал, когда узнал, что мальчик пойдет на корабль юнгой. Впрочем, иначе и быть не могло — ведь по просьбе участников приключения именно он и должен был рассказать всю историю с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова.

И вот быстроходная и изящная «Испаньола», покинув Бристоль, на всех парусах идет к Острову сокровищ. Румпель лежит на полном ветре, соленые брызги бьют в лицо, матросы ставят бом-кливер и грот-брамсель, карабкаются, словно муравьи, по фок-мачте, натягивают шкоты. А сквозь ревущий ветер слышатся слова старой пиратской песни: «Йо-хо-хо, и бутылка рому...»

Так в атмосфере всеобщей заинтересованности, будто сама собой рождалась рукопись будущего «Острова сокровищ». Не было мучительного процесса сочинительства, признавался позже Стивенсон, приходилось лишь спешить записывать слова, чтобы продолжить начатую игру. Вот когда в полной мере проявилась давняя его страсть придумывать и связывать воедино несуществующие события. Задача заключалась в том, чтобы суметь вымысел представить в виде подлинного факта.

...Подобных примеров появления романа, рассказа или стихотворения по самым неожиданным поводам можно найти в истории литературы немало.

Однажды осенним дождливым вечером весь промокший Тютчев, вернувшись домой, бросился записывать сти-

хотворение «Слезы людские», рожденное под шум дождя. Гете в порыве вдохновения, охватившего его при виде горного пейзажа, записал углем прямо на двери охотничьего домика на горе Кикельхан в Тюрингском лесу знаменитые строки, переведенные Лермонтовым: «Горные вершины спят во тьме ночной...» Чтобы развлечь больную жену, Я. Потоцкий начал для нее сочинять историю, впоследствии ставшую известной под названием «Рукопись, найденная в Сарагоссе». В результате пари появились роман Д.-Ф. Купера «Шпион» и уже упоминавшиеся «Копи царя Соломона».

Неожиданно, во время прогулки, родился рассказ о приключениях девочки Алисы в Стране чудес. Его автор Льюис Кэрролл и не помышлял о создании книги, просто в тот день ему захотелось развлечь удивительной историей трех девочек, одну из которых, кстати, звали Алиса. Для этого он и придумал своеобразную литературную игру и сочинил сказку о ее путешествии. Много лет спустя другой писатель, Юрий Олеша, также ради девочки, которая жила в одном из московских переулков, придумал прелестную сказку «Три толстяка» и, так же как и Льюис Кэрролл, подарил этой девочке свой роман-сказку с посвящением.

Из литературной игры родилась и сказка Лимана Фрэнка Баума. Произошло это так. Обычно во время «семейного часа» писатель по просьбе своих детей выдумывал для них разные сказочные истории. Чаще всего их действие происходило в волшебной стране. На вопрос, как она называется, писатель ответил: «Оз». Это название он нашел на книжной полке, там, где в алфавитном порядке стояли переплетенные бумаги его архива с указанием на корешках: А — N, O — Z. Вскоре, в 1889 году, появилась книга «Мудрец из страны Оз», известная у нас под названием «Волшебник изумрудного города» в пересказе А. Волкова. С тех пор книга Л.-Ф. Баума стала одной из самых популярных у ребят всего мира...

Вернемся, однако, к словам Стивенсона о том, что его знаменитая повесть о поисках сокровищ рождалась как бы сама собой и что события, происходящие на ее страницах,

так же как и придуманная им карта, были лишь плодом писательской фантазии. Следует ли в этом случае доверять словам автора? В том, что это не так, можно убедиться, обратившись к самому роману. Прежде всего в книге довольно отчетливо просматривается литературный фон, на что, собственно, указывал и сам автор.

Какие же источники помогли Стивенсону в создании романа и как он ими воспользовался? В памяти писателя хранилось немало отрывков из книг о пиратах, бунтах на судах и кораблекрушениях, о загадочных кладах и таинственных «обветренных, как скалы» капитанах. Потому-то книга и рождалась «сама собой», при столь безмятежном расположении духа, что еще до того, как начался процесс сочинительства, был накоплен необходимый «строительный материал», в данном случае преимущественно литературный, который засел в голове автора и как бы непроизвольно, в переосмысленном виде выплеснулся на бумагу. Иначе говоря, когда Стивенсон в приливе вдохновения и безмятежном расположении духа набрасывал страницы будущего романа, он и не догадывался о том, что невольно кое-что заимствует у других авторов. Все сочинение казалось ему тогда, говоря его же словами, первородным, как грех, «все принадлежало мне столь же неоспоримо, как мой правый глаз». Он вправе был думать, что герои его повествования давно уже независимо жили в его сознании и только в нужный час отыскиались в кладовой памяти, выступили на сцену и зажили на ее подмостках, начали действовать.

А между тем оказалось, что, сам того не желая, писатель создавал свою книгу под влиянием предшественников. По этому поводу написано немало исследований. Не удовлетворившись его собственным признанием, литературоведы пытались уточнить, у кого и что заимствовал Стивенсон у своих собратьев, куда тянутся следы от его «острова» и под чьим влиянием в романе возникла эта пестрая толпа удивительно своеобразных и ярких персонажей.

Впрочем, для начала уточним, в чем же «признался» сам автор. Нисколько не скрывая, Стивенсон засвидетель-

ствовал, что на него оказали влияние три писателя: Даниель Дефо, Эдгар По и Вашингтон Ирвинг. Не таясь, он открыто заявил, что попугай перелетел в его роман со страниц «Робинзона Крузо», а скелет-«указатель», несомненно, заимствован из рассказа Эдгара По «Золотой жук». Но все это мелочи, ничтожные пустяки, мало беспокоившие писателя. В самом деле никому не позволено присваивать себе исключительное право на скелеты или объявлять себя единовластным хозяином всех говорящих птиц. К тому же «краденое яблочко всегда слаще», шутил в связи с этим Стивенсон. Если же говорить серьезно, то его совесть мучил лишь долг перед Вашингтоном Ирвингом. Но и его собственностью он воспользовался, сам того не ведая. Точнее говоря, на Стивенсона повлияли впечатления, полученные им когда-то от прочитанных новелл Ирвинга.

Примеров вольного или невольного заимствования можно привести сколько угодно. Еще Плавт заимствовал у других авторов сюжеты, которые позже с таким же успехом перенимали и у него. Вспомните «Комедию ошибок» Шекспира — это не что иное, как искусная разработка сюжета плавтовских «Близнецов». В подражании (что тоже иногда можно понять как заимствование) и в отсутствии собственного воображения обвиняли Вергилия за то, что находили в «Энеиде» «параллели» с Гомером. От этой, говоря словами Анатоля Франса, неприятности не были избавлены Вольтер и Гете, Байрон и многие другие. Находились и такие, кто даже Пушкина пытался обвинить в плагиате. Чтобы избежать подобных обвинений в заимствовании, А.-Р. Лесаж, например, прямо посвятил своего «Хромого беса» испанскому писателю Геваре (к тому времени умершему), взяв у него и заглавие, и замысел, в чем всенародно и признался. Однако, уступая честь этой выдумки, Лесаж намекал, что, возможно, найдется какой-нибудь греческий, латинский или итальянский писатель, который имел бы основание оспаривать авторство и у самого Гевары.

На Востоке, в частности в Китае и Японии, свободное заимствование сюжета было широко распространенным

явлением и отнюдь не рассматривалось как плагиат. И многие посредственные литераторы с их сюжетами, как считал тот же Франс, проходя через руки гениев, можно сказать, только выигрывали от этого. Конечно, лишь в том случае, если, заимствуя, они придавали новую ценность старому, пересказывая его на свой лад, что блестяще удавалось, скажем, Шекспиру и Бальзаку. Воображение последнего, пишет А. Моруа, начинало работать только тогда, когда другой автор, пусть даже второстепенный, давал ему толчок.

В непреднамеренном заимствовании признался однажды Байрон. Спеша отвести от себя обвинение в злостном плагиате, он пояснил, что его 12-я строфа из «Осады Каринфа», очень схожая с некоторыми строками поэмы Кольриджа «Кристабель», которую он слышал до того, как она была опубликована, — чисто непроизвольный «плагиат».

Бывали случаи, когда один автор брал «имущество» у другого, не подозревая, в отличие от Лесажа, что тот, в свою очередь, занял его у коллеги. И каждый из этих авторов мог бы заявить вслед за Мольером: «Беру мое там, где его нахожу».

Одним словом, если говорить о заимствовании, то следует признать, что способность вдохновляться чужими образами помогала создавать, а точнее пересоздавать на этой основе произведения, часто превосходящие своими достоинствами первоисточник. Справедливо сказано: все, что гений берет, тотчас же становится его собственностью, потому что он ставит на этом свою печать.

Неповторимая стивенсоновская печать стоит и на «Острове сокровищ». Что бы ни говорил сам автор о том, что весь внутренний дух и изрядная доля существенных подробностей первых глав его книги навеяны Ирвингом, произведение Стивенсона абсолютно оригинально и самостоятельно. И не вернее ли будет сказать, что Ирвинг и Стивенсон, как, впрочем, и Эдгар По, пользовались одними и теми же источниками — старинными описаниями деяний пиратов, рассказывающими об их похождениях

и дерзких набегах, о разбойничьих убежищах и флибустьерской вольнице, ее нравах и суровых законах.

К тому времени в числе подобных «правдивых повествований» наиболее известными и популярными были два сочинения: «Пираты Америки» А.-О. Эксквемелина — книга, написанная участником пиратских набегов и изданная в 1678 году в Амстердаме, но очень скоро ставшая известной во многих странах и не утратившая своей ценности до наших дней; и «Всеобщая история грабежей и убийств, совершенных наиболее известными пиратами», опубликованная в Лондоне в 1724 году неким капитаном Чарльзом Джонсоном, а на самом деле, как предполагают, скрывшимся под этим именем Даниелем Дефо, выступившим в роли компилятора известных ему подлинных историй о морских разбойниках.

В этих книгах рассказывалось о знаменитых предводителях пиратов Генри Моргане и Франсуа Лолоне, об Эдварде Тиче по кличке Черная Борода и о Монбаре, прозванном Истребителем, — всех не перечислить. И неслучайно к этим же надежным первоисточникам прибегали многие сочинители «пиратских» романов. В частности, А.-О. Эксквемелин натолкнул В.-Р. Паласио, этого «мексиканского Вальтера Скотта», на создание его знаменитой книги «Пираты мексиканского залива», увидевшей свет за несколько лет до «Острова сокровищ». По этим источникам, возможно, корректировал свою книгу о приключениях флибустьера Бошена французский писатель Лесаж; они, возможно, вдохновляли Байрона на создание образов романтических бунтарей; Купер пользовался ими, когда писал о Красном Корсаре в одноименном романе, а также при работе над своей последней книгой «Морские львы», где вывел жадного Пратта, ради клада пиратов отправившегося в опасное плавание; Конан Дойл — сочиняя рассказ о кровожадном пирате Шарки, а Сабатини — повествуя об одиссее капитана Блада. К свидетельству А.-О. Эксквемелина, как и к сочинению Ч. Джонсона, прибегали и другие прославленные авторы, писавшие в жанре

морского романа, в том числе В. Скотт и Ф. Марриет, Э. Сю и Г. Мелвилл, Майн Рид и К. Фаррер, Р. Хаггарт и Д. Конрад. Со слов самого Стивенсона известно, что у него имелся экземпляр джонсоновских «Пиратов» — одно из наиболее поздних изданий. В связи с этим справедливо писали о влиянии этой книги на создателя «Острова сокровищ». Известный в свое время профессор Ф. Херси не сомневался в этом и находил тому подтверждения, сопоставляя факты, о которых идет речь в обеих книгах.

Немало полезного, помимо попугая, Стивенсон нашел и у Даниеля Дефо в его «Короле пиратов» — описании похождений Джона Эйвери, послужившего к тому же прототипом дефовского капитана Сингльтона, о котором речь еще впереди.

Что касается В. Ирвинга, то действительно некоторые его новеллы из сборника «Рассказы путешественника» повлияли на Стивенсона, особенно те, что вошли в раздел «Кладоискатели». Во всех новеллах этой части сборника речь идет о сокровищах капитана Кидда. Одна из них так



На Острове дуба кладоискатели принялись за дело

и называется «Пират Кидд», где говорится о захороненном разбойничьем кладе. В другой — «Уолферт Веббер, или Золотые сны» — рассказывается о реальном историческом персонаже, который, наслышавшись от бывшего пирата Пичи Проу сказок о золоте Кидда, решил отправиться на его поиски.

Можно сказать, легенда о поисках сокровищ капитана Кидда направила фантазию Стивенсона на создание романа о зарытых на острове миллионах, как направила она воображение Эдгара По, автора новеллы «Золотой жук», использовавшего в ней «множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье».

КЛАД КАПИТАНА КИДДА

Сегодня без упоминания имени Уильяма Кидда не обходится ни одна книга, посвященная истории морского пиратства. А сокровища, по преданию, зарытые им на одном из островов близ американского берега, почти три столетия разжигают аппетиты кладоискателей. Еще бы, ведь клад Кидда одни исследователи оценивают в семьсот тысяч фунтов стерлингов или в два миллиона долларов, другие считают, что им было спрятано ценностей на десятки миллионов долларов.

Согласно данным английского Адмиралтейства, клад Кидда состоит в основном из драгоценностей, захваченных у индийского императора Аурангзеба, и оценивается в триста миллионов.

Кто же был этот капитан Кидд? Чем он так прославился? И действительно ли где-то зарыл свои сокровища?

Его трагическая судьба — пример того, как в погоне за наживой молодые колонизаторы были готовы на любое коварство, на подлог, клевету, на убийство.

История началась в сентябре 1696 года, когда быстроходная тридцатипушечная «Эдвенчэр гэлли» («Галера

приключений») покидала нью-йоркский порт. На борту ее находилось сто пятьдесят человек команды во главе с капитаном Киддом.

Куда и зачем направлялось это судно, которому вскоре предстояло стать знаменитым на всех морях? Чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего рассказать о событиях, предшествовавших этому рейду.

Примерно за год до выхода в море «Эдвенчэр гэлли» в Лондон дошли тревожные слухи о некоем пирате Джоне Эйвери, буквально терроризировавшем воды Индийского океана. Ни один корабль не смел без риска пересечь его. Дерзкий пират одинаково не жаловал ни торговые суда индийских купцов, ни корабли, принадлежавшие соотечественникам.

Однажды он захватил большое судно, на котором плыли близкие родственники и видные сановники самого Великого Могола — индийского императора. В плену оказались не только наложницы восточного владыки и его сокровища. В руки пирата попала красавица дочь повелителя Индии. Вместо того чтобы возненавидеть своего тюремщика, она пылко полюбила молодого и галантного джентльмена удачи и будто бы даже добровольно стала его женой.

Легенда о романтической любви морского разбойника и индийской принцессы получила тогда широкое распространение. Узнав о походе дочери, отец излил свой гнев на представителей английской Ост-Индской компании, потребовав немедленно изловить наглого «зятя». Иначе, грозил властелин, он уничтожит все имущество компании на индийской территории, а заодно порвет и торговые связи с ней. В Лондоне не на шутку встревожились. И приняли решение покончить с влюбленным пиратом. За голову Эйвери назначили награду.

Теперь для исполнения решения требовалось найти человека, который бы возглавил экспедицию против того, из-за кого лондонские толстосумы могли лишиться своих барышей. Стали подыскивать подходящую кандидатуру.

А заодно и создали предприятие, своеобразный синдикат, который должен был финансировать будущую экспедицию. В него вошли не только министры, но и сам Вильгельм III, который не погнушался внести три тысячи фунтов, надеясь на изрядную прибыль в случае, если удастся покончить с Эйвери и другими морскими разбойниками. В числе «пайщиков» оказался и Ричард Беллемонт, только что назначенный губернатором Нью-Йорка, в те времена главного города английской заморской колонии. Именно Беллемонт, которому предстояло сыграть одну из главных ролей во всей этой истории, предложил капитана Кидда в качестве руководителя экспедиции. И вскоре капитан и судовладелец из Нью-Йорка Уильям Кидд держал в своих руках каперскую грамоту. Что это значило?

С конца XV века действовал особый способ борьбы с пиратами. Придумал его король Англии Генрих VII. Заключался он в следующем. Капитаны кораблей, которые желали на свой страх и риск бороться с морскими разбойниками (к которым в военное время причисляли и корабли противника), получали на это королевскую грамоту. По существу это был тот же разбой, но «узаконенный». При чем нередко суда для этого снаряжались за счет «пайщиков», которые по условиям получали часть добычи. Этим источником дохода не брезговали даже особы королевской крови. Например, английская королева Елизавета I охотно вкладывала средства в пиратскую фирму Френсиса Дрейка.

В период военных действий грамоты на узаконенный разбой раздавали особенно щедро. Право получить ее имел всякий, кто желал вести партизанскую войну на море против кораблей противника, в том числе и торговых. Тех, кого завербовали, именовали корсарами или каперами ее королевского величества. В число их в эпоху нескончаемых войн с Испанией за колонии англичане вербовали храбрейших из пиратов. Патент на ведение войны против вражеских кораблей имели такие знаменитые пираты, как Хоукинс, Дрейк, Гринвилл и многие другие, заслуги которых нередко оплачивались дворянскими титулами. И бывшие

флибустьеры, то есть «свободно грабившие», становились орудием в осуществлении военных планов европейских политиков. Однако случалось, что, прикрываясь каперской грамотой, пират оставался морским разбойником, по-прежнему без разбора нападая на чужих и своих. Когда об этом становилось известно, капера объявляли пиратом, а это означало, что, попади он в плен, его ждет виселица.

В каперской грамоте, полученной Киддом, говорилось о том, что ему дозволено захватывать «суда и имущество, принадлежащие французскому королю и его подданным», поскольку Англия тогда находилась в состоянии войны с Францией. В то же время ему поручалось уничтожать пиратов и их корабли на всех морях. С этим документом, подписанным самим королем, Кидд и отправился в долгое и опасное плавание.

Согласился ли он на роль капера добровольно или его вынудили обстоятельства? Точно ответить на этот вопрос, пожалуй, нет возможности. Скорее всего его вынудили участники «синдиката». Их вполне устраивал этот опытный моряк и добропорядочный семьянин, у которого в Нью-Йорке остались бы заложниками жена и дочь.

По условиям заключенного втайне соглашения, Кидду и команде причиталась лишь пятая часть добычи, в то время как обычно на каперских судах команда получала половину захваченных трофеев. Надо думать, капитан Кидд уходил в рискованное плавание без особого энтузиазма и надежды на успех. К тому же команда подобралась разношерстная. Среди матросов было немало сомнительных типов. И еще в порту «доброжелатели» говорили капитану о том, что ему будет трудно удержать этот сброд в повиновении.

Поначалу плавание проходило без особых происшествий. Обогнув мыс Доброй Надежды, «Эдвенчэр гэлли» вышла на просторы Индийского океана. Дни шли за днями, но ни пиратов, ни вражеских французских кораблей встретить не удавалось. Не пришлось повстречаться и с Джоном Эйвери. И вообще, что стало с влюбленным пира-

том, осталось загадкой. Ходили слухи, будто он бросил разбойничье ремесло, поселился под чужим именем в Англии и попытался сбыть награбленные драгоценности, связавшись с шайкой мошенников, которые и обобрали его до нитки.

Между тем запасы провианта у Кидда уменьшались, начались болезни, а с ними и недовольство матросов. Но вот наконец на горизонте показался парус. Капер пустился в погоню. К досаде матросов, это оказалось английское судно. Проверив документы, Кидд позволил ему следовать дальше. Решение капитана, однако, пришлось не по душе многим из команды. Особенно возмущался матрос Мур, требовавший захватить и ограбить судно, плывшее под британским флагом. «Нечего быть чересчур разборчивыми,— кричал он,— мы же нищие. Пора набивать карманы добычей». По английским законам это был мятеж. Чтобы он не охватил всю команду, надо было действовать быстро и решительно. Капитан схватил оказавшуюся под рукой бадью, и бунтовщик замертво упал на палубу.

Но семена возмущения, брошенные Муром, вскоре проросли вновь.

Несмотря на то что с тех пор Кидду везло — он повстречал и ограбил немало судов,— матросы продолжали роптать. Их недовольства не унял ни захват двух французских судов, ни удачная встреча с «Кведаг мерчэнт» — большим кораблем с грузом почти на пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Капитан Кидд, можно сказать, с чистой совестью обобрал неприятеля, так как среди захваченных судовых документов были обнаружены французские паспорта. Это означало, что часть груза, а возможно, и все судно принадлежало французам.

К этому моменту стало ясно, что «Эдвенчэр гэлли» нуждается в ремонте. Для этого отправились на Мадагаскар, захватив с собой и два трофейных судна. Здесь и произошли события, в которых до сих пор не все еще ясно. Несомненно одно — команда взбунтовалась, сожгла два из трех судов, после чего присоединилась к пиратскому

капитану Калифорду. С немногими верными матросами и частью добычи в тридцать тысяч фунтов Кидду удалось на «Кведаг мерчэнт» уйти от преследования.

Спустя несколько месяцев потрепанное штормами судно Кидда бросило якорь в гавани одного из островов Карибского моря. Матросы, посланные на берег за пресной водой, вернулись с дурной новостью. Они сообщили, что капитан Кидд объявлен пиратом.

Решив, что произошло недоразумение, уверенный в своей невиновности Кидд поспешил предстать перед губернатором Нью-Йорка, членом «синдиката» Беллемонтом. Правда, на всякий случай накануне визита он закопал на острове Гардинер кое-какие ценности.

Кидд был поражен, когда услышал список своих «преступлений». Он-де грабил всех без разбора и захватил множество кораблей, проявлял бесчеловечную жестокость по отношению к пленникам, скопил и укрыл огромное богатство. Узнал он и о том, что на его розыски были снаряжены военные корабли и что всем матросам, плававшим с ним, кроме него самого, объявили об амнистии. Так родилась легенда о страшном пирате Кидде, на самом деле ничего общего не имеющая с подлинным капитаном.

Дальше события развивались в соответствии с инструкцией, полученной из Лондона. В ней предписывалось «указанного капитана Кидда поместить в тюрьму, заковать в кандалы и запретить свидания...».

Корабль его был конфискован. Но когда в надежде на богатую добычу портовые чиновники спустились в трюм, он оказался пустым. Сокровища исчезли.

В мае 1701 года, после того как Кидда доставили в английскую столицу, состоялся суд, скорый и неправый. Подсудимому отказали даже в праве иметь защитника и выставить свидетелей. Несмотря ни на что, Кидд пытался защищаться, утверждал, что все захваченные им корабли были неприятельскими, на них имелись французские документы. «Где же они?» — спрашивали судьи. Кидд заявил, что передал их Беллемонту. Тот же наотрез отрицал

этот факт. Стало ясно, что бывшие партнеры по «синдикату» предали капитана. Почему? Видимо, опасаясь разоблачения со стороны оппозиции, которая без того усилила нападки на министров тогдашнего правительства за содействие «пиратам».

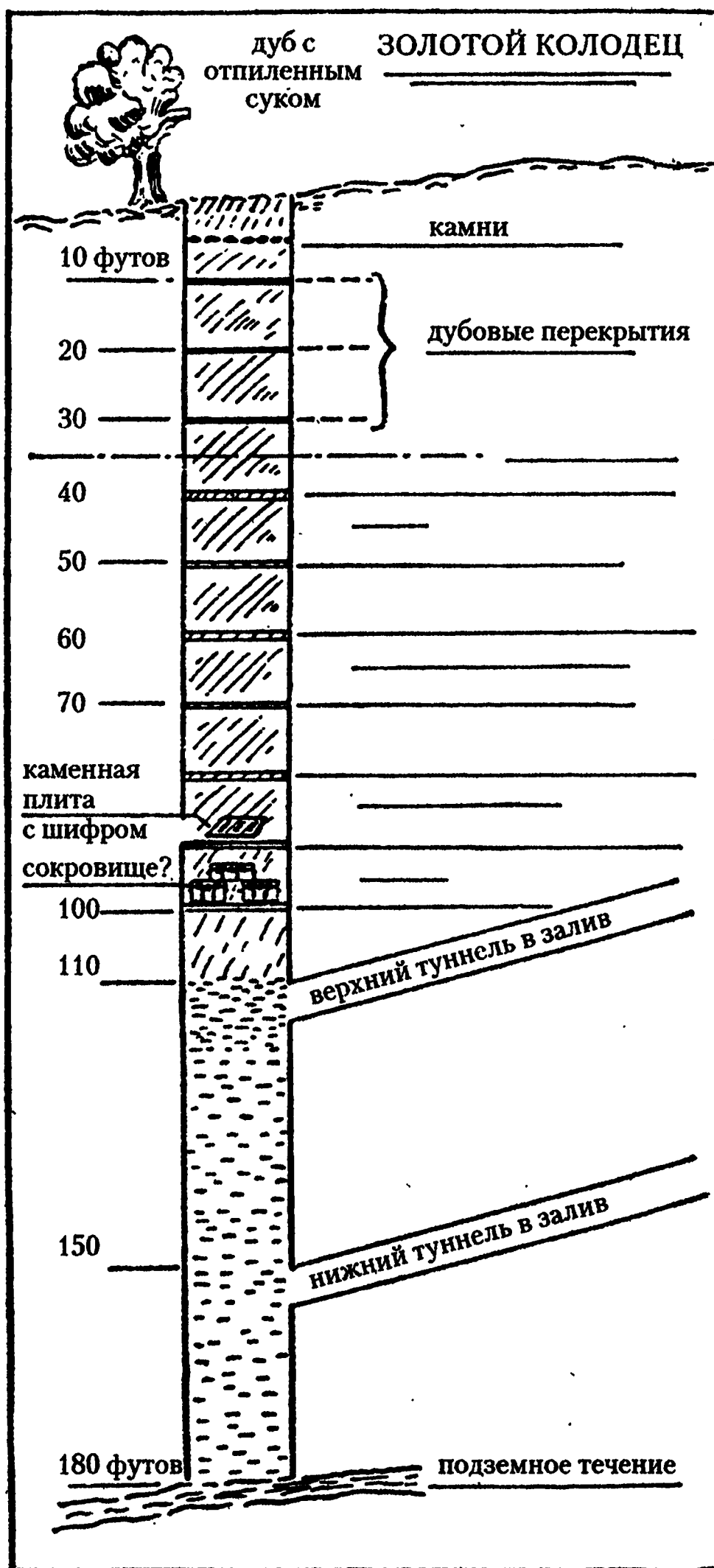
Уильям Кидд так и не признал себя пиратом. Его повесили 23 мая 1701 года. А через два с лишним столетия в архиве были найдены те самые документы, от которых зависела его судьба. Надо полагать, их тогда кто-то специально прятал, в чьи интересы не входило спасти какого-то капитана Кидда.

Злосчастные документы, хотя и с опозданием, нашлись, а сокровища Кидда? Сначала их пытался захватить Беллемонт. Для этого он поспешил допросить матросов с «Кведаг мерчэнт». Но они, узнав об аресте своего капитана, сожгли корабль и скрылись.

С тех пор, порожденный легендой о страшном пирате, образ капитана Кидда вдохновляет писателей, а его призрачные сокровища не дают покоя кладоискателям — мастерам столь же древнего ремесла, как и сам обычай прятать ценности.

Среди легенд о кладе Кидда бытовал и рассказ о том, что он зарыл сокровища на одном из островов у берегов Юго-Восточной Азии. Будто когда сундуки с драгоценностями были надежно спрятаны, Кидд вместе со своим помощником-лейтенантом убил всех матросов, которые помогали ему. После этого трупы убитых были распяты на деревьях таким образом, что правые их руки указывали направление в сторону клада. Не избежал общей печальной участи и лейтенант. Он был убит и распят у самого берега. Тогда-то остров якобы и стали называть Островом скелетов. Что касается клада, то его до сих пор так и не удалось найти, хотя и такие попытки предпринимались неоднократно.

В наши дни поиски сокровищ поставлены на широкую ногу. В Париже, Лондоне и Нью-Йорке даже существуют «международные клубы кладоискателей». Их



Когда обнаружили «золотой колодец», никто не сомневался, что попали на след загадочного клада Кидда

члены, согласно уставу, ищут зарытые или поглощенные морем сокровища. Они фанатически верят в свое счастье и с убежденностью одержимых рыщут по морям и островам, где будто бы, в пучине или в земле, похоронены драгоценности. Нельзя сказать, что кладоискателям абсолютно не везет. Время от времени стражи подземных кладовых вознаграждают их усилия. В 1935 году на острове Ротэн в Гондурасском заливе были найдены пять сундуков, полных золота, видимо зарытых там пиратом Генри Морганом в 1671 году. Несколько раньше, в 1928 году, на острове Плам нашли железный сундук с драгоценностями, принадлежавшими пирату Черная Борода. Считается, что им же было спрятано на островке Амелия у северо-восточного побережья Флориды еще чуть ли не три десятка кладов. К разряду «золотых» относится и островок Мона (между Гаити и Пуэрто-Рико), где в 1939 году нашли клад пирата У. Дженнингса.

ТАЙНА ОУК АЙЛЕНДА

Пожалуй, самой знаменитой находкой был и остается так называемый «золотой колодец», обнаруженный еще в конце XVIII века. Правда, и поныне не удалось поднять на поверхность ни одной золотой монеты из клада, спрятанного, как считают, на дне этого колодца. Тем не менее, когда в 1795 году трое мальчишек на островке у восточного побережья Канады случайно наткнулись у подножия старого дуба на странный колодец, никто не сомневался, что наконец-то найдены следы загадочного клада Кидда. Ведь в то время, по словам Вашингтона Ирвинга, его имя «словно талисман, воскрешало в памяти тысячи необыкновенных историй». Кто-то вспомнил, что Кидд бывал в этих местах и, вполне возможно, спрятал здесь, на одном из забытых клочков земли, свои сокровища.

Между тем на островке, который стали называть Оук айленд (Остров дуба), кладоискатели принялись за дело.

Однако очень скоро стало ясно, что добыть клад не так-то просто. Под дубом с надпиленным суком, на котором мальчишки-первооткрыватели нашли подвешенный старый корабельный блок, была расположена шахта глубиной в тридцать метров. Считается, что на дне этого сооружения, пробиться сквозь которое, скажу сразу, не удалось и по сей день, покоятся сокровища, оцениваемые в десятки миллионов долларов. Многие препятствия преграждают кладоискателям путь к богатству. Щиты из красного канадского дуба, как бы перекрывающие двухметровое жерло шахты, каменные плиты, но главное, затопившая ее вода стоят на страже пиратского золота.

Как оказалось, под островом расположена целая система подземных туннелей и водопроводных каналов. Побуждаемые жадностью, желанием поскорее добраться до золота, кладоискатели разрушили эту систему. Тогда-то вода и затопила и «золотой колодец», и ведущие к нему подземные туннели.

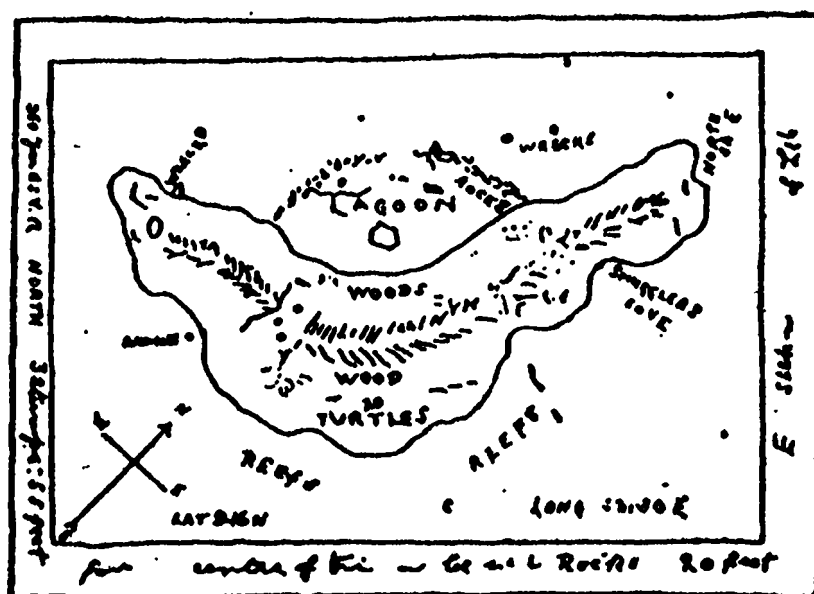
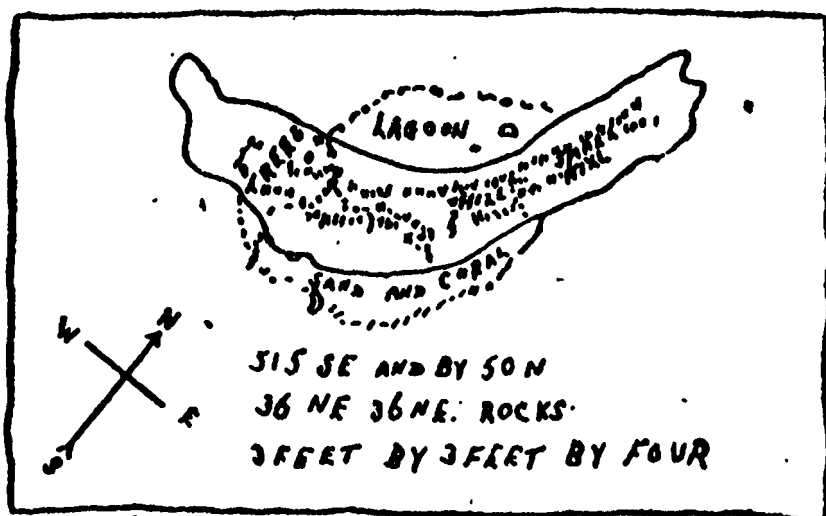
Единоличные усилия первых, посвященных в тайну открытия кладоискателей ни к чему не привели, хотя попытки пробиться к сокровищу предпринимались постоянно с тех пор, как были обнаружены его следы. С середины прошлого века тайна «золотого колодца» перестала быть достоянием одиночек. Об острове стали широко писать газеты. Сообщения журналистов подлили масла в огонь. Одна за другой создавались компании по извлечению богатств: «Сокровища острова Оук», «Оук Эльдорадо», «Компания Галифакс», «Тритон эллайнс лимитед».

С упорством, достойным лучшего применения, на поиски пиратского золота пускались одержимые манией разбогатеть. Компании организовывали специальные экспедиции, надеясь с помощью новейших научных методов и современной землеройной техники добраться до спрятанного золота.

Среди тех, кто пытался проникнуть в секрет колодца, был, в частности, Франклин Рузвельт. Еще молодым человеком будущий президент США с этой целью побывал на

острове. Но объединенные усилия людей и капиталов не давали ощутимых результатов. Тайна «золотого колодца» оставалась неразгаданной. И даже в наши дни, спустя почти двести лет после того, как было обнаружено удивительное сооружение и начаты раскопки, кладоискатели тщетно пытаются извлечь из земли острова Оук несметные сокровища пирата Кидда.

Впрочем, верно ли, что легендарный пират зарыл свое золото именно здесь, на Оук айленде? Есть ли какие-либо подтверждения этого? Сторонники того, что на дне «золотого колодца» покоятся сундуки с драгоценностями Кидда, накопили за многие годы немало вещественных свидетельств. Они безапелляционно отвергают любые другие версии. Скажем, что на Оук спрятано золото инков, вывезенное из Перу, что там покоятся (были и такие суждения) драгоценности казненной французской королевы Марии Антуанетты или что «колодец» — своего рода коммунальный банк пиратов, куда вносил пай каждый из капитанов флибустьеров. Существует и такое предположение, что на Оук спрятали здесь свои несметные сокровища — золото, бриллианты, произведения искусства английские монахи из аббатства при соборе Сент-Эндрю, после того как парламент ликвидировал монастыри, а имущество их было конфисковано в 1560 году.



На Острове дуба кладоискатели
принялись за дело

Какие же доводы приводят в пользу того, что в «золотом колодце» сокрыт клад Кидда? Для начала сторонники этой версии познакомят вас с некоторыми денежными расчетами. Напомнят, что в ночь перед казнью Кидд в надежде купить себе жизнь признался, будто он обладает огромной суммой в несколько сотен тысяч фунтов. Но ведь из них всего лишь четырнадцать тысяч были найдены после его смерти на острове Гардинер. Где же остальное золото? Не следует ли из этого, что Кидд зарыл свое сокровище на острове Оук задолго до того, как стал капером. А это значит, что, прежде чем отправиться в плавание на «Эдвенчэр гэлли», он уже был самым настоящим пиратом и владел несметными богатствами.

Но что свидетельствует в пользу того, что на Оук айленде зарыто именно его, Кидда, золото? Как что! А карты, найденные в потайном отделении сундука?

Действительно, в начале тридцатых годов нашего столетия некий коллекционер Палмер, собирающий пиратские реликвии, приобрел сундук с надписью: «Уильям и Сарра Кидд, их сундук». В секретном отделении оказались четыре старинные карты с изображением какого-то острова и загадочными цифрами. По очертаниям рисунок казался похожим на остров Оук.

Газеты и журналы под заголовками «Тайна сокровища капитана Кидда» публиковали статьи, описывающие сенсационную находку. Не было недостатка и в охотниках расшифровать загадочные надписи на обнаруженных картах. И все чаще остров Оук стали называть островом Кидда.

От журналистов решил не отставать Гарольд Уилкинс, быстро состряпавший в 1935 году книжонку «Капитан Кидд и его Остров скелетов». В ней он приводил зашифрованную карту Кидда, якобы подлинную, на самом же деле ничего общего не имеющую с найденными в сундуке. Как ни странно, многие этот вымысел приняли за вполне достоверное свидетельство. Находили также, что шифр напоминает описанный в новелле «Золотой жук» Эдгаром По,

который, кстати говоря, использовал в ней слышанные им в молодости легенды о шифре, с помощью которого можно отыскать клад пирата Черная Птица.

Однако что бы ни говорили сторонники версии клада Кидда на острове Оук, какие бы доводы они ни приводили, только раскопки «золотого колодца» могут поставить точку во всей этой таинственной истории.

Не так давно одному из охотников за золотом Кидда, можно сказать, повезло. Некий Д. Бленкеншип оказался более удачливым, чем многочисленные его предшественники (некоторые из них погибли в шахте, не говоря о тех, кто разорился). Ему удалось с помощью телекамеры, опущенной на большую глубину, увидеть в «золотом колодце» что-то вроде большого ящика, установленного посередине какого-то помещения. Возможно, это и есть сокровище? Во всяком случае, в 1972 году Бленкеншип заявил, что в скором времени поразит мир своим открытием. Пока же несметные богатства земли острова Оук продолжают дразнить воображение кладоискателей.

Помимо легенды о золоте Кидда существуют и другие загадки о неразысканных пиратских кладах, зарытых на островах Карибского моря, Тихого океана, у берегов Африки и даже далекой Австралии, где на одном из островков под названием Григан зарыт пиратский клад, который тщетно разыскивают уже многие годы. Желаящие могут убедиться в этом, раскрыв «Атлас сокровищ», дважды изданный в 1952 и 1957 годах в Нью-Йорке. В этом своеобразном пособии для неуемных кладоискателей к их услугам описание более трех тысяч кладов, покоящихся в пучине морской и на суше. Есть на страницах этого «путеводителя» для одержимых мечтой разбогатеть и карта острова Кокос.

Этот клочок суши у побережья Коста-Рики пользуется особой популярностью кладоискателей. Здесь побывало пятьсот экспедиций, на которые были затрачены миллионы. Но считалось, что Кокос — «остров сокровищ» — с лихвой компенсирует эти затраты. Еще бы, ведь в земле

его зарыли свои богатства несколько знаменитых флибустьеров, превратив остров в своеобразный «пиратский сейф».

Первым облюбовал это местечко и превратил в свою базу знаменитый корсар и мореход Уильям Дампьер. Здесь же покоятся и захваченные им во время пиратских рейдов драгоценности.

В недрах острова Кокос запрятал награбленное золото и бывший английский капитан Александр Грехем, ставший морским разбойником и известный под кличкой Пират Бенито. Этот джентльмен удачи, отличавшийся особой жестокостью, за что его прозвали Кровавый Меч, захватил однажды испанский галион с золотом на сумму в тридцать миллионов долларов. Бочки с монетами и сундук с драгоценностями он спрятал в подземной пещере на берегу бухты Уэйфер. Вскоре, однако, удача отвернулась от Бенито, его повесили на рее. Тайну клада он так и унес с собой в могилу.

Третий клад, зарытый на острове Кокос — самый, пожалуй, крупный из всех, — связан с именем Скота Томпсона. Испанцы, захватив в плен того пирата, тщетно пытались вырвать у него тайну клада. Даже под пытками он хранил молчание. Случайно оказавшись на свободе, Скот Томпсон перебрался в Канаду, где жил, собирая деньги для экспедиции на Кокос. Но осуществить ее так и не успел. Умирая, он передал карту острова с отметкой о кладе одному капитану. Тому удалось добраться до заветного острова, но воспользоваться сокровищем не пришлось — команда, узнав о цели экспедиции, потребовала разделить золото. Скарденый капитан предпочел бегство. Вновь посетить остров он так и не сумел — смерть настигла и его.

С той поры многие кладоискатели бывали на Кокосе, влекомые призрачной надеждой разбогатеть. Одними из последних, в 1962 году, сюда предприняли экспедицию три француза — журналист Жан Портель, писатель Клод Шарлье и спелеолог Робер Верн. Но и их постигла жестокая неудача — двое из них погибли, как погибали многие

до этого. Остров Кокос, как и Остров дуба, не пожелал расстаться со своей тайной.

ПОД ЧЕРНЫМ ФЛАГОМ

Легенда о кладе капитана Кидда направила воображение Стивенсона. Однако в рукописи, которая создавалась им в ненастные дни уходящего лета, имя Кидда лишь упоминается два-три раза. Говорится о том, что он в свое время заходил на остров, куда держит путь «Испаньола». Но хотя только и упомянутое, имя его вызывало у читателя ассоциации с пиратскими подвигами и зарытыми на острове таинственными сокровищами. Точно так же, как и рассказы Джона Сильвера — сподвижника Флинта и других действительно существовавших джентльменов удачи привносят в повествование особую достоверность. Историко-бытовому и географическому фону Стивенсон придавал немалое значение, стремясь свой вымысел представить в виде подлинного события.

Какие же еще реальные факты стоят за страницами книги Стивенсона? Что помогало ему сделать вымысел правдоподобным, укоренив его в реальности?

Помимо книг о пиратах, Стивенсон интересовался жизнью знаменитых английских флотоводцев. И незадолго до того, как приступить к своему роману, он написал довольно большой очерк «Английские адмиралы», который был опубликован в 1878 году в журнале «Корнхилл мэгэзин», а спустя три года, в апреле 1881 года, частично в «Вирджинибус пьюериск». В этом очерке речь шла о таких «морских львах», как Дрейк, Рук, Босковен, Родни. Упоминает Стивенсон и адмирала Эдварда Хоука. Того самого «бессмертного Хоука», под начальством которого якобы служил одноногий Джон Сильвер — едва ли не самый колоритный и яркий из всех персонажей «Острова сокровищ». По его словам, он лишился ноги в 1747 году в битве, которую выиграл Хоук. В этом же сражении другой пират,

Пью, «потерял свои иллюминаторы», то есть зрение. Однако, как выясняется, все это сплошная неправда. Свои увечья и долговязый Джон Сильвер, и Пью получили, совершая иные «подвиги». В то время, когда они занимались разбойничьим промыслом и плавали под черным стягом знаменитых капитанов Ингленда, Флинта и Робертса.

Кстати сказать, имена пиратов, которые действуют в романе Стивенсона, в большинстве своем подлинные, они принадлежали реальным лицам. Так, второй боцман на «Испаньоле» Израэль Хендс в свое время был канониром у пирата Черная Борода и участвовал в бунте против капитана, поплатившись за это ранением. Томас Тью, или Дью, английский пират, превратился в Пью, которого затоптали насмерть у трактира «Адмирал Бенбоу» и который был вызван к жизни и снова умер в пьесе «Адмирал Гвинеи», написанной У. Хенли, другом Стивенсона. Столь же реален и Дарби Макгроу, которого призывает голос «синерожего пьяницы» Флинта, — матрос, на чьих руках он умер, опившись рома.

Небезынтересно и такое совпадение: свою рукопись Стивенсон вначале подписал «Джордж Норт» — именем подлинного капитана пиратов. Начиная свою карьеру этот флибустьер корабельным коком на капере, потом был, как и Джон Сильвер, квартирмейстером, а затем уже главарем разбойников. Когда его судно на пути к Мадагаскару перевернулось, погибли все, кроме него и негритянки, которую он спас, позже женившись на ней, как был женат на негритянке и Джон Сильвер. Впрочем, возможно, имя «Джордж Норт» под рукописью Стивенсона — это всего лишь намек на его северное, шотландское происхождение.

Рассказывая, сколько повидал на своем веку попугай по кличке «Капитан Флинт», Джон Сильвер в сущности пересказывает свою биографию: плавал с прославленным Инглендом, бывал на Мадагаскаре, у Малабарского берега Индии, в Суринаме, бороздил воды Испанского моря, вы-

саживался на Провиденсе, в Порто-Белло. Наконец, разбойничал в компании Флинта — самого кровожадного из пиратов. Его корабль «Морж», говорит Долговязый Джон, был насквозь пропитан кровью, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. Почему Флинту так долго везло в пиратском промысле? Потому, что он ни при каких обстоятельствах не менял названия своего «Моржа». В этом, по мнению Долговязого Джона, главный залог успеха. Этому правилу твердо следовал и Ингленд, плававший на «Кассандре». Тот, кто осмеливался изменить поверью, рано или поздно становился добычей рыб. Именно поэтому погибли Робертс и его люди. А ведь сначала дела Бартоломео Робертса шли как нельзя лучше. На его счету, с тех пор как он примкнул к пиратам и стал их главарем, было свыше четырехсот судов. Долгое время этот, как его прозвали, «благочестивый пират» (он пил только чай, запретил азартные игры в карты и кости, не разрешал приводить на корабль женщин) разбойничал на морских путях у Антильских островов и отличался привычкой переименовывать свои корабли: «Жемчуг» на «Королевский Джемс», «Веселое Рождество» на «Фантазию», «Питербороу» на «Победу». Это, считал суеверный Джон Сильвер, и погубило Робертса. Англичанам и испанцам надоели его бесчинства. Обеспокоенные ущербом, который он наносил торговым судам, они решили действовать против него совместно. Тогда «Ройял форчун» — «Королевское счастье» (очередное название корабля «благочестивого пирата») покинул район, где ранее он орудовал, и объявился сначала у берегов Канады, а затем около Африки, в Гвинейском заливе. Здесь в феврале 1722 года его и ждало возмездие. В ожесточенном сражении с английским фрегатом, настигшим судно Робертса, пираты потерпели поражение. Не спасли их ни храбрость, с которой они сражались, ни мужество командира. Во время боя Робертс смело приказал плыть прямо на неприятеля, на ходу паля в него из всех пушек. Это было отчаяние смертников. Робертс был сражен осколком ядра. Большинство

же его соратников попали в плен. Всех их до единого повесили на мысе Кост-Касл, на Золотом Берегу.

Среди казненных оказался и ученый хирург, который когда-то ампутировал ногу и Джону Сильверу. (Не тот ли это второй доктор, о котором автор сообщал У. Хенли в письме, написанном в первые дни работы над рукописью? Видимо, этот второй доктор по первоначальному замыслу должен был бы играть в романе более заметную роль.) Правда, Стивенсон не назвал имени этого хирурга, который «учился в колледже и знал всю латынь наизусть». А между тем у него был реальный прототип — Питер Скадемор из Бристоля. Он плавал на судне «Мерси» и был захвачен Робертсом, как был пленен Джоном Эйвери корабельный врач Уильям Уолтерс (факт, использованный Д. Дефо в романе о приключениях капитана Сингльтона), да и сам А.-О. Эксквемелин был хирургом и, видимо, оставался в этом качестве на службе у морских разбойников.

Обычно, попав в плен, доктор — специалист, столь же необходимый пиратам, сколь и уважаемый ими, — не подписывал с ними никакого договора об оказании им помощи. Тем не менее и в этом случае согласно «шасси-парти», то есть соглашения о разделе добычи, предусматривалась «доля лекаря». Причем на аптеку хирургу выделяли из добычи особые деньги. О значении доктора говорят пункты того же соглашения. Так, скажем, пирату, потерявшему какую-либо конечность, за получение увечья — ампутацию ноги или руки — полагалась своего рода страховка. За потерю левой ноги причиталось четыреста реалов и четыре раба. (Не такую ли компенсацию получил и Джон Сильвер за свою ногу?) Правая «стоила» дороже: пятьсот реалов и пять рабов.

Врач, который отказывался подписывать договор с пиратами, оставлял себе возможность избежать виселицы. Считалось, что помощь, которую он оказывал преступникам, — это его долг, так сказать, дело профессиональной этики. Собственно, так и поступает в романе Ливси, заяв-

ляя Джону Сильверу, что как доктор он должен лечить раненых, тем самым помогая мятежникам, несмотря на то что его жизнь подвергается опасности.

Что касается хирурга Питера Скадемора, то он не только не отказался подписать договор с пиратами, но и хвастался тем, что первым из своих коллег пошел на это. В своем письме к судьям он, однако, пытался оправдаться, объяснял, что перешел к пиратам с целью образумить разбойников и отнюдь «не желая быть повешенным и сущиться на солнышке». Слова эти повторяет и одноногий Джон Сильвер в конце своего рассказа о судьбе ученого хирурга.

Откуда Стивенсон мог узнать о примкнувшем к пиратам враче Питере Скадеморе? Да все из той же книги Ч. Джонсона, где приводится его история. Естественно задать вопрос: не отсюда ли перешел к Стивенсону и сам одноногий Джон Сильвер?

Исследователь творчества писателя Гарольд Ф. Уотсон не сомневается в этом. Он напоминает, что Джонсон в своем сочинении рассказывает о многих пиратах с одной ногой. В том числе о Джемсе Скирме, потерявшем ногу в последнем сражении Робертса (и отказавшемся покинуть судно, когда уже не осталось никаких шансов на победу), о голландце Корнелио по прозвищу Деревянная Нога или о Джоне Уолдоне, также лишившемся ноги в бою. Стоит напомнить, что и адмирал Бенбоу, именем которого назван трактир, где начинается действие романа, был одноногим моряком.

Наконец, имелся еще один прототип у Долговязого Джона. На него указал сам автор. В письме, датированном маем 1883 года, Стивенсон писал: «Я должен признаться. На меня такое впечатление произвели ваша сила и уверенность, что именно они породили Джона Сильвера в «Острове сокровищ». Конечно,— продолжал писатель,— он не обладает всеми теми достоинствами, которыми обладаете вы, но сама идея покалеченного человека была взята целиком у вас».

Кому было адресовано это письмо? Самому близкому другу писателя, одноногому Уолтеру Хенли, рыжебородому весельчаку и балагуру.

Не так просто было автору решиться вывести лучшего приятеля в образе велеречивого и опасного авантюриста. Конечно, это могло доставить автору несколько забавных минут: изловчиться и показать своего друга, которого очень любил и уважал, откинув его утонченность и многие другие достоинства, ничего не оставив, кроме силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и наделить этими чертами неотесанного морехода. Однако можно ли, продолжал спрашивать самого себя Стивенсон, вставить хорошо знакомого ему человека в книгу? И сам же отвечает, что это весьма распространенный способ «создания образа».

ПИНОС ИЛИ РУМ?

Который день «Испаньола» продолжала на всех парусах и при попутном ветре свое плавание.

...снасти были новы, и ткань крепка была,
и шхуна, как живая, навстречу ветру шла...

За пятнадцать дней было написано пятнадцать глав. Стивенсон писал по выработанной привычке, лежа в постели, и, едва поднявшись с нее, писал, несмотря на вечное недомогание, надрываясь от кашля, чувствуя, что голова кружится от слабости. Это походило на поединок и на подвиг — творчеством преодолевать недуг. Тем горше было думать, что и в этот раз его ждет поражение и что новую книгу опять не заметят. Неужто череда неудач так и будет преследовать его, ставшего уже главой семейства, успевшего лишиться здоровья, но не умеющего заработать и двухсот фунтов в год? Не об этом ли думает Стивенсон на фотографии, сделанной Ллойдом?

Писатель сидит за рабочим столом, плечи укрыты старым шотландским пледом — в доме сыро и зябко. На минуту, оторвав перо от листа бумаги, он задумался. Взгляд певца приключений и дальних дорог смотрит мимо нас. Может быть, перед ним возникают картины воспоминаний? И думает он вовсе не о своей писательской судьбе, а о лодочных прогулках в открытом море, о плавании на яхте в океане, о походах под парусами по бурному Ирландскому морю. В голубой дымке он видит очертания холмов солнечной Калифорнии, где не так давно побывал, золотистые, стройные, как свечи, сосны, буйную тропическую зелень и розовые лагуны. Он любил странствования и считал, что путешествия — один из величайших соблазнов мира. Увы, чаще ему приходилось совершать их в своем воображении.

Вот и сейчас вместе со своими героями он плывет к далекому острову, на котором, собственно, никогда и не был. Впрочем, так ли это? Верно ли, что и сам остров, и его природа — лишь плод фантазии писателя?

Если говорить о ландшафте Острова сокровищ, то нетрудно заметить общее у него с калифорнийскими пейзажами. По крайней мере такое сходство находит мисс Анна Р. Исслер. Она провела на этот счет целое исследование и пришла к выводу, что Стивенсон использовал знакомый ему пейзаж Калифорнии при описании природы своего острова, привнеся тем самым на страницы вымысла личные впечатления, накопленные им во время скитаний. А сам остров? Существовал ли его географический прототип?

Когда автор в «доме покойной мисс Макгрегор» читал главы своей повести об отважных путешественниках и свирепых пиратах, отправившихся в поисках клада к неизвестной земле, вряд ли он точно мог определить координаты Острова сокровищ. Возможно, поэтому мы знаем все об острове, кроме его точного географического положения. «Указывать, где лежит этот остров,— говорит Джим, от имени которого ведется рассказ,— в настоящее

время еще невозможно, так как и теперь там хранятся сокровища, которых мы не вывезли оттуда». Эти слова как бы объясняли отсутствие точного адреса, но отнюдь не убавили охоты некоторых особенно доверчивых читателей отыскать «засекреченный» писателем остров с сокровищами.

По описанию это тропический оазис среди бушующих волн. Но где именно? В каком месте находился экзотический остров — мечта старого морского волка Билли Бонса, одноногого Джона Сильвера, отважного Джима Хокинса и благородного доктора Ливси? Книга ответа на это не дает. Однако, как утверждает молва, Стивенсон изобразил вполне реальную землю. Писатель якобы имел в виду небольшой остров Пинос. Расположенный южнее Кубы, он был открыт Колумбом в 1494 году в чи-



Старинная карта, на которой изображен о. Пинос,
расположенный южнее Кубы

сле других клочков земли, разбросанных по Карибскому морю. Здешние острова с тех давних времен служили прибежищем пиратов: Тортуга, Санта-Каталина (Провиденс), Ямайка, Испаньола (Гаити), Невис. Не последнее место в числе этих опорных пиратских баз занимал и Пинос. В его удобной и скрытой гавани можно было спокойно подлатать судно, залечить раны, полученные в абордажных схватках, запастись пресной водой и мясом одичавших коз и свиней. Тут же, вдали от посторонних глаз, обычно делили добычу, о чем свидетельствует в своей книге А.-О. Эксквемелин. И нетрудно представить, что часть награбленных ценностей оседала в укромных уголках острова.

Пинос видел каравеллы Френсиса Дрейка и Генри Моргана, Рока Бразильца и Ван-Хорна, Бартоломео Португальца и Пьера Француза и многих других джентльменов удачи. Отсюда чернознаменные корабли выходили на охоту за галионами испанского «золотого флота», перевозившего в Европу золото и серебро Америки. Флаг с изображением черепа и костей господствовал на морских путях, пересекающих Карибское море, наводил ужас на торговых моряков, заставлял трепетать пассажиров.

Словно хищники, покинувшие свое логово, легкие и быстрые одномачтовые арки и двухмачтовые бригантины и корветы пиратов преследовали неповоротливые и тихоходные громадины галионы. Стоило одной из таких посудин с командой до четырехсот человек отбиться от флотилии, как, казалось, неуязвимый для пушечных ядер корабль (их строили из очень прочного филиппинского тика и дерева молаве) легко доставался пиратам. Трудно было противостоять отчаянным головорезам, идущим на абордаж. Добыча оправдывала такой риск. Не тогда ли и выучился попугай Джона Сильвера кричать «Пиастры! Пиастры!», когда на его глазах пиратам сразу достались, шутка сказать, триста пятьдесят тысяч золотых монет?! Со временем в руках пиратов, особенно

главарей, скапливались огромные богатства. Вложить их в банк они, естественно, не смели, возить с собой тоже было рискованно. Вот и приходилось прятать сокровища в земле Острова дуба, на Кокосе, в недрах Ротэна и Плама, Мона и Амелии. Вполне возможно, что зарыты они и на Пиносе, куда заходили самые знаменитые из рыцарей легкой наживы. Вот почему издавна остров этот, словно магнит, притягивает кладоискателей. Точно, однако, неизвестно о находках в его земле. Зато из прибрежных вод подняли немало золотых слитков и монет с затонувших когда-то здесь испанских галионов. Считается, что на дне около Пиноса все еще покоится примерно пятнадцать миллионов долларов.

Сегодня на Пиносе в устье небольшой речушки Маль-Паис можно увидеть, как уверяют, останки шхуны, весьма будто бы похожей на ту, которую описал Стивенсон. Корабельный остов, поросший тропическим кустарником, — это, можно сказать, один из экспонатов на открытом воздухе здешнего, причем единственного в мире, музея, посвященного истории пиратства.

Впрочем, слава Пиноса как географического прототипа стивенсоновского Острова сокровищ оспаривается другим островом. Это право утверждает за собой Рум — один из островков архипелага Лоос, по другую сторону Атлантики, у берегов Африки, около гвинейской столицы. В старину и здесь базировались пираты, кренговали и смолили свои разбойничьи корабли, пережидали преследование, пополняли запасы провианта. Пираты, рассказывают гвинейцы, наведывались сюда еще сравнительно недавно. В конце прошлого века здесь повесили одного из последних знаменитых флибустьеров.

Сведения о Руме проникли в Европу и вдохновили Стивенсона. Он-де довольно точно описал остров в своей книге, правда, перенес его в другое место океана, утверждают жители Рума.

А как же сокровища, спрятанные морскими разбойниками? Их искали, но также безрезультатно. Да ценность

острова Рум состоит отнюдь не в сомнительных кладах. Сегодня это туристический центр, место отдыха для гвинейцев и зарубежных гостей.

Вера в то, что Стивенсон описал подлинный остров (а значит, подлинно и все остальное), со временем породила легенду. Сразу же, едва распродали 5600 экземпляров первого издания «Острова сокровищ», прошел слух, что в книге рассказано о реальных событиях. Естественная, умная достоверность вымышленного сюжета действительно выглядит как реальность, ибо известно, что «никогда писатель не выдумывает ничего более прекрасного, чем правда».

Уверовав в легенду, читатели, и прежде всего всякого рода искатели приключений, начали буквально одолевать автора просьбами. Они умоляли, требовали сообщить им истинные координаты острова — ведь там еще оставалась часть невывезенных сокровищ. О том, что и остров, и герои — плод воображения, не желали и слышать.

— Разве можно было все эти приключения придумать из головы? — удивлялись одни.

— Откуда такая осведомленность? — вопрошали другие и сами же отвечали: — Несомненно, автор являлся непосредственным участником поисков сокровищ.

— Уж не был ли Стивенсон пиратом?

— Да что и говорить, не иначе как лично причастен к морскому разбою.

Так «легенда о Стивенсоне» превратилась в «дело Стивенсона». Отголоски той сенсации нет-нет да и дают о себе знать и сегодня.

В наши дни миф о «темном прошлом» Стивенсона попытался возродить некий Роберт Чейзл. Этот «литературовед» заявил, что Стивенсон отнюдь не то лицо, за которое он выдает себя в опубликованных письмах и дневниках, он — «фигура загадочная, даже зловещая на небосклоне европейской литературы». Свое заявление автор подтверждает «фактами», якобы разоблачающими «вторую жизнь» писателя.

На вопрос, откуда Стивенсон так хорошо был осведомлен о пиратах, Чейзл не задумываясь отвечает: из личного опыта. Свое первое знакомство с морскими разбойниками он свел году этак в 1876-м в Марселе. Здесь прошел первую школу на контрабандном катере, научился владеть навигационными приборами. Здесь же и принял посвящение, своеобразный обряд, который «навек» соединил его с тайным и грязным миром.

Однако вопреки обещанию Чейзл не приводит ни одного документа, факта, подтверждающего измышления. Его рассуждения — плод чистой фантазии. В этом же духе продолжает он громоздить один вымысел на другой.

Еще в конце семидесятых годов Стивенсон будто бы оказался на пиратском бриге капитана Файланта, напоминающего «негодяя и знаменитого пирата по имени Тийч» из его романа «Владелец Баллантрэ». Как и в этом романе, на судне происходит бунт. Во главе мятежных матросов — Стивенсон. Захватив власть, он несколько месяцев плавает в районе Антильских островов и Юкатана, занимаясь пиратским промыслом. Матросы беспрекословно подчиняются Джеффри Бонсу, как теперь себя называет Стивенсон.

Случайно от Файланта он узнает о том, что на островке в устье реки Ориноко он, Файлант, плавая под флагом известного Дика Бенна, вместе с ним зарыл сокровища на сумму более миллиона долларов.

Известие это меняет все планы Стивенсона. С несколькими единомышленниками он бежит с судна, прихватив карту с координатами острова, как вскоре выяснилось — ложными координатами. С этого момента началась для Стивенсона полоса неудач. Его спутники, после того как под означенными координатами ничего не обнаружили, решили, что «Джеффри Бонс» их обманывает, замышляя сам захватить всю добычу. Пришлось бежать. С невероятными трудностями Стивенсон добрался до цивилизованной земли ...и начал обычную, известную всем его биографам жизнь. Однако с тех пор он постоянно страшился

преследований со стороны бывших дружков, особенно одного из них — одноногого Хуана Сильвестро, капитана пиратского судна «Конкорд». Между будущим писателем и этим капитаном существовала тайная переписка. Якобы расшифровав ее, Чейзл и поведал миру о своем «открытии».

Надо ли говорить, что эти выдумки Чейзла ничего общего не имеют с истиной и рассчитаны лишь на дешевую сенсацию?..

СУНДУК МЕРТВЕЦА

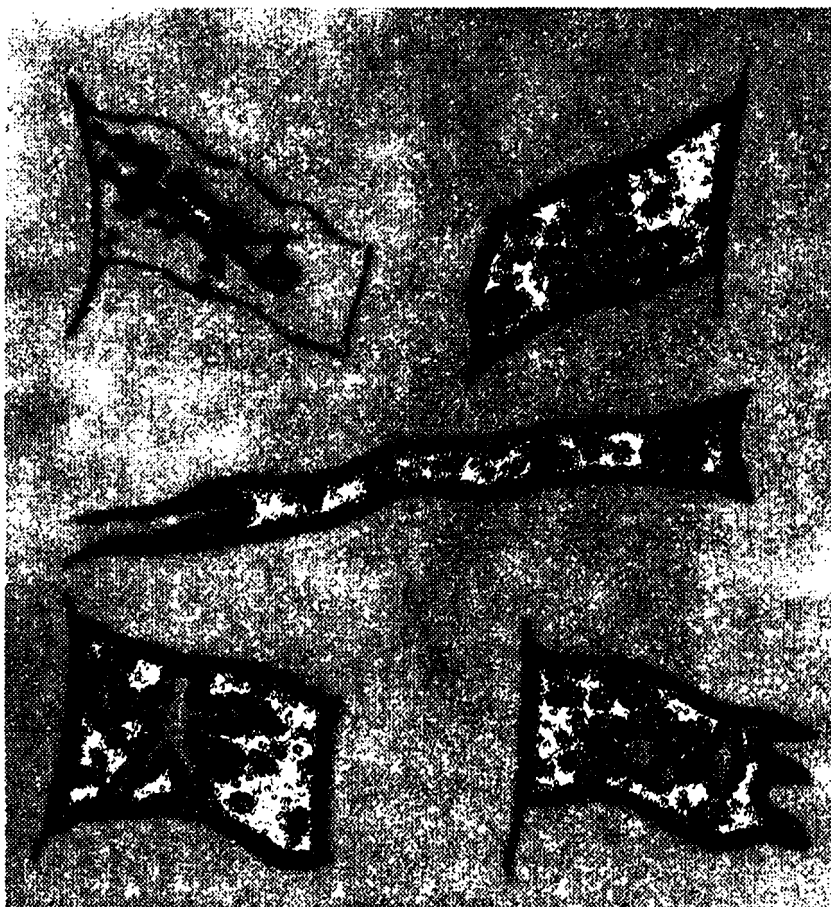
Как-то однажды под вечер стены тихого бремерского дома огласились криками. Заглянув в гостиную, Фэнни улыбнулась: трое мужчин, наряженные в какие-то невероятные костюмы, возбужденные, с видом заправских матросов горланили пиратскую песню:

Пятнадцать человек на Сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!..

При взгляде на то, что творилось в комнате, нетрудно было понять, что наступил тот кульминационный момент, когда литературная игра приняла, можно сказать, материальное воплощение.

Посреди гостиной стулья, поставленные полукругом, обозначали что-то вроде фальшборта. На носу — бушприт и полный ветра бом-кливер, сооруженные из палки от швабры и старой простыни. Раздобытое в каретном сарае колесо превратилось в руль, а медная пепельница — в компас. Из свернутых трубой листов бумаги получились прекрасные пушки — они грозно смотрели из-за борта. Не ясно только было, откуда взялась «старая пиратская песня», известная лишь команде Флинта.

В самом деле, что за «сундук мертвеца»? Тот самый матросский сундук, как думал поначалу Джим Хокинс, который



*Черный флаг господствовал
на Карибском море*

принадлежал Билли Бонсу и где он хранил драгоценную карту?

Сундук мертвеца — небольшой остров на пути к Пуэрто-Рико. Название этого острова Стивенсон встретил в книге «Наконец», принадлежавшей Ч. Кингсли — писателю, также оказавшему на него, как он сам отметил, некоторое влияние. Подобное объяснение происхождения двух загадочных слов песни — «Сундук

мертвеца» можно найти и в английской «Книге морских песен», изданной в 1945 году. А это значит, что «старая пиратская песня» была сочинена самим автором романа и никакого отношения к людям Флинта не имеет. Но все это оставалось неизвестным двум из трех участников игры. Ллойд и сэр Томас были уверены, что поют настоящую пиратскую песню. Стивенсон, лукаво улыбаясь, подтягивал им. Зачем разрушать иллюзию, пусть хоть песня будет подлинной.

Никто не спорил, когда распределяли роли. Ллойд с полным основанием исполнял обязанности юнги, сэр Томас, нацепив шляпу и перевязав глаз черной лентой, стал похож на Долговязого Джона, на долю же Луиса выпало поочередно изображать остальных персонажей своей книги.

И все же без дебатов не обошлось. Увлеченные игрой в путешествие «Испаньолы» и приключениями ее экипажа, они яростно спорили о нравах и обычаях пиратов, их жаргоне и вооружении. Нетрудно было заметить, что все они,

в том числе и Стивенсон, находились в состоянии чуть ли не восторженного отношения к морским разбойникам. С той лишь разницей, что если Ллойд отдавал предпочтение «благочестивому» Робертсу, считая его незаурядным мореходом, то старому Стивенсону был больше по душе Генри Морган, хотя и безжалостный головорез, но тем не менее отважно сражавшийся с испанцами, смельчак из породы настоящих «морских львов», благодаря которым Англия и стала владычицей морей.

Двое взрослых мужчин и мальчик всерьез обсуждали преимущества абордажного багра перед топором и копьем. Или, скажем, каков должен быть запас пороха для двенадцатифунтовой пушки, где лучше хранить мушкетные заряды, фитили и ручные гранаты. Спорили и по поводу изображений на «веселом Роджере». Один считал, что чаще всего на пиратском флаге устрашающе красовались череп и кости. Другой доказывал, что столь же часто на черных стягах встречались человек с саблей в руке (полагай, морской разбойник), трезубец или дракон, песочные часы — напоминание о быстротекущей жизни (а проще говоря: лови момент), иногда, не мудрствуя лукаво, просто писали слово «фортуна». Те же изображения выбирали для татуировки, а в качестве амулетов суеверные пираты использовали ракушки и кусочки дерева. А какие напитки предпочитали они: ром или арак, пальмовое вино или смесь из морской воды и пороха? Это тоже являлось предметом обсуждения.

Одним словом, Стивенсон жил в мире героев рождавшейся книги, и можно предположить, что ему не раз казалось, будто он и в самом деле один из них. В этом сказывалось его вечное стремление к лицедейству, жившее в нем актерство. Многие отмечают эту особенность писателя — соответственно нарядившись, исполнять перед самим собой ту или иную роль. Здесь Стивенсон выступал как бы последователем теории творчества своего любимого Кольриджа: поэт должен уметь вживаться в чужое сознание и полностью перевоплощаться в своего

героя. Но ведь такая способность художника разменивать свою душу на множество других приносит и великое счастье, и великую боль. Разве Бальзак умер не оттого, что был замучен поступками своих вымышленных героев? А Флобер? Больше всего он боялся «заразиться взаправду» переживаниями своих персонажей, испытывая в то же время огромное наслаждение «претворяться в изображаемые существа». Точно так же Э.-Т.-А. Гофман, когда творил образы своих фантазий и ему становилось страшно, просил жену не оставлять его одного. Над порожденными собственным воображением героями обливался слезами Ч. Диккенс, мучился Г. Гейне и страдал Ф. Достоевский. Они были, как того требовал от писателя Л. Фейхтвангер, актерами в самом подлинном смысле этого слова и заключали в себе жизнь каждого и всякого.

Думая о них, мы видим этих исполинов в окружении огромной и пестрой толпы порожденных ими образов. Великие и ничтожные, богатые и нищие, знатные и бедные — они обступают своих творцов, неистовой силой воображения вдохнувших в них жизнь, отдавших им часть своей души.

Мечтатель Стивенсон щедро наделял себя в творчестве всем, чего ему не доставало в жизни. Часто прикованный к постели, он отважно преодолевал удары судьбы, безденежье и литературные неудачи тем, что отправлялся на крылатых кораблях фантазии в безбрежные синие просторы, совершал смелые побеги из Эдинбургского замка, сражался на стороне вольнолюбивых шотландцев. Романтика звала его в дальние дали. Увлекла она в плавание и героев «Острова сокровищ».

Теперь он жил одним желанием, чтобы они доплыли до острова и нашли клад синерожего Флинта. Ведь самое интересное, по его мнению, — это поиски, а не то, что случается потом. В этом смысле ему было жаль, что А. Дюма не уделил должного места поискам сокровищ в своем «Графе Монте-Кристо». «В моем романе сокровища будут найде-

ны, но и только», — писал Стивенсон в дни работы над рукописью.

* * *

Под шум дождя в Бремере, как говорилось, было написано за пятнадцать дней столько же глав. Поистине рекордные сроки! Однако на первых же абзацах шестнадцатой главы писатель, по его собственным словам, позорно споткнулся. Уста его были немые, в груди — ни слова более для «Острова сокровищ». А между тем мистер Гендерсон, издатель журнала для юношества «Янг фолкс», который решился напечатать роман, с нетерпением ждал продолжения. И тем не менее творческий процесс прервался. Стивенсон утешал себя: ни один художник не бывает художником изо дня в день. Он ждал, когда вернется вдохновение. Но оно, как видно, надолго покинуло его. Писатель был близок к отчаянию.

Кончилось лето, наступил октябрь. Спасаясь от сырости и холодов, Стивенсон перебрался на зиму в Давос. Здесь, в швейцарских горах, к нему и пришла вторая волна счастливого наития. Слова вновь так и полились сами собой из-под пера. С каждым днем он, как и раньше, продвигался на целую главу.

И вот плавание «Испаньолы» завершилось. Кончилась и литературная игра в пиратов и поиски сокровищ. Родилась прекрасная книга, естественная и жизненная, написанная великим мастером-повествователем.

Некоторое время спустя Стивенсон держал в руках гранки журнальной корректуры.

Неужели и этой его книге суждено стать еще одной неудачей? Поначалу, казалось, так и случится: напечатанный в журнале роман не привлек к себе ни малейшего внимания. И только когда «Остров сокровищ» в 1883 году вышел отдельной книгой (автор посвятил ее своему пасынку Ллойд), Стивенсона ждала заслуженная слава. «Забавная

история для мальчишек» очень скоро стала всемирно любимой, а ее создателя РЛС — Роберта Луиса Стивенсона — признали одним из выдающихся английских писателей. Лучшую оценку в этом смысле дал ему, пожалуй, Р. Киплинг, написавший, что творение Стивенсона — «настоящая черно-белая филигрань, отделанная с точностью до толщины волоска».

С тех пор многим представляется невероятным его способность создавать неповторимые живые человеческие образы, его волшебное умение рассказывать чрезвычайно занимательно, без ложного блеска и дешевой напыщенности о самых необыкновенных приключениях. Он это умел, потому что, как заметил Л. Фейхтвангер, обладал той зоркостью взгляда, той мудростью рук и той прямоотой сердца, которые поднимают любой материал над сферой только интересного, сенсационного. Вот почему Стивенсон не написал ни одной скучной страницы.

РОБ РОЙ — АТАМАН РАЗБОЙНИКОВ



ДОМ В БАРОНСКОМ СТИЛЕ

На фоне сегодняшней Шотландии — страны бурно развивающейся индустрии, колоссов судостроения, огромных мостов и ультрасовременных жилых домов и общественных зданий поместье Эбботсфорд смотрится как видение из другого мира, из другой эпохи. Собственно, так этот дом и был задуман Вальтером Скоттом в 1811 году, когда писатель приступил к строительству своего прибежища. Некий символ Шотландии, ее исторического прошлого — кровавых распрей между кланами горцев, приключений разбойников, подвигов бесстрашных рыцарей — всего того, что было так дорого и мило сердцу «шотландского чародея».

Участок для здания писатель присмотрел на южном берегу реки Твид. Здесь, на развалинах старой фермы «Грязное логово», был возведен замок — воплощение мечты писателя о доме в «баронском», старошотландском, стиле. Вальтер Скотт сам составил проект дома, сам руководил строительством, расчищал дорожки, сажал деревья. В одном из писем, написанных в то время, он признавался, что нигде не был бы так счастлив, как здесь, в Эбботсфорде. Позже известный литературный критик Георг Брандес заметит, что пристрастие Вальтера Скотта к своему поместью основывалось «на его исторических инстинктах».

Из окон открывался вид на долину реки Твид, темный Эттрикский лес и знаменитые Эйлдонские холмы. В тихие дни можно было слышать звонкое журчание воды и всплески резвящейся семги. Ниже по течению находилось место, где когда-то монахи, направляясь в аббатство Мелроз, переходили реку вброд. Отсюда и название Эбботсфорд — брод аббатов.



Вальтер Скотт. Последний портрет писателя.

С картины Д. Джилберта

Но, пожалуй, еще больше любил писатель дорогу над долиной, и редкий день его коляску не видели здесь. Доехав до места, откуда вид был особенно прекрасен, Вальтер Скотт останавливал лошадей и долго любовался рекой, лесами и грядой холмов. «Вид Вальтера Скотта» — так называют теперь это место приез-

жающие сюда многочисленные туристы, поклонники таланта писателя.

Есть нечто волшебное в этом крае — земле сэра Вальтера Скотта, овеянной древними легендами, старинными преданиями, героическими песнями и грустными балладами.

И хотя Эбботсфорд находится в низинной части страны, называемой Равнинной Шотландией, расположенной на границе с Англией, и далек от места, где родился писатель — Эдинбурга, считается, что именно здесь сердце Шотландии. Потому что тут жил и творил великий ее сын.

Переступим порог этой Мекки любителей литературы и погрузимся в мир видений прошлого. За стенами дома остались шум и суета, приносимые сюда туристами, звон их гитар и хрип транзисторов, заглушающих птичье пение. Мы в благоговейной тишине прохладных комнат. Здесь все, как было при жизни писателя: его кабинет, рабочий стол. Трудоспособность Вальтера Скотта была поистине непревзойденной. Как сказал один из его современников, казалось, что

«рука над листом бумаги двигалась безостановочно с утра до вечера». И сегодня, глядя на лежащую на столе недописанную страницу, возникает ощущение, что хозяин недавно был здесь и его терпеливо дожидаются перья, очки, футляр для них и записная книжка. Даже старый газовый рожок в замке тот же, что и при жизни писателя. Кстати, замечу, что В. Скотт был первым в Англии, кто ввел газовое освещение в своем жилище. И сто сорок лет, вплоть до 1962 года, дом освещался газом. На камине в гостиной красуется великолепная бронзовая чернильница, выполненная по образцу чернильницы Петрарки и подаренная Вальтеру Скотту ирландской писательницей Мэри Эджворт.

На стене большой портрет В. Скотта кисти известного художника Ребрена. Другое его изображение — мраморный бюст работы не менее известного скульптора Фрэнсиса Чентри — стоит в библиотеке, в нише, где при жизни писателя находился бюст Шекспира.

В холле стены обшиты дубовыми панелями, а в гостиной оклеены настоящими китайскими обоями. Тут же — стол из эбенового дерева, подаренный хозяину Георгом IV. Но главное — реликвии. Дом буквально забит антикварными вещами — Вальтер Скотт был страстным коллекционером. С гордостью показывал он экспонаты своего собрания: личные вещи самого Наполеона; его записную книжку в зеленом бархатном переплете и походный пенал. Повсюду в доме можно увидеть рыцарские доспехи, кольчуги, мечи и алебарды — они будоражат воображение, уносят посетителей в седые времена рыцарства.

Особым почитанием пользовались у хозяина подлинные вещи и оружие, принадлежавшие известным персонажам отечественной истории: охотничьи ножи и деревянный двуручный ковш принца Чарльза, именуемого в просторечье Претендентом за тщетные попытки вернуть себе корону; шпага герцога Монтроза, который был повешен за то, что вознамерился с помощью иностранных наемников восстановить на шотландском престоле династию Стюартов; старинные, в серебряной оправе, пистолеты полковника

Клеверхауза, прозванного в народе Кровавым, и портрет этого предводителя роялистского войска; ружье испанского образца с именною меткой, а также кинжал и кошелек Роб Роя — знаменитого разбойника из клана Мак-Грегоров.

Предметы эти не были безучастным украшением замкового интерьера. Они создавали особую атмосферу, возбуждали воображение писателя. Не случайно в романах Вальтера Скотта немало места отводится предметам быта и вооружения — они помогают раскрывать характер героев.

Достаточно было В. Скотту увидеть какой-нибудь старинный двуручный меч или ружье горца, какие-либо древние черенки, как он моментально приходил в «рабочее состояние» — начиналось воскрешение старины, вживание в эпоху.

Точно так же на него действовало созерцание ландшафта. Природа родной Шотландии, полная неповторимого очарования и неожиданных контрастов, завораживала, пробуждала в памяти исторические картины. Мягкие волнистые очертания холмов и суровые крутые скалы, темные, почти мрачные массивы сосен и изумрудная зелень долин, зеркально-прозрачные воды фиордов и розово-лиловые потоки вереска, стекающие с горных склонов, навевали воспоминания о прошлом страны, о междоусобицах и заговорах. Но особенно способствовал этому вид грозных, неприступных замков, древних руин и крепостей.

Конечно, писатель обращался к археологическим находкам, изучал документы, исторические свидетельства, народные предания и рассказы очевидцев. В. Скотт считал, что старинные песни и баллады помогают наполнить историю мыслями и чувствами тех людей, которых они воспевают. И что из этих немудреных стихотворных повестей подчас можно гораздо больше узнать о быте, языке и характере предков в темные, воинственные и романтические времена, чем из трудов историков, изучавших скупые, лаконичные монастырские летописи. Однако писатель говорил, что нужно «читать эти вымыслы вместе с сочинениями профессиональных историков». Оба источника необходимо

изучать историческому романисту: «из повести мы узнаем, какие это были люди; из истории — что они делали».

Большое значение В. Скотт придавал изучению топографии мест, где действовали его герои, и не раз отправлялся в путешествия по стране. Бывало, правда, и наоборот. Посетив то или иное место, «развалины седой старины», о которых рассказывали в балладах и в устных преданиях, связывая их с именем какого-нибудь исторического героя или с событием, В. Скотт загорался мыслью написать о делах давно минувших дней».

Словом, географические и исторические прототипы всегда были у писателя под рукой, и чтобы найти подходящий сюжет, Вальтеру Скотту, как говорится, далеко ходить было не нужно: всего в трех милях к востоку от Эбботсфорда располагались овеванные легендами развалины аббатства Мелроз, запечатленные на многочисленных картинах и старинных гравюрах, в том числе на полотне известного художника Джозефа Тэрнера. Именно в этих местах, как отмечала Мэри Эджворт, В. Скотт приобрел вкус к готической архитектуре и отсюда позаимствовал немало идей для облика своего поместья.

Чуть дальше, на северо-западе, но тоже в относительной близости, находились такие воспетые в устной и письменной истории места, как Тросакс и Пертшир, край высокогорных озер Лох-Ломонд, Лох-Кэтрин и Лох-Ард. В Горной Шотландии разворачиваются события многих баллад и романов Вальтера Скотта. И топографические ориентиры в его сочинениях как бы свидетельствуют о неопровержимой исторической достоверности происходящих событий. Но чтобы историческая топография в повествовании не основывалась только на книжных источниках, писателю были нужны личные впечатления.

Впервые Вальтер Скотт совершил путешествие в те годы, когда он, двадцатидвухлетний юрист, только что закончивший Эдинбургский университет и удостоенный звания адвоката, отправился в Горную Шотландию, чтобы на месте проследить за исполнением судебного решения

о выселении нескольких строптивых арендаторов. Поэтому в пути его сопровождали солдаты во главе с сержантом. Этот сержант оказался чрезвычайно полезным спутником. Вальтер Скотт слышал от него множество историй, связанных с теми местами, которые они проезжали. Главным образом, это были рассказы о знаменитом Роб Рое.

Конечно, ему и раньше доводилось слышать об этом шотландском Робин Гуде и его подвигах. С детских лет в его воображении жил этот благородный разбойник из клана Мак-Грегоров, приключения, смелость и мужество которого приводили в восторг юного Вальтера. Здесь, в Горной Шотландии, где, как сказал Байрон, «священны вершин каледонских громады», каждая лощина, озеро или брод на реке, даже каждый камень был освещен именем Роб Роя. И казалось, что вот-вот он возникнет на фоне романтических картин дикой природы с длинным ружьем в руке, в шляпе с пером и в гэльском красно-клетчатом пледе — опознавательном знаке его клана.

Сегодня многочисленным туристам, посещающим «Страну Роб Роя», посоветуют непременно остановиться в гостинице «Роб Рой», побывать в «Пещере Роб Роя», на деревенском кладбище в Блакуиддере, где он похоронен, а на «Острове старух» им покажут могилы рода Мак-Грегоров, к которому принадлежал шотландский герой.

А когда-то про эти места говорили, что «пуститься в страну Роб Роя значит ехать на верную гибель». Указателем дороги сюда служила вершина Бен-Ломонда, возвышающаяся над окрестными горами. Через ущелье попадали к озеру Лох-Ломонд — одному из живописнейших в стране. Но эта красота таила в себе опасность — за каждым кустом мог прятаться один из молодцов Роб Роя. Недаром другое озеро Лох-Кэтрин, расположенное неподалеку, называли не иначе как «разбойничье». Здесь было царство отважных удальцов, контрабандистов и угонщиков скота.

Повсюду жили воспоминания об их подвигах. В одном ущелье крестьяне показали В. Скотту камень, на котором сидела жена разбойника Кокберна, оплакивая своего мужа,

повешенного на воротах замка. В Хардене он услышал историю о другом разбойнике, оказавшемся к тому же его предком — о некоем Уильяме Скотте,— и воспел его в балладе «Женитьба разбойника».

Когда В. Скотт задумал поэму «Рокби», он посетил замок, где действует его герой, своего рода благородный разбойник Бертрам Райзингем. Его воображение привлекали образы таких удальцов, как Уильям Ратклиф из клана Мак-Грегоров, который, по словам Генриха Гейне, «порыцарски не брезговал разбоем»; Макферсон, увековеченный Робертом Бернсом; пират Кливленд, историю которого он услышал «от одной старой сивиллы». Ему нравились народные баллады, прославляющие Гиля Морриса и Меррея, живущего в лесу с товарищами и отказавшегося признавать власть короля. В. Скотт считал, что песни, предания и поверья о благородных народных мстителях никогда не померкнут, «они принадлежат к родным горам и рекам, которые любят, и к истории предков, которыми гордятся».

Изгой, человек, живущий вне закона, становится любимым героем В. Скотта. «Я одарен незавидным дарованием,— шутил он,— изображать с любовью браконьеров, удалых молодцов вроде Роб Роя и Робин Гуда». В его романах это и Доналд Бин-Лин, и Донаха, скрывающийся в недоступных горах и пещерах, и конечно же это Роб Рой — мститель и заступник за бедных. Как сказал о нем друг В. Скотта английский поэт Э. Вордсворт:

Жил знаменитый Робин Гуд.
В балладах был прославлен он.
В Шотландии есть свой герой,
Разбойник с смелой душой,
Любимый наш Роб Рой.

Впоследствии Вальтер Скотт еще раз посетит эти места, «Страну Роб Роя», пополняя память рассказами о подвигах своего будущего героя.

Не там ли в сосновом бору на рассвете
Вверялся преданьям о давних вождях?

Истории о Роб Рое жили в памяти горцев, и при одном только упоминании его имени их глаза загорались воинственным огнем.

Озеро Лох-Кэтрин В. Скотт опишет в поэме «Дева озера». Еще при жизни писателя сотни любителей старины, прочитав ее, устремлялись сюда, чтобы самим увидеть окаймленное лесами озеро. «Есть ли среди наших озер и было ли когда-нибудь еще на всем свете такое озеро, которое столь же сладостно и сильно воздействовало на воображение?!» — восклицала Мэри Эджворт, посетив озеро, о котором она знала по поэме Вальтера Скотта и которое мечтала увидеть воочию.

Приток посетителей в этот край возрос еще больше, когда в 1818 году был опубликован роман «Роб Рой».

В наши дни парходик «Сэр Вальтер Скотт», курсирующий по озеру, доставляет туристов на остров Элен, получивший название в честь героини поэмы Элен Дуглас, и гиды охотно рассказывают им историю жизни и подвигов Роб Роя.

ВОИНСТВЕННЫЙ КЛАН МАК-ГРЕГОРОВ

...Когда небольшой отряд во главе с сержантом миновал заросшую лесом долину и выбрался наконец из чащи, взору В. Скотта открылась прекрасная гладь озера Лох-Ломонд. Позади остались лесная область Гленфинлас (ущелье зеленых женщин), изрезанная глухими ущельями и речками, пробивающимися сквозь густые заросли, долина Эберфойл, где, по народному поверью, обитали эльфы, холмы в лиловых мантиях вереска и одинокие хижины у их подножия. Это и был тот самый край, «Страна Роб Роя», где издавна жили горцы из воинственного клана Мак-Грегоров.

Во время поездки Вальтер Скотт расспрашивал стариков горцев, участников борьбы за независимость Шотландии. Рассказы очевидцев о восстаниях и битвах, подвигах бунтаря Роб Роя тщательно записывал, собирал он и «туманной Каледонии преданья», песни и баллады о жизни этого мятежника. «В дни юности,— писал он потом,— я нередко встречал людей, знавших Роб Роя лично».

Так постепенно из воспоминаний стариков, хорошо знавших Роб Роя, легенд и документов у писателя сложился романтический образ непокорного горца, честного гуртовщика, ставшего разбойником, грозой богатых и другом бедных.

Конечно, Вальтер Скотт мог бы воспользоваться биографией Роб Роя, изданной еще при его жизни под названием «Шотландский лиходей». Но писатель предпочитал личные впечатления и больше доверял своим ушам и глазам, чем брошюре, на обложке которой был изображен великан людоед с бородой чуть ли не по пояс. В соответствующем этому изображению преувеличенном виде говорилось о похождениях Роб Роя, большая часть которых представляла собою сплошной вымысел. Вальтер Скотт посетовал на то, что «за эту превосходную тему не взялся в свое время Дефо», который занимался подобными сюжетами: с присущим ему блеском и верно-стью правде жизни писал о похождениях разбойников и пиратов.

По пути к озерам Лох-Ломонд и Лох-Кэтрин Вальтер Скотт и его спутники решили заехать в Инверснейд — бывшее владение Роб Роя. От форта, неоднократно разрушаемого, остались одни развалины, но здесь все еще стоял «гарнизон», состоящий из одного-единственного ветерана. «Почтенный страж мирно и безмятежно жал ячмень на своем участке,— вспоминал писатель,— и когда мы попросились переночевать, он сказал, что ключ от форта мы найдем под дверью».

Вечером за кружкой эля старый воин, разговорившись, предался воспоминаниям.

— Вы хотите услышать историю Рыжего Робина? Но прежде следует рассмотреть его родословную. Это важно, когда знакомишься с жизнью шотландского горца.

Рыжий Робин, или сокращенно Роб Рой, как уже говорилось, был родом из клана Мак-Грегоров, знаменитого неукротимостью духа и упорством, с которым его представители даже в самых крайних обстоятельствах сохраняли самостоятельность и единство.

По преданию, Мак-Грегоры вели свой род от Грегора, или Григория — якобы одного из сыновей короля Скоттов, правившего около 787 года. Клан этот считался древнейшим в Верхней Шотландии и, несомненно, был кельтского происхождения. Одно время ему принадлежали земли в Пертшире и Аргайшире, удерживаемые им по праву меча. Однако соседям удалось включить занятые Мак-Грегорами земли в дарственные грамоты, полученные от короля. Это было несправедливо. Тем не менее каждый раз, как представлялся случай, они под видом королевского дара прирезали к своим владениям земли Мак-Грегоров.

С этого и начались все несчастья клана. Его члены восставали против несправедливости и силой отстаивали свои права, часто не разбираясь в средствах, так что нередко победы доставались ценой бесчеловечности и жестокости.

В ответ слышались призывы обрубить корни и ветви неукротимого племени. Не раз составлялись акты (в частности, в 1563 году), дававшие право «самым могущественным лордам и предводителям кланов преследовать Мак-Грегоров огнем и мечом». Запрещалось также «принимать под свой кров кого бы то ни было из этого клана, помогать им или давать под каким бы то ни было предлогом еду, питье и одежду».

Когда в 1589 году Мак-Грегоры убили королевского лесничего, был издан новый акт с призывом покончить с «дурным кланом Грегор, издавна погрязшим в крови, убийствах, воровстве и грабеже».

И так бывало неоднократно: Мак-Грегоры выказывали презрение к закону, а тот неотступно преследовал их за

это. Постепенно они лишились своих владений и, чтобы не умереть с голода, занялись грабежом на большой дороге.

Они свыклись с кровопролитием. Нередко их использовали и как своего рода наемников, когда кому-то надо было расправиться с недругами. Словом, диким горцам ничего не стоило решиться на любое беззаконие, их легко было вовлечь в ссору или распрю.

Долгую кровавую вражду вели Мак-Грегори с лордом Луссом, вождем могущественного рода, обитавшего на южном берегу озера Лох-Ломонд. Кончилась эта вражда жестокой битвой в Ложбине Печали, во время которой войско Лусса было наголову разбито. Причем, как гласит предание, победители в ярости обрушились на толпу студентов-богословов, со стороны наблюдавших за битвой. И хотя это всего лишь предание, скала, где разыгралась эта кровавая бойня, так и называется — Могильный Камень Священников. В народе говорится, что кровь невинных жертв вовек не может быть смыта с камня и поступок этот навлечет гибель на убийц и на весь клан. Одним из тех, кто принимал участие в убиении безоружных юношей, был Киар-Мор, то есть Великан Мышиной Масти. К нему восходит та ветвь Макгрегоров, от которой происходил Роб Рой. Киар-Мор похоронен в Фортингале, где о его великой силе и отваге ходит немало легенд. Вальтер Скотт видел его гробницу, покрытую тяжелой плитой.

Неподалеку от поля битвы в Ложбине Печали существует еще одно памятное место, отмеченное нетесаным камнем, именуемым Серый Камень Мак-Грегора. Под ним похоронен брат вождя клана, павший в битве.

Что касается побежденных, то они потеряли более двухсот человек. Так, по крайней мере, гласит предание. Оно рассказывает также о том, что вдовы погибших явились к королю в глубоком трауре, верхом на белых конях. Каждая несла на копье окровавленную рубашку мужа.

Король Иаков VI был чувствителен к подобным зрелищам скорби и повелел наказать виновных. В апреле 1603 года был издан акт Тайного совета, по которому имя Мак-

Грегоров объявлялось уничтоженным и тем, кто до сих пор его носил, под угрозой смертной казни повелевалось изменить его на другое.

В последующие годы власти продолжали преследовать клан за различные нарушения. Его членам запрещалось собираться вместе в количестве свыше четырех человек.

«Мак-Грегоры,— читаем в авторском предисловии к роману «Роб Рой»,— оказывали сопротивление с неустрашимой отвагой,— и многие долины на западе и севере Горной Страны хранят память о жестоких битвах, в которых воины гонимого клана нередко одерживали временную победу и всегда дорого продавали свою жизнь». Следовательно, Мак-Грегоры лишь формально подчинились закону и приняли имена соседних родов. На деле же они сплотились воедино. И невзирая на приказы о предании их «огню и мечу» и карательные экспедиции, не примирились с тем, что их вычеркивают из списка шотландских кланов.

Во время гражданской войны Мак-Грегоры, все как один, встали под знамена изгнанного короля. Отныне можно было надеяться, что в случае победы его величества клан получит возмещение за все обиды. Тем более что в 1651 году Мак-Грегоры бок о бок с соотечественниками участвовали в борьбе с республиканской армией Кромвеля, когда тот попытался покорить Шотландию.

Однако только после падения Кромвеля король Карл вернул клану Мак-Грегоров право открыто носить родовое имя и пользоваться другими привилегиями верноподданных. Несомненно, монаршья милость была наградой за проявленную во время гражданской войны преданность. Тем самым Мак-Грегоры, говорилось в постановлении парламента, смыли память об их прежних провинностях и сняли с себя всякую вину за прошлое. Постановление это не сразу возымело силу, и прошло еще несколько лет, прежде чем Мак-Грегоры обрели исконное родовое имя и положение, равное с другими кланами.

Ко времени появления на свет Роб Роя Мак-Грегора Кэмбела (последнее имя он носил из-за запрета пользо-

ваться настоящим) клан его все еще подвергался гонению. Впрочем, когда родился будущий герой Вальтера Скотта, точно неизвестно. Судя по преданию, говорит писатель, он участвовал в военных столкновениях и разбоях вскоре после падения Кромвеля и в 1691 году уже был вожаком во время одного грабительского набега. Затем наступили спокойные времена, и Роб Рой «переквалифицировался» в гуртовщика — торговца скотом.

В этой роли он и предстает перед нами на страницах романа «Роб Рой».

Вместе с другими горцами Роб Рой пригонял на ярмарки скот, чтобы сбывать его. Дела шли успешно, он даже приобрел поместье на берегу Лох-Ломонда. Однако вскоре честное торговое счастье изменило ему. Из-за падения цен на скот и вероломства компаньона он оказался несостоятельным должником.

Тогда-то и сменил он торговые сделки на операции совсем иного рода. Роб Рой перебрался подальше в горы и начал вести тот образ жизни, который издавна вели его предки — стал благородным разбойником. Закон преследовал его: земельные владения были отняты, а стада и имущество распроданы с молотка. Непокорному горцу ничего не оставалось, как строить дерзкие планы мести. Впрочем, от планов он скоро перешел к действиям. Его грабительские набеги на Южную Шотландию держали в страхе жителей равнин, и они с охотой откупались от непрошеного гостя. Число приверженцев мятежника, укрывшегося в горах, росло, и все вместе они возымели немалую силу.

Однако, подобно английскому Робин Гуду, писал В. Скотт, Роб Рой был добрым и благородным грабителем и, отбирая у богатых, щедро оделял бедняка. «С кем я ни беседовал,— продолжал писатель,— все отзывались о нем, как о человеке «на свой лад» милосердном и гуманном». Это не означает, что поставленный вне закона горец не был коварен и лицемерен. Когда ему приходилось испытать горечь поражения, он, подобно зайцу, петляя, бежал в недоступные горные углы, чтобы спустя некоторое время,

собрал силы, вновь обрушиться набегом на Равнинную Шотландию.

В историческом введении к роману Вальтер Скотт приводит характеристику современника, видимо испытывавшего на себе «удовольствие» встречи с Роб Роем. «Этот человек был достаточно умен и отличался в военном деле как хитростью, так и ловкостью; всецело предавшись распушенности, он стал во главе всех бездельников и бродяг своего клана... и разорял страну грабежами, набегам и разбоем. Мало кто из живших в пределах досягаемости (то есть на расстоянии ночного перехода) мог считать в безопасности свою жизнь и свое имущество, если не соглашался платить ему тяжелый и постыдный налог — «черную дань». В конце концов он дошел до такой дерзости, что среди бела дня на глазах у правительства грабил, собирал контрибуцию и завязывал драки во главе довольно большого отряда вооруженных людей».

Таким своеобразным способом Роб Рой мстил виновникам своего разорения и извечным преследователям его клана. Естественно, что в глазах бедняков, также страдавших от притеснений и злоупотреблений со стороны знатных и богатых, Роб Рой и его молодцы были не разбойниками, а справедливыми мстителями.

Но вот наступила пора восстания 1715 года. Горцы поддерживали якобитов — сторонников возвращения «шотландских королей» Стюартов в их борьбе против правящей в Англии Ганноверской династии. По существу, реакционные феодалы ловко использовали недовольство горных кланов и вовлекли их в мятеж. Горцы же, выступив на стороне якобитов, надеялись, в случае успеха, на возврат к старым добрым патриархальным временам, когда горные кланы были сильны и независимы.

Во время мятежа Роб Рой вел себя двусмысленно и часто в самый ответственный момент проявлял нерешительность. Видимо, полагают историки, хотя сам он и его приверженцы состояли в армии мятежных горцев, сердцем он не был расположен к восстанию, занимая, скорее, относительный ней-

тралитет. Тем не менее избежать наказания ему не удалось. Его обвинили в государственной измене, сожгли дом, вновь загнали глубоко в горы. Однако вскоре он предстал перед властями с пятьюдесятью своими приверженцами. Якобы подчинившись приказу, они сдали оружие. За это мнимое смирение Роб Рой и его люди были помилованы. После этого он обосновался около Лох-Ломонда, среди своих сородичей. Теперь его главной целью стала борьба со своим давним врагом герцогом Монтрозом.

Роб Рою удалось собрать изрядное число хорошо вооруженных воинов, окружить себя отборными телохранителями — он готовился свести старые счеты. Но герцог опередил его. Три отряда солдат двинулись к лагерю Роб Роя. Вел войска надежный проводник, хорошо знавший местность, но на помощь горцам пришла непогода, да и разведка их не дремала. Одним словом, когда солдаты подошли к пристанищу Роб Роя, того и след простыл. В отместку они сожгли его дом, хотя и поплатились за это: горцы, укрывшиеся среди кустов и скал, открыли по ним огонь. Этим Роб Рой не ограничился. Спустя некоторое время ему удалось взять в плен приказчика герцога, прибывшего получать с арендаторов очередной взнос. Захватив изрядную сумму, он увел приказчика с собой в качестве заложника. Пленника поместили на одном из островов озера Лох-Кэтрин, который с тех пор стали называть «Тюрьмой Роб Роя». Прождав несколько дней выкупа, но не получив его, Роб Рой милостиво отпустил заложника. Свою неудачу Роб Рой компенсировал тем, что то и дело навещался в места, где скапливалось зерно, собранное для герцога арендаторами. Причем иногда раздавал его населению, за что снискал еще большую славу защитника бедняков.

Один из рассказов о Роб Рое, услышанный от очевидца, произвел на В. Скотта, по его словам, особое впечатление. Некий старик поведал о своей встрече со знаменитым горцем, которая произошла у него в годы юности, когда ему было лет пятнадцать и он работал подпаском. Однажды он и его отец обнаружили, что ночью их посетили горцы-грабители

и угнали несколько голов скота. Послали за Роб Роем, и тот явился с отрядом — семь или восемь вооруженных удальцов. Выслушав пострадавших, он заверил их, что постарается догнать воров. Но чтобы было кому пригнать скот обратно, попросил послать с ним двух человек. Подрядили подпaska и его отца.

Путь через горы был нелегок, но Роб Рой легко находил дорогу по знакам и отметкам на вереске. Переночевав в какой-то лачуге, на другой день они вновь двинулись по следам скотоугонщиков.

В полдень Роб Рой скомандовал своим ребятам залечь в зарослях вереска. «А вы оба с сыном смело идите на вершину холма,— обратился он к старшему из пастухов,— и там увидите, что в долине за перевалом пасется скот вашего хозяина — может быть, вместе с другим скотом; отберите свой скот (только постарайтесь не забрать чужого) и гоните его сюда. Если кто-нибудь заговорит или станет грозить вам, скажите, что я здесь и что со мной отряд в двадцать человек». «А что, если они набросятся на нас или убьют?» — спросил пастух. «Если они нанесут вам какой-нибудь вред,— сказал Роб,— я не прощу им до конца моих дней». Хотя такая гарантия была не очень надежной, пастух с сыном отправились в долину, где, как и предполагал Роб Рой, паслось большое стадо. Отогнав своих животных, они направились в сторону, где ждал Роб Рой. В этот момент за спиной у них поднялись крики и вопли. Когда преследователи приблизились, пастухи передали им слова Роб Роя,— те моментально уgomонились и исчезли.

Такова была власть и сила этого разбойника: мало кто смел ему перечить и ослушаться его воли.

Только герцог Монтроз мог решиться на это. В конце концов ему удалось захватить Роб Роя врасплох и взять в плен. Дальше В. Скотт приводит рассказ, услышанный от одного человека, который во времена писателя содержал трактир неподалеку от Лох-Кэтрина. Так вот, дед этого трактирщика хорошо знал Роб Роя и однажды оказал ему большую услугу.

Когда Роб Роя пленили, его посадили в седло за спиной Джеймса Стюарта (это и был тот самый дед, родственник трактирщика) и связали обоих одной подпругой. Был вечер, и герцог спешил перевезти пленника, за которым так долго и безуспешно охотился, куда-нибудь в надежное место. Они подъехали к переправе через реку. Улучив минуту, Роб Рой стал заклинять Стюарта во имя старой дружбы и добрососедских отношений дать ему возможность спастись от верной гибели. То ли из жалости, а может быть, из-за страха, тот расстегнул подпругу, и Роб Рой, соскользнув с крупа лошади, нырнул, поплыл и скрылся почти так, как это описано в романе.

Избежав неминуемой смерти и скрывшись в родных горах, Роб Рой вернулся к прежнему образу жизни: вражде с герцогом Монтрозом, сражениям, набегам и другим удачным подвигам.

Казалось, главарю разбойников трудно было умереть своей смертью. Тем не менее этот необыкновенный человек, говорит В. Скотт, скончался в постели, в своем доме, в приходе Блакуиддер. Случилось это, видимо, после 1738 года, когда Роб Рой был уже в преклонном возрасте.

Его похоронили «в мирной и живописной зеленой долине», и серая плита с грубо высеченным на ней изображением палаша прикрывала прах шотландского благородного разбойника. Последний раз В. Скотт побывал здесь, в верховьях озера Лох-Ломонд, летом 1817 года, незадолго до того, как завершил работу над «Робом Роем».

Закljučая исторический очерк о своем герое, писатель вновь воздает ему должное. Он говорит, что, хотя ремеслом Роб Роя был грабеж и сам он являлся предводителем или, лучше сказать, атаманом разбойников, над памятью его не тяготеют обвинения в жестокости. Если же он и проливал кровь, то не иначе как в сражениях. Этот свободолюбивый человек был другом бедных, помогал, чем мог, сиротам и вдовам, всегда держал данное слово и умер, оплакиваемый дикой своей страной, где было немало людей, чьи сердца были преисполнены благодарностью к нему.

Сообщая читателю, что им отобраны рассказы о Роб Рое, бытовавшие в прошлом и живущие еще ныне в горах, в которых прославлено его имя, Вальтер Скотт признает, что далек от абсолютно точного воспроизведения этих рассказов. Тем же, кто пожелает сравнить подлинную историю Роб Роя с ее поэтической обработкой в романе В. Скотта, стоит вновь перечитать это сочинение знаменитого писателя и убедиться, что «средствами романа он писал историю и воображением историка создавал роман». Благодаря такому мастерству В. Скотта, как справедливо заметила Мэри Эджворт, память о Роб Рое останется жить в веках.

ПО МЕСТАМ БЫЛЫХ СРАЖЕНИЙ

Как-то Вальтер Скотт пошутил, заявив, что некоторым писателям гораздо лучше удаются изображения того, чего они не видели, чем то, что довелось лицезреть своими глазами. Не желая оказаться в положении подобных литераторов-фантазеров, он всегда предпочитал получить непосредственное впечатление, хотя отразить его на бумаге было труднее. Стремясь к большей достоверности, в том числе и исторической, Вальтер Скотт не уставал посещать места былых сражений, громоздящиеся на скалах замки. Ему постоянно требовалось совершать путешествия по стране, чтобы оживить воспоминания о пейзаже в той или иной местности.

«Ничто не может заменить этих живых впечатлений,— заметил А. Моруа,— когда романист своими глазами видит место действия, его герои ведут себя более естественно».

История Шотландии в романах Вальтера Скотта органично связана с картинами родной писателю природы. Его герои, как я уже говорил, живут и действуют на фоне суровых гор и холодных вод; их образы нарисованы в соответствии с исторической правдой, подвергшейся, однако, обработке с помощью писательского воображения. Это воины и разбойники, короли и рыцари, монахи и чародеи, менестрели и странники. И среди них герои национальной

истории Роберт Брюс и Уильям Уоллес — борцы за свободу и независимость родины.

Задумав поэму о Роберте Брюсе «Властитель островов», писатель совершил «приятнейшую и поучительную поездку». Он посетил Северную Шотландию, туманный остров Скай и суровый Арран, расположенный у юго-западного побережья, где Роберт Брюс собирал силы для борьбы с англичанами и где, возможно, прозвучали его призывные слова к шотландцам, пять веков спустя повторенные Робертом Бернсом:

Наша честь велит смести
Угнетателей с пути
И в сражение обрести
Смерть или Свободу!

Во время той же поездки В. Скотт посетил окрестности Стерлинга, города, расположенного между Эдинбургом и «Страной Роб Роя», где в начале XIV века произошла битва при Бэннокберне, принесящая Шотландии независимость. Отсюда писатель направился на берег Северного моря в Эрбротское аббатство, где в шестнадцати милях севернее города Данди в 1320 году король Роберт (Брюс) огласил Декларацию независимости, вписанную, по словам В. Скотта, золотыми буквами в историю страны.

А в наши дни здесь каждый год, 6 апреля, местные актеры разыгрывают представление, которое уносит зрителей в те далекие времена. На троне, установленном на помосте среди руин аббатства, восседает король в окружении епископа, настоятеля аббатства, монахов и воинов, рыцарей, закованных в латы и кольчуги, поверх которых надеты красочные плащи. Ветер, дующий с моря, колышет королевские штандарты и развевает флаги. Под аплодисменты зрителей оглашается текст Декларации. И перед мысленным взором присутствующих возникает многолетняя история борьбы шотландцев за свободу, битвы и восстания, договоры и измены, распри феодалов... На память приходит

англо-шотландская уния 1707 года, казалось положившая предел нескончаемым войнам и объединившая два королевства — Англию и Шотландию. Вспоминаются и многие представители шотландской династии Стюартов, претендовавших на английский престол — от Марии Стюарт до Чарльза Эдуарда Стюарта, тщетно пытавшегося воцариться на троне во время восстания 1745 года.

Обе эти исторические личности привлекали внимание Вальтера Скотта, в особенности принц Чарльз.

Потерпев жестокое поражение в битве при Куллодене в 1746 году и потеряв более двух тысяч солдат убитыми, принц бросил остатки войска и бежал. Он прятался в горах на севере Шотландии, жил в пещерах, терпел голод и холод. Спасаясь от преследователей, иной раз переодевался в женское платье.

Вальтер Скотт прошел по маршруту его скитаний. Побывал на острове Скай, где в свое время укрылся от англичан гонимый принц. Переодевшись слугой, Чарльз на лодке переправился на остров. Здесь его спрятала дочь фермера Флора Мак-Дональд. Тронутая страданиями беглеца, она не выдала принца, хотя за его голову была назначена награда в тридцать тысяч фунтов стерлингов — целое состояние!

В честь Флоры Мак-Дональд в Шотландии установлены два памятника. Один на ее могиле во дворе церкви в Килмуире, на самом севере острова Скай. Другой — в городе Инвернесе, недалеко от которого и разыгралась роковая для принца битва. На этом памятнике в честь Флоры Мак-Дональд высечены слова известного писателя Сэмюэля Джонсона, произнесшего их при посещении острова в 1773 году, когда смелая патриотка еще была жива. Он сказал: «Ее имя останется в истории, и пока мужество и преданность почитаются как доблесть, его будут произносить с гордостью».

Кстати говоря, и сам Вальтер Скотт разыскал могилу крестьянской девушки Элен Уокер, послужившей прототипом его героини из народа Джини Динс из «Эдинбургской темницы». Писатель преклонялся перед подвигом Элен Уокер, которая отказалась дать на суде ложные показания против

сестры. На собственные средства он воздвиг ей памятник и велел начертать на нем слова: «Почтите могилу бедности, отмеченную добродетелью и непреклонной верностью правде».

Судьба «странствующего рыцаря» принца Чарльза занимала Вальтера Скотта многие годы. Одно время он хотел изобразить его в поэме, полагая, что при этом «можно было бы ввести в действие Флору Мак-Дональд... и других лиц, представляющих драматический интерес». Однако потом, во время работы над первым своим романом «Уэверли», писатель отказался от сюжета, который мог бы соблазнить любого романиста. Что заставило его так поступить?

Приключения принца Чарльза были хорошо всем известны, в частности, по книге очевидца событий Д. Хоума «История мятежа 1745 года», о которой В. Скотт упоминает в романе «Уэверли». Можно бы, конечно, добавить к биографии принца Чарльза вымышленные события, но это исказило бы историю, чего писатель не хотел допускать. «Прикрысы поэтического вымысла скорее оскорбляют величие истории, чем отдают ей дань уважения», — говорил он. Поэтому «исторические персонажи можно вводить в повествование лишь эпизодически и так, чтобы не нарушать общепринятой истины».

Вот почему главный исторический персонаж в романе «Уэверли», как и в других, например в «Редгонтлете», отошел на задний план, а на первый были выдвинуты лица вымышленные. Нет в романе «Уэверли» и других реальных личностей, например, Флоры Мак-Дональд. И только героиня повести Флора Мак-Ивор отдаленно напоминает ее, да и то скорее лишь своим именем.

Зато в книге сохранена подробная историческая топография: маршруты передвижения войск, названия селений, подле которых происходили сражения, и т. п.

С такой же точностью воспроизведена местность и в других романах Вальтера Скотта. В «Пирате» действие разворачивается на Шетлендских островах; в «Пуританах» — на северо-востоке, где на кладбище возле замка Даннаттар писатель повстречал прототипа своего «кладбищенского старика» — Роберта Патерсона, добровольного смотрителя

за могилами павших в боях ковенантеров — шотландских протестантов.

Бывал писатель и на берегу залива Солуэй, неподалеку от развалин замка Каверлаврок, в юго-западной части страны. Материал о солуэйских рыбаках и голуэйских контрабандистах, собранный здесь, нашел отражение в романе «Редгонтлет».

Посещал он и дом, где жила в четырнадцатом веке дочь перчаточника Кэтрин — «пертская красавица» из одноименного романа, — существующий в Перте на Кэрфью-стрит и по сей день.

Словом, можно сказать, что действие любого из романов Вальтера Скотта, посвященных прошлому Шотландии («Уэверли», «Пуритане», «Роб Рой», «Легенда о Монтрозе», «Пертская красавица»), разворачивается на фоне весьма точно воспроизведенной исторической обстановки. В этом, несомненно, сказалась любовь писателя к родной земле, ибо, как справедливо заметил его соотечественник Т. Карлейль, он был «истым шотландцем». Но еще лучше сказал о себе сам писатель: «Для меня эти серые холмы и весь дикий край, перед нами раскинутый, полон невыразимых красот... Если б меня лишили возможности хоть раз в год глядеть на поля и горы, поросшие вереском, я мог бы умереть».

Так, собственно, и случилось. Находясь вдали от родных мест и смертельно заболев, Вальтер Скотт потребовал, чтобы его немедленно доставили домой, в Эбботсфорд. Говорят, по пути он то и дело шептал названия мест, мимо которых проезжал. Когда же перед его взором возникли Эйлдонские холмы, он «пришел в возбуждение, а вид Эбботсфорда заставил его восторгнуться и вскрикнуть от радости».

Дома первое время он просил, чтобы его кровать придвигали к окну — тогда он мог любоваться видом холмов и рекой. Когда же его лишили этой возможности (болезнь прогрессировала) — он умер. «Был теплый день, — писал его биограф Г. Локхарт, — все окна в доме были раскрыты настежь, и было так тихо, что слышалось нежное журчание реки Твид».

Во время похорон, когда катафалк с телом Вальтера Скотта направлялся к полуразрушенному Драйбургскому

аббатству, находившемся в роще на берегу Твида и траурная процессия двигалась мимо холма, лошади по привычке сами остановились — отсюда писатель часто любовался окрестностями.

* * *

В нише эбботсфордской библиотеки, там, где при жизни хозяина стоял бюст Шекспира, друзья поставили мраморный бюст Вальтера Скотта. Это был, можно сказать, первый памятник великому английскому писателю. С годами в его честь были воздвигнуты многочисленные памятники и монументы. В городе Селкирке, на Хай-стрит, перед зданием суда стоит скульптурный портрет писателя, как напоминание о том, что В. Скотт много лет занимал пост шерифа Селкиркшира и одно время жил в четырех милях от города на ферме в Ашестиле. Чтят память национального кумира и на его родине — в Эдинбурге. На Принсес-стрит, словно шпиль готического собора, устремляется ввысь шестидесятиметровое многоэтажное сооружение. Внутри, сквозь арки, видна беломраморная статуя писателя: он изображен сидящим в кресле с книгой на коленях. В нишах каждого этажа помещены статуи, изображающие героев произведений В. Скотта. Стоишь, пораженный, подле огромного сооружения, и кажется, что под его сводами вот-вот зазвучат звуки берлиозовской увертюры «Роб Рой» и польются скорбные мелодии из оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур», в основу которых легли сюжеты произведений Вальтера Скотта.

Памятник этот — свидетельство любви и признательности соотечественников человеку, воспевшему прекрасную и суровую Шотландию.

Но, пожалуй, самым лучшим памятником Вальтеру Скотту является сама Шотландия с ее холмами и озерами, замками и аббатствами, ставшими неотъемлемой частью его произведений — поэм и романов.

ОХОТНИК ЗА ФУРАЖКАМИ УБИВАЕТ ЛЬВА



ЗЛОПАМЯТНЫЕ ТАРАСКОНЦЫ

— Тараскон! Поезд стоит пять минут... Пересадка на Ним, Монпелье, Сет,— голос кондуктора, прозвучавший раскатисто и победно, точно воинственный клич индейцев, заглушил лязганье вагонов, резкие удары буферов.

Тараскон! Еще подъезжая к старинному городу в устье Роны, в тот момент, когда в полевой дали возникли четыре величественные башни замка короля Рене, Доде охватило чувство щемящей тоски. Его постоянно тянуло на юг, в Прованс. В памяти навсегда сохранился образ южной страны, щедро одариваемой яркими лучами солнца; ее лазурное небо, горячий аромат полей, порывы мистралья, приносящего с гор запахи лаванды, мирта и розмарина, бледные оливы и холмы, поросшие соснами, золотистая смола которых напоминала ему слезы. Песни, серенады под окнами, танцующая молодежь, огневая фарандола на деревенских площадях и неприменный участник всех гуляний — тамбуринер со своим тамбурином. Вспомнились веселые прогулки всей семьей за город, когда дети карабкались по склонам обожженных солнцем холмов, тем временем, как отец на поле люцерны охотился с зеркалом на жаворонков...

Он любил приезжать в солнечный край своего детства, подолгу, бывало, гостил у родственников неподалеку от Арля, в семнадцати километрах от Тараскона. Здесь обитали его герои, его дети, как он любил говорить, те, кого ему доводилось встречать в ту пору, когда он жил на мельнице, стоявшей среди сосен на холме за монмажурским аббатством. Что касается Тараскона, то в нем он не смел появиться. С некоторых пор у него весьма осложнились от-

ношения с тарасконцами. И, странствуя по Югу, он всегда старался объезжать этот город, впечатлительнее которого не было в целом свете.

«Попробуй только проехать через Тараскон!» — припоминались угрожающие строки анонимных писем, полученных в свое время от свирепых жителей этого города. Он знал: они умели шутить, но умели и ненавидеть. Ему же совсем не улыбалось, чтобы его искупали в Роне. А именно так чуть было не поступили рассвирепевшие граждане, когда один парижский коммивояжер, то ли в шутку, то ли желая втереть очки, расписался в гостиничной книге: Альфонс Доде. Что тут началось! Город всполошился. Наконец-то представился долгожданный случай свести счеты с ненавистным Доде! И несчастный коммивояжер еле спасся от разгневанных тарасконцев.

Как ни обидно, но лучше проехать мимо. Въезд в Тараскон для него закрыт. Его имя, если верить путешественникам, здесь ежедневно предается анафеме, и каждый тарасконец желает отомстить «этому Доде». Что и говорить, не легко переносить ненависть целого города. А еще считается, что путь романиста усеян розами.

Даже книги этого «опарижевшегося» провансальца изгнаны из тарасконских библиотек.

Книги! Именно они и были причиной ненависти тарасконцев к писателю Доде. Точнее говоря, одна из них, та, которая ославила тихий провинциальный городок на весь свет, высмеяв героическое племя тарасконцев.

Жители городка на берегу Роны не могли простить Доде того, что он вывел их на страницах своего знаменитого романа «Тартарен из Тараскона». Так, по крайней мере, казалось каждому тарасконцу, он усваивал это еще в детстве, слушая проклятия, которым разражались старшие, стоило лишь кому-либо упомянуть ненавистное имя Доде. Владельцам беленьких домиков отнюдь не льстили слова, которые автор предпослал своей книге: «Во Франции все немножко тарасконцы». Они не желали утешаться этим, равно как и знать о том, что писатель, выбирая название

для города, где поселил своих героев, исходил лишь из того, что название «Тараскон» звучит при выкрикивании станций, словно боевой клич воина. Впрочем, и такое объяснение вряд ли успокоило бы самолюбивых тарасконцев. Ничего, кроме нового прилива ярости, это не могло вызвать с их стороны. А между тем Тараскон был для Доде только псевдонимом, подхваченным на пути из Парижа в Марсель. Настоящая же родина Тартарена и его земляков — охотников за фуражками, признавался писатель, лежит несколько дальше, в пяти или шести милях от Тараскона, по ту сторону Роны.

Городок, который описал Доде, был Ним, где, как и во всех южных городах, много солнца, достаточно пыли, непременно имеется кармелитский монастырь и два или три римских памятника.

Маленький Ним помнил императора Августа, пережил нашествие варваров, набеги сарацин, хозяйничанье тулузских графов. От тех давних времен в городе сохранились знаменитый Квадратный дом — античный храм, похожий на миниатюрный Парфенон, которым так восхищался Стендаль, античные арены и бани — «Нимфей», ворота Августа, развалины романской башни Мань, крепостные стены и замок у подножия горы. Здесь, в этом городишке, начинали свой путь протестантский проповедник Жак Сорен, знаменитый политик и историк Гизо, здесь прожил всю жизнь прекрасный поэт Ребуль, который, по словам Ханса Кристиана Андерсена, однажды посетившего его, предпочитал быть замечательным булочником в Ниме, нежели одним из сотен малоизвестных поэтов в Париже.

На главной улице этого городка, обсаженной двумя рядами платанов с пыльной листвой, родился и Альфонс Доде.

Из впечатлений раннего детства, сохранившихся благодаря удивительной памяти (можно забыть число, в которое произошло то или иное событие, забыть лицо, которое видел еще недавно, но невозможно забыть рисунок обоев комнаты, где ты спал, будучи ребенком, имя, мелодию, которую довелось слышать в то время, когда ты не умел еще читать), Доде черпал материал для своих романов и, как он любил повто-

рять, в силу непобедимого чувства реальности всегда выбирал реальные события в качестве основы своих вымыслов.

Часто случайный, отдаленный намек, какая-нибудь смутная ассоциация с порою дня, с цветом неба, звоном колокола, запахом лавок вызывала в его памяти воспоминания о темных, прохладных, узких, благоухающих пряностями улицах Нима, аптекарском магазине дяди Давида... Помогала ему воскрешать образы былого и небольшая зеленая тетрадь с измятыми уголками, постоянно лежавшая на его рабочем столе и готовая в любую минуту поделиться с писателем своим богатством. В этой поистине бесценной тетради, заполненной сжатыми заметками под общим названием «Юг», были сосредоточены многолетние наблюдения над его родным краем, климатом, нравами, над самим собой, родными и собственной семьей. Из этой тетради Доде извлек многих своих героев, с ее страниц вышел в жизнь и бесстрашный Тартарен.

ЗАСАДА НА ЛЬВА

Жизнь все дальше уводила его от родного Прованса. Сначала Лион, где семья, когда ему было девять лет, тщетно пыталась поправить свои дела, затем, в 16 лет, работа в качестве школьного надзирателя в Алэ, потом бегство из этой тюрьмы в Париж, начальные шаги на тернистом литературном пути. Он хорошо помнил тот день, когда писал свою первую репортерскую хронику, озабоченный даже каллиграфической стороной работы. Суэта большого города все больше захватывала его, вовлекала в свой круговорот. Первые, еще робкие литературные успехи кружили голову.

У него была натура истинного импровизатора, трубадура. С детства он отличался необычайно живым воображением. «Я в сущности фантазер», — говорил он о себе. Его голова всегда была полна замыслами. В кругу друзей он охотно делился ими, поражая мастерством рассказчика. В парижских гостиных он обращал на себя внимание не

только внешним видом — бледное красивое лицо, обрамленное длинными волосами в крошечной провансальской шапочке, — но и своими талантливymi устными рассказами о жизни среди зеленых холмов в устье Роны. Причем Доде обладал, как многие отмечали, способностью перенести в Париж частичку синего неба Прованса, погрузить слушателей в чарующую атмосферу Юга. Всякий раз, когда Доде, охваченный радостным возбуждением, начинал повествование, слушателей ожидал фейерверк забавных анекдотов, тонких наблюдений, милых шуток. Уж так создан каждый южанин, житель Прованса, шутил Доде, его воображение воспламеняется быстро, точно фитиль, а наслаждение от рассказа он испытывает только тогда, когда получает возможность поделиться своими ощущениями с другими.

Когда ему надоедала шумная парижская жизнь, он отправлялся подышать свежим деревенским воздухом, вдохнуть бодрящий аромат провансальских сосен. Обычно эти поездки он совершал зимой. Парижский климат в это время года не способствовал его слабому здоровью, и врачи рекомендовали съездить на юг.

Особенно они настаивали на этом в конце 1861 года. Здоровье его в ту пору было изрядно расстроено пятилетними литературными занятиями. Необходима была, как считали доктора, поездка в Алжир, чтобы восстановить под лучами африканского солнца его слегка подпорченные легкие. Пришлось ехать, несмотря на то что в день отъезда из Парижа он получил известие о принятии театром «Одеон» его первой пьесы.

Направляясь в Алжир, Доде, которому было тогда всего лишь 21 год, по пути заехал в родной Ним. И здесь он неожиданно для себя обрел необычного попутчика. Вместе с ним в путешествие решил отправиться его сорокалетний кузен Рейно. Это был коренной житель Нима, мечтатель и фантазер. Любимым его писателем был Джеймс Фенимор Купер, запах пороха он ценил больше всех ароматов земли, из деревьев безоговорочно предпочитал баобаб и тайком мечтал походить на Вильгельма Телля. Словом, это был живой прототип будущего Тартарена. Следует добавить, что

он, как и бесстрашный тарасконец, помимо любви ко всякого рода описаниям путешествий, был страстным охотником за фуражками и обладал такой силой, что земляки вполне серьезно утверждали, будто у него «двойные мускулы».

Кузен Рейно жил в беленьком домике с зелеными ставнями. Впереди был разбит садик, сзади — балкон, у калитки, как водится в тех местах, постоянно дежурила стайка савояров со своими неизменными ящиками для чистки обуви. Одним словом, снаружи домик кузена Рейно ничем не отличался от других нимских домишек. Но стоило лишь заглянуть внутрь... Нам же легче заглянуть на страницы романа А. Доде, ибо внутренний вид дома кузена Рейно почти в точности воспроизведен писателем в первой главе. Кабинет кузена Рейно считался одной из городских достопримечательностей: «Вообразите большую комнату, сверху донизу увешанную ружьями и саблями; все виды оружия всех стран мира были здесь налицо». Солнечные лучи зловещими бликами отражались на стальных лезвиях, и посетители невольно затихали среди этого воинственного арсенала. Не меньшей достопримечательностью был и карликовый баобаб, чахнувший в горшке из-под резеды как раз против стеклянной двери кабинета в сад.

А теперь, полагаясь на привычку А. Доде пользоваться живыми прототипами, писать «с натуры», представим себе внешний вид достославного кузена Рейно. О его «двойных мускулах» уже упоминалось, об отважной и пылкой душе, бредившей битвами, грандиозной охотой и подвигами, свидетельствовало редчайшее собрание оружия, о его внешности говорится так: «Человек лет сорока — сорока пяти, низенький, толстый, коренастый, краснолицый, в жилете и фланелевых кальсонах, с густой, коротко подстриженной бородкой и горящими глазами». Таков был кузен Рейно, таким станет и великий, бесстрашный Тартарен. Сходство внешнее Рейно-Тартарен (впрочем, не только внешнее) на страницах будущего романа, оказалось, видимо, настолько близким, что не на шутку оскорбило нимского кузена, и у него вышла из-за этого с писателем крупная ссора. Еще бы! Не очень

приятно, когда каждый мальчишка при встрече с тобой начинает пронзительно вопить: «Тартарен! Тартарен!» Прозвище прилипло к бедному кузену Рейно, что доставляло ему немало горьких минут. Впрочем, это произошло значительно позже, несколько лет спустя после возвращения обоих кузенов из путешествия. А пока что они только что прибыли в Алжир, тогдашнюю французскую колонию.

...В один прекрасный ноябрьский день 1861 года Доде и Рейно отправились охотиться на львов. Видимо, писателя уговорил на это Рейно, голова которого была забита всевозможными книгами об охоте и охотниках. Не давал покоя и ветер дальних странствий, что шелестел в ветвях баобаба.

Доде, по правде говоря, предстоящая охота на грозных хищников не очень прельщала. Его интересовали нравы и жизнь колонии, положение населения этой страны, некогда называемой житницей римлян. Но смешно было ехать истреблять львов ему, всю жизнь страдающему близорукостью. Внутренне он противился затее своего кузена. Но так уж устроено воображение провансальцев — «оно загорается мгновенно, словно трут, даже в семь часов утра». Уроженец Прованса, Доде тоже был немного Тартареном, во всяком случае по части воображения. Стоило ему вступить в марсельской гавани на палубу красавца пакетбота «Зуав», как он серьезно вообразил, что истребит всех зверей в Алжире.

Кузены-путешественники являли собой красочное зрелище. Головы отбывающих в страну львов венчали огромные огненные шапки — шешьи, талии были перетянуты красными поясами, из-за которых грозно торчали огромные охотничьи ножи; на плече — ружья, у пояса — патронташи, револьверы в кобуре. Не то корсары, не то какие-то воинственные турки. Можно представить, какой страх охватывал встречаемых. Впрочем, страх ли? Наши путешественники действительно находились в центре внимания, на них пялили глаза, но испуга в них не было видно. Скорее наоборот — на двух вооруженных до зубов охотников глазели с удивлением и любопытством. И ему, признавался Доде, стало стыдно: а что, если здесь нет никаких львов?

Вскоре Доде окончательно понял, в каком нелепом и смешном положении они оказались. Львов здесь действительно не было и в помине, попадались лишь газели да страусы. Что касается его кузена, то он был непоколебим в своей вере и пребывал в каком-то героическом сне: грезил львами, пантерами, верблюдами — одним словом, всем, о чем читал в книгах и что попадало в сферу его южного воображения.

Сомнения, перешедшие почти в уверенность в том, что напрасно ждать встречи с грозным хищником, не мешали, однако, Доде надеяться на это. С наступлением ночи не раз он трепетал, стоя на коленях под олеандровым кустом, и вглядывался, с очками на носу, в окружающий мрак. «В воздухе высоко взвивались ястребы, шакалы бродили вокруг меня и я чувствовал, что ствол моего ружья дрожит, ударяясь о рукоятку охотничьего ножа, воткнутого в землю», — вспоминал писатель в «Истории моих книг». Доде наделил своего героя этим страхом, этой дрожью перед встречей с царем зверей.

...Засаду на льва, рычание которого он явственно слышал в ночной тьме, Тартарен устроил по всем правилам в полном соответствии с хорошо известными ему руководствами по охоте — у самого водопоя хищников. У бедняги зуб на зуб не попадал! Нарезной ствол карабина выбивал о рукоять охотничьего ножа, воткнутого в землю, дробь кастаньет... Ничего не поделаешь! Иной раз трудно бывает взять себя в руки, да и потом, если бы герои никогда не испытывали страха, в чем же тогда была бы их заслуга?..

Доде искренне радовался и жаркому солнцу, и ласковому морю, и иссиня-белым алжирским домикам, так похожим на уютные виллы Нима и Тараскона, и главное — путешествию по незнакомой стране. Правда, это был совсем не тот Алжир, каким рисовал его себе кузен Рейно — страна чудес, куда он, словно Синдбад Мореход, заброшен счастливой судьбой. Теперь здесь к «ароматам древнего Востока», благодаря вмешательству европейских «цивилизаторов», присоединился «резкий запах абсента и казармы».



Тартарен из Тараскона. Рисунок А. Леграна

Еще недавно Доде казалось, что, живя в холодном и мрачном Париже, он утратил способность смеха. Поездка в Алжир разуверила его в этом.

Доде, умевшего наблюдать за собой со стороны, потешал собственный вид, как и столь же воинственный облик попутчика. И вообще, кузен Рейно доставил ему немало веселых минут. Нельзя было не смеяться над его простодушной потребностью лгать, без конца хвастать, то и дело преувеличивать, что объяснялось избытком воображения. Впрочем, южанин, поправлялся Доде, не лжет — он заблуждается. Если же есть на Юге лгун, то только один — солнце!.. Солнце все преображает и все увеличивает в размерах.

Неутомимый собиратель и исследователь человеческих характеров, Альфонс Доде прекрасно видел, что у его спут-

ника под маской жаждущего подвигов искателя приключений скрывается натура обыкновенного мещанина, который лишь пытался прикрыть жалкую фигуру охотника за фуражками грозной тенью истребителя львов. В зеленой тетради появляются наброски контуров будущего образа тарасконского буржуа: «великого» и смешного, «величественного» и ничтожного. С этого времени писатель становится как бы летописцем, историком «непревзойденного тарасконца», провансальского Дон Кихота, — так одно время думал Доде назвать свой роман.

Этот близорукий человек, про которого иные склонны были говорить, что он бредет по жизни словно слепец, обладал особым внутренним зрением. Близорукость физическая восполнялась зоркими глазами души, писательской наблюдательностью.

Записи Доде подчас касаются самых неожиданных сторон характера прототипа, он фиксирует все, что может ему потом пригодиться, вплоть до жестов и особенностей голоса. И все же это была только предпосылка; образ, в котором был бы трансформирован весь накопленный материал, пропущенный сквозь «фильтр» вымысла, — еще предстояло создать.

Три месяца колесили по Алжиру Доде и его кузен. Забыв предписания врачей о покое (из их наставлений он выполнял лишь одно — всюду возил с собой бутылку рыбьего жира), писатель следовал за своим неугомонным спутником, «преданный ему, как верблюд из моей повести». Отважных путешественников не поглотил песок пустыни, не растерзали смертоносные клыки атласских хищников. Доде запомнились базары Алжира с запахом мускуса, амбры, розового масла и теплой шерсти; караван-сарай, лай собак в нищих деревушках, вой шакалов в долине, стада и перекличка пастухов. Запомнился ему и другой Алжир — страна, где народу прививают пороки «цивилизованного общества», где царит произвол чиновников колониальной администрации и арабские шейхи торгуют интересами населения, где одни живут в довольстве и изобилии, в то время как другие мрут с голода и вырывают у собак объедки с господского стола.

ОСКОРБЛЕННЫЕ БАРБАРЕНЫ

Низко склонившись над письменным столом, Доде как всегда быстро набрасывает первый вариант, не заботясь об отделке фраз, стиля. Этому он посвящал вторую часть работы над рукописью. И хотя не любил этап переписки, противный его натуре импровизатора, тем не менее уделял ему много времени и старания. Но главным для него было набросать вчерне главы, окружить себя живыми образами, разместить их, установить фундамент будущей книги.

Окна кабинета закрыты темными шторами. В комнате шкафы с книгами. На видном месте любимые хозяином — Шекспир, Вольтер, Гюго. У окна — большое бюро — рабочий стол писателя. Так выглядит его кабинет и сегодня. По всему видно — это жилище человека, не бедного, познавшего жизненный успех. А ведь когда-то ему не на что было приобрести свечу, чтобы работать ночью, делать наброски на больших листах белой бумаги. В те годы он трудился неистово, целые ночи напролет, в том лихорадочном возбуждении, которое обыкновенно сопровождает вдохновение. И в последующие годы Доде отличался поразительной работоспособностью. Его трудовой день начинался в четыре часа утра и длился с некоторыми перерывами до полуночи. В общем, он был «прикован к своей тачке» двадцать часов в сутки.

Было время, когда кабинетом ему служила крошечная комнатка. В ней стоял соломенный стул и маленький столик на высоких, похожих на ходули, ножках. Столик доходил Доде до подбородка, чтобы ему, при его близорукости, было удобно работать. Однажды кабинетом для него стала прозрачная заводь в тени старой ивы, а скрещенные весла — письменным столом. В ту пору он еще не болел ревматизмом и мог работать в лодке в десяти километрах от Парижа, вверх по течению Сены. Уже тогда у него родилась привычка делать заметки, записывать свои наблюдения, вплоть до собственных снов. В те счастливые дни он только начинал свой путь и ему еще предстояло создать большинство из своих книг — их потом назовут «чудом искусства», а его самого «одним из отваж-

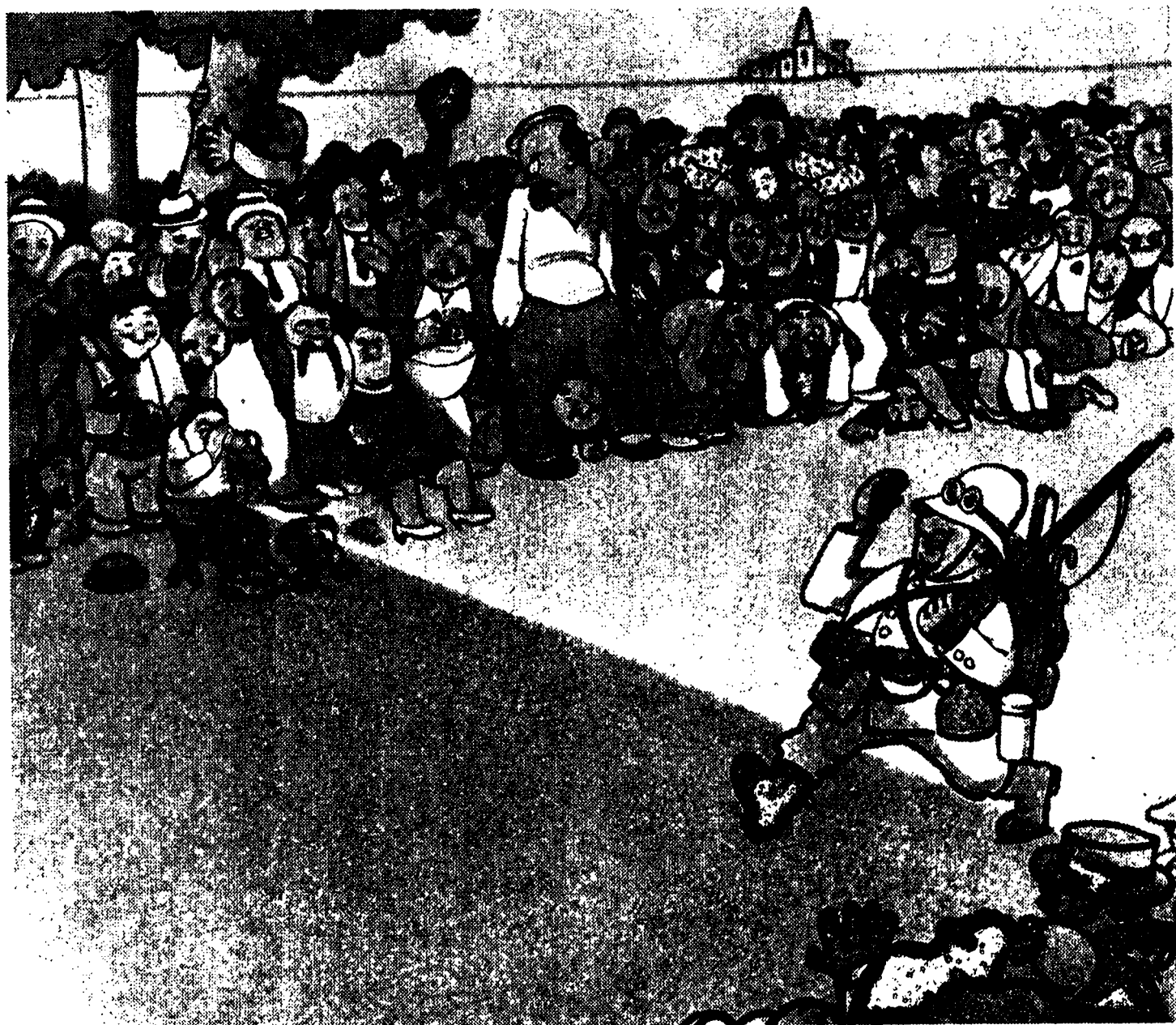
нейших», ибо творения Доде громче многих возвышали голос сострадания и справедливости — книг мрачных, жестоких, полных горечи, но книг и веселых, преисполненных веры в человека, в силу его разума. Пожалуй, точнее всех скажет о нем Э. Золя. «В его распоряжении две великие силы: слезы и ирония,— писал он.— Тем и живы его книги: они рыдают над малыми сими и хлещут бичом злых и глупцов».

Мало кому, однако, известно, как тяжело ему дается каждая из этих книг — ведь он пишет, преодолевая страшную физическую боль. Временами отказывает правая рука — дает себя знать застарелый ревматизм; больной желудок валит его в постель; невыносимые мучения доставляет болезнь спинного мозга. В эти моменты самое лучшее отвлечься, забыться. И тогда, пересиливая боль, он старался поработать над тем, что повеселее, позабавиться своей иронией над Тартареном.

Тридцать лет Доде не расставался со своим героем. За это время Тартарен совершил путешествие не только в Африку, он побывал в Альпах («Тартарен на Альпах») и превратился в его превосходительство Тартарена, губернатора, кавалера ордена Первой степени.

Среди листов бумаги и книг, громоздящихся на рабочем столе Доде, лежит уже знакомая нам старая зеленая тетрадь. В ней собран настоящий гербарий жизненных типов. Тартарен — один из них. Роман о нем появился отнюдь не сразу по возвращении писателя из Алжира. В начале, на основе записей в своей тетради, Доде создал несколько очерков о поездке. А вскоре, в середине июня 1863 года, газета «Фигаро» напечатала его новеллу «Шапатен — истребитель львов» — о приключениях тарасконского мещанина, фанфарона и бахвала в Африке. В этом небольшом, остроумном рассказе кузен Рейно уже приобрел черты будущего Тартарена. Однако писатель увидел, что веселый сюжет его рассказа можно развить дальше и что у него для этого предостаточно материала.

Писалось ему легко, весело. Часто из кабинета доносился напев какой-нибудь народной провансальской песенки, слышался смех.



Триумфальное возвращение Тартарена в Тараскон.

Рисунок французского художника Дюбу

Мастер импровизации, Доде считал и своего «Тартарена» книгой-импровизацией. Ее особенность он видел прежде всего в своеобразной манере, в том, что она полна жизненной правды — южной правды, уточнял писатель, — которая преувеличивает, но никогда не лжет. Доде стремился к точному, почти документальному изображению жизни. Роман — это история людей, говорил он. Писать о тех, кто никогда не найдет себе историка, — это ли не долг художника. И признавался друзьям, что без стеснения начиняет свои книги всем, что дают ему жизненные наблюдения. Из-за этого с ним повздорили не только кузен Рейно, но и вся родня. Зная эту его склонность, репортеры с особым старанием разыскивали прототипов его героев. Дошло до того, что были изданы даже «ключи» к романам Доде —

списки известных лиц, якобы изображенных в них. Впрочем, нередко и сами «герои», обиженные тем, что их вывели на страницах книги, буквально поднимали вой, обвиняя автора в преднамеренном оскорблении. Причем прототипам часто действительно нетрудно было себя узнать, ибо у Доде была слабость — сохранение в ряде случаев имен его моделей. В собственных именах он находил нечто характерное, особый отпечаток, напоминающий их владельцев.

Подлинный печальный случай лежит в основе романа «Джек». Историю тяжелой жизни Рауля Дюбьера, послужившего прообразом Джека, писатель слышал из собственных его уст. Простой крестьянин, наживший огромный капитал, Франсуа Браве, по прозвищу Набоб, стал героем одноименной книги, по поводу которой, как и предвидел Доде, был поднят большой шум. Скандал, разразившийся вокруг известного академика Мишеля Шаля, ставшего жертвой мошенника-мистификатора, Доде положил в основу романа «Бессмертный», где маститый ученый был выведен под именем Астье-Рею. Многие типы книги «Фромон-младший и Рислер-старший» «жили, живут, может быть, и теперь». К ним относился и безжалостный, эгоистический старик Гардинуа, хороший знакомый писателя, которого он не мог не срисовать, несмотря на то что сердечно любил его; и Рислер — рисовальщик на фабрике отца, и бывший актер Делобель — все они были списаны «прямо с натуры». Иные образы, созданные Доде, слагались из отдельных черт, взятых у разных лиц. Формула их создания включала в себя тонкую дозировку правды и вымысла.

Но и в этих случаях находились читатели, которые усматривали сходство между собой и героями Доде.

Нума Руместан — образ, который, как и Тартарен, был извлечен из знаменитой зеленой тетради, сложился из черт, принадлежащих разным людям. Однако Нума Бараньон, земляк писателя, бывший едва ли не министром, обманутый сходством имен, узнал себя в Нуме и поспешил выразить свой протест. Грозили неприятностями и родственники к тому времени умершего герцога де Морни, обнаружившие

довольно точное сходство с ним в образе де Мора на страницах того же романа «Набоб».

Чуть было не дошло до суда и в случае с романом «Тартарен из Тараскона».

Подыскивая имя для своего героя, Доде последовал совету одного приятеля и нарек истребителя львов Барбареном. Книга так вначале и должна была называться «Барбарен из Тараскона». Автора, как он признавался, привлекло в этом имени два раскатистых «р», что делало его очень запоминающимся. Под этим именем герой появился и на страницах газеты «Фигаро», где с февраля по март 1870 года публиковалась вторая часть романа (первая, без подписи автора, появилась годом раньше в газете «Пти Монитер»).

Каково же было удивление автора, когда он получил угрожающее послание от проживающего в Тарасконе почтенного семейства Барбаренов! Надо же было случиться такому!

Доде знал людей с такой фамилией в Эксе и Тулоне, но то, что их однофамильцы окажутся и в Тарасконе,— это, что ни говорите, предвидеть было трудно.

Тарасконские Барбарены угрожали Доде судом, если он не вычеркнет их имени из этого оскорбительного фарса. Питая инстинктивный страх к судам и правосудию, шутил Доде, он согласился заменить имя Барбарен Тартареном. Делать это пришлось срочно, уже по корректуре первого книжного издания, увидевшего свет в 1872 году.

Строчка за строчкой писатель просматривал листы верстки, изгоняя букву «б». И все же в спешке некоторые из букв тогда так и остались неисправленными.

* * *

Целое столетие минуло с тех пор, как герой Доде начал свою жизнь на страницах знаменитой книги, но и пришел он сюда из жизни, будучи народным типом, которого, как говорил Анатоль Франс, все знают и который всем близок, ибо он потомок героев веселых народных легенд.

Память о Тартарене, как о некогда действительно существовавшем провансальце, до сих пор живет среди его соотечественников. Такова сила подлинного искусства.

Рожденные гениальной фантазией писателей Рыцарь печального образа Дон Кихот и терзаемый сомнениями Отелло, мятежный Карл Моор и благородный Жан Вальжан, вкрадчивый Чичиков и решительный Рахметов — со временем перестают быть книжными персонажами,

они становятся для будущих поколений реальными людьми, которые некогда жили на земле.

Доде в полной мере обладал волшебным даром — творить живые существа. Он мог силой своего литературного могущества, силой правды, силой своего воображения создавать типы, которые потом бродят среди людей независимо от творца. Их встречают на улице, сталкиваются с ними в домах, их узнают всюду и называют по имени.

В таких случаях, признавался Доде, его охватывал трепет, трепет гордости, какую испытывает спрятавшийся в толпе отец, когда аплодируют его сыну и когда каждую минуту хочется крикнуть: «Это мой мальчик!»

В наши дни тарасконцы, давно позабыв о своей вражде к автору книги, некогда ославившей их городок, ревностно чтят память своего земляка Тартарена. Бесславие в прошлом ныне для них обернулось славой, а с ней вместе и неожиданными доходами — туристы народ щедрый, в особенности если уметь подсунуть им сувенир в виде статуэтки знаменитого охотника за фуражками, предложить



Отважный Тартарен встречает гостей при въезде в город: «Добро пожаловать в Тараскон»

«меню а-ля Тартарен» или место в кемпинге «Тартарен-пляж».

Можно ли встретить среди сегодняшних тарасконцев потомков их прославленного земляка? Вполне возможно. Только ныне он предстанет перед вами в облике автомеханика в клетчатой кепке и расстегнутой рубашке, или это будет аккуратно одетый продавец из соседней лавочки, а возможно, наряженный в униформу служащий из отеля «Терминус». Сегодняшний Тартарен не охотится на львов, он торгует, заправляет машины, обслуживает клиентов. По субботам он не грезит о дикарях, а идет в кино, следит по телевизору за мотогонками или смотрит футбол. Он не поет больше романсов, он слушает пластинки Шарля Азнавура. Словом, Тартарен больше не Тартарен. И все же он еще жив. В характере провансальцев, в сочетании у них фантазерства и здравого смысла, доверчивости и самоуверенности, добродушия и себялюбия.

Сегодня возможно и другое: встреча с самим Тартареном. В его честь тарасконцы каждое лето проводят праздник. Впрочем, праздник существовал издавна и был посвящен деве Марте, по преданию победившей страшное чудовище Тараска (отсюда и название городка), похищавшее местных красавиц.

Во время этого праздника можно встретить на улице и Тартарена. Это один из горожан, наряженный и загримированный под книжного героя. Говорят, чаще других в этой роли выступает местный мороженщик. В окружении веселой толпы он шествует по Тараскону, направляясь к футбольному полю, где демонстрирует свое мастерство стрелка по фуражкам. А вечером, когда тарасконцы соберутся в кафе, будут пить вино и танцевать, вы опять встретите Тартарена. Вокруг него снова народ, слышится смех — оказывается, наш герой, верный себе, хвастает победой над Тараской. Ничего не поделаешь, таков уж характер у этого тарасконца.



МАЛЬЧИК ИЗ ГОРОДКА НА МИССИСИПИ

Французский монах Луи Эннепен был одним из первых европейцев, ступивших на западный берег Миссисипи. Вместе с грабительской экспедицией, возглавляемой воинственным землепроходцем Ла Салем, он проделал долгий путь по озерам и рекам и ступил на землю по ту сторону великой реки. Многие участники этого похода, цель которого была проложить путь на незнакомый дикий Запад, погибли — одних унесли болезни, другие были убиты в стычках с туземцами, третьи, в том числе и главарь Ла Саль, пали от руки своих же взбунтовавшихся спутников. Святому отцу повезло, он благополучно добрался до Франции и здесь в конце XVII столетия издал свой рассказ о путешествии по Миссисипи.

Более ста лет спустя, в начале прошлого века, на берегу Миссисипи, где потом вырастет небольшая деревенька Ганнибал, было еще пустынно. В девственных лесах, подступавших к самой воде, во множестве водились хищные звери и дичь, и стук топора не оглашал окрестности. Иногда, словно из-под земли, в прибрежных зарослях вырастала фигура индейца, с тревогой вглядывающегося на восток. Оттуда тропой войны шли белые колонизаторы, неся туземным племенам гибель и разорение.

Поначалу в поселке Ганнибал, возникшем на западном берегу великой реки, ютилось всего несколько семей. Тридцать человек жили в постоянной опасности на самой линии соприкосновения с индейцами, за что соседи называли жителей поселка «сторожевыми псами». Но вот заброшенный уголок на реке ожил — в поисках работы и наживы в Ганнибал потекли новые поселенцы. В чащах

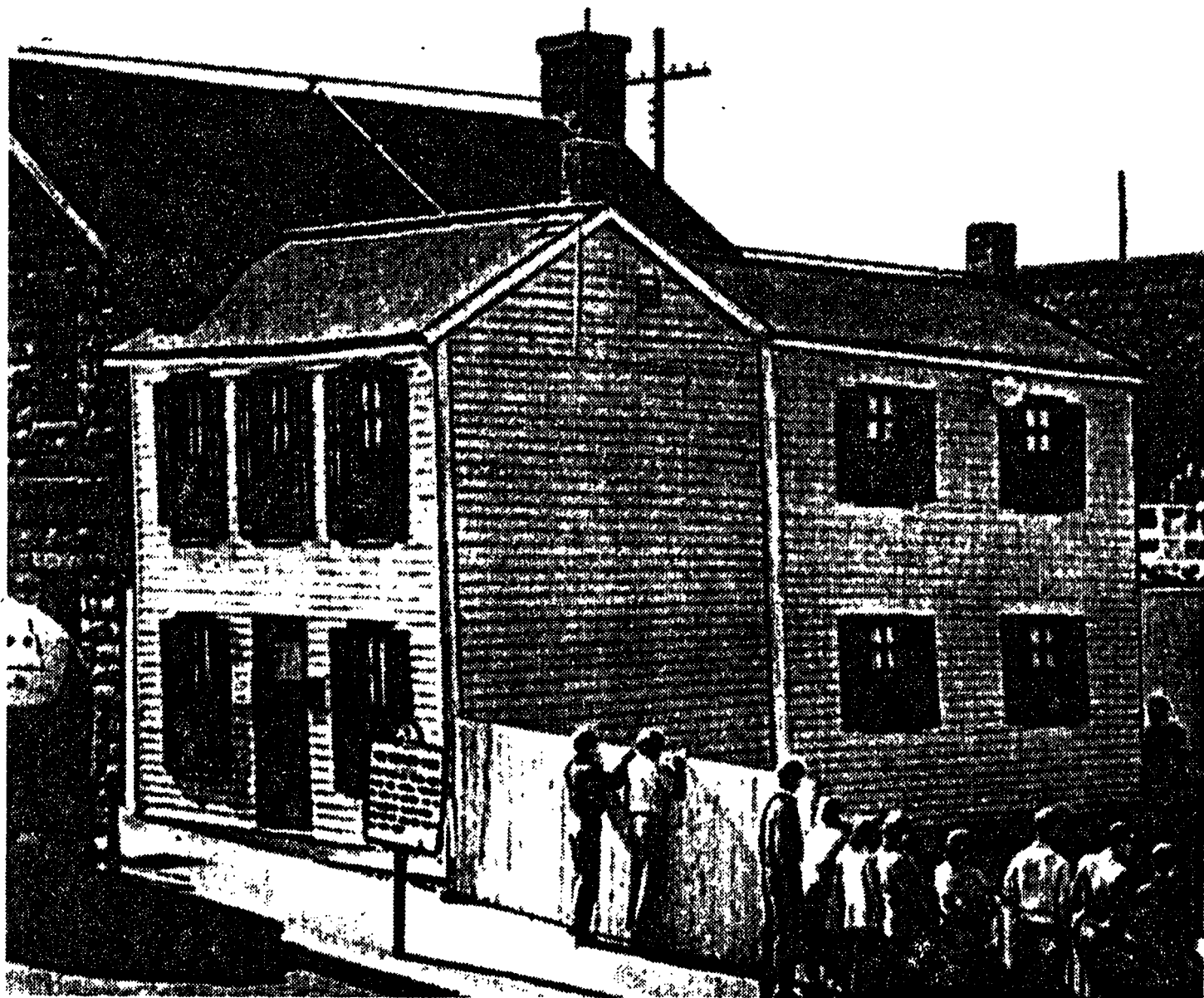
застучали топоры, засвистели пилы. Река, служившая средством сообщения, благоприятствовала торговле, она стала кормилицей и источником существования для многих. Поселок быстро рос, в 1839 году его население составляло уже тысячу человек. В этом же году в Ганнибал переехал на жительство и Джон Клеменс с семьей. Его старшему сыну Сэмюэлу было в то время четыре года.

Тринадцать лет прожил Сэмюэл в городке на Миссисипи, здесь прошло его детство, отсюда семнадцатилетним юношей он ушел бродить по дорогам Америки. Однажды, спустя годы, он навестил родные края. К тому времени босоногий, никогда не унывающий мальчишка Сэмюэл Клеменс из отчаянного озорника превратился в прославленного писателя, известного под псевдонимом Марк Твен. А сонный городок на великой реке стал источником тех жизненных впечатлений, которые питали его творчество. Из детских воспоминаний на страницы произведений Марка Твена перейдут многие обитатели Ганнибала, послужившие прообразами героев его книг.

В наши дни город Ганнибал пользуется широкой известностью. Сюда ежегодно съезжается множество туристов, они — одна из главных статей городского дохода. Что же их сюда привлекает? Чем примечателен маленький старый городок?

Его известность идет не от автомобильных заводов, как, скажем, известность Детройта, и не от гигантских боен и засилья гангстеров — «гордости» Чикаго. Здесь нет огромных мостов — достопримечательности Сан-Франциско, тут не увидишь ярмарки кинозвезд, как в Голливуде. Ганнибал знаменит особо — это родина прообраза литературного героя.

Многие юные читатели искренне верят в то, что неутомимый на выдумки и проказы Том Сойер — реальная фигура и что удивительные приключения, случившиеся с ним, происходили на самом деле. Слово и на этот раз, как неоднократно бывало в истории литературы, сотворило чудо. Герой повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера» сошел со страниц книги, зажил самостоятельной жизнью.



Музей Марка Твена в Ганнибале

В чем секрет такого успеха писателя? Благодаря чему веселый и озорной мальчуган Том — любимец ребят всего мира — превратился в их сознании из персонажа литературного произведения в реальную личность? Ответ на это дают слова самого писателя, сказавшего однажды, что «большинство приключений, описанных в этой книге, происходило взаправду». Том Сойер создан воображением писателя, но материалом для повести послужили подлинные события. Был городок на большой реке, был и маленький мечтатель, который хотел, подобно его любимому герою Робину Гуду, быть лучше и благороднее всех на земле. Правда, описанный в повести город Сент-Питерсберг на самом деле имеет другое название, так же как и имя прототипа всемирно известного литературного персонажа было иным.

Захудалый Сент-Питерсберг напоминает утопавший в зелени белый городишко Ганнибал. На его улочках сорва-

нец Сэм Клеменс воевал с соседскими ребятами, совершал «набеги» на чужие сады, слонялся по берегу реки, ловил рыбу, купался — одним словом, жил, как все подобные ему мальчишки. Больше всего он любил бывать на пристани — самом бойком месте города. Здесь останавливались сновавшие по реке пароходы, на берег спускались загорелые лоцманы, труд которых казался Сэму таким романтическим. Он часами просиживал на пристани, бродил по ее брусчатке, отполированной подошвами босых ног, вслушивался в манящие удары пароходного колокола. Или наблюдал за печальными лицами негров, ожидавших парохода, который должен был доставить их на хлопковые плантации Юга...

К пристани выходили почти все улицы городка. На одной из них, в двух кварталах от реки, жило семейство Клеменсов. Сегодня самый известный адрес в Ганнибале — Хилл-стрит, 206, — дом, где провел детские годы великий американский писатель.

Конечно, ныне Хилл-стрит имеет несколько другой вид, чем сто лет назад. Так же, как и старая пристань. Она давно отслужила свой век, и щели между брусчаткой заросли травой. Только сохранившееся до сих пор железное кольцо, вделанное в камни, которое некогда служило для причала судов, напоминает о минувшем. Уже взрослым побывав в родных местах, Марк Твен с грустью писал, что «все переменилось в Ганнибале» и дом на Хилл-стрит показался ему совсем небольшим.

В 1937 году, спустя двадцать семь лет после смерти Марка Твена, здесь был открыт музей. К старому зданию пристроили флигель, где разместили экспонаты — письма, фотографии, личные вещи писателя, издания его произведений на многих языках. До этого существовал так называемый временный музей, организованный к празднованию столетия со дня рождения Марка Твена, но выглядел этот музей жалко. Во время своего путешествия по Америке советские писатели И. Ильф и Е. Петров побывали в Ганнибале. Музей не произвел на них впечатления, ибо был собран, как они рассказывали в «Одноэтажной Америке», кое-как и особен-

ного интереса не вызывал. Писатели еще застали в живых двух старушек, ютившихся в доме,— дальних родственниц семьи Клеменсов. В двух тесных и пыльных комнатах первого этажа стояли кресла с вылезшими наружу пружинами и трясущиеся столбики с фотографиями.

С благоговением показали им кресло, где будто бы любила сидеть тетя Полли, и окошко, в которое выскочил кот Питер после того, как Том Сойер дал ему валерьянки, и, наконец, стол, вокруг которого сидела вся семья, когда все думали, что Том утонул, а он в это время стоял за дверью и слушал, что о нем говорили.

Атмосфера подлинности того, о чем рассказано Марком Твенем в «Томе Сойере», всячески культивируется в городе — ведь это обеспечивает приток туристов. И сегодня в доме, восстановленном в том виде, какой он имел раньше, показывают «спальню Тома Сойера». Существует и знаменитый «забор Тома Сойера» — точная копия того, что когда-то стоял на этом месте и который так ловко и быстро с помощью других ребят выкрасил хитрец Том, к удивлению тети Полли. Обо всем этом можно прочитать на специальной доске, прикрепленной к «уникальному» забору.

Этот уголок на Хилл-стрит сохранился в нетронутом виде, словно время остановилось сто лет назад и ничто в мире не изменилось. Улица в этом месте выглядит сегодня патриархальным островком старой Америки. Когда-то на этой, в прошлом незамощенной улице, среди ватаги босых ребят будущий писатель повстречал прототипов своих героев.

ИЗВЕСТНЫЕ НА ВЕСЬ МИР

Существовал ли похожий на Тома Сойера паренек? Автор отвечал на этот вопрос утвердительно. Но кто именно из ганнибальских мальчишек выведен в повести под этим именем? Такой же, как и Сэм Клеменс, заводила Уилл Боуэн, а может, Норвал Брэйди или Джон Бриггс? Все четверо были неразлучными приятелями и неизменными

участниками игр в пиратов, «благородных» разбойников, в справедливого Робина Гуда. Ни один из них в отдельности не являлся прототипом твеновского героя. Моделью для образа Тома послужили сразу несколько ребят. «В нем объединились черты трех моих знакомых мальчишек», — говорил Марк Твен. Кто же входил в эту троицу? Сам автор, его ровесник и школьный товарищ Уилл Боуэн и, наконец, хорошо известный в Ганнибале мальчуган из соседнего штата Иллинойс по имени Томас Сойер Спиви — большой проказник и сорвиголова. Том Сойер — образ собирательный и является, как говорил сам писатель, «сложной архитектурной конструкцией», построенной по законам реалистической типизации. Не случайно Марк Твен назвал своего героя таким обычным и распространенным именем. По его словам, «Том Сойер» — имя «одно из самых обыкновенных — именно такое, какое шло этому мальчику даже по тому, как оно звучало».

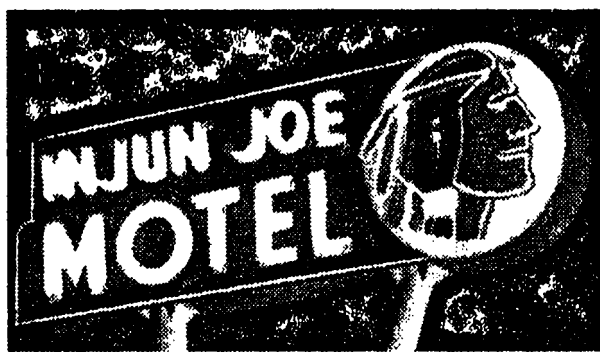
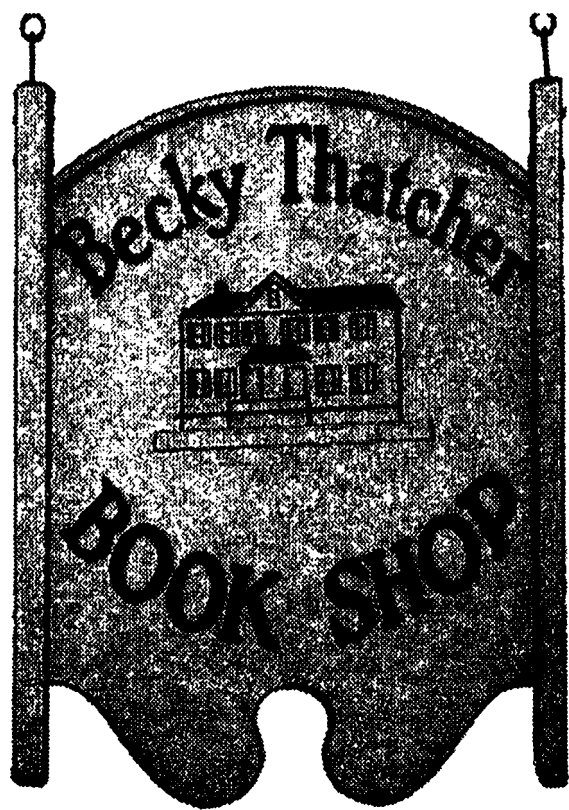
...На противоположной стороне от музея Марка Твена на Хилл-стрит есть еще одно здание, сохранившееся от тех времен. Это дом с садом, описанный в повести, где обитало «прелестное голубоглазое существо с золотистыми волосами, заплетенными в две длинных косы» — девочка, которую в книге зовут Бекки Тетчер. Все было точно так и в действительности. За исключением имени. В жизни девочку звали Лаура Хокинс. Но дом, где она жила, до сих пор называют «дом Бекки Тетчер», а в его нижнем этаже расположена книжная лавка, на вывеске которой можно прочитать: «Книжный магазин Бекки Тетчер».

Это не единственный пример. Имена героев повести, как и имя ее автора, попадают в Ганнибале буквально на каждом шагу. Реклама призывает посетить магазин Марка Твена, поселиться в отеле Марка Твена, покупать ювелирные изделия только фирмы Марка Твена. Его именем названы закусочные и кондитерские, типография, товары различных компаний. Кроме книжного магазина «Бекки Тетчер», есть кинотеатр «Том Сойер» и бар «Гек Финн», мотель «Индеец Джо». В городе даже нашелся «личный

комый» Марка Твена, который будто бы видел его однажды в далеком детстве. Это не смутило владельца ресторана, оборудованного в старом колесном пароходе. И он с успехом использовал этого «очевидца» в качестве приманки к своему заведению. Словом, местные дельцы наживаются не плохие барыши на имени великого писателя и его героев.

В старом же Ганнибале, вспоминал Марк Твен, все были бедны. Но бедняком из бедных был «романтический бродяга» Том Блэнкеншип. Он был неграмотный, чумазый и голодный, но сердце у него было золотое. Писатель увековечил его в своей книге. Юный пария Гек Финн — «точный портрет Тома Блэнкеншипа». Он жил в полуразрушенной лачуге, голодал, ходил в лохмотьях, часто ночевал под открытым небом. Но чувствовал себя сыном свободной Миссисипи и гордо заявлял, что презирает «гнусные и душные дома».

Образу маленького оборвыша суждена была трудная «жизнь» в американской литературе. Было время, когда он оказался для кое-кого не ко двору в Америке. Особенно ненавистен стал Гек из другого произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», где рассказано о дальнейших похождениях этого полюбившегося всем героя. Эту «крамольную книгу» не раз изымали с полок библиотек, ее запрещали, реакционная критика пыталась всячески принизить ее художественное значение. Почему бедняк Гек был так ненавистен?



Имена героев повести, как и имя ее автора, попадают в городе буквально на каждом шагу

Да потому, что бездомный бродяга в нравственном отношении оказался выше многих «добропорядочных» буржуа, он осмелился быть другом негра, он атеист и бунтарь.

В дни литературного юбилея — семидесятилетия Гекльберри Финна — английская газета «Дейли уоркер» писала, что так же, как и герой Марка Твена, который должен был выбрать между честностью и предательством, в наши дни это должны были сделать многие американцы. «Гекльберри Финн избрал честный путь борьбы: он не предал своего товарища негра Джима, не предал американскую демократию. Он не донес на него, как того требовал «закон» и «приличия». Гекльберри Финн, — писала газета, — решил расовый вопрос так, как его должна решать демократическая Америка...»

Во время разгула в США маккартизма реакционеры обрушились с нападками и на Марка Твена. Можно ли считать его лояльным автором? — задавали вопрос молодчики из комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Газета «Нью-Йорк пост», подпевая мракобесам, заявляла тогда, что всем известно о том, что Сэмюэл Клеменс в течение многих лет скрывался под другим именем и что государственно-му департаменту не потребуется много времени, чтобы принять решение, «ибо хорошо известно также, что Гекльберри Финн и Том Сойер были парочкой молодых красных». В своем «патриотическом» рвении газетчики готовы были, по-видимому, ринуться на поиски марктовеновских смутьянов и доставить их пред грозны очи сенатора Маккарти.

...Как и герой его повести, мальчишка Сэм Клеменс хотел стать клоуном, мечтал совершать подвиги и клялся никогда не обижать бедных. Во главе ватаги «властелинов рек» и «рыцарей прерий» «черный мститель испанских морей» отправлялся к заросшему густым кустарником холму, у подножия которого раскинулся городок. В прошлом эта гора, «которую видно было отовсюду», называлась холмом Холидей — по имени «владелицы единственного барского дома во всем городе». В повести место это получило название Кардифской горы, а хозяйка дома, расположенного на вершине холма, — имя вдовы Дуглас. Здесь, в зарослях, Сэм и

его товарищи проводили большую часть времени. Сюда на окно дома миссис Холидей по ночам устремляли свой взор капитаны пароходов — лампа в окне служила им ориентиром. Позднее лампу заменил маяк. Он был торжественно открыт на вершине холма в столетнюю годовщину со дня рождения Марка Твена в 1935 году. Огонь для маяка был зажжен президентом Рузвельтом в Вашингтоне и доставлен в Ганнибал специальным курьером. А у подножия холма, если въезжать в город через мост имени Марка Твена, нельзя не заметить двух мальчишек, спускающихся по склону. Это Том и Гек, босые, с палками наперевес, они о чем-то оживленно болтают — должно быть обсуждают очередное приключение, а может быть, задумывают какую-нибудь новую игру. Памятник двум литературным персонажам, известным во всем мире, был установлен в 1926 году.

За холмом, в парке, высится еще один монумент. На берегу Миссисипи, лицом к реке, на шоссе стоит скульптура Марка Твена. Сюда считает своим долгом прийти всякий, кто приезжает в Ганнибал.

Каждый стремится побывать и в «пещере Тома Сойера», об этом страшном месте ходило много легенд. Когда-то там будто бы скрывались разбойники, потом была станция так называемой «подпольной дороги», по которой тайно переправляли негров с рабовладельческого Юга на Север. Скрытый под землей лабиринт, тянувшийся на много миль, называли пещерой Макдоуэлла. В книге Марк Твен дал пещере созвучное название — «пещера Магдугала». Со временем подземный сталактитовый город закупил какой-то делец, провел сюда электричество и до сих пор делает неплохой бизнес, собирая с доверчивых туристов мзду за вход.

Ганнибальские мальчишки хорошо знали, что шутки с лабиринтом опасны: в нем нетрудно было заблудиться кому угодно, даже летучей мыши. Юный Сэм Клеменс имел возможность самому убедиться в этом. Вместе с юной попутчицей он однажды сбился с пути, «и наша последняя свеча догорела почти дотла, когда мы завидели вдали, за поворотом, огоньки разыскивающего нас отряда», — вспоминал позже

Марк Твен. Этот подлинный случай описан в повести, как история с «индейцем Джо» — персонажем, имевшим вполне реального прототипа в Ганнибале. Его фотография, сделанная в 1921 году, когда ему было сто лет, украшает стены музея на Хилл-стрит. «Индеец Джо» в самом деле чуть не погиб как-то в пещере. От голодной смерти его спасло лишь то, что он питался летучими мышами, водившимися там в огромном количестве. Об этом пострадавший, по словам Марка Твена, рассказывал ему лично. В книге же, признавался автор, он заморил его до смерти «единственно в интересах искусства». В действительности прототип «индейца Джо» благополучно скончался в своем родном городе и никогда ничем особенно не походил на кровожадного убийцу, описанного в повести. Это не мешает местным гидам при входе в пещеру говорить туристам: «Индеец Джо умер и похоронен как раз там, где вы сейчас стоите».

В отличие от пещеры, привлекавшей мальчишек своей таинственностью, остров Джексон манил их возможностью купаться голышом, а потом загорать на солнце или воображать себя пиратами, питаться черепашьими яйцами и свежей рыбой. Тут можно было вести привольную жизнь и делать то, что тебе хочется. В то время этот клочок земли посередине реки был известен как остров Глескок, но затем книжное название «Джексон» перешло со страниц повести в жизнь и сохраняется за этим местом и поныне.

* * *

Однажды Марк Твен посетил город своего детства. Он намерен был заняться дальнейшей судьбой своих героев и «посмотреть, что за люди из них вышли».

Ганнибал сильно изменился. Изменились и друзья детства. Некоторые из них так и прожили всю жизнь в городке на Миссисипи. «Большинство героев этой книги,— говорил Марк Твен,— здравствуют и по сей час». Эти слова были написаны, когда жила еще мать писателя, послужив-

шая прообразом тети Полли. Не повезло только младшему брату писателя Генри, с которого списан образ Сиды, — он погиб во время катастрофы на пароходе.

Знаменитого писателя в городе его детства приветствовали старые знакомые, ставшие почетными горожанами, — Джон Бриггс (в повести Джо Гарпер) и Лаура Хокинс. С той, которая послужила прототипом Бекки Тетчер, писатель встретился еще раз в последние годы жизни. В письме, относящемся к этому времени, он сообщал, что к нему приезжает, чтобы повидаться с ним, его «первая любовь». Сохранилась фотография, запечатлевшая эту встречу двух пожилых людей, под ней трогательная подпись: «Том Сойер и Бекки Тетчер». Лаура Хокинс намного пережила Марка Твена. Она заведовала городским приютом для сирот в Ганнибале, дожила до преклонных лет и умерла в 1928 году.

О судьбе Тома Блэнкеншипа известно, что он стал судьей в одном из поселков на севере страны. Уже в старости Марк Твен встретился и с Томасом Сойером Спиви, который был фермером. Умер он в 1938 году.

В записках Марка Твена есть строчки о том, какими он хотел изобразить своих героев в старости. После долгих странствий Том, Гек и Бекки встречаются в родном городке. Жизнь их сложилась неудачно. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, — исчезло без следа.

Марку Твену не пришлось осуществить свой замысел и рассказать о последних годах жизни маленьких сорванцов из Сент-Питерсберга. Они остались в нашей памяти вечно молодыми, какими изобразил их великий американский писатель на страницах своей замечательной повести.

ВЕЦЛАРСКАЯ ЭЛЕГИЯ, ИЛИ ПУТАНИЦА С ЦВЕТОМ ГЛАЗ



Положенное в основу «Вертера»
событие личной жизни Гете
получило такую же широкую
известность, как и самый роман.

Томас Манн

ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Все в доме были удивлены. Такого еще не бывало, чтобы Гете переписывал им самим сочиненное. Во всяком случае последние четверть века престарелый поэт обычно диктовал, расхаживая по рабочей комнате, которую называл «своей кельей». И хотя в ней стоит письменный стол в стиле Людовика XVI и высокий старый пятиножный стул с подставкой для головы, а на столе, как положено, чернильница с пером, песочница и подушечка для локтя,— все, что родилось в этой комнате веймарского дома, все бессмертные шедевры были впервые начертаны на бумаге рукой его секретаря. Причем под диктовку записывались даже личные письма и лирические стихи, из чего иные исследователи делали вывод, что Гете трудно быть в них вполне откровенным. Эта неприязнь, или, как он сам говорил, отвращение к чернилам и бумаге с годами возрастала, процесс писания все больше тяготил его. И, видимо, не случайно Эгмонт по воле автора признается: «Всего несносней мне писанье». Когда же, едва ли не однажды, в молодости, по настоянию сестры, Гете собственноручно принялся за рукопись «Геца фон Берлихингера», страницы ее были заполнены четким бисером букв и, что удивительно,— без единой помарки.

И вот снова, чуть ли не полвека спустя, Гете сидит за столом и сам переписывает текст недавно созданной элегии. Он пишет красивым каллиграфическим почерком, тщательно и аккуратно. Затем сшивает рукопись и самолично переплетает ее, так как считает, что переплет то же, что рама для картины — придает произведению законченный вид. Никто пока не знает, чем был занят эти три дня поэт, ибо Гете хранит до поры написанное, «как святыню». Однако постепенно его охватывает желание обнародовать свое творение, услышать его в устах других. Чем объяснить такую перемену? Вначале нежелание, а может быть, опасение доверить стихи посторонним, потом, словно спохватившись, он решает сделать их достоянием в первую очередь близких и друзей. И тогда становится ясно, какое значение имеют эти стихи для автора, обычно столь сдержанного в своей любовной лирике. «Мариенбадская элегия» — так назовет он это свое стихотворение — горестное, нет, трагическое признание о посетившей старца последней любви к пленительной девятнадцатилетней Ульрике фон Левецов, о мелькнувшей было надежде на счастье семидесятичетырехлетнего поэта и о безжалостном крушении иллюзий. Как мучительный стон, вырываются из его груди строки:

Я счастлив был, с прекрасной обрученный,
Отвергнут ею, гибну, обреченный.

Но странное дело, завершив работу над стихом, Гете почувствовал, что наступило избавление от сжигавшего его недуга, пришло «исцеление от копья, которым он был ранен». И прав был С. Цвейг, когда написал в своей великолепной новелле, посвященной последней любви Гете, что поэта спасла его элегия. Стихи, сочиненные в начале сентября 1823 года, во время поездки в Мариенбад, избавляют, вернее, излечивают его от «глубочайшей боли». Как говорит С. Цвейг, поэт нашел «прибежище от жизни в поэзии». И так бывало не раз — исцеление от любви, утоление печали он находил в творчестве.

У Гете всегда замысел был связан с переживанием, любовные стихи он, по его собственному признанию, писал только тогда, когда влюблялся. Восхищение являлось для него одним из основных стимулов творчества. Для того чтобы преодолеть сердечный недуг, избавиться от увлечения — будь то Фредерика или Лотта, Лили или Марианна, Монна или Ульрика — ему необходимо было «страсть пережить в духовное». Рецепт этот, собственно, известен издавна, чуть ли не со времен Древней Греции и Рима. Во все времена свои страдания поэты пытались лечить поэзией. И недаром Альфред де Мюссе, зная об этом, надеялся, описав историю своей любви к Жорж Санд, избавиться от роковой страсти. В этом смысле поэзия, творчество и для Петрарки, и для Гюго, и для многих иных служила лекарством освобождения от самого себя, как и для Достоевского, который должен был очиститься творчеством, пройти через катарсис, чтобы жить дальше, или для Моэма, написавшего, по его признанию, роман «Бремя страстей человеческих» с целью сбросить с себя гнет воспоминаний.

Что касается Гете, то те, кто изучали любовную сторону его биографии, ну, скажем, Томас Манн, подметили, что сердечные увлечения великого немца, его влюбленности, обычно лишены серьезных намерений, помогали только достижению творческих целей.

Именно таким средством для творчества послужила охватившая Гете на склоне жизни любовь к Ульрике фон Левецов. Но и в начале творческого пути поразившее его, двадцатитрехлетнего, глубокое чувство, пережитое и выстраданное тогда, выплеснулось на бумагу в смешении действительности и вымысла и сделало его знаменитым.

Написав эту вещицу, по его словам, почти бессознательно, Гете немедленно сброшюровал ее и переплел. После чего, перечитав написанное, сам изумился, почувствовав себя свободным, радостным, получившим право на новую жизнь. Преобразовав действительность в поэзию, признавался Гете, он обрел очищение; стародавний рецепт возымел силу.

Какое же из своих многочисленных творений имел в виду поэт? И какие события, пережитые им, Гете решился тогда художественно увековечить?

ВЕСНА В ДОЛИНЕ ЛАНА

Пассажирская карета при выезде из деревни Буцбах свернула в сторону, переехала каменный мост через Лан и остановилась под липами около почтовой станции. Гете ступил на мостовую. Вецлар-на-Лане, куда он прибыл, красиво расположенный, но маленький и плохо построенный городок, производил унылое впечатление. Узкие и грязные улочки, пыльные деревья, серые домики. Зато окрест, он заметил это из окна кареты, пейзаж поражал своим великолепием. Повсюду — на равнине, окружающей город, по склонам долины Лана, среди полей и под кроной лесов — бушевала всепобеждающая весна. Гете запомнил этот день — 24 мая 1772 года.

На следующее утро молодой человек записался в присутствие в чине референдария. Ему предстояло заняться дальнейшим изучением юриспруденции, а точнее говоря, стать практикантом в Имперской судебной палате. Такова была воля старого господина в напудренном парике, однажды решившего, что его единственный сын, полгода назад вернувшийся из Страсбурга в родной Франкфурт лицензиатом права, должен обречь себя на прозябание в Вецларе. Так Гете оказался среди восьмидесяти чрезвычайных уполномоченных, присланных немецкими государствами по велению Иосифа II, тогдашнего главы Священной Римской империи. С давних пор в ней скопилось двадцать тысяч процессов — наследство тяжб Священной империи. Дела десятилетиями лежали неразобранными, в архиве царил невообразимый хаос, усугубленный Тридцатилетней и Семилетней войнами и их последствиями. Немногочисленные судейские чиновники не в состоянии были справляться даже с текущими делами, вот и решили, чтобы разобрать этот чудовищный ворох бумаг, перебудоражить и перетрясти

их, привлечь юристов со стороны, из владений, подвластных германскому императору. Правда, попытка разобраться в злополучных залежах дел приводила лишь к тому, что росли новые вороха бумаг, разбухали папки, создавались новые проволочки и возникали новые препятствия. Тем не менее в имперский суд приезжали набираться опыта многие начинающие правоведы.

Очень скоро, однако, Гете стало ясно, что никакого толку для себя во всем этом он не может ни усмотреть, ни вынести и что вообще ничего из ряда вон выходящего не ждало его в захудалом Вецларе. Не лучше ли бродить по долинам и лесам, созерцая прекрасный сельский ландшафт, оживленный приветливой речкой, чистой серебряной нитью протянувшейся в долине, и предаваться сладостным мечтам? Или рисовать окрестные пейзажи, находя в них отзвук своим настроениям, а может быть, и чудесное родство, внутреннее созвучие с ними, чтобы взгляд живописца сливался со взглядом поэта?

Пройдут годы, и Гете будет с благоговением вспоминать ставшую столь милой сердцу обстановку, которая так украсила его пребывание в долине Лана. Но только ли пейзаж, только ли охватившее его здесь чувство родства с природой будет тому причиной?

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ ЛОТТА

Однажды, в начале июля, Гете возвращался с прогулки. В руках папка с рисунками, под мышкой томик Гомера. На проселке, который вел к Бранфельской дороге, слышался цокот. Гете обернулся. Его нагонял всадник. Когда тот поравнялся с ним и, спрыгнув на землю, неуклюже поклонился, он узнал в нем слугу графа Айнзиделя, молодого владельца Гарбенхейма — близлежащей деревни.

— Ты кого ищешь, Вильгельм?

— Вас, господин, — ответил тот и протянул записку. Это было приглашение на загородный бал.

— Поблагодари своего хозяина и передай, что я с удовольствием приму участие в празднике.

И Гете заспешил в город, ему еще предстояло заехать за двумя девицами, кузинами графа, и по дороге захватить одну их подружку.

— Она, по крайней мере, хорошенькая? — полюбопытствовал он у одной из кузин графа, когда карета, миновав широкую лесную просеку, подъезжала к окаймленному каштанами и вязами приземистому, сельского типа домику с черепичной крышей.

— Премилая, — услышал он в ответ. — К несчастью для вас, она уже помолвлена, — лукаво заметила Марианна, одна из его спутниц, одетая, как и ее кузина Кэтхен, по последней моде, — обе нежные, свежие и беспечные.

Ответить он не успел, так как карета остановилась и надо было помочь дамам выйти. Служанка, отворившая ворота, попросила обождать: мадемуазель Лотхен через минуту будет готова. Гете огляделся. Просторный двор, дом основательный, крепкий. Три пологих ступеньки вели на крыльцо. Из-за приоткрытой застекленной двери доносились крики детей. Заглянув в прихожую, Гете увидел навсегда запомнившуюся ему картину, которую он доподлинно увековечит в следующих словах: «В прихожей шестеро детей от одиннадцати до двух лет окружали стройную, среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в руках каравай черного хлеба, отрезала окружавшим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, и ласково оделяла каждого, и каждый протягивал ручонку и выкрикивал «спасибо» задолго до того, как хлеб был отрезан, а потом одни весело, вприпрыжку убегали со своим ужином, другие же, те, что помирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которой уедет их Лотта».

Эта картина домашнего уюта, представшая перед ним во всей своей трогательной простоте, заворожила Гете, застывшего на пороге. Но особенно его поразили легкий, изящный облик, голос, движения молодой девушки, которую

дети называли Лоттой. Он сразу угадал в ней чистую, здоровую натуру, полную жизнерадостной энергии. Видно было, что она скромна, непритязательна и создана не для того, чтобы внушать отчаянные страсти, но чтобы привлекать к себе все сердца. Свежим, радостным воздухом веяло вблизи нее. Словом, Лотта была наделена качествами, которые, как признается Гете в своей автобиографии, всегда его прельщали, и он льнул к тем, кто ими обладал. К числу ее достоинств следовало отнести и то, что она после смерти матери энергично возглавила многочисленную семью, воспитывала шестерых младших братьев и сестер, являясь единственной поддержкой отца в его вдовстве.

Когда карета подъехала к бальному павильону в Вольпертсхаузене, Гете был, по его словам, точно во сне. Замечтавшись, убаюканный вечерним сумраком и близостью очаровательной спутницы, он не слышал музыки, гремевшей сверху, из освещенной залы. Но и там, в свете сверкающих люстр, ему казалось, что все это ему снится. Ничего не видя вокруг, он, точно вихрь, вальсировал, держа в своих объятиях прелестнейшую девушку. Ее лицо, устремленное к нему, нежная улыбка, блуждающая на губах, аромат ее прекрасных золотистых волос, блеск голубых глаз, откровенно выражавших искреннейшее, невинное удовольствие,— все опьяняло и завораживало.

За окном над долиной раскатисто гремел гром, но он не слышал сердитого ворчания, как не обращал внимания и на свою шпагу, немного мешавшую ему в танце. И правда, Шарлотта Буфф, таково было полное имя его обворожительной партнерши, по общему мнению, была в тот вечер великолепна. Мужчины с восхищением следили за любительницей танцев, которую так красило воздушное белое платье с розовыми бантами, и завидовали ее кавалеру. Увы, не ему, Гете, оказавшемуся лишь временным партнером юной красавицы, а тому, в чей дом ей предстояло вскоре войти, став женой Иоганна Кристиана Кестнера.

ЖЕНИХ

За две недели, что Гете прожил в Вецларе, он, казалось, проник во все секреты маленького городка. Знал он и прозвище, которым вецларское общество наградило господина советника Кестнера,— «жених». Но то, что именно этот тридцатилетний чиновник, первый секретарь при посольстве Ганновера, является женихом Шарлотты Буфф,— это было для него неожиданностью. Только теперь он вспомнил слова, брошенные одной из кузин в карете, которым не придавал тогда никакого значения, о том, что Лотта помолвлена. Впрочем, официально помолвка еще не состоялась и молодой Кестнер еще не попросил у судьи Буффа руки его дочери, но никто в Вецларе на этот счет не заблуждался: через полгода-год Шарлотту станут называть госпожой Кестнер.

Однако в тот вечер, входя под руку с фрейлин Буфф в праздничный зал, Гете и знать не знал о тех связях, что соединяют дочь судьи с секретарем посольства Ганновера. И когда в какой-то момент остался наедине с Лоттой, он не выдержал, склонился над ее рукой и прильнул к ней губами. Мимолетное прикосновение пробудило в нем множество надежд. Окрыленный, он испросил у Лотты разрешение в тот же день навестить ее.

Спустя несколько часов, отправляясь на свидание, Гете уже знал о Кестнере и о тех отношениях, которые существовали между ним и Лоттой. Тем не менее, разодетый в новый фрак, на английский манер с отворотами и обшлагами, сшитый на заказ во Франкфурте, он появился под деревьями старого дома судьи Буфф.

Куда девались его беспечность и неистребимая ветренность, что, по словам друзей, делало его похожим на беззаботного воробушка! С тихим восхищением молодой влюбленный взирал на свою Элоизу, был счастливо-несчастливым подле нее, не испытывая иного желания, как изо дня в день наслаждаться ее присутствием, ловить взгляд, слышать голос, исполнять ее желания.

Однажды, подъезжая к дому под деревьями, Гете заметил треуголку и сразу узнал того, о ком он старался все эти дни не думать. Во дворе рядом с Лоттой стоял советник Кестнер, который недавно вернулся из поездки в Ганновер. Мелькнула мысль: как хорошо, что он не был при их встрече. У Гете еще оставалось время, чтобы повернуть назад, но вместо этого он поклонился. Перед ним стоял жених его Лотты, прилежный и беззаботный служащий, с ровными, спокойными движениями, сдержанный и на немецкий манер абсолютно невозмутимый. Видимо, в силу этих же причин он станет потом безупречным супругом, отцом многочисленного семейства.

Кестнер учтиво ответил на приветствие, затем, протянув руку, другой обнял его как брата. Лицо Лотты озарилось улыбкой. В этот момент возникло странное вецларское трио — все трое отныне стали неразлучны. И в самом деле, это был странный любовный союз.

Стояло дивно прекрасное лето, они бродили среди спелых хлебов, вспоминал Гете, наслаждались свежестью росистого утра; песнь жаворонка, крик перепела веселили их души, в часы, когда разражались страшные грозы, они лишь теснее льнули один к другому; постоянству чувств, казалось, не будет конца, и вообще они не понимали, как «смогут обходиться друг без друга». Так проходили будние дни, и всем им подобало быть отмеченными красным в календаре; то была настоящая сельская идиллия — невинная, поэтическая любовь на фоне прекрасной, почти сказочной природы.

С сердцем, которое терзала досада, Гете часами размышлял о необычности такой ситуации. Верный привычке доверять душевное состояние бумаге, он делал записи, которые потом так пригодятся ему. Бывает и так, что вскочив на коня, он бежит в горы и исчезает на несколько дней. Вернувшись, обнаруживает на своем столе гору записок от Шарлотты: «Когда же вы навестите нас снова?» Не в силах противиться желанию увидеть ее, он на следующий день возвращается к своей странной любви. Его взгляд встречается с голубыми невинными глазами фрейлин Буфф.

— Ах, дорогая Лотта, я хотел попросить вас об одном одолжении,— лепечет он, от волнения путаясь и запинаясь пуще обычного, отчего его франкфуртский акцент с его и без того небрежной, смазанной дикцией становится просто несносным.— Ради бога, не промокайте песком ваши записки. Представьте себе, что вчера, едва я поднес ваше письмо к губам...— Сделав паузу, испытующе посмотрел на Шарлотту своими карими, близко посаженными глазами.— И,— продолжал он,— проклятый песок заскрипел у меня на зубах.

К его досаде она и бровью не повела при этих словах. Понимала ли вообще его фрейлин Буфф? Или надежда на то, что милая Лотта разделит его привязанность,— напрасная иллюзия? Временами ему казалось, что он осознал все до конца и пора покончить с этой двусмысленностью, прекратить встречи с ней и ее женихом. И хотя последний заслуживал всяческих похвал и вел себя в высшей степени благородно — ни разу в присутствии своего соперника Кестнер не обменялся с мадемуазель Буфф какой-нибудь лаской,— несмотря на это Гете едва сдерживался. Наконец он понял, что у него нет шансов на успех. Лотта останется верной своему выбору.

Он стоял перед домом под вязами и провожал взглядом солнце, в последний раз на его глазах заходившее над долиной и тихой рекой.

Смеркалось. Между деревьями проносились летучие мыши. Пахло землей и цветами.

— Прощай, Шарлотта,— сказал Гете,— прощай, Кестнер.

— До завтра, мой друг,— услышал он в ответ.

Погожим ранним утром Гете вышел из Вецлара и двинулся пешком вдоль Лана. Он шел очаровательными берегами, удивительно разнообразными, «свободный в силу своего решения, но скованный любовью, в том душевном состоянии, когда близость живой и молчаливой природы становится истинно благотворной». Взор его созерцал близи и дали, горы, поросшие кустарником, замки на каменистых уступах и синеющие вдалеке горные цепи.

Багаж был им отправлен заранее во Франкфурт, так что шагал он налегке, предаваясь своим чувствам и фантазиям. Дорога, повторяя изгибы реки, пролежала по правому ее берегу, и ему хорошо была видна озаренная солнцем вода, полускрытая зарослями ивняка.

Позади оставались живописные замки и деревушки Вейльбурга, Лимбурга, Дица и Нассау. «Шел я по-прежнему в одиночку, — вспоминал Гете, — лишь изредка и ненадолго сходясь с каким-нибудь случайным попутчиком».

Через несколько дней этого «отрадного странствия» он добрался до Эмса, где сел на лодку и, спустившись по реке, поплыл вверх по Рейну на яхте, возвращавшейся в Майнц. Впрочем, путешествие это подробно описано автором в его автобиографии, поэтому нет особой нужды останавливаться на нем.

Вернемся лучше на время назад, в Вецлар, и посмотрим, что происходило там.

САМОУБИЙСТВО

В тот же день, когда Гете бежал из города, Шарлотта получила не очень разборчиво написанное письмо. На скамейке перед домом она развернула его и прочла: «Вещи мои уложены, скоро рассвет... Когда вы получите эти строки, то знайте, что он ушел... Теперь я один и вправе плакать. Пришла пора мне с вами разлучиться. Я решил уехать по доброй воле, прежде чем меня прогнали бы невыносимо сложившиеся обстоятельства. Будьте всегда радостной и бодрой, дорогая Лотта. Прощай, тысячу раз прощай!»

Как восприняла она это известие? Исполнилась ли запоздалого сожаления или, наоборот, вздохнула с облегчением? Возможно, почувствовала себя виноватой? Ведь тем, что так непринужденно принимала знаки его внимания, она невольно поощряла своего поклонника. И хотя как настоящая женщина Шарлотта умела удержать его в узде, проявляя, однако, к Гете «искренний интерес», она своим поведением принуждала поэта еще больше восхи-

щаться ею. Взвесив все и хорошенько обдумав, она, как и подобает человеку, наделенному здравым смыслом, сделала вывод: «к лучшему, что он уехал».

Что касается советника Кестнера, то на него известие о бегстве их друга подействовало совершенно определенным образом: он решил ускорить день свадьбы. Всеми уважаемому и добропорядочному, ему совсем не хотелось, хоть и с запозданием, стать объектом насмешек и пересудов и оказаться в положении господина Герда.

И тут на сцене появляются новые действующие лица. Одному из них суждено было сыграть особую роль в этой драме.

Во время пребывания в Вецларе Гете часто встречал на улочках городка молодого человека, секретаря брауншвейгского посольства. Виделись они и у общих знакомых. О нем было известно, что он увлекается живописью и английской литературой, речи его отличались умеренностью, а внешность — несомненной оригинальностью. Запомнились выразительные голубые глаза на чуть округлом бледном лице с мягкими спокойными чертами. К тому же он был белокур и недурно сложен, всегда изящно одет в нижненемецком стиле, принятом в подражание англичанам: синий фрак, желтый шелковый жилет, такие же панталоны и сапоги с коричневыми отворотами — костюм, мода на который, подобно эпидемии, вскоре охватит немецкую молодежь. И еще, на что обратил внимание Гете, — отмеченный печатью мрачной меланхолии взгляд, порой необычайная скорбь во взоре юноши, словно какая-то тайная страсть сжигала нутро этого человека.

Звали его Иерузалем, он был сыном известного ученого-теолога.

Но отчего молодой дипломат выглядел таким несчастным? Какова была причина его постоянной задумчивости и грусти? Узнать это не составляло особого труда — повсюду судачили о том, что Иерузалем без памяти влюблен в одну из прекрасных женщин Вецлара, госпожу Герд. Однако вместе, на людях, к досаде жаждущих скандала обывателей, их никогда не видели. Лишь по вечерам юноша будто невзначай проходил перед ее домом, откуда доносились печальные

звуки клавесина, и бывал счастлив, если ему случалось увидеть силуэт, мимолетно возникший в окне. Страсть брауншвейгского дипломата пылала уже почти полгода. О безумии, охватившем его, было известно всем, кроме фрау Герд.

Весь городок буквально не спускал с нее глаз, везде ее подстерегали злоязычие и зависть, буржуа следили за каждым шагом женщины, надеясь на неизбежное ее падение. Она же, стройная и изящная, с чудесными, спадающими на гордые плечи волосами, как королева, проходила по улицам Вецлара, словно бросая вызов ничтожному и мелкому миру филистеров. На балах ее видели редко, и вообще она не часто выезжала в свет. Когда же случалось появляться на людях, то обычно сидела потупив взор, как бы скрывая от посторонних свой взгляд.

Наконец, устав ждать нравственного падения гордой фрау Герд, жаждавшие скандала провинциалы решили спровоцировать его. Кто-то из коллег мужа намекнул ему, что Иерусалем является его соперником. На что господин Герд лишь рассмеялся в ответ, не замедлив пригласить секретаря из Брауншвейга к себе на обед.

В тот же вечер мертвенно бледный, с вызывающе горящими глазами Иерусалем появился в гостиной фрау Герд. Видимо, он решился на отчаянный шаг. И действительно, когда муж вышел за табаком для трубки, юноша бросился к ногам фрау Герд со словами признания в любви. Она вскрикнула и отпрянула. В этот момент вернулся в комнату муж. Не говоря ни слова, он выставил пылкого влюбленного на улицу. Что произошло дальше, Гете стало известно спустя некоторое время.

В последних числах октября, а именно тридцатого, он получил из Вецлара письмо от Кестнера. В нем сообщалось о том, что их общий знакомый, секретарь брауншвейгского посольства Иерусалем покончил самоубийством из-за безответной любви к фрау Герд.

Как это случилось?

Кестнер довольно обстоятельно описывал подробности трагедии, особенно ту ее часть, участником которой ему невольно пришлось стать.

Вечером, когда он готовился лечь в постель, в дверь постучали. Спустившись и отворив, увидел на пороге секретаря из Брауншвейга. Удивился — ведь, кроме обязанностей по службе, их ничто не связывало. На вопрос, чем обязан столь неожиданному визиту, в ответ услышал: «Не одолжите ли вы мне свои пистолеты для предстоящего путешествия?» И пояснил, что ему необходимо сию минуту выехать на родину к отцу, который очень плох. Ничего не подозревавший Кестнер, естественно, исполнил его просьбу.

Пробило полночь. Один из соседей Кестнера, погасив свечу, собирался укладываться, как заметил на другой стороне улицы вспышку и услышал щелчок выстрела; но все стихло, и он решил, что ему показалось.

Наутро слуга нашел своего барина Иерузалема на полу, рядом — пистолет, кровь. Он выстрелил себе в правый висок и лежал подле стола, одетый в свой знаменитый синий фрак и желтый жилет. Умер он в полдень.

Гете словно оцепенел. В ушах звучал роковой выстрел, воображение рисовало трагическую картину самоубийства. И вдруг пронзила мысль: разве труп бедного юноши из Брауншвейга не занял его место под могильной плитой на вецларском кладбище? Все еще держа в руках письмо Кестнера, он отчетливо припомнил каждый день последних месяцев, проведенных им самим в Вецларе, с поразительной ясностью вновь пережил события минувшего лета. Перед его глазами возникла пустынная равнина, дивная река, вспомнились прогулки, сельская прелесть Шарлотты и добрая улыбка Кестнера. Он вызвал в памяти фигуру фрау Герд и призрак советника из Брауншвейга, который еще недавно бродил по городу в модном фраке, с тростью и шляпой в руке. И тут Гете отчетливо понял, что и он в течение трех месяцев вел смертельную игру со своим неодолимым чувством. Только он сумел преодолеть вздорную мысль о самоубийстве и прервать игру, тогда как Иерузалем без колебаний довел до логического конца, до рокового финала свою трагическую партию.

Гете подошел к секретеру и хотел было положить письмо в ящик, где хранил свою корреспонденцию, однако передумал.

Взгляд его упал на томик «Одиссеи» — тот самый, что он читал Шарлотте и меж страницами которого теперь хранились полевые цветы, собранные ею на берегах Лана. Раскрыв книгу, Гете вложил внутрь послание Кестнера. И в это же самое мгновение возник первичный замысел будущей книги. Словно привитая болезнь, он поразил воображение Гете, как говорит сам писатель. Избавиться от нее, он знал, можно было только одним способом: преодолеть творчеством.

Через четыре дня пришло новое письмо от Кестнера в ответ на просьбу Гете уточнить подробности трагедии. Свой первоначальный рассказ Кестнер дополнил существенными деталями, описал поведение Иерусалема в дни, предшествующие драме, сообщил новые подробности о смерти молодого человека. Гете отчеркнул следующую фразу в этом письме: «Судя по всему, он сидел (?) на спинке кресла за столом, а потом соскользнул на пол и бился в судорогах возле кресла. Он лежал, обессилив, на спине, головой к окну, одетый, в сапогах, в синем фраке и желтом жилете».

Перед тем как нажать на курок, Иерусалем выпил бокал вина, о чем свидетельствовала початая бутылка, стоявшая на каминной полке. На столе лежала раскрытой трагедия Лессинга «Эмилия Галотти» — только что появившаяся книга; где героиня добровольно выбирает смерть, осознав полную безысходность своего положения.

Писал Кестнер и о том, как похоронили бедного юношу. Без священника, в одиннадцать часов ночи, когда город погрузился в сон, друзья проводили тело несчастного на кладбище. Гроб несли какие-то мастеравые.

Все эти сведения (вплоть до отдельных фраз из письма Кестнера), подробнейше описывающие роковое событие, как и другие, собранные позже, устремятся со всех сторон, «чтобы слиться в плотную массу». «Так вода в сосуде,— скажет по этому поводу Гете,— уже близкая к точке замерзания, от малейшего сотрясения превращается в крепкий лед».

Но прежде, чтобы «удержать редкостную добычу» — фабулу будущего произведения, он решает лично съездить в Вецлар. Честно говоря, после последнего письма Кестнера

он уже не мог усидеть дома. Не раздумывая Гете взял билет на магдебургскую пассажирскую карету. Он вновь увидит Шарлотту, прелестную долину, где страдал, постарается повидать фрау Герд, посетит могилу самоубийцы. В Вецларе поэт проведет четыре дня — с 6 по 10 ноября.

ПРОЩАЛЬНЫЙ БУКЕТ

Гете стоит у окна и, задумавшись, смотрит на франкфуртские крыши. Только что ему принесли картонку из-под шляпки. Открыв ее дрожащими руками и увидев розово-белый свадебный букет, он понял: Шарлотта стала госпожой Кестнер.

Собственно, для него это не было такой уж неожиданностью. Ведь по просьбе нареченных он сам выбрал и отправил им обручальные кольца. И обещал, что в день их свадьбы снимет со стены своей комнаты силуэт, изображающий Шарлотту. Тот самый милый силуэт, с которым он не раз за последние месяцы, после бегства из Вецлара, разговаривал, шагая по комнате.

И все же о свадьбе его известили уже после того, как состоялось бракосочетание. Неужели Кестнер опасался его присутствия? А может быть, влюбленные умолчали о дне церемонии, решив пощадить его чувства? Тогда зачем Лотта прислала ему свой букет новобрачной? Чтобы он проливал над ним слезы, вдыхая воспоминания о счастье? Но для этого ему достаточно было ранее подаренного ею розового банта с платья, в котором он увидел ее впервые. И вдруг его осенило: бант знаменовал начало, букет означал конец.

Черепичные крыши за окном стали ярко-красными от прошедшего дождя. И, словно освеженный его прохладой, поэт стряхнул с себя оцепенение. Он как бы отстранился от бурных событий своей недавней жизни, посмотрел на нее со стороны проникновенным взглядом художника.

Если самоубийство Иерузалема подсказало Гете лишь замысел романа, то свадьба Шарлотты и Кестнера побудила

сконцентрироваться на нём, еще раз пересмотреть недавние события, усилив намерение отождествить себя с погибшим от страсти вецларским чиновником — человеком, который, когда рухнули все его надежды, умер от любви. Словом, известие о том, что Шарлотта разделила брачное ложе с Кестнером, присланный ею свадебный букет — последнее прощай — подействовали на Гете так же, как крик ужаса, вырвавшийся у фрау Герд, подействовал на Иерузалема, покончившего с собой в приступе отчаяния. Наступил этап, когда поэзия поможет ему «освободиться от самого себя». Он мог бы назвать свое сочинение «Страдания юного Гете», вместо этого на первом листе рукописи появится: «Страдания юного Вертера».

С этого момента Гете полностью отгородился от внешнего мира в своей мансарде. Даже друзьям запретил посещать его, внутренне отбросив все, что не имело прямого отношения к воплощению замысла. И так как он был глубоко взбудоражен не только самоубийством и свадьбой, но и тем, что творилось в его душе, то неизбежно вдохнул в задуманную вещь весь пыл своих чувств, «не делая различия между вымыслом и действительностью».

Тридцать дней он был точно лунатик, не отдавая себе ясного отчета в том, отчего с такой быстротой рождалось вдохновение. Позже он поймет, что потребовалась длительная подготовка, внутреннее созревание, чтобы в такой короткий срок, без предварительной схемы и разработки, создать книгу, которая, подобно выстрелу, прозвучит в затхлой филистерской атмосфере Германии конца XVIII века. Он поймет, что, до того как приступил непосредственно к работе, накопил и хорошо высушил дрова, потому и огонь, когда пришло время, вспыхнул с такой силой, удивив его самого своим пламенем.

Несомненно, однако, и то, что ему, охваченному лихорадкой сочинительства, помогали письма и дневниковые записи, сделанные им в вецларскую пору и, как подметил Т. Манн, почти без изменений перенесенные в роман. Таким образом, под рукой Гете жизненный материал, собран-

ный на основе самонаблюдений, к его собственному удивлению, преображался в художественное произведение. В этом смысле, по словам того же Т. Манна, Вертер — «это сам Гете, без того творческого дара, каким оделила его природа». Да и сам поэт много лет спустя подтвердит, что его книга — создание, которое он, подобно пеликану, вскормил кровью своего собственного сердца, вложив в нее многое из собственной души, перечувствованное и передуманное.

Завершив работу, Гете велел изготовить чистую рукопись, которую и отослал издателю в Лейпциг. Сам же почувствовал себя, будто после исповеди: просветленным и, главное, освобожденным от гнета страданий. К тому же подоспевший гонорар позволил ему расплатиться с долгами, что было очень важно. Причем кое-что из денег у него еще осталось, не сделав, однако, его супы жирнее. Короче говоря, книга ушла в жизнь, и ему оставалось ждать, как примет ее публика.

ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА

Небольшой томик, рассказавший о сердечной эпопее молодого автора, излечив его от любовного недуга, бросил Гете в «объятия мира», в одно мгновение сделал его имя широко известным. Гений Гете взошел на небосклоне мировой литературы. И его успех объясняется отнюдь не формой носа поэта, на чем настаивал «пророк с берегов Лиммата», пресловутый физиономист Лафатер. А прежде всего тем, что «Вертер» — это прекрасный образец лирической прозы, произведение, оказавшее огромное влияние на всю последующую литературу. В этой, казалось бы, личной книге поэт сумел столь ярко и точно выразить свое время, создав по существу духовную исповедь сына века.

Герой гетевского романа, как и многие молодые люди того времени, преисполненный бунтарского возмущения, мечтающий о свободе и счастье, переживает трагедию одиночества в обществе, враждебном идеалам гуманизма.

Отсюда и болезнь этого героя: пессимистическое настроение, выливающееся в бессильную сентиментальность. У таких натур разлад между мечтой и реальностью способен проявляться лишь в пассивном гордом неприятии окружающей действительности. Поэтому и назвал А. Пушкин героя Гете «мучеником мятежным».

Современники Гете, особенно молодежь, прекрасно уловили эту трагическую раздвоенность Вертера и с азартом, достойным лучшего применения, взялись ему подражать. По всей Европе, когда «Вертер» перешагнул границы Германии, женщины носили на платьях розовые банты, а юноши одевались в голубые фраки, желтые жилеты и сапоги с отворотами.

На родине поэта вышло полтора десятка изданий книги Гете, еще больше в Англии и особенно во Франции, где революционное правительство избрало автора почетным гражданином Французской республики как «друга человечества и общества». В России книга Гете была опубликована в 1781 году под названием «Страсти молодого Вертера». О ней писали, что «основание сего романа есть историческое и притом обыкновенное, но воздвигнутое на оном высоких мыслей здание, пленяющее приятностью своего чувства, есть превосходнейшее в своем роде».

Появились подражания, продолжения и пародии на сочинение Гете. А тем временем книжка пересекла океан, достигнув Америки и проникнув даже в Китай. И всюду ее читали, проливая потоки слез. Безысходность и отчаяние в несколько месяцев сделались «болезнью века». Эпидемия самоубийств, охватив «всю обитаемую землю», привела власти в ужас. Однако они оказались бессильны перед последним криком сердечной моды. В течение первых девяти месяцев после выхода «Вертера» случаи самоубийства были отмечены всюду — в Германии, Франции, Италии, Англии. В Страсбурге тридцатилетний вдовец перерезал себе горло на могиле жены. В Гейдельбурге трое баденских студентов повесились с интервалами в десять дней. Утопленников было не счесть. В Венеции устали вылавливать тела

в Большом канале. В Павии слуга выбросился из окна на соборную площадь в базарный день. В Веймаре девушка отравилась стрихнином. В лесу в окрестностях Аугсбурга двадцатилетний новобранец выстрелил себе в грудь. И число самоубийств все росло по мере того, как книготорговцы объявляли о выходе романа Гете. Не приходится удивляться, что «Страдания юного Вертера» были вскоре запрещены в Саксонии, в Милане и Лейпциге, где подпольная продажа книги каралась штрафом в десять талеров. Кто-то подсчитал, что начиная с сентября 1774 года несколько сот человек покончили с собой таким же способом, что и Иерузалем. Подавляющее большинство этих самоубийств объяснялись неудачами в любви. Но разве Гете был виновен в этом смертельном психозе?

Затем началось подражание в литературе. Один за другим появлялись романы, получившие название «вертеровских». Литературе такого рода отдали дань Нодье, Шатобриан, Сенанкур, Констан, Фосколо и другие.

Вспоминая тогдашнее свое состояние в период сочинительства, Гете называет его лунатическим прозрением и признается, что перенесенное им в свою книгу из пережитого и выстраданного не поддавалось тем не менее расшифровке, ибо, никому не известный юноша, он пережил все это если не втайне, то уж по крайней мере без огласки.

Однако так ли это? Удалось ли избежать огласки? Вспомним слова, приведенные в эпиграфе, о том, что «событие личной жизни Гете... получило такую же широкую известность, как и самый роман». Во всяком случае многие читатели, познакомившись с романом и уверовав в то, что рассказанное в нем, как и сообщал автор в посвящении, произошло на самом деле, горели желанием узнать: как же все обстояло в действительности? Такое любопытство сердило Гете, и он по большей части давал весьма неучтивые ответы. Однако все же понимал, что нельзя было ставить в вину читателям это требование. Если говорить об Иерузалеми, то судьба его возбудила всеобщее участие, и каждый поневоле задавался вопросом: как же это могло случиться?

Потому, когда появился «Вертер», говорит Гете, читатели усмотрели в нем рассказ о жизни этого юноши. «Город, главное действующее лицо — все совпадало, и, принимая во внимание натуральность изображения, публика наконец-то почувствовала себя осведомленной и успокоенной».

Что касается личной драмы, пережитой автором «Вертера», то в нее были посвящены по крайней мере двое. И эти двое имели полное право быть недовольными господином Гете.

ПУТАНИЦА С ЦВЕТОМ ГЛАЗ

Однажды в полдень 25 сентября 1774 года госпоже Кестнер, проживавшей теперь с мужем, в Ганновере, был доставлен пакет из Франкфурта. Шарлотта развернула посылку. В ней оказалась книга. «Страдания юного Вертера» — прочла она на обложке. Видимо, это тот самый роман, обрадовалась она, над которым Гете, как он писал им, работал последнее время, создавая его назло Богу и людям.

Молодая госпожа Кестнер сгорала от желания поскорее узнать его содержание. Вечером муж приступил к чтению вслух.

Прочитав несколько страниц, господин советник остановился. Взгляд его выразил сначала смущение, потом тревогу, наконец, негодование. Ему показалось, что Гете сошел с ума.

— Что ты скажешь по этому поводу, Лотта?

— Да, это ужасно,— едва вымолвила она.

Испуганные и подавленные сидели супруги один подле другого, а на коленях советника лежала маленькая книжка в сто с лишним страниц, повергшая их в недоумение. Нет, они не обманулись, несмотря на то что автор отнес описываемые события к 1771 году, то есть на год раньше того, как все они трое встретились в Вецларе. Это уловка для детей; разве не ясно, что героиня — это Шарлотта (ее имя сочинитель даже не удосужился изменить!), советник Кестнер превращен в Альберта, а Вертер — это, естественно, сам Гете.

Все, все, вплоть до интимных подробностей отношений вецларских обрученных выставлялось в романе на всеобщее обозрение. Они могли бы воскликнуть, как и Р. Л. Стивенсон, что автор «настежь распахнул перед читателем двери в частную жизнь своих друзей и не пощадил их чувств, окончательно и непереносимо оскорбив их своим «Вертером». Даже самые незначительные детали были, как казалось супругам Кестнер, заимствованы у подлинной реальности. Так вот что имел в виду Гете, когда незадолго до этого, в июне, писал им: «вскоре я пришлю вам друга, который сильно на меня похож; надеюсь, что вы хорошо его примете; его зовут «Вертер». Выходит, он подразумевал эту отвратительную книжонку! Нет, положительно опасно иметь сочинителя своим другом...

Что касается Гете, то он и в самом деле беспокоился, как Кестнеры примут его роман, и не хотел их задеть, а тем паче нанести обиду. Он надеялся на понимание с их стороны. Какое там! Они продолжали гневаться, особенно господин советник. Подумать только, ведь именно он собственноручно сообщил подробности смерти секретаря из Брауншвейга. И это его свидетельство почти в неизменном виде вошло в книгу. А что стоит фраза о том, что в глазах Лотты накануне свадьбы с ним, Кестнером, Гете читал непритворное участие к себе и к своей судьбе. Это уж слишком!

— Но там речь идет о черных глазах, Ганг,— робко заметила Шарлотта мужу.— У меня же, как ты видишь, голубые.

— Разве дело в глазах! — вскричал Кестнер и с отчаянием отшвырнул книгу.

Однако Шарлотта не без досады отметила это несоответствие глаз ее и героини Гете. Безошибочный женский инстинкт не обманул ее, но она быстро справилась с возникшим было чувством ревности. А между тем госпожа советница оказалась недалеко от истины. Свою Лотту автор создал из примет и свойств многих прелестниц (отсюда и черные глаза), хотя главные черты и были им позаимствованы у любимейшей. И еще надо учесть свойство

Гете, на которое указал в свое время Ш. Сент-Бёв: умение вовремя отстраниться от своих персонажей даже в тех случаях, когда прототипом их бывал он сам. К слову сказать, Гете вообще в своем творчестве часто отталкивался от прототипа. Так, скажем, его друг Мерк, имевший огромное влияние на жизнь поэта, человек язвительный, но умный и талантливый от природы, в известной, конечно, мере послужил прообразом Мефистофеля. Во всяком случае именно от него, Мерка, гетевский дьявол унаследовал поднимающиеся к вискам брови; так же как он надел башмачника Агасфера некоторыми чертами характера, присущими его философствующему дрезденскому сапожнику; милую Гретхен — свою первую любовь, о которой в сущности мало что известно, увековечил под тем же именем в «Фаусте», да и у самого Фауста был реальный исторический прототип; а в пасторе Фрезениусе, который крестил будущего поэта и был духовником их семьи, видят общее с пастором из «Вильгельма Мейстера». Перечень прототипов без труда можно было бы продолжить.

Господину Кестнеру не было никакого дела до умения Гете создавать образы путем слияния многообразных прототипов; он видел в Лотте лишь свою жену, а в Альберте — личный портрет, отнюдь не лестный, рисующий его слишком флегматичным, а проще говоря, жалкой посредственностью.

У такой книги, казалось ему, нет шансов на успех. А раз так, то стоит ли из-за какого-то нескромного романа ссориться с автором, рассуждал советник. И, взяв перо, Кестнер написал примирительное письмо.

Вскоре пришел ответ, где Гете просил у обиженных им друзей прощения. И они простили его, причем Шарлотта сделала это с радостью, ибо втайне чувствовала себя польщенной — стать вдохновительницей автора такого романа! И она оказалась права, ибо отныне ее имя навсегда будет связано с вертеровской Лоттой. «Судьба избрала ее из миллионов и даровала ей вечную юность в поэме», — скажет Т. Манн. Благодаря ему же мы в подробностях можем

узнать о событии, которое произошло сорок с лишним лет спустя. Именно через столько лет свиделись Шарлотта Кестнер, к тому времени уже вдова надворного советника, и великий Гете, олимпиец, король поэтов.

Почтеннейшая Шарлотта Кестнер, урожденная Буфф, из Вецлара, мать девяти детей, предстала перед другом своей юности в том самом платье, в каком он впервые увидел ее, в «платье Лотты». По ее прихоти наряд оказался с дефектом — на нем отсутствовал один бант, который она когда-то подарила ему, Гете.

Гениально домыслив многие другие подробности этой необычной встречи, Т. Манн на страницах своего романа «Лотта в Веймаре» с непревзойденным мастерством продемонстрировал, насколько условна граница между подлинным происшествием и тем, что происходит в романе. И писатель вновь убеждает нас, что подлинная Лотта из Вецлара — очевидная и несомненная героиня бессмертной книжки Гете, несмотря на маленькую путаницу с черными глазами.

ТЕТРАДЬ ПОМЕЩИКА КАРАТЕЕВА



СОЧИНЯТЬ ИЗ ГОЛОВЫ ОН НЕ ЛЮБИЛ

Два дня назад, когда Тургенев подъезжал к Спасскому, сердце его сжалось, едва завидел за купами берез колоколенку и милый дом с зеленой крышей. Казалось, не так уж давно покинул он отчий край — всего лишь весной, а вот ведь рад, что снова оказался на «родной почве». Предвкушал удовольствие от встреч со старыми знакомыми, от прогулок по аллеям сада. Но как назло теперь случилось ненастье. Второй день лил дождь. Ветер резкими порывами качал деревья, словно спешил сорвать с них остатки осеннего урожая.

Поневоле пришлось засесть в четырех стенах и отменить прогулки. В такую пору Тургенев любил предаваться воспоминаниям или писать письма. В одном из них он признается, что проклятая непогода заставила его запересться и взяться за перо раньше, нежели предполагал. Речь шла о повести, которую он давно уже вынашивал в голове, но вплотную приступить к ней все не решался.

Впрочем, кое-какие наброски были сделаны еще летом в Виши. Тургенев приехал на этот французский курорт в июне и поселился в красивой комнате «Луврского отеля» на улице Ним.

Городок оказался грязноватым и довольно пустынным. Дни проходили однообразно: посещение врача, прием ванны, питье положенных стаканов знаменитой целебной воды. Скуку пребывания на водах усугубляла ужасная шарманка, которая чуть не каждое утро стонала и выла под его окном.

План повести, которую он собирался передать в «Русский вестник», был готов еще зимой. Да и в голове все накипело — а на бумагу не ложилось. Работа поначалу двигалась медленно. Писалось по страничке в день. «Моя муза,— записал

он в те дни,— как застоявшаяся лошадь, семенит ногами и плохо подвигается вперед».

В Спасском, вопреки опасениям, что и здесь работа пойдет трудно, повесть захватила Тургенева. А коль скоро на него напала охота — он мог трудиться целыми сутками. Даже во сне герои не покидали его.

Так рождался черновой вариант романа, который одно время он думал назвать «Инсаров». По фамилии главного персонажа. Впрочем, в списке действующих лиц первоначально значилось другое имя — Катранов. Принадлежало оно подлинному лицу и сохранялось в списке персонажей вплоть до апреля 1859 года.

Кто такой был этот Катранов? Почему писатель остановил на нем свое внимание?

Обычно Тургенев не приступал к произведению, если выводимые в нем лица не были достаточно «изучены на месте — не взяты живьем». Сочинять из головы он не любил, да, по правде говоря, и не очень умел. Ему необходимо было, как он говорил, «набраться материалу». Только опираясь «на жизненные данные», писатель способен был создать «сплав общего с личным, честным». Вот почему в подготовительных записях и черновых материалах Тургенева нередко встречаются пометки о том, что прототипом того или иного героя послужило такое-то подлинное лицо. Таков был его метод. Достаточно сказать, что почти каждый персонаж «Записок охотника» имел свой невымышленный прообраз. Одного он наделил чертами характера прототипа, другому придал портретное сходство с ним, третьему присвоил его биографию. Писатель всегда стремился найти живого человека, «который служил бы как бы руководящей нитью». Так в Рудине представлен «довольно верный портрет» Бакунина, однако отнюдь не его копия. Не раз автор «Отцов и детей» повторял, что без уездного врача Дмитриева, которого он однажды повстречал в вагоне второго класса на пути из Петербурга в Москву, не было бы Базарова. Это не значит, конечно, что этот врач — единственный прототип тургеневского нигилиста. В данном

случае он лишь пробудил внимание писателя: после встречи с ним Тургенев стал всюду приглядываться «к этому нарождающемуся типу». В числе прототипов Базарова — Н. Добролюбов и Н. Чернышевский; образ его вобрал также отдельные наблюдения писателя над В. Белинским и даже некоторые черты характера и поведения Л. Толстого.

Рабочие записи Тургенева к произведениям пестрят пометками: «взять несколько от наружности Скачкова», придать «элемент Хрущева, кн. Оболенского», вывести характер «вроде Зубовой» и т. п.

Пометки эти дают возможность проследить «родословную» тургеньевских героев, как, пожалуй, ни у одного из русских писателей прошлого столетия.

О том, что у Инсарова тоже имелся вполне жизненный прототип, писатель указал в своем «Предисловии к романам», написанном в 1880 году, двадцать лет спустя после выхода «Накануне», и ценном для нас фактами, помогающими понять историю создания этого романа.

ПОЛЬЗА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ СКУКИ

Когда семь лет назад Тургенева сослали, предварительно подвергнув аресту, в родовое имение Спасское-Лутовиново, у него было одно желание, чтобы ему «позволили свободно разъезжать внутри самой России». Для претворения его творческих замыслов необходимо было художественное постижение русской действительности.

Оказавшись в ссылке, он старался извлечь из провинциальной жизни всяческую пользу. В поисках впечатлений уходил «на позаранке» с Дианкою, неизменною спутницей его охотничьих прогулок, бродил по деревням, ездил «принаблюдать» на праздники в город. Память цепко вбирала в себя картинки с натуры, фиксировала характеры и нравы. «Я подобен Антею, — говорил писатель, — не могу оторваться от родной почвы, не утратив при этом малой толики сил, которой способен располагать».

С особым вниманием присматривался Тургенев к жизни поместного русского дворянства, расширял знакомства.

Частым гостем в тургеневском доме стал сосед писателя по имени Василий Каратеев. Этот двадцатипятилетний молодой помещик, живя в деревне у своего отца, без особой охоты занимался хозяйством: по словам Тургенева, он в нем ровно ничего не смыслил. Страстью Каратеева было чтение да разговоры с людьми ему симпатичными. Его посещения доставляли Тургеневу почти единственное развлечение и удовольствие в тогдашнюю для него не слишком веселую пору.

Нередко молодой сосед засиживался у Тургенева допоздна. В гостиной спасского дома, где уютно горела лампа и манил к себе знаменитый Самосон — диван, способный убаюкать всякого, стоило на него прилечь, — неспешно текла беседа. Переходили в библиотеку или в кабинет. Хозяин располагался в вольтеровском кресле, а гость — на жестком кожаном диванчике — антиподе Самосона.

Говорили о литературе и музыке, спорили, вспоминали Москву, мечтали о будущем России.

Во время бесед Тургенев охотно делился замыслами. Рассказывал о романе, в котором собирался изобразить представителя дворянской интеллигенции. Хотя и неудачника на общественном поприще, но человека безусловно сыгравшего положительную роль для своего времени. Назовет он этот роман по имени главного героя — «Рудин».

Однажды Тургенев заговорил о том, что им задумана повесть. Главная героиня Елена будет представлять собой новый тип женщины в русской жизни. Образ ее довольно ясно обрисовывался в его воображении. Однако недоставало героя, который мог бы соответствовать ей, Тургенев не видел пока таких людей, которые могли бы послужить прототипом нужного ему образа. Он чувствовал лишь и понимал, что люди рудинского типа уходят вместе с эпохой.

Сосед Тургенева был романтиком, натурой увлекающейся, впечатлительной и прямой. Если добавить к этому, что он обладал своеобразным юмором и насмешливым

языком, легко представить, как относились к нему чванливые мелкопоместные обыватели. К тому же он прослыл вольнодумцем и опасным волокитой — вторая репутация, как заметил Тургенев, была вовсе им не заслужена.

Неудивительно, что при первой возможности от него поспешили избавиться. Случилось это, когда началась Крымская война и был объявлен рекрутский набор в ополчение. Дворяне уезда, где жил Каратеев, выставили его кандидатуру в офицеры ополчения. Узнав об этом, он приехал в Спасское. Вид у него был встревоженный.

Для болезненного и физически слабого Каратеева этот поход мог кончиться плохо. И он это предчувствовал.

— Нет, нет. Я оттуда не вернусь; я этого не вынесу; я умру там,— упорно твердил Каратеев.

Разговор происходил в погожий осенний день. Они прогуливались по «аллее ссыльного», вдоль которой росли молодые липки, посаженные Иваном Сергеевичем, вышли к пруду и остановились у темной воды, покрытой опавшими листьями.

— У меня есть до вас просьба,— вдруг заявил Каратеев.— Вы знаете, что я провел несколько лет в Москве, но вы не знаете, что со мной произошла там история, которая возбудила желание рассказать ее — и самому себе и другим.

— Вы записали ее?

— Я попытался это сделать, но убедился, что у меня нет литературного таланта. Дело разрешилось тем, что я написал эту тетрадку, которую передаю в ваши руки.

Он вынул из кармана небольшую, страниц в пятнадцать, тетрадь в коричневом переплете.

— Несмотря на ваши дружеские утешения,— продолжал он,— я уверен, что не вернусь из Крыма. Поэтому будьте так добры, возьмите эти наброски и сделайте из них что-нибудь, чтобы не пропало бесследно, как пропаду я!

Тургенев стал быстро отказываться, но, видя, что это Каратеева огорчает, дал слово исполнить его волю.

В тот же вечер, после отъезда Каратеева, он засел за чтение оставленной им тетрадки.

На первой странице сверху мелким четким почерком было выведено заглавие «Московское семейство». Это был рассказ, причем довольно неумелый, хотя и искренний о подлинной истории любви Каратеева к девушке, которую звали Катериной.

Она питала к юноше явную симпатию. И он вправе был рассчитывать на ее благосклонность. Неожиданно появившееся третье лицо изменило весь ход событий.

Однажды, во время прогулки в окрестностях Москвы, Каратеев познакомил ее с молодым болгаринном Николаем Катрановым. Катерина полюбила этого юношу и уехала с ним на его родину. Затем он оказался в Италии, где вскоре и умер. Жена в это время находилась в Париже. История заканчивалась неожиданно, точно следуя — как можно было предположить — за фактами «истинного происхождения».

Тем не менее в образе болгарина, каким его рисовал автор записок, содержались важные наблюдения. Он был выведен страстным патриотом, целеустремленным, можно сказать, одержимым идеей помочь страждущей родине сбросить чужеземное иго.

На следующий день, когда Каратеев вновь посетил Спасское, Тургенев подтвердил свое обещание исполнить его просьбу. Отметив при этом, что история рассказана им горячо и правдиво, поощренный похвалой, Каратеев устно дополнил свое повествование некоторыми подробностями. Он говорил об особом характере болгарина, которого хорошо узнал, о том, что такого человека трудно забыть. Тургенев поинтересовался, когда приехал Катранов в Москву, где обучался, с кем был связан и дружен. С готовностью отвечал Каратеев на все вопросы. А в конце беседы Тургенев невольно признался: «Вот тот герой, которого я искал!»

— Раз так,— обрадовался Каратеев,— то не дайте этой истории умереть.

— Напротив. Я весьма вам признателен,— уверил его Тургенев.— Ваши записи и сделанные сейчас дополнения вывели меня из затруднения. Вы, можно сказать, внесли луч света в мои, до тех пор темные, соображения и измышления.

Что хотел этим сказать Тургенев? И почему так горячо благодарил соседа?

Под действием прочитанного и услышанного в его воображении из слабых, едва намеченных штрихов начал складываться художественный образ.

После того как Каратеев отбыл с ополчением, Тургенев, приняв на себя роль посредника, попытался было пристроить его тетрадь в какой-нибудь журнал. Просил даже помочь в этом Н. А. Некрасова. Но тогда это не удалось. Прошло лет пять. Наступила зима 1859 года. Оказавшись в Петербурге, Тургенев то и дело читал в узком кругу знакомых отрывки из тетради Каратеева, которую постоянно носил с собой. Определенно, записи эти не давали ему покоя. Но использовать их как основу для сюжета своего романа он все еще не решался.

И только в конце зимы 1859 года, узнав о смерти Каратеева, Тургенев засел за роман. Видно, печальное известие и обещание, данное его «бедному другу», побудило писателя вплотную заняться рукописью. Над ней трудился он летом в Виши и теперь, в осенние дождливые дни, в Спасском.

Писатель продолжал интересоваться героем каратеевских записей, пытаясь узнать о нем что-либо новое. Сохранилось свидетельство Ивана Сергеевича о том, что кое-что ему удалось выяснить о Катранове, лице, как узнал он впоследствии, «некогда весьма известном и до сих пор не забытом на своей родине». Что же мог узнать Тургенев о болгарском патриоте?

НА ОГОНЕК К ДЕНКОГЛУ

Московский дом коммерсанта Ивана Николаевича Денкоглу посещали многие. Хозяин, человек лет шестидесяти, общительный и радушный, славился хлебосольством и широким характером. Приехав еще молодым в Россию из Болгарии, где он родился, Денкоглу занялся торговлей и довольно быстро разбогател. Дела связывали его со многими странами. Но свою родную Болгарию примечал он осо-

бенно. Немало средств вкладывал болгарский патриот в дело просвещения земляков. Выделял деньги для школы в Габрово, построил училище в Софии и отправлял туда книги. В 1834 году Иван Николаевич внес в Московский университет пятнадцать тысяч золотых рублей. На проценты от той суммы были учреждены стипендии для студентов из Болгарии. Фонд Денкоглу дал возможность многим молодым болгарам получить университетское образование. Здесь они приобщались к передовой русской общественной мысли и становились пропагандистами идей освобождения балканских славян.

В доме Денкоглу земляки всегда были желанными гостями. Сюда, «на огонек», бывало заглядывали и московские литераторы. Приходил участник недавней русско-турецкой войны, популярный писатель А. Ф. Вельтман, заезжал сам академик М. И. Погодин, редактор «Москвитянина». Иногда появлялись братья Аксаковы, чаще старший Константин, один из лидеров московских славянофилов. Обычно бледное, болезненное его лицо заливал румянец, стоило ему начать говорить об идее объединения славян. Рассказывал он и о своем учителе, покойном Ю. И. Венелине, авторе труда «Древние и нынешние болгары». Венелин прожил тяжелую жизнь. Двадцати лет, с пятью рублями в кармане приехал в Москву. И посвятил себя изучению Болгарии. С тех пор «всякий болгарин с благоговением произносит его имя, имя первого своего историка и исследователя». Между тем ученый мир его не очень примечал, академия же вообще не замечала. Разбитый болезнью, страдая чахоткой, Венелин медленно умирал. Ему не нашлось места даже в больнице при университете.

Всем, кто собирался у Денкоглу, было близко и дорого дело болгарских братьев, все они чутко следили за борьбой славян «по ту сторону Дуная», горячо желали им скорее сбросить турецкое ярмо. Здесь обсуждали последние новости, поступавшие из-за Дуная: недавнее восстание в Нише, отголоски которого все еще слышны были в Болгарии; подробности бунта в Браиле, которым руководил Георгий

Македон. Оказалось, что под этим именем скрывался молодой и отважный патриот Георгий Раковский. Тот самый, что в Афинах организовал тайное Македонское общество, целью которого было разбудить «род болгарский от глубокого сна» и освободить родину. За бунт в Браиле смельчак осудили на смерть. Но ему удалось совершить дерзкий побег. По слухам, теперь он снова в Болгарии. Одни говорят — готовит новый заговор против турок; другие уверяют, что пойман и сидит в тюрьме.

— Последнее время он действовал в родном городе Котеле. Здесь был арестован и осужден. А сейчас снова на свободе. И как сообщают, занимается торговлей и адвокатской практикой в Стамбуле. Но это только передышка. Сердце его отдано борьбе. Для него, как и для каждого патриота, не может быть личного счастья вне счастья родины и народа.

Слова эти принадлежали молодому болгарину Николаю Катранову, приехавшему с группой соотечественников для учебы в Московском университете. Как стипендиат фонда Денкоглу, он был в 1848 году зачислен на историко-филологический факультет.

Горячие речи Катранова, его выразительная внешность — умные глаза, сурово освещающие худое и открытое лицо, — располагали к нему. Он стал часто бывать у Денкоглу. И Иван Николаевич надеялся, что, кончив курс, его земляк вернется домой и станет учительствовать в Софии. Так думал тогда и сам Катранов. Ибо считал, что просвещение будет способствовать духовному возрождению болгарского народа — а это послужит важной предпосылкой его национального и политического освобождения.

Почти пятьсот лет Болгария тонула в невежестве и мраке турецкого ига. Но дело пробуждения народа, как зерно, брошенное в благодатную почву, уже давало бурные всходы. Первым «пахарем» на ниве национального пробуждения болгар стал хилендарский монах Паисий — автор «Истории славяно-болгарской». Свою знаменитую книгу он создавал в тиши афонских монастырских библиотек. Под

рукой у него были ценнейшие рукописные материалы. Они говорили о славном прошлом Болгарии, о том, что свободолюбивый народ, издревле живший на Балканах, имеет свою, не менее героическую, чем другие народы, историю. А между тем греческие и сербские монахи относились к болгарам с чувством превосходства, потому лишь, что их народы имели свою «написанную» историю. Паисий говорил в своем труде: «так и укораху нас многожды сербие и греци, защо не имеем своя история». Это глубоко оскорбляло патриотически настроенного монаха. И в 1760 году он приступает к созданию своего труда. А когда через два года рукопись была завершена, Паисий отправляется с ней в Болгарию. Он переезжает из города в город, из села в село, популяризируя историю болгарского народа, читает ее вслух, дает возможность делать с нее копии. Рукописные списки его труда ходят по стране — до настоящего времени обнаружено более 50 из них. К сожалению, до нас дошел от Паисия один-единственный аутентичный документ — небольшая расписка. О самом же авторе известно лишь по нескольким скудным строчкам из его «Истории», где он рассказал о себе. «Я, Паисий, иеромонах и проигумен хилендарский, събрах и написах...» — заявлял он в послесловии к своей книге, сообщая, что создавал ее, преодолевая болезнь.

Книга Паисия пробуждала надежды на лучшее будущее, призывала бороться за него. Она учила сражаться за болгарское отечество, за право на человеческое существование, за родной язык. «Болгарине,— призывал Паисий,— знай своя род и език».

Горячими последователями и пропагандистами дела народного «будителя» Паисия стали многие болгарские патриоты. В их числе был и Николай Катранов.

Внимая призыву Паисия, он, будучи еще учеником школы в г. Свиштове, где родился в мае 1829 года, начинает собирать народные песни, знакомится с трудами по истории своей родины, в частности, с книгой Ю. И. Венелина. Получил он ее от Христаки Павловича — известного

в Свиштове учителя. У него в школе — одной из первых светских школ в Болгарии, — узнал Катранов и о выдающемся соотечественнике — ученом и педагоге Петре Бероне.

Свои взгляды гуманиста и просветителя П. Берон изложил в «Букваре с различными поучениями», известном также под названием «Букварь-рыбка» (на его обложке была изображена рыбка). Книга эта появилась в 1824 году. Она учила Катранова мужеству, честности, дружбе; преподавала ему первые уроки борьбы за свободную отчизну, познакомила с педагогическими принципами автора.

«Только с помощью культурного и просветительного возрождения можно спасти народ наш от страданий и рабства», — заявлял П. Берон. Его терзала мысль о том, что болгарские школы были плохо организованы, что «бедные дети бессмысленно страдают в них», проводят юные годы в страхе, а покидают стены школы, не умея даже написать своего имени. П. Берон наставлял: в школе должна царить радость, атмосфера взаимоуважения взрослых и детей. Не зубрежка катехизиса, а изучение светских дисциплин. Учитель, говорил П. Берон, «должен быть внутренне и внешне добрым, скромным», наставлять детей «добродетели и знаниям».

Воспитанный на букваре П. Берона, Катранов решил готовиться к профессии учителя. Он помнил слова своего свиштовского наставника о том, что Болгария нуждается в хорошо подготовленных педагогах. Необходимо было получить серьезное образование. Это и привело его в Московский университет. Он приехал сюда в тот год, когда в его родном Свиштове свирепствовала холера, от которой погибли многие, в том числе и его учитель Христки Павлович.

В Москве Катранов проявил себя способным и серьезным студентом. Энергия, с какой он отдавался учебе, и его эрудиция поражали сверстников. Круг его интересов очень широк. При содействии А. Ф. Вельтмана он обрабатывает собранные еще на родине болгарские песни и переводит их на русский язык. Пробует силы как переводчик Байрона и Гете, сочиняет собственные стихи. Часть из них будет опубликована на страницах первой болгарской газеты «Цари-

градски вестник» ее основателем первым болгарским журналистом Иваном Богоровым.

Стихи Катранова «позволяют увидеть в нем поэтическую душу», — пишет А. Мазон, современный французский ученый, изучавший подлинную биографию прототипа Инсарова. Другой исследователь, болгарский литературовед Иван Г. Клинчаров, автор наиболее полного жизнеописания Катранова, скажет о нем: «В Болгарии Катранов научился любить родину и ненавидеть тиранию, в московских литературных и философских кружках он возвел эту любовь и ненависть в степень высокого сознания необходимости просвещения для масс и революционного преобразования в стране».

Катранов становится страстным пропагандистом идеи освобождения балканских славян. Выступает в печати, в частности, по поводу выселения в Россию болгар из районов, охваченных восстанием. Но не только словом борется он, но и делом. Есть сведения, что он был связан с патриотами-эмигрантами из г. Лома. Неслучайно, видимо, в одном из его писем упоминается Димитр Панов, возглавлявший восстание на северо-западе Болгарии. Связи эти тянутся далее, в его родной Свиштов, где действовала тайная организация и готовились к выступлению. Руководителем свиштовцев в ту пору был видный политический деятель Драган Цанков, родственник Катранова.

Профессор В. Велчев, написавший о прототипе тургеневского героя не одну статью, считает, что Катранов безусловно был посвящен в планы готовящегося у него на родине восстания. И более того — играл в нем определенную роль.

Понятно, что при первой возможности, закончив учебу в Москве, он возвращается в Болгарию, спешит принять участие в назревающем всенародном выступлении, о чем, в частности, пишет в письме Григорию Раковскому.

Не потому ли он отказывается от своего давнего намерения учительствовать в Софии и направляет свои стопы в Свиштов, где его ждали патриоты?

СМЕРТЬ В ВЕНЕЦИИ

В один из дней начала 1853 года около Свиштова через Дунай переправились мужчина и женщина. Когда они поднялись на холм, где через несколько лет зодчий Кольо Фичето воздвигнет знаменитую церковь, мужчина опустился на колени и поцеловал землю. Этой дорогой возвращались на родину многие изгнанники, движимые великой идеей освобождения отечества. Свиштов первым приветствовал скитальцев. Первым, ликуя и плача от радости, встретил он и русских воинов-освободителей в 1877 году. Но до того дня тогда оставалось еще четверть века героической борьбы болгар за свободу.

— Лара, милая, вот мы и дома, — произнес мужчина, вставая с колен и обнимая спутницу. Это был Николай Катранов и его русская жена Лариса. История их любви была описана в тетради Каратеева и воспроизведена в романе Тургенева «Накануне». Кто же была эта русская, ставшая спутницей болгарского патриота? Увы, по сей день это является загадкой. До последнего времени неизвестным оставалось даже ее подлинное имя. Одни называли Катериной, как зовется она в записках Каратеева; другие — Еленой, по имени тургеневской героини. Лишь сравнительно недавно, уже в наши дни, удалось выяснить, что ее звали Ларисой.

В Свиштове жили отец и мать Николая, два младших брата Илия и Петко. Встретили молодоженов радушно в большом просторном доме Димитра Катранова — богатого торговца, пользующегося в городе всеобщим уважением за справедливость и смелость — во время Крымской войны он тайком снабжал русские войска товарами — места хватало всем. Николай сразу же приступил к осуществлению своих планов. Верный взглядам своих учителей-просветителей, он ведет активную преподавательскую деятельность, тайно поддерживает связи с патриотами, готовится к выступлению свиштовского подполья. Вскоре на него обращают внимание турецкие власти, начинают преследовать.

В этот момент события принимают неожиданный оборот. Чахотка острой формы поражает его организм. Вместе с Ларисой спешит он обратно в Москву — в надежде на врачей и материальную помощь И. Н. Денкоглу. Но московские профессора разводят руками. Они рекомендуют ехать лечиться в Вену. Денкоглу не покидает его в беде и охотно дает необходимые на дорогу и жизнь деньги.

Однако и венские светила оказываются не в силах чем-либо помочь. Их совет — уповать на целительный воздух Италии. В апреле 1853 года Николай и Лариса приезжают в Венецию.

Из письма двоюродного брата Николая известно, что болезнь Катранова протекала тяжело, родные очень беспокоились за него. Ждали вестей из Венеции и его друзья. Щедрый И. Н. Денкоглу, готовый снова помочь, предлагает возвратиться в Свиштов или в Софию. Ему кажется, что здесь, благодаря родному воздуху, Николай скорее выздоровеет.

Но в Венеции молчат. Видимо, там было не до переписки. Да и изменить что-либо никто уже не мог. Так оно и случилось. Во время прогулки в гондоле по каналу он сильно простудился. Для такого больного это означало конец. Он умер на руках у Ларисы пятого мая. Похоронили его на острове Сан-Христофоро. В записи о смерти, составленной священником греческой православной церкви Святого Георгия, говорилось: «Катранов Никола, родом из Болгарии, в возрасте 24 лет, скончался вчера, 5 мая сего года и похоронен на кладбище Сан-Христофоро».

В романе «Накануне» Тургенев довольно подробно рассказывает о пребывании Инсарова и Елены в Венеции. Приезжают они сюда в конце марта из Вены, где больной Инсаров «пролежал почти два месяца». Тургенев упоминает и о злополучной прогулке по каналу, и о простуде, и о смерти на руках жены. Возникает предположение, что и в этом случае Тургенев пользовался подлинными фактами биографии прототипа своего героя. Но откуда он мог узнать о них? Ведь в тетради В. Каратеева события конца жизни Н. Катранова изложены несколько по-иному. В своих записях

Каратеев весьма кратко — на трех полустраничках, писал, что заболевший Н. Катранов оказался в Италии, в то время как Катерина — его жена, находилась в Париже, где заканчивала свое музыкальное образование. Здесь она и получает известие о смерти мужа, к которому лишь собиралась ехать.

Явное различие. Оно несомненно говорит о том, что Тургенев во время работы над романом интересовался судьбой прототипа Инсарова. Неслучайны свидетельства болгар, утверждавших, что Катранов был «нарисован таким, каким был в действительности, не идеализирован и не приукрашен». На это обращает внимание и профессор В. Велчев. Возможно, Иван Сергеевич расспрашивал о прототипе своего героя московских болгар, с которыми встречался. «Сведения о болгарской патриотической интеллигенции, — пишет В. Велчев, — в частности, о Катранове, Тургенев мог почерпнуть также от Аксаковых, М. П. Погодина, С. П. Шевырева и других, с которыми болгары, учившиеся в Москве, поддерживали связь». В самом деле, может быть, Тургенев слышал о печальном конце Н. Катранова и о том, что спутница его оставалась неизменно рядом с ним, в доме Аксаковых? А те, в свою очередь, знали о судьбе Николая Катранова от Ивана Николаевича Денкоглу или от П. А. Бессонова, дружившего с болгариним в университете. Рассказы о Ю. И. Венелине, услышанные в доме Денкоглу, побудили часто бывавшего здесь молодого слависта Петра Бессонова, студента университета, обстоятельнее заняться болгарским языком, вызвали у него интерес к истории Болгарии, ее фольклору. Два года спустя после смерти Н. Катранова, в 1855 году, П. А. Бессонов, верный памяти друга, издал записанные им 22 народные песни. В предисловии он писал о нем: «Это был студент факультета, природный болгарин, весьма даровитый и горячо преданный задачам своего родного слова, а потому много обещавший в будущем». П. А. Бессонов сообщал далее, что болезнь заставила его отправиться в Венецию и что, уезжая, он дал списать свой сборник, сам же скоро за границей скончался. «Желая сохранить для болгар его память, а вместе с тем очень дорожа

оставленными им народными памятниками,— писал П. А. Бессонов,— которые, без сомнения, думали мы, погибнут в Венеции, приступили мы к печатанию, имея в виду прибавить кое-какие примечания и объяснения».

Весьма вероятно, что этот сборник оказался у И. С. Тургенева. После чего он специально встретился с П. А. Бессоновым, а возможно и с самим И. Н. Денкоглу и разузнал подробности последних месяцев жизни прототипа Инсарова. Предположения эти вполне правомерны, если иметь в виду, что многие из окружения болгарина И. Н. Денкоглу, несомненно осведомленного о том, что произошло с Катрановым, встречались с И. С. Тургеневым.

ГЕРОЙ ДРУГОГО КАЛИБРА

Случайно ли то, что русский писатель выбрал в качестве главного героя своего романа «болгара», как он его называет?

Вопрос этот стал предметом острой полемики после выхода романа в свет в 1860 году. «Господа критики,— вспоминал позже Тургенев,— удивляясь моей странной затее выбрать именно болгарина, спрашивали: Почему? С какой стати? Какой смысл?» Тогда писатель не счел нужным давать объяснения, рассказывать о тетради В. Каратеева, где говорилось о болгарском патриоте — герое, которого «между тогдашними русскими еще не было». В кратких записях соседа-помещика писатель гениально усмотрел актуальную тему социально-политического романа. Для русского общества тех дней, находившегося в преддверии крестьянской реформы, как считал Тургенев, начала новой эпохи, такие фигуры, как Елена и Инсаров, являлись «провозвестниками того, что пришло позже». Наступали времена (писатель это чувствовал), когда вместо бездеятельных дворян-интеллигентов требовались «герои другого калибра». И Тургенев одним из первых русских писателей высказал «мысль о необходимости для России сознательно-героических натур», чтобы «дело продвинулось вперед». В этом смысле

Инсаров полемически противопоставлен в романе дворянским интеллигентам Берсеневу и Шубину.

Болгарский патриот-разночинец, живущий одной целью освобождения родины, — человек действия. Он одержим одним желанием — добратся до Болгарии, где его «уже давно ждали» и «на него надеялись».

В образе Инсарова писатель выразил свое сочувственное отношение к болгарскому народу, к борцам за национальную независимость. Эти чувства горячей симпатии к освободительному делу болгар Тургенев сохранил на всю жизнь.

Когда в апреле 1876 года войска турецкого султана подавили в крови всенародное восстание болгар, в России поднялась мощная волна протеста. В защиту славянских братьев выступили Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, В. М. Гаршин и И. С. Аксаков, Я. П. Полонский и Вас. И. Немирович-Данченко, Д. И. Менделеев и А. Г. Столетов. Одним из первых среди них возвысил свой голос И. С. Тургенев.

Писатель приветствовал русских добровольцев, в числе которых были художники В. Верещагин, Н. Каразин, О. Шамота, А. Балдингер. На фронте оказались и его братья по перу — В. М. Гаршин и Вас. И. Немирович-Данченко. Они, как и многие «обыкновенные русские люди пошли на бой не по прихоти барина, а по свободному зову сердца, своей собственной совести», — писал Гаршин.

С гневом И. С. Тургенев писал о «болгарских безобразиях» и приветствовал голос всей передовой России, требовавшей оказать помощь болгарам. Его возмущали не только жестокость турецких поработителей, но и фарисейство и лицемерие иных европейцев, о чем он писал в стихотворении «Крокет в Виндзоре». В другом стихотворении в прозе — «Памяти Ю. П. Вревской» Тургенев описал самоотверженность знатной русской женщины, которая добровольно пошла в сестры милосердия и погибла на болгарской земле. В подвиге Вревской исследователи усматривают воздействие романа «Накануне» на русскую интеллигенцию.

В свою очередь болгарские литературоведы отмечают то значение, которое роман русского писателя оказал на

болгарского читателя, вначале знакомившегося с сочинением Тургенева по русским изданиям.

Роман «Накануне» «был поддержкой для революционного движения в Болгарии и вселял в болгар уверенность, что освобождение от турецкого ига произойдет с помощью братского русского оружия», — пишет литературовед Ст. Каракостов. Что касается образа Инсарова, то в нем, как отмечает критик Ив. Цветков, «болгары видели себя, свое дело, свою решимость отдать все во имя светлого будущего».

Человек дела, большой жизненной цели, Инсаров стал литературным собратом многих героев болгарского освобождения. В его образе писатель предвосхитил «типичные черты целого поколения болгарских революционеров» последующих десятилетий, таких, как Г. Раковский, В. Левский, Л. Каравелов, Х. Ботев и другие. «Кто знал лично молодых болгарских патриотов, — писала в своих воспоминаниях В. Живкова-Благоева — первая женщина — социалистка Болгарии, — тот не мог не узнать в них Инсарова». «Связь Инсарова с прототипом имела глубокие социальные корни», — вторит ей профессор В. Велчев, отмечая, что Тургенев «воплотил в герое своего романа качества, которые были в высшей степени типичны для болгарского общества середины XIX века». Вот почему болгары говорят, что русский писатель И. С. Тургенев всегда был среди их первых духовных учителей.

ЛЮБИМЫЙ БЕЛЛЕТРИСТ

Прошли годы. Смолкли голоса гайдуцких ружей на Старой Планине — надежном укрытии бунтарей. Отгремел грохот орудий под Плевной и на Шипке. Наступила весна 1878 года, ставшая для Болгарии весной долгожданного освобождения.

Через год, в апреле 1879 года, в газете «Болгарин», издававшейся в городе Рушук (Русе), появилась корреспонденция из Москвы, подписанная именем Стефана Бобчева.

В ней описывались торжества по случаю пребывания И. С. Тургенева в Москве и говорилось о встрече автора заметки с русским писателем, имя которого было уже хорошо известно в Болгарии. «В конце семидесятых годов,— отмечает тот же В. Велчев,— все, что ни выходило из-под пера Тургенева, сразу же вызывало отклик болгарской печати».

Впервые о русском беллетристе слышали в Болгарии от патриотов, которые, получив образование в России, возвращались на родину. Многие из них учительствовали в Софии и Пловдиве, в Карлово и Старой Загоре, в Тырново и Габрове. Они привозили с собой книги писателя, изданные на русском языке.

Писала о Тургеневе и эмигрантская болгарская печать. Так, газета «Стара Планина», печатавшаяся в Бухаресте, в ноябре 1876 года опубликовала знаменитое стихотворение «Крокет в Виндзоре», написанное, по словам Тургенева, «под свежим впечатлением известий о турецких жестокостях над болгарским населением». Обличительная сила его строк была столь велика, что русская цензура запретила их печатать, «что не помешало этим виршам,— говорил автор,— облететь всю Россию». Списки стихотворения, видимо, попали в руки к кому-то из болгар, а затем в «Стару Планину». В заметке, предваряющей стихотворение, газета называла Тургенева «известным русским литератором» и отмечала «актуальное политическое значение» сочинения.

А вот одно из первых упоминаний романа «Накануне» в болгарской печати связано с курьезной ошибкой.

В 1871 году в Париже скончался декабрист Н. И. Тургенев, родственник писателя. Газета «Свобода» — орган Болгарского Центрального революционного комитета — поспешила откликнуться на это известие, решив, однако, что в «Московских ведомостях», на которые она ссылалась как на источник информации, речь шла о писателе И. С. Тургеневе. В этом же сообщении «Свободы» говорилось о том, что «Тургенев написал знаменитую повесть «Накануне», в которой главную роль играет болгарин Инсаров».

Что касается первых переводов романа «Накануне» на болгарский язык, то они появляются в конце семидесятых, начале восьмидесятых годов. Сначала это были журнальные публикации отдельных глав. А в 1889 году вышли сразу два издания «Накануне» в Тырнове и Пловдиве.

Первый перевод тургеневского романа намеревался сделать Стефан Бобчев. В своей корреспонденции, помещенной в газете «Болгарин» в апреле 1879 года, Бобчев, который был тогда студентом юридического факультета Московского университета, сообщал, что Тургенев дал согласие на перевод своего романа и обещал написать к нему небольшое предисловие. Из письма Тургенева известно, что он собирался рассказать в этом предисловии о прототипе Инсарова. Это, пожалуй, первое письменное упоминание о том, что у тургеневского «болгара» был реальный прообраз. Видимо, тогда же между Тургеневым и Бобчевым состоялся разговор на эту тему. И очень может быть, что именно в тот день Иван Сергеевич впервые поведал болгарскому собеседнику историю рождения своего героя. Бобчев же, человек тактичный, не стал до появления тургеневского предисловия к предполагавшемуся болгарскому изданию романа обнародовать то, что намеревался сделать автор.

Однако выполнить обещание Тургеневу не удалось. И только год спустя, в 1880 году, в «Предисловии к романам» он впервые подробно рассказал об истории создания «Накануне», о тетради В. Каратеева и о том, кто послужил реальным прототипом Инсарова. Причем особо подчеркнул, что человек этот до сих пор не забыт на своей родине.

Прототип Инсарова, болгарин Никола Д. Катранов, принадлежал к плеяде тех болгарских революционеров, кто, став наследником мятежных гайдуков, готовился к последней решающей схватке с поработителями. Как и многие патриоты: Георгий Раковский, или, скажем, Васил Левский, он был самым обыкновенным и в то же время самым необыкновенным героем болгарского освобождения. Он жил и боролся ради будущего своего народа. Именно эта необыкновенная преданность родине, верность однажды

поставленной цели привлекла русскую девушку Ларису, связавшую с ним свою судьбу. Эти же черты, как луч света, озарили и сознание русского романиста, побудив его сделать болгарина героем своего повествования.

Катранову не довелось совершить задуманное. Он не дожид до того дня, когда народный поэт Иван Вазов, впервые ступив на освобожденную землю Свиштова, поцеловал эту землю и «разделил сумасшедший энтузиазм всего города и вместе с ним плакал от радости». Но имя Катранова не забыто его соотечественниками. В Свиштове на том месте, где стоял дом, в котором он родился, сегодня построена школа. Она носит имя Николы Катранова. В местном музее хранятся экспонаты, рассказывающие о его жизни.

И каждый свиштовец, как и всякий болгарин, гордится тем, что великий русский писатель изобразил под именем Инсарова их земляка — болгарского патриота, превыше всего ставившего любовь к Отчизне.

МОХА ДИК ИДЕТ НА ТАРАН ШХУНЫ «ЭССЕКС»



НАНТАКЕТ — ГОРОД КИТОБОЕВ

Маленький пакетбот, все дальше удаляясь от берега, отважно ринулся в открытое море. Свежий ветер крепчал, натянутые снасти звенели, как струны, и две высокие мачты выгибались, словно тростинки под ветром. Но пакетбот, с отчаянным безрассудством летел вперед. С разбега зарываясь бушпритом в волну, он раскидывал носом высокую пену подобно фыркающему жеребенку.

Позади остался Нью-Бедфорд с его пестрой, разноязычной толпой, большую часть которой составляли искатели приключений, выдавшие виды старые китобои и безусые новички, жаждавшие приобщиться к чести и славе китобойного промысла. Они мечтали выйти под парусами в море, избороздить весь свет, изведать тяготы и радости матросской службы, постичь романтику океана.

Когда-то и он, Герман Мелвилл, завербовался юнгой на корабль, уходивший в рейс. Правда, пошел он на это не ради романтики дальних дорог, а ради хлеба насущного — нужда побудила его тогда отправиться в плавание. Вот почему сегодня, когда пакетбот, едва отчалив от пристани, медленно скользнул вниз по реке Акушнет, мимо застывших без движения у причалов китобойных судов, на него нахлынули воспоминания.

Ему вспомнилось, как он стоял на палубе китобойца «Акушнет», молодой, полный сил и надежд. Впереди было загадочное море и неведомые земли. Потом были постоянные придирки жестокого, своеправного капитана, бунт и бегство с корабля, жизнь среди дикарей. Домой, в Нью-Йорк, он вернулся бывалым моряком, пробыв в море в общей сложности десять лет. Три года спустя после возвращения рассказал

о своих приключениях в романах «Тайпи» и «Ому». Затем появились новые его «морские романы», основанные в значительной мере на личных впечатлениях. Как заметил впоследствии один из исследователей его творчества, опыт морехода послужил ему стапелями для построения книг.

Теперь он создавал главный труд жизни — роман о китобоях с подробным изображением деталей китобойного промысла. «Книга эта,— писал он о первичном замысле своему издателю,— приключенческий роман, основанный на некоторых диких легендах о китобоях». Давно задуманное сочинение требовало огромного творческого напряжения, сосредоточенности и спокойствия — состояния, как он говорил, «созвучного тихо растущей траве». Увы, ни бегство на ферму из шумного Манхеттена, ни затворничество в маленькой комнатке на третьем этаже нью-йоркского дома не принесли желанного вдохновения. И все же Мелвилл «работал, как невольник», забывая о еде, не щадя своих больных глаз, испытывая огромное нервное напряжение и усталость.

Работа над книгой о китобоях потребовала освежить в памяти кое-какие детали. Для этого и понадобилось ему снова, спустя много лет, побывать в порту, откуда его герои, как когда-то и он сам, уйдут в поход на китобойце «Пекод».

И вот попутный ветер гнал судно, на палубе которого стоял Герман Мелвилл, в сторону острова Нантакет, расположенного в Атлантическом океане.

Давайте развернем карту и найдем на ней этот небольшой клочок суши. Нантакет! Он расположен в укромном уголке, в 110 милях к северо-востоку от Бостона и как бы отрезан от мира океаном. «Стоит себе в сторонке, далеко от большой земли, еще более одинокий, чем Эддистонский маяк». И тем не менее,— говорил Мелвилл,— две трети земного шара принадлежат Нантакету, ибо ему принадлежит море. На карте видно, что по форме остров похож на полумесяц, между «рожками» которого, отстоящими друг от друга миль на пятнадцать, лежит хорошо защищаемая от ветров бухта. Городок Нантакет, раскинувшийся на ее берегах, издавна считался самым многообещающим портом для начинающего китобоя и любителя приключений.

Моряки из Нантакета жили и кормились морем и даже по ночам им снились морские глубины, где проносились стада китов-великанов. Мир, казалось им, буквально «держался на китах», в честь их слагались песни и неслись проклятия.

С тех пор как в Нантакете впервые вытащили на берег убитого Левиафана, отсюда уходили в море десятки безымянных капитанов. Они объехали и покорили всю водную часть мира. Нантакетские китобои первыми осмелились обогнуть мыс Горн и выйти в Тихий океан. Поэтому слова Мелвилла о том, что его герой «запихнул» пару сорочек в свой старый ковровый саквояж и отправился в путь к мысу Горн, в просторы Тихого океана, вполне соответствуют действительности.

Причем так было исстари, поскольку Левиафан, по словам Мелвилла, плывет нам навстречу от самых истоков Вечности. Древние греки называли его кетос, римляне — цетус, англичане, американцы и канадцы — уйэл; голландцы — вал, французы — бален, испанцы нарекли — бальеном, а на островах Фиджи его имя звучит так: пеки-нун-нун.

О китах упоминает Библия, о них во времена античности писали Плутарх, Плиний и Лукиан, а позже — Рабле и Шекспир, Монтень и Мильтон, Бенъян и Голдсмит, Готорн и Купер и многие другие. Ученые и путешественники описывали в трудах и записках повадки китов и образ их жизни, а моряки-китобои рассказывали о своих встречах с ними необыкновенные истории.

Как отголоски интереса к китам возникли картины и гравюры, украшавшие стены домов и книжные страницы, на которых, впрочем, вместо китов нередко рисовали каких-то немыслимых морских чудовищ. Даже авторы, претендующие на достоверность изображения, подчас малевали допотопные уродливые туши, ничего общего не имеющие с существующими в природе животными. Фигурки китов из жести маячили на шпилях зданий, выполняя роль флюгеров, а еще выше, на темной ткани небосклона, словно усыпанного бриллиантовой пылью, вспыхивал звездный Кит, плывущий в бескрайних просторах Вселенной.

Чем объяснить такое внимание к этому жителю морских глубин? Только одним — поистине уникальным экономическим эффектом, получаемым от китового промысла. В дело шло все: мясо, жир, кости, кровь, внутренности. И действительно, издавна из китового жира или, как его называют, спермацета, варили мыло, изготавливали свечи и ворвань для освещения, делали краски. Применяли его при выделке кожи и шерстяных тканей, косметических кремов и бальзамов. Особо ценилась так называемая амбра — иногда извлекаемая из кишечника самцов — незаменимая в парфюмерии, особенно при изготовлении духов.

А знаменитый китовый ус! На нем не один век буквально держались корсеты европейских модниц, его применяли для изготовления лорнетов и очков, каркасов зонтиков, пружин для диванов. В Англии существовал закон, по которому королевская чета пользовалась особой привилегией: ей принадлежал каждый найденный на берегу или убитый в море кит.

Во времена Мелвилла в китобойном промысле, добывании «наисладчайшего из масел» — спермацета, было занято около ста тысяч человек. А из 900 судов, составляющих тогда мировой китобойный флот, 735 принадлежали американцам. Охота на китов превратилась в «большой бизнес», постепенно утрачивая романтический ореол. И только в легендах и морских преданиях о подвигах и гибели китобоев продолжал жить героический дух героической профессии. Это была живая история китобойного промысла.

«Рассказы старых китобоев, их фольклор кажутся невероятными, — восклицал Г. Мелвилл, — но в них начинаешь верить, узнав, как изо дня в день живут китобойи». Собственно, ради того, чтобы вновь увидеть своих героев, услышать из их уст рассказы о приключениях на море, он и отправился в Нантакет.

Конечно, у него был личный опыт моряка, неплохое знание жизни китобоев, их фольклора и легенд. Была известна ему и литература о китах, в том числе и художественная. Например, рассказ писателя-путешественника Д. Рейнольдса о свирепом и непобедимом белом ките Моха Дике, опубликованный в 1839 году в «Никербокере».

Понравилась в свое время Г. Мелвиллу и книга «Гравюры, изображающие плавание на китобойном судне», он даже написал на нее рецензию в «Литерари уорлд». Пользовался он сведениями, почерпнутыми и у других авторов, писавших о китобоях, безусловно, знал и роман о нантакетских моряках, написанный Джозефом Хартом.

СВИДЕТЕЛЬ ТРАГЕДИИ

Во время работы над книгой о китобоях Мелвиллу понадобилось, как говорится, «добрать» материал, пополнить память свежими впечатлениями. А главное — встретиться с капитаном китобойной шхуны «Эссекс», по слухам жившим тогда в Нантакете. Особенно интересовали его подробности гибели шхуны и ее экипажа в 1820 году в результате нападения огромного кита в Тихом океане.

История эта была довольно хорошо известна среди американских моряков и со временем обросла многочисленными фантастическими вариантами, подчас неузнаваемо искажившими подлинную суть трагедии. Во время плавания на «Акушнете» Мелвилл слышал о ней от матросов, она произвела на него «потрясающее впечатление». Тогда же, в 1841 году, в море он повстречался с одним из тех, кто пережил драму «Эссекса» — старшим помощником капитана шхуны Оуэном Чейсом. Он плывал тогда на китобойце «Чарльз Кэррол».

Теперь Мелвилл рассчитывал на новую встречу с ним в Нантакете. Предполагал писатель также раздобыть отчет Чейса о катастрофе, изданный в Лондоне под названием «Рассказ о весьма необычайном и трагическом кораблекрушении китобойного судна «Эссекс» из Нантакета».

Когда пакетбот бросил якорь в гавани и Мелвилл, подхватив свой багаж, сошел на берег, он очутился среди пропахших табаком и ветрами всех морей нантакетских китобоев. Вглядываясь в их загорелые лица, он вспомнил моряков, с которыми не один год бороздил океан вдоль и поперек, словно собственную пашню. Море для них было

домом, они жили на нем, как куропатки в прериях, прятались среди его волн, взбирались на них, точно охотник за сернами, взбирающийся на Альпы. Море становилось и их последним пристанищем. На земле же, в Часовне Китобоев, в безмолвном горе жены склонялись перед мраморными плитами с черной окантовкой — скромными памятниками тем несчастным, кто однажды не вернулся из плавания.

Не вернутся домой в «старый милый Нантакет» и герои эпопеи Г. Мелвилла, все они во главе с Ахавом, своим одержимым капитаном, погибнут в схватке с Белым Китом. Лишь один Измаил останется в живых, чтобы повесть о судьбе остальных членов экипажа, как рассказал о гибели матросов с «Эссекса» Оуэн Чейс в своей книге.

Протиснувшись сквозь толпу на пристани, пройдя мимо длинного желтого пакгауза и миновав белую церковь по левому борту, Мелвилл очутился в узких улочках, застроенных небольшими деревянными домиками с неизменными лужайками перед входом и высокими каменными трубами.

Не трудно было заметить, что он хорошо ориентировался в этом лабиринте, уверенно шел к известному ему заведению «Под котлами», где в свое время угощался великолепной отварной рыбой с приправами.

Все было как раньше: крыльцо гостиницы с подвешенными за ушки двумя огромными деревянными котлами, выкрашенными в черный цвет, тускло-красный висячий фонарь, напоминавший подбитый глаз, гора пустых раковин перед входом и счетные книги хозяина, переплетенные в акулю кожу. А главное — немыслимое количество рыбы, которая круглые сутки варилась на кухне этого заведения.

Устроившись в гостинице и наскоро проглотив обед из трески, Мелвилл перешел к основной цели своего визита. Путь его лежал к старинному двухэтажному деревянному дому с выкрашенными в красный цвет стенами и белыми наличниками на окнах. Здесь доживал свой век Джордж Поллард — бывший капитан шхуны «Эссекс». Встреча и беседа со старым китобоем, служившим теперь где-то сторожем, была необходима писателю: капитан, переживший трагедию

гибели своей шхуны, мог сообщить такие подробности, о которых невозможно было ни вычитать в книгах, ни узнать от других, оставшихся в живых восьми матросов с «Эссекса».

На стук дверного молотка в виде бронзового кита, подвешенного за хвост, вышел сам хозяин. Удивился, что его еще помнят. Засуетился, приглашая в гостиную. Переступив порог, Мелвилл оказался в жилище моряка. Старый матросский сундук — «соучастник» многих плаваний и приключений; гарпун, который когда-то сжимала сильная и твердая рука; зубы кашалота с вырезанными на них сценками из жизни китобоев, — плоды часов океанского досуга. На стенах гравюры с эпизодами охоты на китов. Некоторые были знакомы Мелвиллу, например, рисунки из книги Дж. Росса Брауна, изображающие кашалота, о чем ему, Мелвиллу, пришлось как-то написать рецензию. Однако рисунки эти были скверно гравированы (но не по вине автора), хотя и верны по изображению.

Одна гравюра изображала благородного кашалота во всем величии своей мощи в тот миг, когда он поднялся из глубины океана прямо под килем вельбота и вознес на загравке высоко в воздух зловещие обломки разбитых досок. Кормчий и перепуганные матросы, деревянные рукоятки разбитых гарпунов, весла — все оказалось в белой пене, взбитой разъяренным морским гигантом.

«Не так ли погибла и шхуна «Эссекс», когда на нее напал громадный кашалот?» — подумал Мелвилл. И словно угадав его мысль, хозяин пояснил, указывая на гравюру:

— Вот так же и нас однажды разнес в щепки свирепый кашалот. Вас интересуют подробности?

И начал свой рассказ.

РАССКАЗ СТАРОГО КАПИТАНА

— Мы вышли в море из Нантакета в начале 1820 года. В городе тогда насчитывалось восемь тысяч жителей. Местным судовладельцам принадлежало около сотни китобойных шхун, на которых плавало не менее 1700 кито-

боев. Каждая экспедиция была рискованным предприятием, поэтому для промысла отбирали смелых, бывалых моряков. Шхуна «Эссекс» водоизмещением 240 тонн была построена и оснащена в Нантакете и обладала достаточной быстроходностью и маневренностью. Экипаж состоял из 20 человек.

Обычно рейс длился года два, а иногда и дольше, но не всегда китобои возвращались домой с добычей.

Нам, однако, в тот год везло, и трюмы постепенно заполнялись бочками с китовым мясом и жиром. И никто из нас не думал, что это плавание для большинства будет последним.

20 ноября мы вели промысел в Тихом океане к западу от берегов Южной Америки. Как сейчас помню координаты — $0^{\circ}40'$ южной широты и 119° западной долготы. Погода стояла штилевая. В восемь часов утра вахтенный крикнул с мачты: «Вижу фонтан!» Паруса были тут же убраны, и мы, в трех вельботах налегая на весла, поспешили к месту, где были замечены киты.

Я находился в первом вельботе, а Оуэн Чейс — мой помощник — готовил гарпун во втором. Сначала нам показалось, что киты ушли, но прошло несколько минут и неподалеку от нас всплыл кашалот. Гарпун тотчас впился в тушу животного. Раненый кашалот с яростью ринулся на вельбот и сильным ударом хвоста раскроил один борт. Чейс, не медля ни секунды, выхватил нож и обрезал линь, к которому был привязан гарпун. Маневр удался, хотя гарпун был потерян. Матросы поврежденного вельбота Чейса кое-как заткнули одеждой пробоину и начали грести к шхуне. Вскоре они поднялись на «Эссекс», я же со вторым помощником остался, и два вельбота продолжили охоту. Очень скоро мы загарпунили другого кита.

Между тем Чейс, заметив, что наши вельботы слишком удалились от судна, решил следовать за нами. Подняв поврежденный вельбот на палубу и осмотрев его, Чейс подумал, что будет проще заделать пробоину досками, и не стал спускать на воду запасной вельбот. Он прибавал обшивку, как вдруг заметил огромного кита. С виду в нем было метров тридцать. Гигант всплыл по носу корабля метрах в ста

от нас — мы тоже заметили его — я направил вельбот к шхуне. Выпустив два или три раза фонтан воды, кит нырнул, но через несколько секунд появился на поверхности уже метрах в пятидесяти от шхуны. Он шел прямо на нее со скоростью не менее трех узлов. Примерно с той же скоростью шло и судно. Если вначале никто не придавал значения появлению кита, то теперь всем стало ясно, что тот на огромной скорости несется прямо на корабль. Чейс скомандовал рулевому изменить курс: он стремился избежать столкновения и хотел уступить киту дорогу, но не успел он отдать приказ, как кит нанес страшный удар головой в борт шхуны у самого носа.

Удар был таким мощным, что все попадали на палубу. Казалось, что судно налетело на скалу: весь корпус содрогнулся.

Прошло несколько секунд, прежде чем все поняли, какая непоправимая беда приключилась с нами.

Кит же проплыл под килем, всплыл у другого борта шхуны и с минуту лежал на воде, оглушенный ударом. Затем медленно удалился.

Оправившись от потрясения и оглядевшись, Чейс убедился, что в корпусе судна образовалась пробоина и нужно немедленно откачивать воду. Однако не проработали насосы и минуты, как все увидели, что нос корабля начинает медленно опускаться. Мы на вельботах заметили сигнал об опасности, подаваемый со шхуны. А в следующее мгновение, примерно в полумиле от судна, заметили кашалота, делавшего какие-то судорожные движения. Животное было все окутано пеной, которую оно взбивало своей яростно дергавшейся тушей. Было хорошо видно, как кит в бешенстве сжимает и разжимает огромные челюсти. Неожиданно он быстро уплыл в наветренную сторону.

Между тем судно все больше погружалось в воду, и было ясно, что его уже не спасти. Насосы, однако, продолжали работать, а Чейс стал обдумывать положение. Прежде всего он осмотрел оставшийся на борту вельбот и решил спустить его на воду и держать наготове. В этот момент раздался крик одного из матросов: «Он опять метит в нас!» Чейс обернулся и увидел кашалота, который был уже метрах в пятистах от шхуны и несся на нее со скоростью вдвое большей против

обычной. Казалось, что им движет какая-то бешеная жажда мщения за страдания своих собратьев, загарпуненных нами.

Надо сказать, что направление его ударов было точно рассчитано: он атаковал с носа, тем самым используя для удара скорость обоих движущихся предметов, намереваясь причинить нам наибольший вред. Кит словно совершал обдуманное злодейство. Ужасный мститель неумолимо приближался. Вода, казалось, расступилась перед ним, и весь его путь был отмечен полосой пены метров в десять шириной, которую он взбивал мощными ударами хвоста.

Голова кита наполовину высывалась из воды. Сначала Чейс надеялся, что быстрым поворотом руля ему удастся отвести судно от губельного удара, и крикнул рулевому, чтобы он круто свернул с курса. Но не успело судно повернуть и на один градус, как получило второй удар. Я думаю, что скорость «Эссекса» не превышала трех узлов, а кит шел со скоростью в два раза большей. На этот раз удар пришелся по корпусу с другой стороны, как раз под клюзом. С носа была сорвана вся обшивка. После чего кит опять прошел под килем и удалился в наветренную сторону. Видимо, он счел свою зловещую миссию оконченной. Больше мы его, слава Богу, не видели.

Не прошло и десяти минут, как судно накренилось. И затем, значительно осев, перевернулось и пошло ко дну. Чейс успел спустить на воду вельбот.

Все мы, беспомощные свидетели трагедии, словно оцепенели. Нас не столько пугал черный океан и вздымающиеся валы, сколько врезавшийся в память ужасный разъяренный облик морского чудовища.

Что было дальше? Честно говоря, трудно вспомнить об этом без содрогания. Мне пришлось провести в океане целую четверть года!

Вначале наши вельботы держались вместе. Но после шторма, разразившегося 28 ноября, нас разбросало и мы потеряли друг друга из виду. Потом я узнал, что один вельбот так и пропал бесследно. Трое матросов в самом начале наших скитаний по морю предпочли ждать спасения на крохотном необитаемом островке — единственной

земле, повстречавшейся нам в океане. Чейса спасли в феврале. Кроме него, в живых оставались лишь двое. А через неделю подобрали и меня с единственным уцелевшим матросом на борту вельбота. Таков плачевный итог нашего плавания. Из двадцати моряков, покинувших «Эссекс» после нападения на него кита, в живых осталось лишь восемь, — закончил свою горестную исповедь капитан Поллард.

По ходу рассказа Мелвилл тут же кое-что записывал.

— А после гибели «Эссекса» вы ходили в море? — любопытствовал он.

— Да, однажды рискнул. Но мне снова не повезло. Судно, с таким трудом снаряженное, разбилось о рифы в Тихом океане. Потеряв второй раз корабль, я навсегда отрекся от моря. По правде же говоря, владельцы судов перестали верить в меня, считали невезучим. Так что поневоле пришлось встать на якорь. Если вас интересуют еще кое-какие подробности о гибели «Эссекса», — продолжал словоохотливый капитан, — вы найдете их в книжке Оуэна Чейса.

— Я бы хотел с ним встретиться. Ведь он тоже живет в Нантакете.

— Увы, теперь уже нет. Бедняга Чейс недолго протянул. Последнее время он плавал на «Кэрроле», потом болел... Но вы можете повидать здесь его сына Уильяма.

Мелвилл обрадовался: возможно, не все потеряно, и он раздобудет интересующую его книгу.

Так и случилось. Писатель побеседовал с сыном Оуэна Чейса и получил от него в подарок один из немногих экземпляров записок китобоя. Ныне эта книга хранится в библиотеке Гарвардского университета. Страницы ее покрыты пометками писателя. А это значит, что Мелвилл внимательно изучил эти воспоминания и, так же, как и свидетельство капитана Полларда, использовал их в своей книге.

РАЗБОЙНИКИ ОКЕАНА

Писателю было важно сослаться на показания надежных людей, чтобы рассеять возможные сомнения в достоверности

описываемых событий. Он хорошо помнил, как ему не хотели верить с самого начала его пути в литературе. Первую его книгу «Тайпи», написанную им на основе приключений, пережитых им лично, критики встретили возгласами: «Не может быть!», требуя документальных подтверждений приведенных фактов. Его подозревали в подлоге, вообще не верили в то, что он существует, и называли книгу сплошной мистификацией. Так продолжалось до тех пор, пока матрос, участвовавший вместе с ним в описанных приключениях, не выступил в печати с подтверждением того, что все в романе Мелвилла истинная правда.

Нетрудно было предположить, что то же самое, или почти то же, произойдет и с его новой книгой о жестокой, смертельной схватке китобоев со свирепым и жестоким гигантом-кашалотом.

И действительно, едва роман Г. Мелвилла вышел в свет, как критики, признав впечатляющую силу и оригинальность произведения, тут же поставили под сомнение правдивость сюжета. «Печально,— писал рецензент на страницах «Экземинера»,— что такой мастер пера, такой способный писатель употребил свою фантазию на создание столь экстравагантного произведения».

Ему снова не поверили, хотя в главе, вполне серьезно названной «Свидетельствую под присягой», он стремился убедить читателей в достоверности описываемых событий. Предвидя сомнения относительно свирепого Белого Кита, разбойничающего на океанских просторах, и желая рассеять их, Мелвилл приводит факты, известные ему как китобою из личного опыта или от надежных людей. Вкратце изложив здесь историю гибели «Эссекса», он переходит к другим примерам и свидетельствам. «Все они,— замечает писатель,— как ни мало знают об этом на суше, засвидетельствованы в истории китобойного промысла, ибо здесь,— пишет он,— перед нами один из тех горестных случаев, когда истина не менее, чем ложь, нуждается в подтверждениях». Какие же факты приводит Г. Мелвилл?

Вспоминает он знаменитого левиафана, известного по прозвищу Тиморский Том. Весь в рубцах, словно айсберг,

этот кит долгое время разбойничал в водах пролива, носящего это же имя. Такой же, можно сказать, всеокеанской славой пользовался и новозеландец Джек — гроза всех китобойцев, так до конца и оставшийся непобежденным, хотя от множества вонзившихся в него гарпунов и пик он был похож на гигантского ежа. Не менее свирепым считался и кашалот-одиночка, известный под именем Пайта-Том: на его счету числилось около сотни убитых им моряков. Причем обычно он первым нападал на китобоев и топил их вельботы. Не он ли вероломно напал на китобойное судно «Юнион», приписанное к Нантакету, и страшным ударом разнес носовую часть корабля? Это событие, произошедшее в 1807 году, считается одним из первых зарегистрированных случаев нападения китов на людей. Если, конечно, не считать того морского чудовища, которое, согласно Библии, проглотило пророка Иону, чтобы затем изрыгнуть его невредимым на сушу. Но кит, проглотивший пророка, был явно более миролюбиво настроен в отношении людей, чем его потомки, чьи столкновения с человеком часто кончались не столь благополучно для последнего. Зловещей славой пользовались кашалот Моркан, чей высокий фонтан, обычно возникавший у японских берегов, напоминал, как говорили, порой белоснежный крест на фоне неба; и Дон Мигуэль со спиной в шрамах, похожей на панцирь черепахи, и многие другие. Но, пожалуй, всех превзошел по силе и злобности прославленный Белый Кит по прозвищу Мох Дик (в романе — Моби Дик), произошедшему от названия острова Мох, у берегов Чили, где, согласно молве, пошел ко дну первый потопленный им корабль.

Не один год этот огромный Белый Кит — длина его достигала 30 метров, разбойничал в океане, нападая на людей, как казалось, вполне продуманно, топил, разнося в щепы своими челюстями, вельботы, а то и тараня целые суда.

Впечатлительные и суеверные, моряки распространяли всевозможные слухи о белом чудовище, преувеличивая и сгущая то истинное, что было в рассказах о столкновениях с Мох Диком. О нем говорили, например, что он вездесущ и будто его можно в одно и то же время встретить под разными

широтами. Его считали дьявольски хитрым и неуязвимым. Однако своей ужасной славой он был обязан не гигантским размерам и не необычному цвету, а той беспримерной расчетливой злобе, которую он, по рассказам, не однажды проявлял, нападая на людей. Слухи о Белом Ките нарастали, словно снежный ком, перекатываясь над бурными морскими просторами, и в конце концов он стал внушать людям такой ужас, что редко тот, кому случалось хоть раз по слухам познакомиться с Белым Китом, отважился бы по своей воле искать встречи с этим животным. И все же такой смельчак нашелся. Им стал шкипер с британского китобойного судна «Джон Дэй». Подобно герою Мелвилла капитану Ахаву с китобойца «Пекад», вышедшему из Нантакета в море с единственной всепоглощающей целью — настичь и одолеть Белого Кита, английский шкипер, решив раз и навсегда покончить с дерзким пиратом, начал выслеживать морского разбойника. Словно разгадав намерение отчаянного шкипера, кашалот в конце мая 1841 года сам неожиданно напал на моряков с «Джон Дэя». Несмотря на это, китобоям все же удалось всадить в тушу кашалота один гарпун, прежде чем тот успел разбить вельботы и повредить сам корабль. Пяти человек моряки не досчитались на борту после этой схватки и предпочли отказаться от погони. Что касается Дика, то спустя несколько месяцев он атаковал и потопил грузовое судно у берегов Японии. И тут же решил расправиться с тремя китобойцами, оказавшимися поблизости. Правда, моряки не стали ждать нападения и первыми двинулись навстречу киту, который выжидал, держась в миле от них. Шесть вельботов окружили кашалота. Несколько гарпунов вонзились в его тело. Китобои готовы были торжествовать — кит замер на поверхности и казался мертвым. Но стоило вельботам подойти совсем близко, как гигант неожиданно ожил! В один миг он разнес в щепы и потопил три лодки. Четвертую, зажав челюстями, поднял над водой, потряс ею, как фокстерьер пойманной мышью, а затем раздавил челюстями. На поверхности моря среди обломков барахтались в красной от крови воде оставшиеся в живых. В тот день погибло тринадцать человек, двадцать шесть получили серьезные ранения. Всего

же на счету Моха Дика и его собратьев, по сообщениям историков китобойного промысла, числилось три китобойных судна, восемнадцать вельботов, три барки, четыре шхуны, два грузовых судна и сто семнадцать человеческих жизней. Так что Мелвилл не отошел от истины, когда рассказал о том, как капитан Ахав, увидев вокруг себя обломки своих вельботов и быстрые водовороты, в которых крутились доски, весла, люди, выхватил из кормы своей разбитой лодки большой нож и бросился на кита, словно арканзасский дуэлянт на своего противника, в слепой ярости пытаясь шестидюймовым лезвием достигнуть непомерных глубин китовой жизни... Тогда-то молниеносным движением своей серповидной челюсти Моби Дик скосил у Ахава ногу, словно косарь зеленую травинку на лугу. Именно со времени этой свирепой схватки в душе Ахава росла безумная жажда мщения.

Не погрешил против истины Мелвилл и тогда, когда описал гибель «Пекада» и его команды, после трехдневной погони и схватки с Белым Китом, который «мчался им навстречу, зловеще потрясая своей погибельной головой... Расплата, скорее возмездие, извечная злоба были в его облике».

Достоверность рассказа Мелвилла подтверждается и другими примерами. Так, в 1840 году Белый Кит (неизвестно, был ли это Моха Дик или нет) напал на вельботы с судна «Десмонд». У моряков осталось от этого кошмарного случая полное впечатление, что тридцатиметровое чудовище, словно адский белый змий, проглотил живьем нескольких матросов. Вскоре и почти в тех же водах белый Кит ринулся на китобойный барк «Сарелта», сокрушив три вельбота и повредив само судно.

Спустя десять лет, в 1851 году был зарегистрирован еще один случай, когда крупный кашалот, видимо, раненый, атаковал китобоец «Александр». Вначале кит напал на три вельбота, из которых один разбил, а другой раздавил челюстями. Едва успели моряки, выбравшись из воды, вернуться на корабль в третьем вельботе, как кит устремился на судно. «Перед нами возникло видение из ада,— вспоминал капитан «Александера».— Могучая черная тень горой нависла над нашим бедным судном. Чудовище нале-

тело на нас со скоростью 20–25 узлов и пробило корпус корабля под фок-мачтой в двух футах от киля. «Александр» пошел ко дну точно так же, как и шхуна «Эссекс», которая за тридцать лет до этого затонула именно в этих же водах. А сколько китобойных судов пропали без вести, не вернулись домой! Вполне вероятно, что некоторые из них стали жертвами нападения 70-тонных гигантов-кашалотов.

СХВАТКА СО ЗЛОМ

Одним словом, факты документально подтвержденные, позволяют сделать вывод, что история огромного и свирепого Белого Кита и его преследователя, одноногого капитана Ахава, отнюдь не плод фантазии автора. Но что хотел сказать людям Мелвилл своим замечательным романом о Белом Ките? Ограничился ли писатель созданием лишь приключенческого повествования, как вначале было задумано?

Нет, первоначальный замысел в процессе работы, возможно, неожиданно для самого автора претерпел заметные изменения и в конце концов перерос в нечто совершенно новое. Теперь это была книга с глубоким социально-философским подтекстом. И Моби Дик, по образному выражению исследователя творчества Мелвилла Ю. Ковалева, плавает в водах философии, социологии и политики.

«Для того, чтобы создать большую книгу,— считал писатель,— надо выбрать большую тему». Богатая и обширная тема, по его мнению, обладает возвеличивающей силой. Рассказ о гиганте левиафане, олицетворяющем всяческое зло, требовал от автора титанических усилий, глубоких познаний в различных областях, огромного творческого напряжения. Чтобы воплотить столь грандиозный замысел, вместо обыкновенного гусяного нужно было огромное перо кондора, вместо простой чернильницы — кратер Везувия.

Легенда и быль о Моха Дике послужили писателю предлогом для создания многопланового романа о судьбах человека в этом мире. Бурный океан — символ челове-

ской жизни — таит в себе неисчерпаемые силы добра и зла, пребывающие в состоянии постоянной борьбы. Повествуя об опасных приключениях Ахава, писатель утверждает, что счастье человеческое, подобно отражению Нарцисса в воде, — неуловимый прекрасный призрак. Что делать: любоваться им с берега или ринуться за ним в бездну? Деятельная натура человека не может мириться с бесплодным созерцанием, человек должен добиваться своей цели, даже если он знает, что на каждом шагу его подстерегает гибель.

Сила художественных образов, созданных Г. Мелвиллом, была так велика, что они затмили собой реальные факты, историю подлинных участников этого события. Миф пережил действительность: борьба Ахава с Белым Китом стала символом борьбы человека с темными силами зла.

И тем не менее недаром ездил Мелвилл в город китобоев Нантакет, не напрасно встречался там со старым капитаном Поллардом, не зря получил в подарок книгу Оуэна Чейса. Во всяком случае так считают нантакетцы и не преминут упомянуть об этом всякому, кто бывает на их острове, превратившемся сегодня в прибежище туристов, увлекающихся рыбной ловлей в открытом море. Вот почему в городке на каждом шагу попадаются лавочки с сувенирами и ресторанчики, где подают прославленную рыбацкую похлебку. О былой славе этого города в наши дни напоминают лишь жестяные киты на флюгерах да Музей истории китобойного промысла, где можно увидеть модель китобойца «Эссекс». Но, пожалуй, главная достопримечательность и гордость Нантакета — старый деревянный дом красного цвета с белыми наличниками, на стене которого красуется мемориальная доска с надписью: «Этот дом построил капитан Уильям Брук в 1760 году. Позднее он принадлежал Джорджу Полларду — капитану китобойной шхуны «Эссекс». Писатель Герман Мелвилл посетил капитана Полларда и использовал рассказанную им историю в романе «Моби Дик».

ДЕМОН ХРАБРОСТИ, ИЛИ КОСМОНАВТ XVII ВЕКА



НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Двести лет имя его пребывало в забвении: современники не сумели оценить, потомки забыли. Едва ли не первым два столетия спустя о нем вспомнил писатель Теофиль Готье. В книге «Гротески», посвященной забытым французским поэтам, восстанавливая справедливость, автор писал, что Сира-но де Бержерак «заслуживает быть названным гением, а не забавным безумцем, каким видели его современники». В своем эссе Т. Готье набросал портрет человека незаурядного ума и исключительного мужества, как его называли — «демона храбрости», атеиста и насмешника, так и оставшегося отважным неудачником и в жизни и в литературе.

Сира-но де Бержерак опередил свою эпоху на столетие, стал великим предтечей научно-технических открытий нашего времени. Пусть это звучит как преувеличение, но многие современные французские авторы отмечают, что Сира-но де Бержерак, «объединяя в своей фантазмагории поэтическую изобретательность с наукой, ушел от пут своего времени, создав один из удивительнейших шедевров мировой литературы».

Портрет трагического бунтаря, философа и острослова, воссозданный Теофилом Готье, пробудил интерес к фигуре забытого литератора. И все же широкой публике писатель Сира-но де Бержерак по-прежнему был мало известен. Вполне возможно, что о нем сегодня вспоминали бы лишь специалисты истории литературы, если бы образ его не заинтересовал драматурга Эдмона Ростана.

Забытый писатель семнадцатого века появился на подмостках парижского театра Порт-Сен-Мартен 28 декабря

1898 года. Еще накануне премьеры героической комедии Э. Ростана «Сирано де Бержерак» газеты оповестили читателей о предстоящем событии. Критики в один голос расхваливали пьесу, предрекая ей небывалый прием зрителей. Их предсказания оправдались. Больше того, шумный успех превзошел все ожидания. Громкими аплодисментами зал проводил в конце четвертого акта Сирано, ринувшегося в бой со словами вскоре ставшей знаменитой песенки:

Дорогу, дорогу гасконцам!
Мы юга родного сыны,
Мы все под полуденным солнцем
И с солнцем в крови рождены!..

В один миг Сирано де Бержерак посмертно приобрел известность и славу, которых так упорно, но тщетно добивался при жизни. Весь Париж, а следом и вся Франция узнала и полюбила вояку и поэта Сирано, рожденного «с солнцем в крови», неисправимого романтика и вечного неудачника. Полюбила целиком и полностью — с его огромным носом, длинной шпагой и непокорным духом.

С тех пор романтический облик театрального Сирано, нарисованный драматургом, заслонил образ подлинного писателя семнадцатого века. А между тем многие стороны жизни исторического прототипа героя Ростана остались не освещенными в одноименной комедии, а отдельные факты автором были намеренно изменены. По мнению французского писателя Жана Фрести, литератор XVII века «очутился в шкуре комического персонажа, не напоминающего даже отдаленно настоящего Сирано». Другой автор пишет о том, что Сирано де Бержерак «имел основания ожидать, что завоюет славу своими философскими и научными концепциями, опередившими его время на сто лет, а между тем она досталась ему из-за чувствительного сердца».

Признаться, автору пьесы было трудно понять своего героя. Создатель пьесы о забытом поэте Эдмон Ростан был баловнем судьбы, Сирано де Бержерак — ее пасынком.

Автор, в отличие от своего героя, прожил жизнь в роскоши. «Никогда не приходилось ему, как Верлену,— писала Т. Щепкина-Куперник, превосходная переводчица пьес французского драматурга, хорошо знавшая его по Парижу,— спать под открытым небом или в жалком кабаке обманывать сосущий голод рюмкой абсента... или, как Рембо, бродить по большим дорогам, чуть ли не прося милостыни». И в самом деле Ростан был удачливым модным поэтом, рано познавшим успех и богатство, тридцати семи лет оказавшимся среди «бессмертных» — его избрали членом Французской академии.

Как верно подметила Т. Щепкина-Куперник, всю жизнь он поворачивался к солнцу, грелся в его лучах, внутри оставаясь холодным и равнодушным.

Прототип его героя, напротив, никогда не испытывал ласкающего прикосновения живительных лучей, вечно бедствовал, нуждался, жил впроголодь, но никогда не кланялся богачам и аристократам. И только его жизнелюбие помогало ему противостоять тысячам невзгод и напастей.

Лишь в одном, пожалуй, схожи их пути — оба умерли сравнительно молодыми. Сирано, прошедший по жизни со шпагой наизготовку, не раз встречавший смерть в лицо, был убит наемной рукой из-за угла. Ростан кончил дни в уединении, пораженный меланхолией, прячась в мраке затененной комнаты от некогда так ласкового к нему солнца. У него, изнеженного и барственного, не достало душевных сил и мужества противостоять холоду жизни, не достало «солнца в крови». Его творения, изящные и грациозные, сверкая холодным светом, имели успех лишь «у той публики, которая знала толк в старинных кружевах и в севрских чашках». И только одна пьеса, посвященная забытому писателю, стала ярким исключением в творчестве Э. Ростана. Тем не менее она мало говорит нам об истинной сути личности Сирано де Бержерака.

Каков же был в действительности этот человек, большинству из нас известный лишь как литературный герой?

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
НА ЛАЗАРЕТНОЙ КОЙКЕ

Великий флорентиец Данте в первых строках «Божественной комедии» определил половину земной жизни человека тридцатью пятью годами. Для Сирано де Бержерака вторая половина его бытия началась на девять лет раньше дантевского рубежа. Ему было всего двадцать семь, когда наступил трагический перелом и он оказался «в сумрачном лесу».

Буйное веселье юных лет, шумные попойки, бесчисленные дуэли и словесные поединки за столом таверны — все миновало, осталось позади, по ту сторону черты, которая поделила его жизнь надвое. Тяжелый недуг, поразивший тело, заставил, наконец, его уgomониться.

Однако болезнь изменила лишь внешний образ его жизни. Дух Сирано, как и раньше, оставался свободным, а мысли дерзкими и отважными. По-прежнему он в рядах сражающихся. С той лишь разницей, что в прошлом встречался с врагом лицом к лицу, скрестив шпаги, сейчас бой приходится вести на расстоянии, и не клинком, а пером. И противник теперь у него другой — это людские пороки: глупость и суеверия, трусость и лесть, клевета и подлость, ложь и предательство. Рука, привыкшая сжимать эфес шпаги, уверенно держит перо. Он не собирается капитулировать, не намерен спускать флаг.

Смерть дважды стояла у его изголовья. И убиралась ни с чем. Уйдет и в третий раз. К досаде недругов, которые только и ждут, когда курносая одолеет его, когда немощь и дряхлость — ее союзники — подточат его слабеющее тело.

Теперь Сирано научился ценить время, которое так безалаберно тратил раньше. В халате и туфлях, удобно устроившись в кресле, Сирано трудится над рукописью...

Раньше он мечтал служить Марсу. Правда, это противоречило желанию отца, который не хотел видеть сына военным и пытался найти ему тепленькое место при дворе или у какого-нибудь видного аристократа. Однако все его попытки замолвить словечко за сына кончались ничем. Не

многого стоили просьбы бывшего чиновника, дворянина сомнительного происхождения, который не мог похвастать ни богатством, ни положением. Что касается молодого Сирано, то он отнюдь не стремился прислуживать, быть секретарем или управляющим у кого-либо. И хотя мечтал проникнуть в парижский свет, но проложить дорогу туда собирался иным путем.

Его влекла военная музыка, дробь барабанов, призывающих в поход, труба, зовущая в атаку. Его прельщала веселая жизнь искателей приключений, облаченных в военные мундиры.

Исполнить задуманное было в то время делом не таким уж трудным. Страна вела нескончаемую Тридцатилетнюю войну и нуждалась в солдатах.

Молодой повеса, кутила и забияка решил покинуть кабачки Латинского квартала, где проводил время среди поэтов, комедиантов и авантюристов, и вступил в королевскую гвардию. Поговаривали, правда, что решиться на этот шаг его побудили обстоятельства отнюдь не романтические. Будто бы его вынудила к этому витавшая над ним угроза оказаться в тюрьме за неуплату долгов.

В привилегированное войско принимали далеко не каждого. Но для дворянина Сирано это не составило особого затруднения. Дело облегчилось еще и тем, что при наборе предпочтение отдавалось гасконцам. Имя — Сирано де Бержерак звучало вполне по-гасконски. И его приняли как своего. Так возникла легенда о якобы гасконском происхождении нашего героя, которую и использовал в своей пьесе Ростан. На самом же деле Сирано родился в Париже в 1619 году, о чем неопровержимо свидетельствует запись в приходской церкви Сен-Совер. Детство его прошло в небольшом поместье Мовьер, которое когда-то называлось Бержерак, видимо, по имени семьи, проживавшей здесь в прошлом. Его отец, служивший управляющим у герцога Шевреза, именовался Абель де Сирано. Будущий поэт решил сделать свою фамилию более благозвучной, а следовательно, и более аристократической. Он стал называть себя

Сирано де Бержерак. Крестное его имя Геркулес Савиниен де Сирано отныне было забыто.

В начале зимы 1639 года новоявленный королевский гвардеец покидал Париж в рядах походной колонны, вместе с армией направляясь к восточным границам пешком, на повозках, в дождь и холод, полки двигались навстречу неприятелю. Сирано оказался в осажденном Музоне. Однажды во время вылазки он был тяжело ранен. Пуля от мушкета пронзила ему грудь навылет. Боевое крещение кончилось для него неудачно. Но уже в том же 1640 году, едва оправившись от раны, Сирано вновь в рядах сражающихся. На этот раз под стенами осажденного Арраса, где укрылись испанцы. И снова неудача. В первом же бою он получил рану в шею.

На лазаретной койке у него было достаточно времени, чтобы поразмыслить о том, как жить дальше. Военное счастье ему не сопутствовало, и хотя товарищи и прозвали его «бесстрашным», боевой славы он так и не добился. Что ожидает его в будущем? Чем ему следует заняться? Ответить на эти вопросы точно он не мог. Но знал одно — с военной романтикой покончено. Боевой клинок придется навсегда повесить на гвоздь. И в 1641 году наш герой возвращается в Париж. Здесь он решает добиться своего иным путем. С азартом прозелита (новообращенного) Сирано очинил перо, полный решимости извлечь из своей чернильницы то, о чем продолжал мечтать, — славу. Отныне он желает служить Поэзии и Науке. Они проложат ему дорогу к вершинам успеха, на литературном поприще составит он себе имя, завоюет желанное признание.

ЧЕМУ УЧИТ НАУКА «НОСОЛОГИЯ»?

Едва ли он предполагал, что избирает путь не менее опасный и тернистый, чем дорога солдата, едва ли думал, что здесь его поджидают не менее грозные, нежели испанские солдаты, противники — зависть и месть, наветы и злословие, преследования и травля.

Его стихи, рожденные за стаканом вина, полные язвительных намеков, принесли ему славу остроумца и насмешника. Но вот беда — стихами сыт не будешь. Конечно, можно стать поэтом «на случай»: чтобы не остаться без обеда, начать рифмовать на заказ, писать посвящения, прославлять благодетелей, расточая похвалы глупцам, скрягам, лицемерам.

Во Франции поэтов-поденщиков называли тогда «замызганными», они составляли целое братство, живущее впроголодь. Вырваться из этого злосчастного круга можно было лишь одним путем: стать придворным поэтом какого-нибудь вельможи, обрести себе покровителя. В этом случае тем более надо было уметь кланяться, льстить, угождать словом. На что только не шли, в какие хитрости не пускались несчастные витии, лишь бы оказаться в роли слуги поэта. И наплевать на упреки в отсутствии гордости. Разве до нее им было, когда желудок пуст и в горле пересохло?

Для Сирано де Бержерака личная свобода была дороже миски супа и жареного цыпленка. Когда же друзья, видя его нужду и безденежье, советовали поискать покровителя, он отвечал стихами великого Малерба* о том, что ему не к лицу «насильное притворство», и продолжал:

...я вольнолюбив, и мне претит покорство.

Сирано чувствовал в себе творческий огонь и надеялся когда-нибудь вырваться из среды «убогих словоскребов». Ведь и упрямый Малерб добился всего далеко не сразу. Только его настойчивость и энергия позволили ему, уже немолодому человеку, решиться отправиться в Париж искать успеха. И только вера в себя помогла ему добиться славы. Вот тогда-то, словно по волшебству, перед ним распахнулись двери многих аристократических домов: он дружил с самим герцогом Гизом, часто бывал в знаменитом салоне маркизы Рамбулье. У него был свой слуга и лошадь, а главное — огромное жалованье: чуть ли не тысяча ливров.

* Франсуа Малерб (1555—1628) — французский поэт.

...Возвращение блудного сына с войны завсегда и таверн встретили возгласами одобрения. Сирано снова зажил жизнью повесы, отдался соблазнам столицы, закружился в вихре походов. Это было время плаща, лютни и шпаги. Время авантюристов, прекрасных куртизанок, балов и маскарадов, испанской галантности, одновременно серьезной и безумной. Время сонетов, пирушек и яростной азартной игры. Судьба часто зависела от прихоти игральных костей. А участь игрока нередко решал брошенный взгляд, небрежный жест, мимолетная усмешка.

Кутежи с собутыльниками, такими же, как Сирано, «непризнанными гениями», заполняют его дни и ночи. Иногда даже кажется, что он забыл о своем призвании, о намеченной цели. Он спешит за стол таверны, где веселье и смех, где живут без оглядки, где острое словцо ценится так же, как и точный удар шпаги.

В ожидании поэтического признания Сирано стал знаменит на весь Париж как отчаянный дуэлянт. Горе тому, кто имел неосторожность чем-либо задеть гордого стихотворца или, упаси Боже, непочтительно обмолвиться о его внешности, скажем, о носе. Ох, уж этот злосчастный нос. Многим лишь неосторожное упоминание о нем стоило жизни.

Если бы не длинный нос, то Сирано был бы вполне красивым малым. Как характеризует человека крупный нос? Как учит наука «носология», нос — это вывеска, «на которой написано: вот человек умный, осторожный, учтивый, приветливый, благородный, щедрый». Так Сирано напишет позднее в своем романе о путешествии на Луну. Там, к удовольствию автора, в чести окажутся лишь те, у кого длинные носы, курносые же будут лишены гражданских прав!

Друзья знали горячий нрав поэта:

Если этот нос посмеет кто заметить,
то Сирано спешит по-своему ответить...

И неудивительно, что многие предпочитали считать форму его носа самой обыкновенной.

БОЙ С ФАГОТЕНОМ

Сирано был сыном своего века, времени, когда французская монархия, преодолевая междоусобицы и феодальную анархию, благодаря заботам кардинала Ришелье, обрела видимость прочности. Абсолютизм, приобретя устойчивую форму, способствовал расцвету французского гения.

К успехам военным, политическим и дипломатическим Ришелье задумал прибавить величие французской культуры, поставив ее на службу королевской власти.

В 1635 году официальным эдиктом создается Французская академия. В ее уставе записываются слова о том, что членами ее могут стать люди «хорошего тона, доброго поведения и любезные господину-покровителю» (то есть королю). Французам вменялось в обязанности называть их не иначе как «бессмертными», так как членство в Академии было пожизненным. Вначале академиков было десять — по числу посетителей литературного салона Валентина Конраро, на основе которого по велению всемогущего кардинала и возникла Академия.

Через три года число «бессмертных» в черных с зеленым мантиях и треугольных шляпах возросло до двадцати. А впоследствии и до сих пор академиков сорок.

Попасть в сонм «бессмертных» — значило достичь признания и быть увековеченным современниками. Однако за трехсотлетнюю историю Академии за ее стенами не раз оставались выдающиеся умы. Не удостоились быть ее членами Мольер и Дидро, Паскаль и Бомарше, Бальзак, Золя и многие другие. (По этому поводу уже в наши дни было создано сатирическое произведение «История сорок первого кресла». В нем перечисляются имена всех великих писателей прошлого, которым не довелось переступить порога Академии.)

Вслед за Академией, где заседали «бессмертные», были созданы Академия живописи, скульптуры и архитектуры, а чуть позже — Французская академия наук.

Расцвет театра покончил с униженным положением актеров. В 1641 году был, наконец, издан знаменитый

эдикт, снимающий бесчестье с актерской профессии и уравнивающий служителей сцены в правах со всеми остальными гражданами страны. После чего даже дворяне не гнушались идти в лицедеи.

На небосклоне французского театра в то время сияли такие звезды — авторы трагедий, как Ж. Ротру и Ж. Скюдери, предшественник Мольера комедиограф П. Скаррон, в зените славы был могучий П. Корнель. Кумирами зрителей слыли актеры — благородный Флоридор, галантный Бельроз, уморительный Жодле.

Появилась «Газета», изобретение Теофраста Ренодо. Процветало книгопечатание. В столице и провинции зачитывались историческими вычурными романами Кальпренеда и утонченно-изысканными — Мадлен де Скюдери. В лавках Дворца правосудия можно было купить книгу Шарля Сореля «Правдивое комическое жизнеописание Франсиона», где, в отличие от творений предыдущих вышеупомянутых авторов, читатель находил правдивые картины окружающей его тогдашней жизни. Здесь же продавались сборники поэтов и написанные на латыни научные и философские трактаты. Бойко шла торговля и у букинистов на Новом мосту — самом старом в Париже, построенном в 1578 году. В то время это было, пожалуй, самое людное место французской столицы.

С утра до вечера здесь не затихали гвалт и гомон, не смолкали смех и крики. Возгласы торговцев смешивались с голосами певцов-поэтов, песенки которых, рожденные тут же, потом распевал весь город. В пестрой толпе степенно вышагивали буржуа в скромных, добротных сюртуках; словно залетные райские птички мелькали аристократы в камзолах из итальянского шелка и парчи, в шляпах с белыми перьями, шелковых чулках и лакированных туфлях; дворяне победнее — в голландском полотне и наваксенных башмаках; щеголи — в кружевах, которым не было цены (воры ловко срезали их), и перчатках с длинной бахромой на отворотах. Самые же заядлые модники, к всеобщему удивлению, появлялись в сапогах — необходимом атрибуте

костюма для верховой езды. Впрочем, многие из них лишь делали вид, будто только что спешили и за углом лакей сторожит их скакуна. На самом деле далеко не все из них могли позволить себе иметь верховую лошадь.

Случалось, что даже «мехоносцы» — судьи и профессора в мантиях, подбитых мехом, появлялись в толпе на Новом мосту.

Тут же сновали подозрительные субъекты, мошенники и проходимцы, шарлатаны и зубодеры, лекари и цирюльники — мастера на все руки, всегда готовые погадать, предсказать судьбу, выступить в роли хирурга. Комедианты разыгрывали нехитрые сценки, укротители змей демонстрировали своих питомцев, в толпе вертелись воришки.

Частенько в шумной толчее на мосту мелькал и пестрый костюм Сирано. Он любил шутки и зубоскальство площадных фарсеров и нередко посещал их представления. Самым известным из них был некий Жан Бриош — фокусник, комедиант и кукольник, вечно скитающийся со своим легким театриком по ярмаркам. Публика с удовольствием посещала его представления, густо сдобренные солеными островами и не очень разборчивыми шутками. Популярность этого актера особенно возросла с тех пор, как, обвиненный в колдовстве, арестованный и посаженный в тюрьму, он сумел вырваться на свободу. В те времена это было все равно что вернуться из преисподней. Удалось ему это, видимо, не без помощи знаменитого остроумия и находчивости, которые снискали кукольнику симпатии зрителей.

Гордостью театра Бриоша была ученая обезьяна Фаготэн — любимица публики, непосредственная и притягательная реклама кукольного театра. В мушкетерской шляпе с развевающимся плюмажем, облаченная в пестрое тряпье, она обычно восседала на высоких подмостках и воинственно размахивала старинным заржавевшим мечом.

Однажды ужимки ученой обезьяны привлекли внимание Сирано. Вместе с зеваками, толпившимися у театра Бриоша, он наблюдал за ее гримасами. Смеялся. До того момента, пока Фаготэн не стал, как это часто делают обезьяны, корчить

рожи. И тут случайно наткнулся на свой обезьяний нос и начал энергично мять его, как бы стараясь оторвать.

Самолюбивый и мнительный Сирано усмотрел в этом жесте обезьяны умышленное оскорбление: намек на его уродство — и решил, что обезьяну подбил на это ее хозяин, будто бы таивший против него злые умыслы.

Кровь ударила в голову Сирано. Не раздумывая, он выхватил шпагу и замахнулся на Фаготэна. И тут произошло то, о чем позже, потешаясь, долго рассказывали и писали.

Обезьяна, усмотрев в движении Сирано для себя угрозу и сообразив, что она тоже вооружена, гордо и воинственно взмахнула своим ржавым клинком. Сирано воспринял это движение как откровенное желание вступить с ним в бой. Разъяренный, он сделал выпад и убил бедную обезьяну на месте.

Историю эту, довольно скандальную, обычно приводят в качестве примера того, до чего обидчив и болезненно самолюбив был Сирано де Бержерак.

Одни обсуждали этот случай с негодованием, другие смеялись. Сам же виновник отнесся к нему весьма серьезно. Значение, которое он придавал своей знаменитой «дуэли» с обезьяной, видно по его письменному свидетельству в связи с этим делом.

Небольшое сочинение под названием «Бой Сирано де Бержерака с обезьяной Бриоша на Новом мосту» подробно описывает, как и почему Сирано в приливе ярости проткнул шпагой обезьяну по имени Фаготэн.

Что касается кукольника, то он, потеряв обезьяну, погибшую от руки знаменитого дуэлянта, приобрел еще большую популярность. Зрители валом валили к нему в театрик.

Всех, кто бывал на Новом мосту, кто посещал это значное место, метко окрестили «придворными бронзового коня», иначе говоря — Генриха IV, бронзовая статуя которого возвышалась рядом с мостом. В ходу была даже поговорка: «Генрих IV со своим народом — на Новом мосту, Людовик XIII со своими придворными — на Королевской площади».

В отличие от «демократичного» моста Королевская площадь и прилегавший к ней квартал Марэ считались фешенебельными районами тогдашнего Парижа. На окруженной рядом новеньких кирпичных особняков площади жили кардинал Ришелье, писательница Севинье, драматург Корнель. Неудивительно, что она и прилегающий к ней квартал Марэ — «остров смеха и забав» — стали излюбленным местом прогулок модников столицы. В их толпе, словно какой-нибудь щеголь-аристократ, гордо вышагивал и Сирано в шляпе с тройным султаном, в ботфортах с широченными раструбами, в туго накрахмаленном из брыжжей воротнике. Небольшие усики по моде, волосы до плеч. «Плащ сзади поднялся, поддерживаем шпагой, как петушиный хвост, с небрежною отвагой», — таким рисует облик своего героя Э. Ростан. И надо сказать, что если драматург в чем-то и погрешил в своей пьесе против исторической правды, то только не в отношении внешнего вида Сирано.

НЕУДАЧА С ПРЕМУДРОСТЯМИ АЛХИМИИ

...И вот в один прекрасный день кончились кутежи и попойки, похождения и авантюры. Сирано снова оказался в руках эскулапов, тех самых «клистирных трубок», про которых говорил, что лучше им не попадаться. Несколько месяцев пролежал он в лечебнице доктора Пигу. Вышел оттуда слабым, худым, почти начисто облысевшим после втирания ртути в кожу головы — так тогда лечили сифилис, которым болел Сирано. Вышел разбитым физически, душевно озлобленным, еще более колким, язвительным.

В кармане у него не осталось и гроша, нечем было даже рассчитаться с врачом. У двери его дома маячили тени кредиторов. В эти черные дни Сирано перешел роковую черту, началась вторая, короткая половина его бытия.

Но как ни странно, именно своей болезни он обязан тем, что имя его не кануло в Лету, что оно сохранилось и живет в литературе по сей день. Болезнь, ставшая отныне

неразлучной спутницей Сирано, заставила его переменить образ жизни. Все, что им создано как писателем, — сочинения его составляют три тома, — было написано в эти трудные годы борьбы с недугом.

Изредка его навещают друзья. Чаше других бывает преданный, бескорыстный Лебре — старый товарищ по коллежу и армии. Иногда заходит шумный и веселый Франсуа Тристан Л'Эрмит — давнишний его приятель по кутежам и карточной игре, хорошо известный всему Парижу поэт и драматург. Сирано восхищался талантом друга, его благородным сердцем и высоким умом. Позже он воздаст ему хвалу в своем романе, где назовет великим, единственным «Истинно свободно мыслящим человеком».

С сочувствием относился к своему другу и Тристан. И, видя, какую физическую и нравственную боль доставляет тому болезнь, взялся ему помочь.

Во время скитаний Тристан познакомился в Англии с учеными, пытливый ум которых, вопреки схоластике официальной науки, пытался проникнуть в тайны природы. Молва нарекла этих искателей знаний чернокнижниками, магами и алхимиками, о них ходило множество фантастических легенд. Их преследовала церковь, травили власти. Они же упорно продолжали свои «богопротивные» занятия. И нередко в результате их опытов подлинная наука делала еще один шаг вперед.

Тристан говорил о людях, объединившихся в братство с целью преобразить государство и церковь, дать каждому благосостояние и богатство. Члены братства называют себя «розенкрейцерами». Он виделся с ними всюду, где бы ни был, утверждал Тристан, в Англии, Голландии и в Италии. Есть они и во Франции. Доказательство тому таинственные листки, которые не раз замечал, наверное, и Сирано на стенах парижских домов. В них от имени «депутатов Коллегии Розы и Креста, видимо и невидимо пребывающих в этом городе», предлагалось вступить в братство, где «учат без книг и знаков языку, который может спасти людей от смертельного заблуждения...»

На вопрос о том, почему этих «невидимок» называют «розенкрейцерами», Тристан, не заметив иронии друга, заявил, что точно ему ответить трудно. Вроде был такой Кристиан Розенкрейц, который и основал это братство еще в XIV веке после того, как съездил на Восток, где от тамошних мудрецов перенял многие тайны. (Тристан не мог тогда знать, что мифического Розенкрейца придумал в начале XVII века немец Иоганн Андреэ, который и был по существу основателем этого тайного общества, в то время еще не отличавшегося ясно выраженным мистицизмом. Он же дал ему и название — по изображенным на его личной печати андреевскому кресту и четырем розам — символу тайны.)

Какова же все-таки цель этих розенкрейцеров? — допытывался Сирано. Тристан пояснил: восстановить все науки, особенно медицину, тайным искусством добывать сокровища, которые короли и правители употребили бы на великие общественные реформы. Главная же их цель — помочь человечеству достичь совершенства. Сделать это они намеревались посредством философского камня, который, однако, еще предстояло добыть.

— Чем же эти твои рыцари Розы и Креста могут помочь мне? — улыбнулся Сирано.

— Как чем! Они владеют многими секретами исцеления. Да что там исцеления! Они умеют продлевать жизнь! — с азартом уверял Тристан. — Вспомни Скаррона. Наши «клистирные трубки» так залечили этого весельчака-поэта, что теперь он совсем скрючился, словно буква «Z». Нет, упаси Боже от наших лекарей. Разве сам ты не говорил, что «достаточно подумать об одном из них, как тебя начнет бить лихорадка»?

Напрасно, однако, тратил свои усилия пылкий миссионер, стремясь обратить друга в новую веру. Никакие доводы не помогли. Как ни помогла и книга, подаренная им Сирано — «Слава братства Розы и Креста». Обращение Сирано не состоялось. А также и его исцеления с помощью премудростей алхимии. И все же знакомство с тем, что проповедовали и к чему стремились розенкрейцеры, не прошло бесследно для Сирано. Впрочем, некоторые склонны

считать, что поэт все же поддался «агитации» и стал членом тайного общества. Иначе, мол, откуда же у Сирано в его романе такие поразительно точные представления о «научных» секретах розенкрейцеров.

НЕНАВИСТНЫЙ АББАТ

Нет, небольшой томик, изданный на латыни в 1614 году, — подарок Тристана, не стал настольной книгой Сирано де Бержерака. Его интересовали иные труды.

Отныне дни его проходят в углубленных занятиях философией и науками, он много размышляет, напряженно работает. На смену прежних спутников его жизни приходят новые друзья — книги. Он штудировал «Опыты» Монтеня. В них находит то, о чем все чаще размышляет сам, они побуждают задуматься об устройстве мира, помогают искать ответы на многие занимающие его вопросы: о том, что необходимо покончить с предрассудками, перестать слепо доверять свидетельству авторитетов, не принимать ничего на веру, судить обо всем, оценивать все разумом. Только так можно покончить с рабством мысли и начать мыслить творчески. Монтень и был тем «первым французом, который осмелился мыслить». Религия, говорит Монтень, поражает умы лишь вопреки рассудку, веруют лишь невежды, те, кто не имеет никакого представления о вещах. Одно из чудес — Бог. Познание мира, Вселенной — ведет к развенчанию Бога, Божественного вмешательства в дела людей.

Конечно, все эти «еретические» мысли надо было прочитать в книге Монтеня между строк. Автор всячески вуалировал то истинное, что хотел сказать.

С увлечением читает Сирано и трактат «Город солнца» утописта Т. Кампанеллы. Об этом итальянце в дни молодости Сирано много толковали в Париже. Здесь философ доживал свои дни после того, как провел в тюрьме по воле святой инквизиции почти три десятка лет. С интересом Сирано знакомится с учением великого поляка Коперника, который

«остановил Солнце и сдвинул Землю», сокрушив тем самым догмы птолемеевой системы о Земле как центре Вселенной. Он хочет все знать о последователях польского астронома — датчанине Тихо де Браге и немце Иоганне Кеплере. Привлекают его и пантеистические взгляды итальянца Кардана, математика и астролога, предсказавшего самому себе день своей смерти. Впрочем, чтобы оправдать «пророчество», он вынужден был уморить себя голодом.

Великие греки Демокрит и Эпикур соседствуют в его книжном шкафу с современниками: философом Декартом, романистом Шарлем Сорелем, поэтами вольнодумцами Матюреном Ренье и Теофилом де Вио. Оба эти стихотворца были врагами церковников и чуть не погибли от их рук. Ренье спасла от костра собственная смерть, де Вио избежал казни лишь случайно, ее заменили изгнанием. Доживи Ренье до 1623 года, а де Вио не имей высоких покровителей, — и быть им сожженными в том году вместе с другими поэтами-сатириками, которых святая церковь послала в огонь.

Это были последние костры инквизиции. Но отсвет их пламени все еще нередко зловеще озарял площади европейских городов. Хотя во Франции инквизиция официально не существовала, но и здесь церковники яростно искореняли ересь. Направляли эту борьбу так называемые «Огненные палаты» — чрезвычайные трибуналы, приговаривавшие еретиков к сожжению. Меч и крест — кровавый символ инквизиции — угрожал каждому, кто осмеливался высказывать богоборческие мысли, кто восставал против церковных догм. Среди безбожников, погибших в огне, были лучшие умы эпохи, ученые и поэты.

По приговору богословского факультета Сорбонны на парижской площади Мобер в 1546 году сожгли вместе с его сочинениями гуманиста Этьена Доле. Такая же участь постигла через тридцать лет Жоффруа Валле, казненного за книгу «Блаженство христиан, или Бич веры». Сочинение это вместе с автором после того, как его повесили, было «сожжено и превращено в пепел» (до наших дней дошел всего лишь один печатный экземпляр).

Открыто отважился выступить с изложением своих взглядов и атеист Джулио Ванини. И ему это дорого обошлось. Ванини повесили в Тулузе в 1617 году, а тело сожгли. Сожжен был на римской площади Цветов в 1600 году и непреклонный Джордано Бруно за то, что осмелился утверждать, будто Вселенная бесконечна. В момент казни он гордо отвернулся от распятия. Не склонил головы перед палачами и старик Галилей. Преодолевая пытки, он продолжал отстаивать еретические идеи Коперника.

Их печальная судьба напоминала о том, что шутить с церковью опасно, что любое свободомыслие, вызов церковному аскетизму, схоластике, мистике объявлялись ересью и каждый, кто смел подвергать догмы святого учения сомнению, становился ее заклятым врагом. Расправа с ним была короткой: пытки, костер, убийство из-за угла...

Сирано со школьной скамьи был не в ладах со служителями веры. На всю жизнь запомнил и возненавидел он аббата Гранже, учителя в парижском коллеже Бове, где обучался в отрочестве.

Порядки здесь царили чисто монастырские: с утра до вечера молитвы и службы, зубрежка латинских текстов. Жестокая порка за малейшую провинность. Кормили не иначе как вприглядку — денежки, получаемые на содержание учеников, «педагоги» ловко прикарманивали. Словом, жизнь беретников — так по головному убору называли учеников — была далеко не сладкой. И верно говорили, что все слова, определяющие их взгляды, начинались на букву «к» — кнут, кара, карцер, крохи, клопы...

Ученик Сирано де Бержерак не только запомнил аббата Гранже, но и вывел его под собственным именем в комедии «Осмеянный педант».

В ней представлена целая галерея ярких характеров: богатый деревенский дуралей Матье Гаро; дочь и сын Гранже, слуга-плут Корбинели, возлюбленная сына Женевита. Среди них образ Гранже обрисован наиболее ярко, сатирически заостренно. Известный всему Парижу аббат был показан в комедии полным тупицей, скрягой, волокитой

и ханжой. Автор высмеивал в лице бывшего своего учителя всех невежд-церковников, берущихся обучать молодежь. Черты социальной сатиры, заметные в образе Гранже, роднят его с мольеровскими героями.

СЛУЖИТЕЛЬ МОМА

Остроумное сочинение Сирано имело скандальный успех. Однако до постановки на сцене дело не дошло. Судьбу пьесы раз и навсегда решила причуда театральной звезды того времени — актера Жакоба Монфлери. Он заявил, что комедия Сирано де Бержерака не оригинальна, а есть плод заимствования, и наотрез отказался исполнять в ней главную роль. Монфлери, благочестивому католику, пришлось не по вкусу безбожные мысли автора комедии. В особенности последняя картина пятого акта, где больной герой разговаривает с переодетой смертью и откровенно выражает свое неверие в бессмертие души.

Текст возвратили. Удрученный и разгневанный Сирано разразился ехидным памфлетом «Против толстого Монфлери, никудышнего актера и никчемного автора». В этом памфлете Сирано осмеял сценический талант первого актера «Бургундского отеля» — старейшего парижского театра. И доказал, что Монфлери, который к тому же и сам пытался сочинять трагедии, сюжеты для них заимствует у собратьев, например, у Корнеля. Причем колкий Сирано — служитель Мома — бога насмешки, не удовольствовался одним разоблачением. Он потребовал от артиста на месяц оставить сцену (факт этот использовал Э. Ростан, изменив, однако, причину скандала в соответствии со своим замыслом — в пьесе Сирано преследует актера из-за ревности).

Самовлюбленный и надменный Монфлери не внял приказу. Тогда Сирано явился в театр. В тот день давали пастораль одного из тех модных авторов, которых так презирал Сирано.

Прямоугольный зрительный зал «Бургундского отеля» (как и все театральные помещения той эпохи, он пред-

ставлял собой зал для игры в мяч, приспособленный для зрелищ) был переполнен. Скрипачи расположились на ступенях, идущих со сцены в партер. Вспыхнула рампа из сальных свечей. Люстры, зажженные ламповщиком, поползли вверх к потолку. Заколыхался занавес с изображенным на нем королевским гербом. Публика на деревянных галереях и в ложах понемногу начала успокаиваться. Партер же продолжал гудеть. Здесь приходилось стоять и потому зрители собирались победнее, в основном простолюдины.

Но вот за сценой простучали три раза. Занавес раздвинулся. Четыре люстры освещали сцену и ту часть публики, которая расположилась здесь же на скамьях вдоль кулис.

Под аплодисменты и возгласы восхищения появился в пастушеском наряде Монфлери. В свои тридцать лет он был так неимоверно тучен, что стягивал себя железным обручем. Над ним потешались, предсказывая, что актер умрет из-за чрезмерного напряжения, с которым он исполнял роли. Тем не менее стиль игры, отвечавший канонам эстетики классицизма, нравился зрителям. Впрочем, не всем. Одним из тех, кто осмеял манеру Монфлери, был Мольер. В своем «Версальском экспромте» он высмеял то, как Монфлери декламирует — не говорит по-человечески, а «вопит, как бесноватый».

И действительно пастух-толстяк произносил стихотворные тирады, напыжившись, одним дыханием, с силой выкрикивая последний стих. Его мало заботил смысл слов. Главное для него было выпевать их, напыщенно изображая переживания героя.

В самый патетический момент, когда бедный пастух, отвергнутый любимой, готовился броситься в пропасть, в зале раздался громкий окрик. Стоя на стуле, дабы возвышаться над толпой в партере, Сирано, — а это был он — во всеуслышание напомнил, что на месяц запретил Монфлери появляться на сцене. Дерзкий поэт, угрожающе сжав эфес шпаги, потребовал, чтобы актер тотчас исполнил его повеление и покинул подмости. При этом с уст бретера сорвалось не одно язвительное словцо. И вполне возможно, что между

поэтом и актером состоялся приблизительно тот же диалог, которым обмениваются герои Э. Ростана. На слова Монфлери о том, что в его лице оскорблена сама муза комедии Талия, ростановский Сирано восклицает:

Нет, сударь! Если бы пленительная муза,—
С которой нет у вас, поверьте мне, союза,—
Имела честь вас знать, наверное, она,
Увидев корпус ваш, под стать пузатым урнам,
В вас запустила бы немедленно катурном...

Угроза Сирано была столь явной, а вид столь решителен и грозен, что Монфлери под свист и хохот ретировался за кулисы.

Театр кипел от возмущения, но перечить прославленному дуэлянту никто не рискнул.

Однако «Осмеянный педант» так и не появился на сцене при жизни автора. Комедия, в которой крестьянин в отличие от героев модных пьес — пасторальных пастушков — впервые заговорил простым народным языком, не принесла Сирано де Бержераку ни признания, ни гонорара. А привела лишь к скандалу, который отнюдь не способствовал его успеху. Более того, репутация автора как врага и ненавистника духовенства, как бунтаря и безбожника, упрочилась еще больше. И очень скоро Сирано почувствовал к себе «особое» отношение.

ЗАСАДА У НЕЛЬСКОЙ БАШНИ

На левом берегу Сены, прямо против Лувра, в те времена стояла знаменитая Нельская башня. Утратив свое назначение сторожевой, она служила тюрьмой. О башне ходило множество таинственных и зловещих слухов.

Как-то под вечер Сирано оказался у рва, окружающего ее. Начинало смеркаться. Фонарей в те времена не было еще и в помине.

Прогулка по ночному городу в ту пору не сулила ничего хорошего. Грабежи и убийства являлись делом обычным и редко когда ночь проходила без происшествий. В эти часы бездомные бродяги и матерые воры, убийцы и грабители покидали свои дневные убежища и выходили на большую дорогу. Даже полубродяги-студенты, и те не брезговали разбоем (недаром они не имели права носить при себе ножи, шпаги и пистолеты и им запрещалось показываться на улице после девяти вечера). Даже там, на Новом мосту, где днем царили торговля, сутолока и балаганная пестрота, в ночной час было очень опасно. Преступления, то и дело здесь совершавшиеся, заставили в 1634 году издать особый указ о круглосуточном дежурстве на мосту наряда полиции. Словом, ночью в Париже всякое могло случиться.

Сирано, боясь оступиться, вглядывался в сумерки — это его и спасло: он заметил нападавших. Сначала перед ним возник один силуэт. Не успели их шпаги скреститься, как сбоку наскочил второй, потом третий, потом... Он не смог пересчитать всех, тем более что убийцы (а в том, что это были бравó — то есть наемные головорезы, сомневаться не приходилось) казались в темноте все на одно лицо. Нет, это нельзя было назвать поединком, это было целое сражение. Сто против одного — так позже утверждала молва, всегда, однако, склонная к преувеличению.

В тот вечер шпаге Сирано скучать не пришлось: на месте боя двое остались лежать замертво, семеро получили тяжелые ранения, остальные благоразумно скрылись.

Так Сирано блестяще подтвердил свою репутацию отличного бойца. Его бесстрашием восхищался весь город.

Были, однако, и те, кто хранил недоброе молчание. Видно, кому-то язвительный комедиограф пришелся не по нраву. Кого-то явно не устраивали его насмешки и сатиры, его образ мыслей. Не эти ли скрытые враги Сирано пожелали избавиться от неудобного литератора? И не они ли послали убийц в засаду у Нельской башни?

РАЗУМ — ЕГО ВЛАСТЕЛИН

Слава, считал Сирано, есть нечто гораздо более драгоценное, чем одежда, лошадь или даже золото. Может быть, эти слова являются ключом к постижению его характера, его судьбы, противоречий его натуры и поступков?

Путь к славе, признание высшим светом, доступ ко двору часто пролегал через салоны знаменитостей. Некоторые из парижских салонов играли видную роль в литературной жизни — служили законодателями «вкусов». Салоны маркизы Рамбулье, писательницы Скюдери, куртизанок Марион Делорм и Нинон Ланкло славились на всю Францию. Попасть в число их завсегдатаев — ученых жен и мужей, модных поэтов и преуспевающих писателей — желали многие. Здесь обсуждали очередной прециозный роман, рисуя далеких от реальности героев: изображать жизнь тогда считалось вульгарным и низменным, а тех, кто восставал против этого, нарекали «краснокожими», грязными писателями. Здесь томно рассуждали о превратностях любви, верности долгу и даме сердца; вели галантные беседы, признавая разговор «величайшим и почти единственным удовольствием жизни». В салонах блистали остроумием, развлекаясь, пикировались, оттачивали словесное искусство.

Сирано справедливо рассчитывал, что не окажется последним в веселых затеях парижского общества, что сумеет обратить на себя внимание, заставит слушать себя избалованных и пресыщенных литературных гурманов, завоеует успех.

Сирано решил, что славу ему должны принести письма, а точнее памфлеты, эссе, обличения или рассуждения, в основном сатирического характера, написанные по самым различным поводам. Его перо берет «на прицел» доносчиков и трусов, неблагодарных и малодушных, грубиянов и грабителей мысли — плагиаторов, его старых врагов педантов и ненавистных колдунов, шарлатанов врачей, бездарных актеров, святош...

Несколько иными были так называемые любовные послания. Их отличал тонкий стиль, неожиданные поэтические находки, яркие метафоры.

У любовных писем Сирано де Бержерака, которые, как он надеялся, отопрут перед ним двери успеха, — оказался один существенный недостаток: отсутствие адресата, который мог бы вознаградить автора. Недостаток этот позже восполнил Э. Ростан, придумав несравненную Роксану и сделав из несчастного Сирано ее тайного и пламенного обожателя. Из-за нее он терпит наносимые ему обиды, ради нее готов отказаться от своего счастья и помочь завоевать для Кристиана ее любовь... Впрочем, Э. Ростан придумал ситуацию, а не Роксану, у которой действительно был реальный прототип — дальняя родственница Сирано — Мадлена Робино. Она была женой Кристофа (а не Кристиана де Невиллет). Как Роксану ее знали лишь среди монахинь монастыря, где она жила после гибели мужа в битве при Аррасе в 1641 году. В молодости Сирано бывал в ее салоне.

Приспособиться, стать угодливым и покладистым Сирано так и не сумел. Мечта снова потерпела крушение, уязвленная гордость ему слепила глаза. Окружающим Сирано казался преисполненным себялюбия, был не как все: бедняк, а не ищет покровителя и не нуждается в опеке. Это было не в духе времени, казалось странным, раздражало. К тому же в его памфлетах одни усмотрели намеки на себя, другим не нравился их тон — надменный и ироничный. Им казалось, что Сирано де Бержерак был против всего и против всех. Тем более что сам он то и дело заявлял, что не признает ничьего авторитета, если он не опирается на разум. И любил добавлять: «Единственно Разум, только Разум — мой властелин».

НЕРАСЧЕТЛИВЫЙ ИГРОК

Тем временем в стране запахло мятежом. После смерти Ришелье сменивший его на посту первого министра хитрый

итальянец кардинал Мазарини был ненавистен парижанам. Фактически в годы малолетства Людовика XIV он управлял Францией. Его политика вызывала всеобщее недовольство. Смута охватила страну. Началась так называемая Фронда — борьба буржуазии и народных низов, а позже и феодальной знати, за свои прежние права, узурпированные королевской властью. К этой массовой борьбе, которую вела Фронда против мало кем любимого Мазарини, присоединили свой голос и многие литераторы.

Запевалой в этой схватке выступил Скаррон. Он первый сочинил острый сатирический памфлет против Мазарини. Его не остановило даже то, что с этого момента он лишался пенсии, которую получал от двора.

Его едкую, бичующую сатиру читал весь Париж. И вот уже сотни новых «мазаринад» — так стали называть подобные антиправительственные сочинения — гуляют по французской столице.

Темпераментный сатирик, Сирано де Бержерак сочиняет несколько бойких и злых «мазаринад», заставивших весело смеяться посетителей салонов, где он теперь часто бывает.

Неожиданно ветер меняет направление. Фронда распущена. Мазарини прочно занял кресло первого министра. К нашему удивлению, меняется и позиция Сирано. Одержимый манией быть принятым при дворе, добиться известности, он делает опрометчивый, легкомысленный шаг: из противника кардинала превращается в его сторонника, помышляет завоевать доверие министра. С тем же азартом, с каким раньше нападал на Мазарини, он теперь преследует его врагов. Сирано не щадит даже недавних сторонников и друзей. В письме «Против фрондеров» он открыто нападает на тех, с кем еще недавно стоял в одном строю против министра. Заодно досталось, конечно, и Скаррону. Справедливости ради следует сказать, что и Скаррон переметнулся на сторону выигравших и во всеуслышание покался в своих пагубных заблуждениях, призывая к этому и недавних сообщников. Это своеобразное сальто-мортале тем не менее не помогло ему вернуть себе пенсию.

Надо ли говорить, что такое поведение не придало Сирано ни веса, ни уважения. Бывшие друзья отшатнулись, новых, более сильных, приобрести так и не удалось. Игрок, он действовал слишком азартно и нерасчетливо. Карта его оказалась битой.

Двери салонов перестали раскрываться перед ним. Все отвернулись от него. Произведений его не печатали, пьесу не ставили. Скучных денег, присылаемых отцом, едва хватало на лечение старых ран и новой болезни. От ее приступов, усугубляемых житейскими неудачами, его не спасают ни насмешки, ни бравада, ни публичные скандалы. И только опиум, к которому он вынужден все чаще прибегать, чтобы заглушить боль, на время облегчает его страдания.

УРОКИ ГАССЕНДИ

В эти трудные годы Сирано заканчивает работу над своей знаменитой книгой. Впрочем, сам он не догадывался о том, что эта небольшая рукопись принесет ему желанную славу, увы, посмертную. При его жизни напечатать ее не удалось, первое издание, благодаря стараниям верного друга юности Лебре, увидело свет через год после смерти автора. Однако нельзя сказать, что о книге не было ничего известно. Напротив, толков о новом необычном сочинении Сирано де Бержерака ходило немало. Опасный безбожник снова заставил говорить о себе весь город. Особенно были раздражены и еще более возненавидели вольнодумца давние враги — иезуиты, боявшиеся опасного влияния его идей на умы современников.

Что же сочинил Сирано в этот раз? Чем вновь вызвал гнев святых отцов? Чтобы ответить на этот вопрос, надо перенестись в то время, когда молодой, полный сил и надежд Сирано, только что оставивший военную службу, появился в Париже.

Среди его тогдашних дружков был некий Клод Шапелль. Юноша с живым, ироническим умом, уже тогда

пописывающий стихи, он отличался свободомыслием и общительным нравом. Они подружились. Сирано стал бывать в доме своего друга, отцом которого, кстати сказать, был богатый откупщик Люилье. Он решил дать сыну домашнее образование, для чего взял его из коллежа и устроил на дому своеобразную школу. А чтобы сыну не было скучно, привлек к занятиям и его ближайших друзей — Франсуа Беренье, впоследствии знаменитого путешественника по Востоку; Жана Батиста Поклена — в будущем известного под именем Мольер; Шарля Гено — ставшего позже драматургом и другом Сирано де Бержерака.

Наставником к молодому Шапеллю был приглашен один из выдающихся мыслителей, знаменитый Пьер Гассенди. До этого он, сын провансальского крестьянина, ставший профессором, преподавал философию в Эксе. Но преследуемый иезуитами за «ересь», вынужден был перебраться в Париж, где и поселился в доме Люилье — своего старого знакомого. Образованность Гассенди, широта и глубина его познаний поражали современников. Физика и математика, астрономия и история, риторика и логика, но прежде всего философия — таков был круг его интересов.

Ученики, затаив дыхание, внимали речам своего кумира со лбом мудреца и глазами проницательного психолога.

Сирано был прилежным и внимательным учеником. Все что проповедовал Гассенди, чему учил, находило живой отклик в его мыслях, зерна философии падали на благодатную почву.

Расположившись в кресле уютной гостиной, Пьер Гассенди с увлечением рассказывал о тех, кто открывал новые горизонты знания, о подвиге Коперника, Джордано Бруно и Галилея, восставших против схоластической науки. С ненавистью говорил о догматиках и начетчиках в философии.

— Наши схоласты, подчиняясь мнению кого-либо, считают ненужным иметь свое собственное суждение. Они забросили исследование самих вещей и занимаются лишь пустой болтовней. Наш дух с самой колыбели связан тысячей петель и обвит веревками. Если вы хотите мыслить —

то должны сомневаться. Разрешить же сомнение вам поможет опыт.

— Будьте честными, не совершайте преступлений, дабы не испытывать ни раскаяния, ни сожалений, и вы будете, друзья мои, счастливейшими из людей,— убеждал учитель.— Помните, что говорил Эпикур в своем письме к Менекею: «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно».

Гассенди обладал феноменальной памятью. Он свободно цитировал на латыни эпикуровское «Письмо к Геродоту», особенно те места из него, где говорится о безграничном количестве и движении атомов. Ему ничего не стоило на память привести отрывки из поэмы римлянина Лукреция Кара «О природе вещей» — произведения, которое профессор особенно любил. Любовь эту он привил и своим ученикам.

Молодых вольнодумцев, собиравшихся у Люилье, в этой поэме привлекали смелые мысли о происхождении и сущности мира и человека. Юноши, пытливо искавшие ответы на вопросы бытия, находили их в замечательном сочинении древнего поэта. Вслед за Эпикуром создатель поэмы провозглашал, что в основе всего сущего лежит не Божья воля, а материя. «Семя всех вещей» поэт-философ видел в атоме, в бесконечном движении и сочетании этих мельчайших частиц. В поэме Лукреция современников Сирано привлекала великая идея атомизма, вера в разум, желание освободить человека от страха перед Богом, отрицание загробной жизни — все то, что, по существу, противостояло учению святой католической церкви. Материализм автора поэмы освобождал от оков религии, от веры в загробный мир.

Ученики Гассенди усердно штудировали поэму, заучивали наизусть отрывки из нее. Мало того — переводили отдельные куски текста.

Однажды во время чтения романа Шарля Сореля «Правдивое комическое жизнеописание Франсиона» ему пришла мысль. Один из героев этой книги педант Гортензиус заявляет, что собирается создать необычное сочинение,

«нечто такое, что еще не приходило на ум ни одному смертному» — представить события, случившиеся на Луне, описать находящиеся там города и нравы их обитателей.

В самом деле — прекрасная мысль. Силой воображения перенестись в Иной свет, на Луну, и под покровом забавного вымысла изложить свои взгляды на устройство земного мира, свести счеты с обществом, которое его так и не поняло, высмеять отсталость, противящуюся свободному развитию человеческого разума, выразить свою веру в науку, которая сделает доступными вещи ранее невиданные и неслыханные.

Под видом фантастических приключений на Луне можно рассказывать о достижениях современной философской мысли и высмеять схоластов. Можно даже вступить в схватку с самой церковью и разоблачить ее догматы. Словом, неплохую мысль подал Сирано герой романа Шарля Сореля.

Издавна в мифах и сказках человек воплощал вековую мечту о покорении неба. Полет к звездам предпринял «на крыльях орла» Этана — герой эпоса древних шумеров. В иранском сказании «Шахнаме» говорилось о царе, поднявшемся ввысь на колеснице, запряженной четырьмя орлами. Отважный Синдбад-мореход из арабских сказок «Тысяча и одна ночь» совершил полет в поднебесье, привязав себя к ногам птицы Рухх. Древние греки и римляне в своих мифах возносились на небо различными способами. Вспомните полет Икара или юношу Ганимеда, похищенного Зевсом, принявшим облик орла. Или героя комедии Аристофана «Мир», который отправился к небожителям, оседлав жука-навозника.

Полет в поднебесье, естественно, был тогда полетом одного лишь воображения. Чаще всего оно устремлялось к Луне — ближайшей нашей соседке в космосе. Туда забросила стихия корабль Лукиана, о чем он рассказал в своем «Истинном повествовании». Здесь, среди разумных существ эндимионов, оказался современник Сирано — астроном Дуракотус, герой романа Иоганна Кеплера «Сон». Сюда, в гости к «лунариям», с помощью упряжки диких лебедей попадает Доменико Гнозалес — персонаж фантазии англичанина Френсиса Годвина, изданной в Лондоне

в 1638 году и вскоре переведенной на французский под названием «Человек на Луне».

Размышляя о будущем романе, Сирано не мог не вспомнить об этих хорошо известных в его время сочинениях. Они, безусловно, направляли и корректировали его творческую мысль. Так же, впрочем, как и знакомая ему утопия Т. Кампанеллы «Город солнца», где обитают «солярии» и где широко пользуются невероятными научными открытиями.

На плечах этих предшественников и решил строить свое произведение Сирано. Дальше он действовал вполне самостоятельно, поставив своей целью сделать свое сочинение средством пропаганды передовых научных взглядов и философских идей. Он хотел сочетать фантастику с социальной критикой и воинствующим атеизмом. И мы можем сказать, что это ему блестяще удалось. Его книга стала энциклопедией знаний, но отнюдь не была сухим научным трактатом. Наоборот,— и в этом одна из граней таланта Сирано,— он умел захватить читателя, умел говорить о сложном популярно, темпераментно и увлеченно. Он был прирожденным просветителем.

Вот когда он снова вспомнил о Монтене и его умении маскировать «крамольные» мысли, наряжая их в ортодоксальные одежды. Об этом приходилось постоянно думать — борьба за научные истины требовала этого маскарада, иначе легко можно было угодить в лапы инквизиции. Те, кто хотел высказывать заветные мысли, вынуждены были, как замечает французский писатель Андрэ Моруа, «прибегать к помощи фантастики и, чтобы не навлечь на себя преследования, изображать неправдоподобное».

МОЖЕТ ЛИ ИЗ НИЧЕГО ВОЗНИКНУТЬ НЕЧТО?

Начнет Сирано с того, что назовет свое произведение комическим. В самом деле, что в XVII веке может быть комичнее, чем рассказ о путешествии на Луну? С серьезным

видом (тем самым усиливая комичность) Сирано расскажет об обычаях жителей Луны. Здесь, например, питаются испарениями пищи, спят не на кроватях, а на цветах, и пользуются вместо свечей светлячками в хрустальном бокале. С голода тут умирают только бесталанные тупицы и дураки, а умные, одаренные люди всегда хорошо питаются, ибо богатство каждого здесь зависит от него самого — ходячая монета на Луне — шестистишее: сочиняй себе стихи и расплачивайся ими, как деньгами.

Обитают здешние жители в домах, которые с наступлением холодов ввинчиваются в лунную почву, а весной вновь «вырастают» на поверхности с помощью особого винта.

Не менее забавно и то, как на Луне ведутся войны. На поле боя сходятся враждующие армии, разделенные на специальные отряды: против великанов выступают гиганты, против отважных — смельчаки, против немощных — слабые, но на этом война не кончалась. Далее сражения продолжались в форме научных диспутов, когда «один ученый противопоставляется другому ученому, один умный человек — другому умному человеку, один рассудительный человек — другому».

Таковы лунные порядки, придуманные Сирано. Но вот он, продолжая свой рассказ о странствиях на Луне, переходит к более острым проблемам. Впрочем, автор, от лица которого ведется повествование, тут вовсе ни при чем, уверяет Сирано. Он лишь беспристрастно рассказывает о том, что видел и испытал во время своего путешествия. А посему в основном выступает в роли пассивного слушателя, лишь изредка робко пытаюсь противостоять тому, что проповедуют его ученые лунные собеседники. Одним из них оказывается годвиновский Доменико Гонзалес, который, как мы узнаем, объездил всю землю, но так нигде и не нашел страны, где хотя бы воображение могло быть свободно. Тогда он решил искать свободу мысли в лунном мире.

На Луне поместил Сирано и рай, «куда никто никогда не проникал». Лишь шестерым счастливчикам довелось побывать тут. Это Адам и Ева, их потомок Энох, пророк Илия,

один из апостолов Иоанн и, наконец, Сирано. Причем Энох вознесся сюда с помощью хитроумного устройства, наполнив «поднимавшимся от огня дымом два больших сосуда, которые герметически закупорил, замазал и привязал себе под мышки». Дым, устремляясь кверху, стал поднимать сосуды и вместе с ним человека. Так этот святой попал на небо — с помощью прообраза воздушного шара (это дало право Т. Готье утверждать, что Сирано де Бержерак, а не братья Монгольфье, является изобретателем воздушного шара). А как же Бог с его всемогуществом? Но в том-то и дело, что он тут абсолютно ни при чем. И вообще, создав однажды Вселенную (отрицать открыто Бога автор не всегда решается, хорошо помня о судьбе «еретиков»), он больше не вмешивается в дела мироздания, живущего по собственным законам.

Сирано высмеивает веру в бессмертие души, глумится над библейским мифом о сотворении мира в семь дней, называя все это сказками (как из ничего могло возникнуть нечто?!), так же, как и над тем, что человек создан по образу и подобию Божьему, а капуста — нет. В конце же сочинения Сирано прямо заявляет устами одного из лунных собеседников, что совершенно отрицает существование Бога. Вера в божественное, — поясняет он, — происходит от того, что «ум человека недостаточно широк, чтобы обнять понятие вечности, но он в то же время не может себе представить, что эта великая Вселенная, столь прекрасная, столь стройная, могла создаться сама собой. Поэтому люди прибегли к мысли о сотворении мира». В действительности же в основе всего сущего лежат атомы — бесконечное число «невидимых телец». При этом Сирано ссылается на своего учителя Гассенди, который в свое время излагал ему учение Демокрита и Эпикура о строении материи.

Вчитываясь в сочинение Сирано де Бержерака, жанр которого представлял собой не что иное, как интеллектуально-философскую утопию, исследователи находят у него целые страницы, которые либо прямо переписаны у учителя (недаром он был самым прилежным его слушателем), либо являются изложением мыслей Гассенди. Однако Сирано,

пользуясь тем, что создавал не научный трактат, а художественное произведение, более резко и более иронично нападает на Бога и религию. В борьбе с ними он идет много дальше учителя. И в свою очередь выступает учителем безбожия.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ БЫЧЬИ МОЗГИ

Но есть одна сторона сочинения Сирано, которая у его современников действительно могла вызвать лишь снисходительную улыбку. Нас же, очевидцев полетов человека в космос, она не может не удивить.

В книге писателя далекого семнадцатого столетия нас поражает сила предвидения. Неукротимая фантазия французского литератора предсказала многие достижения науки и техники наших дней. «В юмористических произведениях Сирано,— говорит научный обозреватель журнала «Сьянс э ви» писатель Эме Мишель,— мы находим поразительно точное описание аппаратов и предметов, появившихся лишь в XX веке». В какой-то мере это действительно так. Разве не странно, что живший в годы правления Людовика XIV поэт-неудачник описал то, о чем в его время нельзя было и мечтать.

Вот почему сегодня исследователи называют Сирано загадочным и неведомым, считают, что его жизнь и творчество отмечены какой-то тайной. «Проницательность Сирано,— пишет тот же Эме Мишель,— буквально неправдоподобна, настолько, что ставит перед ним с виду неразрешимую историческую проблему: откуда он мог все это знать? Где почерпнул столь современное знание тайн Вселенной?»

Присмотримся к «выдумкам» автора фантастического сочинения о полете в Иной свет сквозь лупу времени — ведь минуло триста с лишним лет. И первое, на что обратим внимание,— это на то, каким образом Сирано де Бержерак оказался на Луне.

Он попал туда не с помощью орлов и лебедей, как попадало туда большинство его литературных предшественников, описывавших в своих сочинениях баснословные полеты.

Свой полет на Луну из царства земного Сирано осуществил, как и современные космонавты, — в кабине, которую вынесла в космос ракета, причем многоступенчатая. Судите сами. «Ракеты были расположены, — пишет Сирано, — в шесть рядов по шести ракет в каждом ряду... пламя, поглотив один ряд ракет, перебрасывалось на следующий ряд и затем еще на следующий... Материал, наконец, был весь поглощен пламенем, горючий состав иссяк». К счастью, в этот момент «космонавт» почувствовал, что он продолжает полет ввысь, в то время как его машина с ним расстается и падает на землю.

Вскоре Сирано заметил, что Луна стала притягивать его. Произведя расчет и убедившись, что позади три четверти расстояния, отделяющего Землю от Луны, он вдруг почувствовал (после суток или двух полета), что «падает ногами кверху, хотя ни разу не кувыркнулся». Иначе говоря, произошло смещение силы тяжести до нулевой точки гравитации. «Космонавт» стал снижаться на лунную поверхность.

В этот момент земной шар, находившийся теперь на весьма значительном расстоянии, показался ему лишь «большой золотой бляхой», похожей на диск Луны, но гораздо крупнее по размеру.

Конечно, космический корабль Сирано весьма далек от современных: используемый в нем «горючий состав», как можно понять, представлял собой смесь росы и селитры. Первая — по представлениям алхимиков, обладала чудодейственной силой: могла якобы растворять золото; вторая — издавна известный компонент пороха. Само понятие «горючий состав» или горючее — это опять-таки скорее из терминологии наших дней, чем семнадцатого века. Ведь никакой иной энергии, кроме как энергии воды, ветра и мускульной силы, в то время не знали. Лишь в мечтах изобретателей и инженеров тех дней возникали нескончаемые проекты «вечного двигателя».

Корабль Сирано преодолевает земное вращение, так как учение о всемирном тяготении тогда еще не было известно. Ньютоновские «начала» будут опубликованы лишь тридцать два года спустя после смерти Сирано де Бержерака. Поэтому «прилуниться» космонавту семнадца-

того века помогают бычьи мозги, которыми он смазал тело: считалось, что Луна их притягивает.

И все же «выдумка» Сирано о полете в космос на ракете — только ли порождение его воображения? Может быть, он знал о летательных устройствах древних китайцев? Их снаряды действовали по принципу современной ракеты: ядро, снабженное крыльями, имело два спаренных пороховых заряда. Силой выхлопных газов, образующихся при сгорании, такой снаряд, поднятый в воздух особой катапультой, двигался к цели.

Возможно, ему было известно о попытке китайца Ван Ху в 1500 году подняться в воздух с помощью ракет. Смелый эксперимент кончился неудачно — все 47 фейерверочных ракет, размещенных под сиденьем летательного аппарата, подожженные одновременно 47 слугами, взорвались разом. Изобретатель погиб. И, может быть, неслучайно Сирано, зная о трагической попытке Ван Ху, расположил свои ракеты в несколько рядов, которые сгорали последовательно один за другим. Благодаря этому он «избежал опасности погибнуть от взрыва всех ракет одновременно», — пишет Сирано.

Вполне могли быть известны Сирано и попытки европейцев применять ракеты, в частности, итальянца Дж. Фонтана. Он предложил в 1420 году с помощью ракеты поднимать в воздух снаряды в виде зайцев и птиц для устрашения неприятеля.

Вероятно, знал он и о своем современнике, выдающемся польском инженере и изобретателе Казимеже Семеновиче. И не только знал, но и читал его знаменитую книгу «Великое искусство артиллерии». Написанная на латыни и изданная в Амстердаме, она вскоре была переведена на французский язык и вышла в Париже. В ней на основе изучения большого числа трудов (более чем двухсот), а также собственного научного опыта и экспериментов, автор в одном из разделов писал о ракетной технике той эпохи. В частности, приводил эскизы и описания тогдашних ракет.

Идея использования ракеты в качестве транспортного средства придет в голову русскому народовольцу Кибальчичу двести лет спустя в казематах Петропавловской крепости.

Тем удивительнее пророчество Сирано, хотя и выраженное в полузабавной форме. И, возможно, именно Сирано де Бержерака и его способ путешествия на Луну имеет в виду современный английский историк С. Лилли, когда пишет в своей книге «Люди, машины и история», что «идея многоступенчатой ракеты высказывалась начиная с 1650 года неоднократно». Другой автор, немец Г. Мильке в книге «Путь в космос» прямо указывает, что Сирано де Бержерак «первый заговорил о применении ракет для подъема «летающего экипажа»!

«КИНЖАЛЫ НОВЫХ МЫСЛЕЙ»

В числе диковинок, обнаруженных Сирано на Луне, его особенно поразили странные «книги». Нас же, живущих триста лет спустя в век электричества, радио и электроники, удивляет другое. Ведь Сирано описал прибор, очень напоминающий наш радиоприемник, описал таким, каким он предстает нашему глазу. Сирано пишет: «Это действительно книга, но книга чудесная; в ней не было ни страниц, ни букв; одним словом — это такая книга, что для изучения ее совершенно бесполезны глаза, нужны только уши».

Как же устроена эта «книга для слуха»? Она состоит из ящика, в котором находится какое-то неведомое устройство из металла, довольно похожее на часы; внутри также масса каких-то невиданных пружин и едва заметных механизмов.

Чтобы «прочитать» такую книгу, надо лишь поставить стрелку на ту главу, которую желаете прослушать. «И тотчас из книги, как из уст человека или из музыкального инструмента», выходят самые разнообразные звуки. Эти изумительные изобретения жители Луны берут с собой в путешествия, пользуются или во время прогулок, привешивая к луке седла либо просто помещая в карман платья.

Не меньше, чем «говорящий ящик», Сирано поражают на Луне стеклянные «блестящие огненные шары», «неугасимые светочи», то есть источники искусственного освещения.

Снова фантазия, которая не может не удивить нас, более столетия пользующихся электричеством. Однако здесь эти источники света только упоминаются. Подробнее Сирано опишет их в своем втором фантастическом романе о путешествии в космос, который назовет: «Комическая история государств и империй Солнца».

Писать эту книгу он начал, когда первая не была еще закончена. В это же время работал он и над «Историей Искры», сочинением, до нас не дошедшим.

В «Космической истории государств и империй Солнца» говорится о том, как Сирано из страны невежд и тюремщиков попадает в государства Солнца: царства живых деревьев, мудрых говорящих птиц, в страну философов, где, кстати говоря, встречает Кампанеллу. Однако книга эта, так и оставшаяся незавершенной, получилась менее сатирически острой. Нет в ней и того просветительного пафоса, который отличал его рассказ о путешествии на Луну. И все-таки что же говорит Сирано в своей книге о «неугасимых светочах»? «Вы могли бы их счесть за два маленьких солнца», — пишет он. В другом месте называет их «раскаленными лампами, которые подвешивают» и которые светят, не расходуя никакого горючего.

Какой источник энергии питает этот заключенный «в прозрачные оболочки» огонь (который тут же гаснет, стоит лишь разрушить эти оболочки)? И Сирано поясняет. Свет этих ламп и молния имеют одинаковое происхождение. Дает он ответ и на то, как возникает электричество: благодаря борьбе холода с теплом. Сирано образно описывает борьбу «огненного» и «ледяного» зверя. «Каждый удар, который наносят они друг другу, порождает удар грома».

Борьба тепла с холодом, энергия как функция разности температур, постепенное уменьшение этой разности и в конце концов победа холода. Не в этом ли состоит основной принцип термодинамики, числовое выражение которого лишь через два столетия определил французский физик Никола Карно?

Как-то листая книгу писательницы-гуманистки Марии де Гурне (она являлась названной дочерью Монтеня и была современницей Сирано), он отметил для себя место, где говорилось о миссии поэта: открывать перед читателем новые перспективы, неведомые дали, прозревать будущее. Слова запали в памяти. Для того чтобы вонзать в современников «кинжалы новых мыслей», надо было быть решительным и смелым. Сирано сквозь годы отважно прозревал будущее, отстаивал право поэта объяснять тайны Вселенной.

В фантазиях Сирано де Бержерака находил отражение изобретательский дух его эпохи — времени многих замечательных открытий в физике, математике, механике: в них живет великая вера в человеческий разум, идея неисчерпаемости человеческих возможностей, вера в грядущий научно-технический прогресс.

К счастью для Сирано, рукопись его космического романа была известна немногим. Будь она издана при жизни писателя, трудно сказать, что ожидало бы вольнодумца: тюрьма или костер. Впрочем, святые отцы, внимательно следившие за творчеством опасного литератора, были осведомлены о труде Сирано. В их руках несомненно побывали ходившие по Парижу рукописные отрывки его книги.

На что мог рассчитывать богоборец, дерзнувший бросить вызов всемогущей церкви, бунтарь, вознамерившийся, говоря словами Данте, «неугодным правдам поучать»?

МЕСТЬ БАКАЛЕЙЩИКОВ

Как ни пытался Сирано отстаивать личную свободу, ему все же пришлось искать знатного покровителя. На этот унижительный шаг его вынудили тяжелые обстоятельства.

Со смертью отца кончилась последняя материальная поддержка. Нужда стала неизменным спутником Сирано, преследовала. Прогрессировала болезнь. Вот тогда-то он и решился изменить себе и выбрать покровителя.

Скрепя сердце, преодолев, как говорит его друг Лебре, «великую любовь к свободе», он посвящает свои сочинения герцогу д'Арпажону, который был способен лишь на то, чтобы запоминать их названия. И вскоре непризнанный поэт переезжает в квартал Марэ во дворец герцога. Под его кровом живет и кормится.

Казалось, наконец-то фортуна улыбнулась ему. (К этому времени были опубликованы и некоторые из его старых произведений.) Надо быть благоразумным, оставить браваду, угождать — и спокойная, сытая жизнь обеспечена.

Но Сирано не смог быть «благоразумным». К этому времени он закончил новую пьесу — трагедию «Смерть Агриппины». Театр «Бургундский отель» принял ее к постановке. Автор готов был ликовать: теперь он добьется признания. Но торжествовать было рано. Слава лишь поманила его. Сирано мог, в конце концов, изменить себе, обуздать свой нрав, но изменить таланту было не в его власти.

Трагедия, написанная в стихах, с соблюдением всех канонов классицизма, отчего по литературным достоинствам ее сравнивают с творениями Пьера Корнеля, была пьесой политической. И хотя в ней, по мнению Лебре, были самые поэтические выражения, роли прекрасны, чувства — римские по мощи, и в целом пьеса могла считаться «образцом драматической поэмы», — она содержала прямые выпады против религии, Сирано оставался верен себе.

В основу сюжета своей трагедии Сирано положил эпизод времени правления римского императора Тиберия. Когда в Сирии, во время похода умер, а скорее всего был (по приказу Тиберия) отравлен его племянник, популярный полководец Германик, сенаторы, противники императора, стали демонстративно выражать сочувствие его вдове Агриппине. Это не понравилось подозрительному и мстительному Тиберию. Агриппину, мать девяти детей, не скрывавшую своего отношения к тирану, сослали на остров Пандатерию. Здесь она и погибла от голодной смерти в 33 году нашей эры. Жестоко расправился Тиберий и с другими оппозиционерами. Погубил он и двух сыновей

Германика. В этом ему помогал префект преторианской гвардии Элий Сеян, которого Тиберий приблизил к себе.

Постепенно Сеян приобрел исключительное влияние при дворе. Ему воздавались царские почести. День его рождения стал официальным праздником. Во многих местах были установлены золоченые статуи временщика, которым поклонялись.

Но обуреваемому честолюбивыми помыслами Сеяну этого казалось мало. Он замыслил переворот, благо дряхлый император пребывал вдали от Рима на острове Капри.

Тем не менее заговор был раскрыт. Сеяна казнили — он был задушен в темнице. Жестоко поплатились и его сообщники.

Перо Сирано придало образу заговорщика иные черты. Автор, отнюдь не следуя точности, изобразил Сеяна смелым мыслителем, политическим бунтарем, таким «солдатом-философом», как называет его один из персонажей. В пространных монологах Сеян проповедует свои атеистические взгляды, выступает против богов, «которых создал человек, но которые не создали человека». В пьесе осуждался деспотизм, изображались мрачные картины интриг и злодеяний, совершающихся при дворе.

Наступил день долгожданной премьеры. На представление прибыл сам кардинал Мазарини. Бледный от волнения Сирано укрылся за портьерой в ложе. Поначалу, казалось, все идет хорошо. Но уже то, как настороженно публика встретила первый монолог Сеяна, заставило опасаться за прием спектакля.

Скоро стало ясно, что в зале присутствует большая группа недоброжелателей автора. Видимо, кто-то специально нанял этих людей, чтобы сорвать представление и свести счеты с Сирано.

В третьем акте, когда Сеян произнес слова о том, что он принял решение и готов убить тирана, в публике, которая по словам Т. Готье, состояла в основном из «бакалейщиков», — поднялся свист. Раздались крики: «негодяй!». Пришлось опустить занавес. Это был провал.

ГИБЕЛЬ БОГОБОРЦА

Сирано оставалось одно — мужаться. Ибо только мужество, как учил один из его любимых авторов Демокрит, делает ничтожными удары судьбы. А их становилось все больше.

За провалом спектакля последовало запрещение пьесы церковью. Кардинал Мазарини заявил, что это опасное еретическое сочинение содержит нежелательные намеки и сатиру.

Неудивительно, что покровитель Сирано, давно уже тяготившийся больным, раздражительным и капризным поэтом, мечтал избавиться от своего подопечного, ставшего для всех притчей во языцех. Не упустил случая в этот момент нанести новый удар и старый враг Скаррон. В комедии «Дон Яфет армянский» он изобразил тщеславного, высокомерного дворянина, одержимого манией величия, явно намекая тем самым на амбицию Сирано и его претензии «казаться большим вельможей».

Неизвестно, чем бы кончилась для Сирано история с его пьесой. Вполне могло дойти до суда и даже до тюрьмы. Но все случилось по-иному.

Однажды вечером, когда освищенный поэт брел во дворец своего покровителя, с крыши одного из особняков квартала Марэ на него упала балка.

Была ли это случайность? Или преднамеренное убийство?

Такова последняя загадка короткой жизни неудачника Сирано де Бержерака.

Впрочем, так ли уж загадочна его гибель? Вскоре разнесся слух, что таким способом иезуиты свели наконец счеты с ненавистным атеистом и бунтарем. Да и сам Сирано, умирая, в полубреду, обвинял в своей смерти именно их — отцов-иезуитов. И был, видимо, прав.

Таким методом — убийством из-за угла — церковь часто расправлялась со своими противниками. Тех, кого не удавалось убрать с помощью «несчастливого случая», подстерегала чаша с ядом.

Разве не таинственно завершилась жизнь великого Мольера? Недаром Лагранж — актер его труппы, отметил в своем знаменитом «Регистре», — одном из немногих достоверных источников сведений о комедиографе: «о его смерти толковали разное». Обстоятельства и причины смерти создателя «Дон-Жуана» и «Тартюфа» — комедий, разящих святош-рясоносцев, и по сей день не вполне ясны.

Известно, что и у Мольера было немало заклятых врагов. Один из них, самый свирепый, — некий Борбье д'Окур, скрывшись под псевдонимом Рошмон, требовал в своих статьях вскоре после премьеры «Дон-Жуана» сожжения на костре создателя «богохульной» пьесы. Он обвинял автора комедии в том, что тот «смеется над религией и проповедует вольномыслие». И напоминал, что римский император Август казнил шута, насмехавшегося над богом Юпитером, а император Феодосий писателей, подобных Мольеру, бросал на растерзание зверям.

Призыв расправиться с драматургом-атеистом не пропал даром. Так, по крайней мере, считает известный современный французский режиссер Жан Мейер. В своей книге «Мольер» он высказывает предположение о том, что великий драматург и актер погиб насильственной смертью — он был отравлен. Вот почему современники и «толковали разное» о его кончине.

Как не могли простить Мольеру вольнодумства и насмешек над церковниками, так не простили этого и его литературному собрату Сирано де Бержераку.

За свою жизнь он претерпел немало ударов от своих врагов. Однако главными и самыми опасными оказались не те, что встречались с ним лицом к лицу со шпагой в руке, а те, лица которых скрывал монашеский капюшон и которые предпочитали действовать из-за угла. Они и нанесли последний злодейский удар.

Всю жизнь терпел лишения я,
Мне все не удалось — и даже смерть моя!

И Эдмон Ростан прав. Исторический прототип его героя прожил трудную и короткую жизнь: Сирано умер тридцати шести лет в 1655 году. Он был бунтарем-одиночкой, трагической фигурой, одним из тех, по словам М. Горького, «немногих, но всегда глубоко несчастных людей, на долю которых выпадает высокая честь быть лучше и умнее своих современников».

Такова участь тех, кто шел впереди века, был первооткрывателем в литературе и науке. Часто оставаясь непонятыми и неоцененными, они умирали в неизвестности. И лишь века спустя возвращались к потомкам, встречаясь с ними на страницах своих непризнанных при жизни творений.

На надгробии Сирано де Бержерака современники не высекли похвальных слов и лестных фраз. Враги, ликуя, полагали, что «демон храбрости» побежден навсегда и сама память о нем безвозвратно канет в Лету — реку забвения, но время — самый строгий судья — не оправдало их надежд. Книга неудачника и мечтателя о путешествии в Иной свет стоит ныне в ряду шедевров мировой литературы. Творчество Сирано де Бержерака оказало влияние на развитие жанра философской повести, который получит дальнейшее развитие в творчестве Вольтера и Свифта. Безусловно и гораздо большее влияние Сирано де Бержерака на научно-фантастический роман.

Сегодня мы, люди эпохи полетов в космос, которую провидел мятежный поэт, вспоминаем о нем с восхищением и радостью. Но и с болью за его несчастную судьбу. И высекаем на его могильном памятнике слова Эдмона Ростана:

...Здесь похоронен поэт, бретер, философ,
Не разрешивший жизненных вопросов;
Воздухоплаватель и физик, музыкант,
Непризнанный талант,
Всю жизнь судьбой гонимый злобой;
Любовник неудачный и бедняк —
Ну, словом, Сирано де Бержерак.

ЗАЧЕМ «ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» ПОЕХАЛ НА МАРКИЗСКИЕ ОСТРОВА?



УЗНИК АЛЕКСЕЕВСКОГО РАВЕЛИНА

Сенатская площадь была почти рядом. Если бы не заманное окно каземата, ее можно было бы отсюда увидеть. О площади ему не случайно вспомнилось сегодня — 14 декабря 1862 года — прошло ровно тридцать семь лет со дня восстания. Как и тогда, после его разгрома, Алексеевский рavelин Петропавловской крепости забит государственными преступниками.

Н. Г. Чернышевский в тюремных списках значится под номером одиннадцать. Ему всего лишь тридцать четыре года. И все же он — один из продолжателей дела декабристов. Тени мучеников 14 декабря вдохновляют его на борьбу. В их честь сегодня он начинает писать свое новое произведение. В нем он ответит на волнующий передовую русскую молодежь вопрос, что делать для того, чтобы освободить страну от самодержавия.

По всему видно, над ним готовят жестокую расправу. Иначе не держали бы в заточении без суда и следствия вот уже больше пяти месяцев. Думают, они обрекли его на молчание. Нет, и отсюда, из рavelина, передовая Россия услышит его голос. Статьи, обличающие самодержавие, ему, конечно, здесь писать не удастся, но есть иные способы говорить с читателем.

На воле Чернышевский привык писать быстро. Обычно за статью для очередного номера «Современника» он сажился в последнюю минуту. И теперь, когда никто, казалось бы, не торопит, большие нелинованные листы один за другим с двух сторон также быстро покрываются мелким убористым почерком. А между тем условия для работы, мягко говоря, мало подходящие. Писать приходится при

свече, гусиным пером. Но многое, о чем он пишет теперь, было обдумано, выношено раньше, до ареста. Одно время еще в Саратове он делал наброски будущего романа на клочках бумаги. Они так и остались там, в его комнате в мезонине. Память же хранила их содержание.

В напряженном труде прошло сорок пять дней.

В начале февраля караульные обратили внимание на то, что арестант сильно похудел и побледнел. Неужели номер одиннадцатый морит себя голодом? Начальство всполошилось и даже растерялось. Такого еще не приходилось видеть в стенах царской Бастилии. Голодовка! Неслыханное событие в тюремной истории не только Петропавловской крепости, но и вообще России. Это был новый способ борьбы политического заключенного. Чернышевский применил его в знак протеста против того, что все его просьбы и требования предоставить свидание с женой и предъявить, наконец, ему обвинения оставались без ответа.

Сначала его пробовали уговаривать, затем ему начали угрожать. Врач констатировал, что вследствие воздержания от пищи арестант заметно ослабел. Прописал ему капли для аппетита. Номер одиннадцатый капли принял, но от еды продолжал отказываться, только пил по два стакана в день.

И несмотря ни на что узник равелина продолжал работать. Это было поразительно. Ослабевший, измученный голодовкой, Чернышевский трудился над рукописью романа, преодолевая физическое недомогание, напрягая все свои силы.

Характер, как известно, формируется в борьбе с обстоятельствами. Особенно это важно для революционера. Тот, кто не получил соответствующей жизненной закалки, физической и духовной, кто не готов к сопротивлению, не выдержит испытания. Не обладая стойкостью, выдержкой, умением владеть собой, ты не имеешь права становиться на опасный и благородный путь борца за народное дело. Надо сознательно готовить себя к тяжелым испытаниям, проверять свою волю, закалять ее. Конечно, одной закалки мало, прежде всего необходимо знакомство с передовыми идеями

своего времени, нужна громадная, пламенная любовь к людям, широта кругозора, самостоятельность мысли. Но и умение физически выдержать многое не на последнем месте.

Об этом думалось автору в трудные дни голодовки. И именно в те дни на страницах рукописи появляется новый герой — «особенный человек» Рахметов. Когда-то «он приехал в Петербург обыкновенным, кончившим курс гимназистом». Здесь сошелся с людьми, которые думали не так, как другие, — и хотя этих людей было еще мало, со знакомства с ними и «началось его перерождение в особенного человека». Всю свою энергию, знания, помыслы Рахметов направляет на то, чтобы воспитывать в себе качества, которые, по его мнению, необходимы профессиональному революционеру.

Богатый помещик-крепостник, потомок древней боярской фамилии, известной с XIII века и идущей от татарского имени Рахмет, он порывает со своей средой, продает родовое имение в верховьях Медведицы. Вырученные от продажи деньги намерен передать одному из величайших европейских мыслителей XIX века, отцу новой философии, немцу, на издание его сочинений. Часть денег Рахметов раздает своим семи стипендиатам в Казанском и Московском университетах, чтобы они могли кончить курс.

Неудивительно, что окружающим он кажется странным, загадочным. О нем рассказывают множество историй, далеко, впрочем, не разъясняющих всего, а только делающих Рахметова лицом еще более непонятным. Много времени Рахметов проводит в чтении. Его интересуют, главным образом, сочинения капитальные, читает он «только самобытное». Но важен и личный опыт, знание жизни народа, условий его существования, важны и трудовые навыки. Во время странствий по России Рахметову приходилось быть чернорабочим, пилить лес, таскать камни и копать землю, ковать железо. «Много работ он проходил и часто менял их... раз даже прошел бурлаком всю Волгу, от Дубровки до Рыбинска». Тайнственным выглядит его исчезновение из Петербурга в 1858 году. Заявил близким друзьям, «что ему здесь нечего делать больше, что он сделал все, что мог, что

больше делать можно будет только года через три, что эти три года теперь у него свободны», — и исчез неизвестно в каком направлении. Кажется, его однажды видели в вагоне, по дороге из Вены в Мюнхен. Будто бы он рассказал попутчику, что объездил славянские земли, сблизился со многими людьми разных сословий, жил в городах, ходил пешком из деревни в деревню. Теперь, мол, держит путь во Францию, которую обойдет точно так же, оттуда за тем же поедет в Англию, и еще через год — «нужно» в Америку...

«Велика масса добрых и честных людей, — записывает Чернышевский, — а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли».

Были ли такие люди в тогдашней действительности, знал ли их Чернышевский? Да, знал. И в образе Рахметова нашли воплощение черты многих соратников автора «Что делать?». Один из них — П. А. Бахметев, земляк Чернышевского, его товарищ и ученик, с историей которого он был хорошо знаком.

СТРАННЫЙ ГОСТЬ

В один из летних вечеров 1857 года Николай Гаврилович, по обыкновению уединившись в своем кабинете, работал над статьей для «Современника», в редакции которого состоял.

В гостиной, где обычно по вечерам собирались друзья, танцевали и веселились, было тихо: жена — Ольга Сократовна — вдохновительница и душа этих вечеринок, отправилась к кому-то из знакомых.

Неожиданно появился гость. Пришлось отложить перо и выйти к нему. В прихожей стоял молодой человек, застенчиво мямлющий в руках фуражку. Николай Гаврилович узнал в госте своего земляка, саратовского помещика Павла Александровича Бахметева.

Они были довольно хорошо знакомы еще в Саратове, изредка встречались и в Петербурге. В своих письмах к родным в Саратов Николай Гаврилович обычно просил среди прочих земляков кланяться и Бахметеву, интересовался даже его успехами, спрашивал, переведен ли он в следующий класс, и уверенно добавлял: «Про этого нечего, кажется, спрашивать...» Что-то, значит, привлекало его в этом застенчивом пареньке и выделяло из числа многих.

Последний раз они должны были увидеться в декабре 1850 года. Встреча тогда не состоялась — Бахметева, приехавшего в Петербург, Чернышевский не застал дома. Потом ходили слухи, что он поступил в Горигорецкое сельскохозяйственное заведение. Впрочем, проучился там недолго. По неизвестной причине Бахметев оставил заведение, хотя числился способным учеником — был третьим по успеваемости.

Несколько лет о нем не было, как говорится, ни слуху ни духу. И вдруг теперь неожиданно объявился. Вид у него был неважный. Лицо бледное, одежда поношенная. А ведь когда-то это был барин — не мог достать из комода носового платка без помощи лакея. За такое барство друзья часто высмеивали его. Однако уважали за честность и редкое благородство души.

Присели к столу. Поначалу разговор не клеился.

Заговорили о Саратове, о волжских просторах. Николай Гаврилович, горячо любивший природу родного края, оживился, припомнил зеленый остров, который был виден из его мезонина: лесные чащи на том берегу, а справа — гора Увек, с историческими развалинами татарского городища. Припомнились и поездки на лодке в места, где, по преданию, останавливался Степан Разин — богатырь земли русской.

Теперешние богатыри тянут на Волге бурлацкую лямку. Полураздетые и полуголодные, в дождь и стужу напрягают они свои мускулы ради живодеров-купцов. Черны их лица, согнуты спины, и только в глазах можно прочитать извечную мечту о воле...

И вдруг Бахметев разговорился. Он стал говорить о своей горячей любви к родине, к ее народу, но тут же приз-

нался, что, несмотря на это, принял решение навсегда покинуть Россию.

На удивленный взгляд Чернышевского отвечал, что продал свое родовое имение в верховьях Медведицы, в Сердобском уезде, всего более двух тысяч десятин, по семь с полтиной за десятину. Теперь у него сумма почти в тринадцать тысяч рублей. Ее он использует для нужд человечества. Он бесповоротно решил покончить с прежним образом жизни и отправиться на Маркизские острова. Там им будет основана земледельческая колония, некое идеальное общество типа коммуны, где все будут жить по-братски и где труд будет источником наслаждений.

Странный человек. То ли русская действительность настолько ему опостылела, что он не видел возможности исправить ее, отчего переживал глубокий нравственный кризис и искал для себя выхода, то ли под влиянием учений утопистов вознамерился осуществить их идеи на практике и поставить социальный эксперимент на далеких островах, «не зараженных цивилизацией».

На осторожные возражения Чернышевского о том, что едва ли стоит так идеализировать жизнь туземцев, горячо возражал, доказывая возможность только там, вдали от «этого мира», «основать независимое общество, чуть ли не государство».

— А если случится «благодетельный скачок» в России? Время идет теперь со страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет. Возможно, и недалек час, когда развитие российского общества продвинется далеко вперед.

В это он мало верит, если же произойдет такое, он, несомненно, вернется. А пока часть денег, вырученных от продажи имения, готов передать Герцену на дела русской пропаганды. Для этого собирается заехать в Лондон и посетить его.

Беседа затянулась. Николай Гаврилович был явно взволнован. Перед ним находился человек, мучившийся от несправедливости и беззакония русской действительности, желавший преобразований, но, к сожалению, не видевший

пока к тому возможностей. Что касается его намерения основать социалистическую общину в Тихом океане, то такой опыт, если он увенчается успехом, может оказаться полезным: в случае совершения «благодетельного скачка» придется решать массу вопросов, в том числе и об организации нового общества.

Нет, нельзя не приветствовать этого желания действовать пусть не здесь, в России, а на каких-то далеких островах. Все равно это подвиг, и способных на сие вокруг пока что немного.

Была уже полночь, когда начали прощаться. Впрочем, им не хотелось расставаться. Казалось, самое главное еще не было сказано. Наметившийся духовный контакт требовал закрепления в дальнейшем разговоре.

Бахметев попросил Чернышевского проводить его. Они вышли вместе и, сами того не заметив, разговаривая, пробродили всю ночь, гуляя по набережной Фонтанки...

Доброжелательность Николая Гавриловича, то, с каким вниманием он слушал рассказ о замыслах Бахметева, давал советы, сочувствовал его планам, располагали к откровенности. Бахметев рассказывал о себе, о том, что навсегда порвал со своими родовитыми родственниками (кстати пояснил: фамилия Бахметевы происходила от имени татарского царевича Бахметы, состоявшего в XIV веке при дворе великого князя Василия), заявил, что будет вести аскетический образ жизни. Его цель — служить людям, ибо нельзя чувствовать себя счастливым, когда знаешь, что другие несчастны. Одно время Бахметеву казалось, что для той цели, которую он поставил перед собой, необходимо сельскохозяйственное образование. Для этого и поступил в Горигорецкое заведение. К тому же он взял туда на свой счет одного школьного товарища, ставшего его личным стипендиатом. Но вскоре Бахметев оставил учебу, скитался по России, путешествовал, пережил немало приключений, переменил не одну профессию. Теперь, наконец, цель его определилась окончательно.

То, что задумал, — осуществит непременно.

О многом говорил в ту летнюю ночь бывший саратовский помещик. Быть может, никогда до этого и после он не был таким словоохотливым. Павел Бахметев хорошо запомнился Чернышевскому. В нем Николай Гаврилович увидел человека действия, натуру особого склада, характер, сложившийся в результате неустанного самовоспитания. Такой человек не мог не вызвать симпатии, его нельзя было забыть.

СЕКРЕТНЫЙ МАРШРУТ

Вскоре Бахметев объявился на родине в Саратове. Посетил бывшего школьного товарища писателя Д. Л. Мордовцева, в те годы близкого к Чернышевскому. Рассказал и ему о своем плане основать коммуну на островах Тихого океана. Пригласил даже его с собой, предложив редактировать журнал будущей коммуны, условился о переписке.

Видно, он ни минуты не сомневался в успехе своего предприятия и твердо верил в него.

Как он собирался добраться до намеченных островов? Довольно просто. Сначала едет в Лондон. А оттуда на корабле. Говорят, они отплывают в те края, хотя и не часто. Положительно он походил на человека, одержимого одной идеей.

Очень скоро Бахметев исчез из Саратова навсегда. Уехал он тайно. О его маршруте знали только двое — Чернышевский и Мордовцев. В документах, имевших к нему отношение в России, он отныне значился «живущим неизвестно где за границей».

На пути к далеким островам ему повстречался еще один русский человек. Он также оказался посвященным в замыслы Бахметева.

От этого человека Чернышевский вновь услышал о Бахметеве два года спустя после его исчезновения из Саратова. Произошло это далеко от России, в Лондоне...

Летом 1859 года по решению редакции «Современника» Николай Гаврилович отправился в Лондон для переговоров с Герценом по поводу его выступления в «Колоколе»

в связи с некоторыми материалами, опубликованными на страницах «Современника». Но только ли в этом заключался смысл поездки Чернышевского? Обстоятельства этой поездки до сих пор еще мало известны. И пока нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Вполне возможно, что Чернышевский и Герцен во время состоявшихся двух встреч обсуждали и многие другие вопросы — о положении в России, уславливались о способах связи и т. п.

Николай Гаврилович, говоря о том, что на родине происходят большие перемены и что, самое главное, меняются взгляды на общественное устройство, что есть люди, которые хотят обновления, жаждут действовать, упомянул и имя Бахметева.

— А, это тот самый странный молодой господин! — воскликнул Герцен. — Как же, знаю. Два года назад виделись. И он рассказал о своей встрече с Бахметевым.

ВСТРЕЧА В ЛОНДОНЕ

Еще недавно жизнь Герцена в лондонском предместье Путней протекала уединенно и тихо. Русских в английской столице тогда не было никого: «ни звука русского, ни русского лица». Те же, которым случалось бывать в Лондоне проездом, избегали встреч с «государственным преступником Герценом», организатором Вольной русской типографии и создателем крамольного альманаха «Полярная звезда», а позже газеты «Колокол». Побайивались всевидящего ока жандармов. Посетить Герцена в ту пору считалось чуть ли не подвигом. Вдали от родины, от друзей Герцен был тогда еще один на английском берегу со своим «печатным монологом».

Однако с некоторых пор, а точнее после смерти Николая I, положение изменилось. От посетителей не стало отбоя. Ни страх перед жандармами, ни страшная даль (предместье, где жил Герцен, находилось далеко от города), ни постоянно запертые, особенно по утрам, двери дома — ничто

не останавливало. «Мы были в моде», — шутил Герцен. Дошло до того, что в одном путеводителе для туристов Герцен значился среди достопримечательностей Путнея.

Обычно посетители являлись в ранние утренние часы — самые неподходящие для визитов. И Жюлю, слуге писателя, не раз приходилось отказывать им, ссылаясь на то, что господин никогда не принимает по утрам. В таких случаях Жюль просил оставить записку.

Предложил он это и молодому русскому, оказавшемуся в конце августа 1857 года у дверей герценовского дома.

Записка, оставленная гостем из России, была короткой, всего несколько слов. Автор ее просил назначить удобное для визита время. В конце стояла подпись «П. Бахметев» и было указано место, где он проживал: «Саблоньер-отель».

В тот день Герцен направлялся в Лондон, поэтому решил сам зайти к незнакомцу.

Это был «молодой человек с видом кадета, застенчивый, очень невеселый и с особой наружностью седьмых-восьмых сыновей степных помещиков, довольно топорно отделанной. Очень неразговорчивый, он почти все время молчал: видно было, у него что-то на душе, но он не дошел до возможности высказать это», — рассказывал потом Герцен о своей встрече с Бахметевым.

Герцен пригласил его дня через два-три отобедать у него, но еще до этого случайно снова повстречал на улице.

— Можно с вами идти? — спросил Бахметев.

— Конечно, не мне с вами опасно, а вам со мной. Но Лондон велик...

— Я не боюсь, — и вдруг, закусивши удила, он быстро проговорил: — Я никогда не возвращусь в Россию... нет, нет, я решительно не возвращусь в Россию...

— Помилуйте, вы так молоды?

— Я Россию люблю, очень люблю, но там мне не житье. Я хочу завести колонию на совершенных социальных основаниях; это все я обдумал и теперь еду прямо туда.

— То есть куда?

— На Маркизовы острова.

Герцен смотрел на него с удивлением, пробовал уговаривать не спешить:

— Ведь и тут не все безотраднo и безнадежно.

— Да... да. Это дело решенное — я плыву с первым парходом и потому очень рад, что вас встретил сегодня.

И вслед за тем заявил, что дело, предпринятое Герценом, пропаганда его — необходимы... И что он решился, оставляя навсегда родину, сделать что-нибудь полезное для него.

— У меня пятьдесят тысяч франков; тридцать я беру с собой на острова, двадцать отдаю вам на пропаганду.

Герцен поблагодарил Бахметева за добрые намерения, но взять деньги без расписки отказался.

— Ну, не будет нужно, вы отдадите мне, если я возвращусь; а не возвращусь лет десять или умру, употребите их на усиление вашей пропаганды. Только, — добавил он, — делайте, что хотите, но... не отдавайте ничего моим наследникам.

Затем Бахметев попросил Герцена свести его в банк к Ротшильду: «Хочу скорее отделаться от двадцати тысяч и уехать». На слова о том, что, может быть, он когда-нибудь вернется еще, может соскучиться на Маркизовых островах и у него явится тоска по родине, Бахметев лишь отрицательно покачал головой.

ЗАГАДОЧНАЯ СУДЬБА

Следующий день, накануне отъезда Бахметева, прошел в хлопотах и суете. В банке, куда они оба явились, Бахметев разменял ассигнацию на золото. Все смотрели на него с изумлением. Когда же он попросил выдать аккредитив на Маркизские острова, конторщики застыли с широко открытыми глазами. Директор бюро бросил на Герцена испуганный взгляд, который лучше слов говорил: «Он не опасен ли?»

Такого еще не бывало в банке Ротшильда — никто никогда не требовал аккредитива на Маркизские острова!

По дороге в отель заехали в кафе, расположенное неподалеку, и Бахметев, по просьбе Герцена, написал расписку на имя его и Огарева.

Окончив таким образом все дела, они отправились к Герцену обедать.

А на другой день Герцен пришел к Бахметеву в отель проститься. Тот был совсем готов. «Маленький кадетский или студентский, вытертый распертый чемоданчик, шинель, перевязан ремнем, и... и тридцать тысяч франков золотом, завязанные в толстом футляре так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов». Перевязывая заново упакованные деньги, он по неосторожности рассыпал их, несколько пачек выскользнуло на пол.

И так едет этот человек на Маркизские острова! Герцен не на шутку встревожился — его убьют и ограбят прежде, чем он отчалит от берега. На предложение переложить деньги в чемоданчик Бахметев ответил, что тот уже полон. От саквояжа, который взялся ему достать Герцен, решительно отказался. Станный человек!

В полдень 1 сентября 1857 года английский клиппер «Акаста» поднял якорь и взял курс в сторону Тихого океана. На палубе в накинутаой шинели (день был ветреный) стоял один из пассажиров. Он не оглядывался на покидаемую им землю. Взгляд его был устремлен вперед...

С тех пор о «маркизанском социалисте» никто ничего не слышал, следы его потерялись. Куда он девался, что с ним стало — неизвестно. Станный человек, загадочная судьба!

РОМАН О «НОВЫХ ЛЮДЯХ»

...На десятый день Чернышевский решил прекратить голодовку. Однако борьба не была еще выиграна. Арестант продолжал настаивать на выполнении своих требований и грозил начать голодать снова.

В тот же день Николай Гаврилович, обессиленный физически, едва держась на ногах от слабости, но сохранив-

ший поразительную твердость духа, завершил описание первого эпизода с Рахметовым.

Перед его взором вставали образы друзей и соратников, бесстрашных революционеров Н. А. Серно-Соловьевича, Зигмунда Сераковского, А. А. Слепцова. Друг народа, умный, волевой Рахметов, этот русский Гарибальди, во многом списан и с них. Все они были людьми рахметовского склада, «двигатели двигателей», «соль соли земли». Суровые и деятельные революционеры, подчас казавшиеся загадочными и непонятными, они поставили целью своей жизни освобождение народа от царизма. Время это, Чернышевский верил, не за горами. Близок час. И его роман поможет осознать это. Жаль, что Бахметев не понял этого тогда. Уехал. Где-то он теперь, удалось ли ему осуществить свой план — основать на неведомой земле справедливое общество? Нет, не такой путь следует выбирать. Особенно теперь, когда началось брожение, когда каждый любящий Россию, деятельный человек необходим здесь. Чернышевский рисует общество будущего без рабства и унижения, где труд человеку в радость, где все равны. Проницательный читатель, задумавшись над образом «особенного человека» Рахметова, должен понять, что следует делать, в чем истина и как надо жить.

Сто десять дней ушло у узника Алексеевского равелина на то, чтобы дать ответ на этот вопрос. Сто десять дней он писал свою книгу. Работая над новыми главами, параллельно переписывал набело уже готовые, вносил в них поправки.

В мрачном, сыром равелине создавалась одна из самых светлых и радостных книг, преисполненных веры в будущее. «Будущее светло и прекрасно, любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, захватывайте у него в настоящее, сколько можно захватить — настолько будет света и добра, полна радости и наслаждения ваша жизнь, насколько успеете вы перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него! Приближайте его, переносите в настоящее, сколько можете перенести!»

Будущее это не за горами. «Надеюсь дождаться этого довольно скоро» — такими словами Чернышевский закончил свой роман.

Эту книгу надо было как можно скорее доставить на волю, пустить в жизнь. Сделать это, однако, было нелегко. Все, что писалось или переводилось арестантом Алексеевского равелина, должно было поступать в Следственную комиссию.

Судьба романа была в ее руках. К счастью, тупоголовые чиновники не поняли смысла творения Чернышевского. Рукопись поступала к ним по мере готовности глав. После Следственной комиссии они оказывались на столе обер-полицмейстера. Отсюда с разрешением на право печатать при соблюдении правил цензуры драгоценные листы доставлялись в редакцию «Современника». Здесь их ждали с нетерпением. Журнал напечатал уже анонс о том, что со следующей, третьей, книжки за 1863 год начнется печатание романа «Что делать?» (без указания фамилии автора). Теперь дело было в цензуре. Но тот, зная, что рукопись побывала в Следственной комиссии, не стал над ней особенно трудиться. Не долго думая, он подписал мартовский номер журнала, где печатались две первые главы. Дальше пошло в том же духе. В мае подписчики «Современника» уже читали последние главы.

Книга вырвалась на свободу, голос писателя из равелина разнесся по всей России. Только тут, поняв свою оплошность, власти спохватились. И не замедлили излить свой гнев на беззащитного узника.

Роман, естественно, запретили (вновь он увидел свет лишь через полвека) и приобщили к делу. Он фигурировал в качестве одной из улик. В приговоре, вынесенном вскоре Н. Г. Чернышевскому и обрекавшем его на каторгу, с раздражением указывалось и на его сочинения, в которых он «развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи».

С восторгом встретила книгу Чернышевского демократически настроенная интеллигенция, в том числе и те, кто

томился в тюрьмах и ссылке — Писарев, Шелгунов, Михайлов. Роман о «новых людях» распространяли в списках, им зачитывалась молодежь. «Жизнь кипела, — вспоминал позже И. Е. Репин, — идеями Чернышевского», и добавлял, что Рахметов стал образчиком для подражания среди студенчества.

Земляки Чернышевского находили отзвуки саратовской действительности в его книге. Многие уловили общие черты в образе Рахметова и саратовца Бахметева. На это прямо указывали в разговорах, в письмах. «Там между прочим введен Бахметев — помните?» — писала Е. Н. Пыпина, двоюродная сестра Чернышевского, в одном из своих писем родным. В другом вновь указывала: «Рахметов — это Бахметев Пав. Алекс., помните вы его?.. Ник. Гавр. знал о нем много такого, что мы и не подозревали». Указывая на Бахметева как на прообраз Рахметова, многие стали искать общие, сближающие литературного героя и его прототип черты. Вспоминали внезапные исчезновения Бахметева, его путешествия по Волге. Скупые слова в романе Чернышевского о том, что он знает о Рахметове больше, чем говорит, пытались расшифровать полнее, теперь припомнили, что Бахметев «распространял идеи, сходные с рахметовскими».

Издалека донесся голос Герцена — он утверждал, что Чернышевский рассказал о случае, происшедшем «с Бахметевым в Лондоне в «Что делать?», с изменениями, разумеется, обстоятельств».

Много лет спустя и сам автор романа «Что делать?», находясь в ссылке, признался: «В своем романе я назвал особенного человека Рахметовым в честь именно вот этого Бахметева».

Научно-популярное издание

Серия «Неизвестные истории»

Белоусов Роман Сергеевич

Тайны великих книг

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Ведущий редактор серии *Н. В. Комарова*

Редактор *А. Крылова*

Художественное оформление: *П. В. Любарова*

Компьютерная верстка: *М. А. Одинцов*

Технический редактор *Е. А. Крылова*

Корректоры *И. И. Попова, Е. В. Третьякова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.12.2003 г. Формат 84х108/32

Гарнитура «GaramondC». Печать офсетная. Печ. л. 16,0. Тираж 5 000 экз.

Заказ № 256

Адрес электронной почты: info@ripol.ru

Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ИД «РИПОЛ КЛАССИК»

107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1

Изд. лиц. № 04620 от 24.04.2001 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК

«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Книги
Издательского дома «РИПОЛ КЛАССИК»
вы можете приобрести
по следующим телефонам и адресам:

Москва
*(отдел реализации
издательства)*

◆ тел.: (095) 513-57-77, 513-54-71;
e-mail: kurunyan@ripol.ru,
info@ripol.ru;
Интернет: www.ripol.ru

Новосибирск

◆ ООО «Топ-книга»
тел. (3832) 36-10-28;
e-mail: office@top-kniga.ru;
Интернет-магазин: www.top-kniga.ru

Ростов-на-Дону

◆ ООО «Эмис»
тел. (8632) 32-87-71;
Буденновский пр-т, д. 104/91;
e-mail: Emisl@rost.ru

◆ ООО «Владис»
тел. (8632) 90-71-31;
e-mail: vladis-book@aaanet.ru;
Интернет: www.vladisbook.ru

Санкт-Петербург

◆ ООО «Фирма Диля»
тел. (812) 314-05-61;
ул. Казанская, д. 15;
e-mail: dylia@comset.net;
Интернет: www.dilya.ru

Челябинск

◆ ООО «ИнтерСервис ЛТД»
тел. (3512) 21-33-74;
Свердловский тракт, д. 14;
e-mail: intser@chel.surnet.ru

Екатеринбург

◆ ЧП Кокшарова
тел. (3432) 41-26-84;
Парковый переулок, д. 12;
e-mail: bars@mail.ru

◆ Торговый центр «Люмна»
тел. (3432) 64-23-68;
ул. Студенческая, 1-В;
e-mail: lumna_b@r66.ru

Хабаровск

◆ ООО Фирма «Мирс»
тел. (4212) 29-25-66;
ул. Промышленная, д. 11;
e-mail: sale_book@bookmirs.khv.ru

Краснодар

◆ ООО «Букпресс»
тел. (8612) 62-81-29,
ул. Товарная, д. 5
e-mail: dges@mail.kuban.ru

Самара

- ◆ **ООО «Реал+»**
тел. (8462) 60-78-82;
e-mail: realplus@samaramail.ru

Волгоград

- ◆ **ООО «Гермес-Царица»**
тел. (8442) 33-95-02;
ул. Невская, д. 13;
e-mail: smirnov@vlink.ru

Воронеж

- ◆ **ООО «Амиталь»**
тел. (0732) 23-00-02;
Ленинский пр-т, 157;
e-mail: mail@amital.vrn.ru

Калининград

- ◆ **Группа компаний «Вестер»**
тел. (0112) 35-37-65;
ул. Судостроительная, д. 75;
e-mail: nshibkova@vester.koenig.su

Люберцы

- ◆ **ООО «Киф «ДАКС»**
тел. (095) 503-81-63;
ул. Красноармейская, д. 3-а;
e-mail: kif_daks@mtu-net.ru

Минск

- ◆ **ООО «Виртан»**
тел. (10375-17) 261-69-08 (только опт)
e-mail: makkus@belsonet.net

Магазины Москвы

- ◆ **«Библио-Глобус»**
тел.: (095) 928-35-67, 924-46-80;
ул. Мясницкая, д. 6
Интернет: www.biblio-globus.ru
- ◆ **«Москва»**
тел. (095) 229-64-83;
ул. Тверская, д. 8
e-mail: spravka@moscowbooks.ru;
Интернет: www.moscowbooks.ru
- ◆ **«Молодая Гвардия»**
тел. (095) 238-50-01;
ул. Б. Полянка, д. 28
e-mail: bookmg@ftcenter.ru;
Интернет: www.ftcenter.ru/~bookmg
- ◆ **Московский Дом Книги**
тел. (095) 290-35-80;
ул. Новый Арбат, д. 8
Интернет: www.mdk-arbat.ru

Роман
Белоусов

ТАИНЫ ВЕЛИКИХ КНИГ

**НЕИЗВЕСТНАЯ
ЖИЗНЬ ЗНАМЕНИТЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ**



Когда мы читаем какую-либо книгу о самых невероятных и опасных приключениях, мы начинаем спрашивать: «Неужели все это было на самом деле?» Любимые герои — реальные люди или вымысел, исторические личности или плод дерзкой фантазии автора? Эта книга предлагает вам правду о многих знаменитых литературных персонажах, факты, которые вы не знали и не могли узнать.

- Отважный д'Артаньян на службе у кардинала и никогда не знавший Атоса, Портоса и Арамиса.
- Вдохновенный выдумщик Мюнхгаузен, имевший у современников репутацию сумасшедшего.
- Матрос Александр Селькирк — живой прототип Робинзона Крузо.
- Подлинные «анкетные данные» героев Шекспира и Виктора Гюго.
- Местонахождение настоящего Острова сокровищ и дома Тома Сойера.

Самый большой вымысел — это сама жизнь!